

Нам - 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

8/2024



В номере:

НАДО УСПЕТЬ

Калейдоскоп жизни ленинградской писательской, научной, музыкальной интеллигенции 1970-х годов крутится в романе Алексей ИВАНОВА «Крестословица». Не самый крупный писатель Константин Елагин берётся за роман-биографию Тирана. Он не пользуется архивами, но у него чемоданы писем, разрозненных воспоминаний пока ещё живых свидетелей-«сидельцев». Они уходят... Надо успеть. Но сомнения не покидают: «Тяжёлый чемодан Друскина переместился, наконец, в комнату Елагина. И вместе с ним здесь поселился страх. С каждым документом, каждой рукописью или старой газетной вырезкой, извлекаемой из чемодана, страх перемещался вглубь, рождая внутри тревожный холодок... <...> Зачем лезу не в своё дело, зачем травлю себя страшным, смертным ядом воспоминаний очевидцев жизни тирана, когда ясно изначально, что понять ни эту жизнь современного Дракулы, питаемую исключительно кровью жертв, ни жизни жертв самих, шедших на убой, невозможно...»

«ЧТОБ САМА ЗЕМЛЯ БЫЛА КРАСИВА»

На страницах этого номера очень разные поэты. С неподдельной искренностью, когда хочется «допеть всё то, что не допето», признаётся в любви к Кавказу Дарья ВЕРЯСОВА. О трагических поворотах судьбы, о чём «сердце живое болит до сих пор» стихи Анны ДОЛГАРЕВОЙ. Темой любви к родной земле наполнена самобытная лирика Владимира КОЗЛОВА: « В букву заходит голос / и начинает петь». И психологические зарисовки Марии ЗАТОНСКОЙ тоже о нераздельности человека и природы, хотя «это так кажется —/ ничем не наполнен ландшафт».

ПОВЕСТЬ О СЕБЕ

Дневник Виктории ПОЛИЩУК «Пять минут до рассвета» — запечатлённое событие того, что ожидалось, но не состоялось. Личные, женские высказывания полны борений, но не с жизнью, а с самой собой, — воспитание Духа, которому отзывается Душа. Словно она призвана отвлечь от глубоко спрятанного трагизма одиночества. Философия личного бытия автора насквозь субъективна, но при этом доверчива и открыта диалогу. Жажда встречи проступает восходом, который постепенно поглощается закатом. Ожидание и разочарование существуют рука об руку. Изложено это изящно, слова будто парят, и не сразу ощущаешь, как всё это обрастает уроками мудрости с деликатной религиозностью.

«ВЫХОДЯ ИЗ ТЕАТРА, Я ПРОДОЛЖАЛ СПОРИТЬ...»

«Театр Наций, как всегда, был переполнен молодёжью, в основном девушками в вечерних платьях и на высоких каблуках, средний возраст плюс минус тридцать лет, для них, “целевой аудитории” театра, события и герои 80-х, эстетика перестройки — это вообще древняя история, как в учебнике для средней школы, настолько древняя, что её вполне можно ставить в один ряд с тургеневскими нигилистами и народовольцами. Сравнить одну древность с другой древностью и находить в них параллели и повторы — а, собственно, зачем?..» В рубрике «Правила игры» Борис МИНАЕВ размышляет о новой постановке «Отцов и детей». Перестроечные аллюзии, «наверное, я не видел ещё такого Базарова», песни Летова, диалоги из «Ассы»... Минаев читает спектакль как разговор о своём поколении: «Такой взгляд на перестройку, на её людей, конечно, вполне оправдан. Но соглашаться с ним всё равно не хочется...»

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

***Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.***

***Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.***

***При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.***

Сдано в набор 20.06.2024.
Подписано в печать 18.07.2024.
Формат бумаги 70 x 108¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Денис
ГУЦКО

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей ИВАНОВ. Крестословица, или Прогулки с тенью диктатора. <i>Роман</i>	3
Анна ДОЛГАРЕВА. И вода живая, и земля тоже живая. <i>Стихи</i>	78
Адель ХАИРОВ. Месть. <i>Рассказ</i>	82
Николай ЖЕЛЕЗНЯК. Найти проходимца. <i>Рассказы</i>	90
Дарья ВЕРЯСОВА. Память о Кавказе. <i>Стихи</i>	106
Дмитрий РАЙЦ. моменты усталости и любви. вторая тетрадь. <i>короткие истории</i>	109
Инна ВОЛОШИНА. Три рассказа	119
Мария ЗАТОНСКАЯ. Выходные жизни. <i>Стихи</i>	130
Тимур МАКСЮТОВ. Два рассказа	133
Татьяна ШАПОШНИКОВА. Тот, кто сильнее. <i>Рассказ</i>	142
Владимир КОЗЛОВ. Прожорливая почва. <i>Фрагменты чистого поля</i>	151
Ирина БАРАБАНОВА. Когда Бог смотрит в микроскоп. <i>Невероятно-вероятные истории из жизни землян</i>	154
Ольга СИЧКАРЬ. Азиза. <i>Рассказ</i>	160
Антон ЕРМОЛИН. Что-то новое в глазах, или Сын, отец и маменька. <i>Рассказ</i> ...	166
«Уйдёшь в литературу поутру». <i>Участники Мастерской АСПИР в Мурманске (2024)</i> <i>на страницах «ДН»: Дмитрий БОБЫЛЕВ, Владислав ЕМЕЛЬЯНЕНКО,</i> <i>Александр КУРАПЦЕВ, Алина МИТРОФАНОВА. Стихи</i>	171

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Александр ЭБАНОИДЗЕ. Дом на горе	177
--	-----

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Нина ОРЛОВА. «У полумесяца, креста, кольца дорог». <i>Памяти Магомеда Ахмедова</i>	185
---	-----

ПРОСТО ЖИЗНЬ

Виктория ПОЛИЩУК. Пять минут до рассвета. <i>Дневник. Избранное (2001–2019 гг.)</i>	194
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Александр МАХНЁВ. Собор Святейшего Сердца Иисуса. <i>Исторический очерк</i>	228
---	-----

ЛИТУЧЁБА

Михаил ПАВЛОВЕЦ. Дайте сказать своими словами. <i>О сочинениях в школе — и в жизни</i>	239
---	-----

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Об истории идей и устройстве человеческих типов. Ольга БАЛЛА и Юлия РАХАЕВА размышляют о книге Александра Чанцева <i>«Бунт красоты: эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова»</i>	251
--	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Татьяна ВЕРЕТЁНОВА. «Уж точно не Гришка Отрепьев» (А.Макушинский. «Димитрий»)	259
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. С китайского и обратно	265
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Сгущающийся мрак	269
--------------------------------------	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Виктория ПОЛИЩУК. Потоки неразгаданных миров	
--	--

Алексей Иванов

Крестословица, или Прогулки с тенью диктатора

Роман

Хуже нас никого нет.

Михаил Пришвин. Дневник

Когда Господь не строит дом,
Напрасно трудится строитель,
Когда не Бог его хранитель,
Напрасно ходит страж кругом.

*126-й псалом. Песнь восхождения Соломона
(Перевод Киры Михайловской)*

Глава 1

На крыльце Дома творчества писателей стояли, как и полагается, два писателя. Оба пожилые, седовласые. Голову одного из них украшала похожая на розовый, только что испечённый блин лысина, зато волосы за ушами и на затылке были длинными. Второй седовласый был стрижен ёжиком, но брови удивительно кустисты. Оба поклонились Елагину и перестали разговаривать. Елагин поклонился в ответ, вошёл в плохо прикрытую дверь.

За столом администратора не было никого. Елагин взял со стендика под стеклом ключ от номера, поднялся на второй этаж. Здесь, в душевой комнате-пенале предстояло провести двадцать четыре дня. И что-то написать для журнала. Он отворил окно, пахло сыростью, недавним дождём. Мокрые жёлто-красные листья молодых клёнов словно вырезаны из восковой бумаги. Жалкий реденький сквер под окнами был ему знаком. Он мог узнавать отдельные деревья. Чёрные стволы, вымокшие с одной стороны. Разлапые, ненужно красивые листья на земле, пожухлые кусты роз. Считалось, что ему хорошо пишется здесь. По улице шла женщина с поводком. Собака, которая тянула поводок и женщину, была не видна из-за штакетника и облезлых, теряющих листья кустов.

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор романов, в т.ч. «Опыт № 1918» (М., ArsIsBooks, 2019; первая публикация: «ДН», 2017, №№ 5, 6, 7), нескольких книг повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 2.

Елагин передвинул стол и диван, так ему казалось удобнее, вытащил пачку бумаги и с тоской уставился на неё.

В дверь легонько стукнули, на пороге возник улыбающийся профессор Мануйлов.

— Видел, видел, как вы шли, не успел за вами, — лысая коническая голова профессора, «редька хвостом вверх», поплёскивала от пота. — Заглядывайте ко мне, — сказал Мануйлов. — В четыре часа, хорошо? В два обед, потом я буду час-полтора занят. А в четыре — милости прошу! — он закрыл дверь и тут же распахнул её. — С кем вы сидите за столом? Ах да, вы же только приехали! Там за столиком Морозова есть место, не садитесь к нему. Заболтает!

Елагин ещё раз выглянул в окно. Мелкий дождь сыпал, наводя на Дом творчества привычную тоску. Елагин покрутил в руках сигарету, закуривать не стал, не обнаружив в номере пепельницы, и вышел в коридор. Дверь в комнату Мануйлова была приоткрыта, Елагин стукнул и отворил её.

— Да-да, заходи, лапочка, — проворковал профессор, стоя спиной к Елагину. Он, держа высоко, почти на уровне глаз, рюмочку и пипетку, капал что-то, считая капли вслух.

— Неважно себя чувствуете, Виктор Андроникович? — спросил, несколько смутившись, Елагин.

— А-а, это вы?! — профессор, шевеля губами, досчитал ещё несколько капель. — Нет, превосходно! — он проглотил капли и поморщился. — Сейчас приедет аспирантка, готовлюсь, думал, это она, — он подмигнул, что ему не совсем шло. — Употребим с божьей помощью и с применением медикаментозных средств!

В столовой пахло капустой, чем-то ещё, слегка подгорелым. Сырой дух шёл от пальто и плащей на вешалке сбоку.

Свободных мест за столиками не было. Только в углу сидел критик Морозов и, улыбаясь, поглядывал на Елагина. Он ждал жертву, вглядываясь в неё, прикидывая, куда бы кунуть. Если нельзя ужалить.

— Пишется? — встретил он Елагина, не поздоровавшись.

— Нет, — решил обрадовать его Елагин и, действительно, обрадовал. Старик даже засветился.

— Это хорошо, — коварно улыбаясь, прицелился он, — чем меньше напишете, тем меньше глупостей будет в мире. По крайней мере печатных.

— Согласен, — кивнул Елагин.

Его покорность несколько огорчила Морозова.

— А зачем тогда пишете?

— Для денег, — сказал Елагин, глядя в старческие, почти бесцветные глаза. «Вот так и я лет через двадцать буду капать капли перед любовным актом и донимать писателей помоложе».

Морозов, казалось, вполне доволен был ответом.

— Я вот всех спрашиваю, никто пока что ответить не смог, — Морозов утёр неожиданно розовые губы бумажной салфеткой, — что такое «невыразимые»? Никто не мог! Писатели называется!

— Вы меня в прошлый раз спрашивали, — сказал Елагин, глядя в глаза старику.

— Да... — растерялся Морозов. — Прошу покорно извинить.

— Ничего, не смущайтесь, — кивнул Елагин.

Морозов никогда его об этом не спрашивал.

— Прочитал вашу последнюю повесть в журнале. Чепуха, простите. Зачем вы пишете о каком-то рабочем классе? Вы что, не понимаете, что никакого рабочего класса нет? Это советский миф. Точнее, марксово-еврейский миф, приправленный безграмотными идиотами от марксизма.

— Ничего не понимаю в марксизме, — Елагин отодвинулся, давая официантке поставить тарелку на стол. — Не знаком.

— И не пытались? — Морозов вытирал салфеткой рот и облизывался.

«Интересно, — подумал Елагин, — высунется сейчас раздвоенный язык?»

Язык не высунулся. Морозов откинулся на спинку стула и ласково, даже любовно стал изучать жертву.

— А напрасно! Любопытнейшее учение, такая же чушь, как библейские байки про Христа. Но тому понадобился апостол Павел, чтобы заразить этим вирусом мир, а Марксу — цельная Россия. От неё Маркс по всему миру расплескался, раскатился, как ртутные шарики. Сверкают, радуют, а на самом деле смертельная отравка.

Елагин промолчал. Осмелели нынче писатели, а ведь от всеобщего заячьего страха и времени-то прошло всего ничего. Интересно, он провокатор, энтузиаст или просто болтливый маразматик.

— Не согласны? — Морозов всё никак не мог выбрать местечко, чтобы вцепиться ядовитыми зубами.

— Согласен! — Елагин смотрел на окно.

Дождь каким-то образом проникал сквозь разбухшую раму, скапливался на подоконнике и неспешно стекал вниз.

Для удобства ему была подложена мокрая тряпка.

— Вы вот, простите, что возвращаюсь, — Морозов уже пообедал и теперь, не торопясь, приступил к перевариванию биомассы, которой кормили писателей, — когда я спрашивал про «невыразимые», вы что ответили мне?

— Сказал, что это кальсоны, портки нижние. Юнкерский жаргон.

— А почему же я не помню?

Елагин пожал плечами и принялся за удивительное изобретение повара Дома творчества. Котлета, с виду похожая на настоящую, была абсолютно лишена всякого вкуса. Невозможно было даже определить, рыбное это произведение или мясное. Елагин потянулся к меню и принялся его изучать.

— Котлетки смущают? — раздвоенный язык, наконец-то, нашёл повод высунуться наружу.

— Нет, просто любопытство.

— Опишите где-нибудь? В очередном романе о заводе? В выполнении-перевыполнении? И отдельных недостатках в рабочей столовой, заклейте воришку-повара?

— В романе о писательском доме, — вяло огрызнулся Елагин.

— Меня в качестве злодея выведете, смею надеяться?

— Нет, просто сошлюсь на ваш самый правдивый роман о Ломоносове. За который вас отметили сталинской премией. Может, приведу пару цитат. Не помню, правда, какой степени премия была. Третьей? Второй? На первую не потянули? Слабоват романчик по сравнению с Толстовским «Петром», хоть и подражали старательно, — Елагин всё ещё изучал меню, не глядя на Морозова.

— «Пару цитат» это безграмотно! Вы ещё скажите «пару-тройку» цитат, как нынче принято! Не лошадей запрягаете, коллега! — Морозов поднялся из-за стола. — Желаю творческих успехов! — сказал желчно и медвежьей походкой, слегка загребая ногами (носки внутрь), направился к выходу.

Елагин, на ходу раскланиваясь со знакомыми, вышел из калитки и свернул влево. Дождь замер, но воздух был сырой, словно капли небесной воды висели не на желтовато-зелёных листьях прореженных ветром лип, не на поникших иголках молодых елей, посаженных вдоль забора и поседевших от измороси, а сами по себе. Завтра, если ударит мороз, капли превратятся в замёрзшие фонарики, вспыхивающие под солнцем. Однажды, увидев замёрзшие капли на еловых лапах, Елагин понял гениальность творцов рождественских игрушек-украшений. Они должны сверкать под лучом!

Дунуло мокрым ветром с залива, Елагин поднял воротник плаща, повернул в сторону академического посёлка. Разросшаяся, неухоженная зелень почти скрывала подаренные вождём когда-то крепкие двухэтажные дома. Пусть живут академики. Им дача нужна. И пригляд легче, кадров-то не хватает. Сквозь сырость потянуло забытым паровозным дымком: кто-то из академиков топил печку углем. Сталин любил делать подарки. Академиков не любил, скрывал лёгкое презрение: зачем всю жизнь учились, если дома построить не можете? На Кавказе каждый мужчина себе дом строит. А вы просите товарища Сталина: землю выделите, о хороших, крепких домах позаботься, о строителях военных, чтобы не разворовали материалы. Почему Сталин должен думать о таких мелочах?

Елагин остановился. Послышалось? Сквозь странный, необъяснимый звук стекающих с листьев и иголок миллионов капель слышалась флейта. Откуда? Он пошёл на лёгкие, исчезающие за топтанием капель звуки. Мимо ветхого забора с облезлой, когда-то весёло-голубой краской, мимо другого, нагло вставившего свеженькие рейки, разбухшие от висящей в воздухе воды, мимо... это уже неважно. Он шёл на зов флейты. Конечно, на флейте может играть только очаровательная молодая женщина. Худая, изящная сомовская красавица с тёмными волосами, причёской-каре и беззащитно поднятыми острыми локотками. Изящная фея с флейтой на веранде старинного дома. Несколько моцартовских пассажей поднялись, повисели в сыром, не подходящем для них воздухе, стараясь удержаться последними нежными нотками, и растворились в тихом шуршании капель и листьев. Остался горьковатый привкус паровозно-угольной гари, принесённый нежданным порывом ветра, вместе с дальним перестуком колёс. Паровозы умерли давно, а пригородные электрички перестукивались по-иному и предпочитали резкие крики вроде утреннего рёва ослов в зоопарке. Ослы тут неслучайно: Елагин вспомнил давнишнюю любовницу, к которой приходил редко, только по её звонку, а мог бы не приходиться вовсе. Сквозь её утренние довольно фальшивые стоны иногда слышался заоконный рёв осликов: она жила в угловом доме-модерн на Зверинской, окном к зоопарку.

Из калитки, аккуратно прикрыв её за собой, вышел небольшого роста человек в шляпе и макинтоше. Поравнявшись с Елагиным, человек пошевелил губами, приподнял шляпу. Так было заведено у академиков. Посторонние сюда заглядывали редко, а всех своих запоминать не хотелось. В руке человек держал старый портфель крокодиловой кожи и довольно бодро помахивал им. Елагин поклонился, потом обернулся, показалось, что моцартовские ноты сыпались из застёгнутого на один замочек портфеля. Нет, на мокром песке ничего не было. Ни следов, ни даже человека в шляпе. Может быть? он свернул в проулок?

Елагин заглянул в проулок, куда предположительно нырнул загадочный человек. Никого. В глубине стояла полузаброшенная дача академика Берга, нынешнее владение его мятежной дочери. Правление академического посёлка не ладило с дочкой, писало на неё доносы, именуя диссиденткой, и пыталось выселить старуху. Елагин не знал, старуха ли она, но так ему казалось. Кем ещё может быть дочь академика Берга?

Предполагалось, Комаровский посёлок академиков будет засеян талантами.

Таланты имеют обыкновение вырастать гроздьями: Флоренция времён Лоренцо Великолепного, Париж середины девятнадцатого века, где художники Монмартра с помощью мутного абсента, дыма плохими сигарами и переругиваясь с недорогими подружками, повернули к зрителю мир сверкающей гранью солнца и воздуха, «могучая кучка» русских музыкантов, плеяда поэтов от Жуковского, Пушкина, Лермонтова к Тютчеву, другая плеяда — Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Маяковский, Есенин, да мало ли...

Таким скоплением талантов была лаборатория генетики Кольцовского института: Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, Пётр Фомич Рокицкий, Дмитрий Ромашов, Борис Астауров, а сколько их, других — все знаменитости, все, кого не раздавила

Советская власть, не ударила дуплетом на взлёте, не уставилась в лоб китайско-латышским очком винтаря. Рано или поздно чудовищным репрессиям подверглись все. Исключение — Сергей Михайлович Гершензон. Он мог бы рассказать многое, но не расскажет. В Дантовом аду он среди тех, чьи рты зашиты.

Старуха, дочь Берга, была генетиком и всю жизнь сражалась за бронзовых и золотистых дрозофил. Хотя по-настоящему любила только дрозофил пучеглазых.

Кажется, у Сталина получилось не совсем то, что было задумано. Хотя... На даче академика Берга, например, счастливую зиму прожил Иосиф Бродский. Это было то, что нужно поэту: снежная зима, выстуженный дом с тёмными углами, чугунная печка, раскаляющаяся от нескольких щепок-полешек и совка угля, с трудом набранного в угольном ящике, пляшущие блики на руках, жар печки и холод, идущий из черноты дома, пробирающийся под старый свитер с катышками на груди и под мышками, дальний перестук электричек, пугавший поначалу звук осыпавшихся снежных шапок и взмаха освободившихся еловых лап, крысиный писк в дальнем углу — туда можно бросить полено, скрип шариковой ручки по промёрзшему блокноту, холодок бумаги, согревающейся, пока ты пишешь, под ладонью. Так же согревались и книги, вытащенные из старинных шкафов библиотеки Берга. Фолианты с золотыми обрезамы смёрзлись, но простенькие, особенно в бумажных переплётках, отогревались быстро. Так с ледяных страниц начинали соскакивать барабанные рифмы Киплинга, довольно неудобные для перевода, обгрызенные крысами стихи Блока и даже старинный Тацит в невиданном переложении профессора со съеденной острыми зубами фамилией. «Песни счастливой зимы на память с собой возьми...»

Елагин, хоть и не близко, знал Бродского. Не раз заставлял его сидящим на столе редакционной машинистки «Авроры» Ирэны Каспари, спиной к ней — лицом ко входу, рядом с пепельницей и вечно дымящейся сигаретой, к которой Ирэна, не отрываясь от текста, тянулась время от времени. Бродский тоже дымил, закидывая голову, косился непонимающими глазами на проходящих на кухню и в сортир сотрудников редакции, снова диктовал, правя себя на ходу.

Елагин всматривался в пустой проулок: человек в шляпе всё-таки растворился в сыром воздухе, сети дождя и исчезнувших нотках флейты.

Елагин, поёживаясь, вышел на главную академическую дорогу, зачем-то свернул налево, направо и — вниз, к заливу. По крутой, разъеденной промоинами ливней песчаной дороге, не заметив роскошной, всегда загадочно пустующей дачи знаменитого артиста Черкасова, через мрачноватое болото, весной и осенью заливавшее размякшую, раздавленную тропку к асфальтовому шоссе, отделявшему залив от людских забот посёлка. Левый башмак промок, Елагин вляпался в жидкую грязь и испортил настроение. Когда он переходил шоссе, в башмаке хлюпало.

Несколько старых сосен, привычно шевеливших вершинами, корни, вены сосен, присыпанные иголками, следы автомашин, пытавшихся подъехать к кромке песка, кустики, постоянным ветром повёрнутые прочь от моря, к дороге, изжелта-зеленоватая осока, не признающая осени и не желающая умирать и, наконец, море. Залив. Маркизова лужа. Лужа была злая, с барашками волн, катившихся к берегу, с облаками, прижавшимися к мрачной, даже издали холодной воде. На пляже первобытно пусто, ни души. Нет и признака человека, если бы не покривившаяся кабинка для переодевания, когда-то крашенная блёклым голубым цветом. Стараниями пляжных хулиганов-шутников она покосилась, стала неопрятным сооружением на ножках ржавеющего железа с неприличным словом, начертанным чем-то красным на её боку. За ней виднелись мокрые валуны, мусор, вынесенный морем, два стеклянных поплавок, похожих на детские мячи, связанные бечёвкой, полусгнившие доски, занесённые песком, и опять валуны, уже помельче.

С заливом, Взморьем, как тогда его называли, было связано непонятно откуда пришедшее детское воспоминание. Кто-то из молодых парней, связав плотик

из зелёных, твёрдых на ощупь пористых на срезе стеблей тростника, ложится на него животом и плывёт, загребая руками. Елагин, тогда ещё Костик, бросает своих колюшек, жалких рыбёшек, плавающих в выкопанном руками песчаном ковшике, и с завистью смотрит на владельца плотика. Жарко, солнце жжёт нещадно, смотреть на плотик можно, только приложив руку козырьком, — солнечные зайчики-блики слепят глаза. Как бы он сам сейчас мог, лёжа на животе, загревать руками! Но никто не обращает на него внимания, смотрят на уплывающего счастливец, а тот, стараясь развернуть нежно-зелёную колбасу плотика, соскальзывает с него (или плотик переворачивается?), летят брызги, все хохочут и кричат что-то. И Елагин тоже кричит, плещет водой из ямки с колюшками, и те тоже летят вместе с брызгами, сверкая белыми брюшками с синими твёрденькими плавничками.

И второе воспоминание, совсем недавнее. В машине несколько человек, едут на дачу. В Рошино, бывшее Райволо, как говорят в машине. А пока что за окном — бывшее Келломяки, «Колокольная горка», дальше — Териоки. Вдруг одна из старух поворачивается и грозно говорит водителю: «Остановитесь!» Едущие в машине смеются:

— Татьяна Алексанна хочет навестить свою дачу! Там ведь сейчас дом отдыха старых большевиков!

Старуха, бывшая петербургская красавица и светская львица, выбирается из машины и резво, незнакомо широкими шагами направляется вглубь неухоженного палисадника.

— Костя, умоляю, остановите её, сейчас грянет скандал!

Но удержать старуху невозможно. Она отворяет дверь и, стуча палкой, идёт по коридору.

— А вот, — говорит она, повернувшись к Елагину, единственному человеку, сопровождающему её, — вот здесь была людская! — старуха палкой распахивает дверь. Какие-то тётки в полурасстёгнутых халатах взвизгивают, прикрываются руками и смотрят дикими глазами. — Людская! — повторяет старуха и, грохоча, движется по коридору. — Весь первый этаж, кроме парадного входа и зала, — для прислуги! — и снова распахивается дверь. Старуха, опершись на палку, сверлит угольно-чёрными глазами других уже тёток.

— Что вам надо? — взвизгивает одна из них. — Что вы тут делаете?

— А вы что тут делаете? — внятно и грозно говорит старуха. — В моём доме?

Бывшая светская львица, «партийная прослойка в семейном нашем пироге», так называли её в семействе Благовещенских, прошла, стуча палкой, по коридору до выхода в сторону моря.

— Вот здесь, Константин Константиныч, был наш причал, — она махнула палкой в сторону мола из крупных валунов, — и стояла роскошная яхта. Говорят, из лучших в Петербурге. Графиня Панина, моя подруга, и я принимали на яхте дочерей министра двора барона Фредерикса. Графиня, ярая социалистка, говорила, что это неприлично. Но я была тверда! Невозможно отказывать девушкам в приёме только потому, что их отец министр двора!

Её муж, генерал Кричевский, командир Пажеского корпуса, был арестован чекистами в собственном особняке на Надеждинской улице и погиб в ЧК на Гороховой 2. А любимый и единственный сын умер во время блокады от голода. Сама Татьяна Александровна Кричевская сидела в вольтеровском кресле, не имея сил пошевелиться и отвести глаза. Голодные крысы обгрызали лицо её любимого Алексашеньки. Юнкера, вернувшегося с германского фронта с двумя солдатскими Георгиями.

После революции она выжила только потому, что преподавала вокал дочкам большевистского наместника в Петрограде, домашнего хама и деспота Григория Зиновьева. Дочки — тем ничего не стоило — приносили еду «со стола».

Татьяна Александровна едой брезговала, но принимала. Зато весёлое семейство Благовещенских было ей очень даже благодарно.

Елагин по плотному сырому песку подошёл к воде, кружевами жёлтой пены набегавшей на берег. Только отсюда он заметил ворону, ковыряющуюся в песке. Она, не обращая внимания на Елагина, ходила по краю воды, выискивая что-то. Потом сделала два-три резких движения, клюнула, выхватив добычу громадным клювом, и поднялась, нескладно, запыленно взмахивая крыльями. Елагин проводил её глазами. Ворона была огромной. Она низко пролетела над замершим осенним пляжем, поднялась всё так же нелепо, словно ветер сдувал её в сторону, и тут же почти камнем свалилась к мокрым валунам посреди пляжа. Что-то искала между камней и снова по-прежнему неумело и неряшливо взлетела. И опять — вниз. Только сейчас Елагин понял, чем была занята ворона. Она хватала клювом раковину, взлетала и бросала её на камни. Наконец, раза с третьего, добилась своего, притащила треснувшую раковину к подветренной стороне валуна и, придерживая чёрной когтистой лапой, принялась расклёвывать. Елагину показалось, с видимым удовольствием.

Ворона хищным клювом напомнила Морозова. Что он там про рабочий класс говорил? Про Готскую программу? Ах, это я про Готскую программу вспоминал, хотел ответить старику. Хорошо, что не вязался. Впрочем, при чём тут моя повесть о заводе и давно скончавшаяся Готская программа, борьба лассальянцев с эйзенахцами (какие-то гвельфы и гибеллины!), оставшаяся в памяти исключительно посредством марксовой «Критики» этой самой программы? При чём забытый всеми Фердинанд Лассаль, сторонник теории вечного государства как надклассовой надстройки, и почему он вдруг ожил в большевистской революции в виде гипсового бюста возле упразднённой городской Думы? И даже улица Лассаля, — от Невского (проспекта 25-го Октября) к площади всё того же Лассаля (бывш. Михайловской). Почему? От общего безумия? Как ожили в провинции никому доселе не известные Робеспьер, Марат, Гарибальди, и даже в захолустных русских городишках новая власть украсила захудалые улочки именами Бабёфа, Бланки, Сен-Симона?

Хорошо бы к дому. Дождь, вывалившись из облака, сыпанул сквозь сито, хлестнул мелкими брызгами по лицу. Ветер на заливе усиливался. Елагин поднял воротник макинтоша, вышел, оставляя глубокие следы на песке, к шоссе. Но идти в Дом творчества не захотелось. Ни удивительные котлеты у мельца-повара, ни пустая болтовня с Морозовым, ни даже встреча с милым Мануйловым не заставили бы его тащиться сейчас через чавкающую грязь таявшей в болоте тропинки.

Вдоль шоссе с шаркающими время от времени шинами авто — всё-таки дождь! — шла относительно сухая, то-есть без луж, дорожка. Вот и хорошо! Вдобавок откуда-то из кустов, скорее от малых ёлочек, укрывшихся под гудящими соснами, пахло грибами. Запах мокрых грибов. Из детства. Странно организована голова: где хранятся все слова, события, запахи и обиды детства? Где — понятно, но как? Елагину показалось, что он ускорил шаги. Когда-то он бывал в этих местах. Так давно, что из воспоминаний остались лишь неумение завязывать шнурки на ботинках, хорошенькая девочка с локонами и жёлтые, разваливающиеся в руках сыроежки в мокром лесу. Нет, ещё громадный сизо-синий дом с шершавой от облупившейся краски стеной, стояние на нижней рейке забора, — нужно было смотреть вдаль, в самый конец запутавшейся в густом ельнике дорожки, чтобы первым рассмотреть маму. Девочка в локонах рассмотрела первой и принялась скакать и визжать от радости. Локоны некрасиво мотались по плечам. Мама Елагина не пришла. Он знал, что она не придёт, не может прийти, но всё же висел на заборе рядом с девочкой. На ней было жёлтое платье в белый горошек. Странно, зачем это осталось и живёт в голове? Жёлтое в горошек платье, белые носки на загорелых ногах. И красные сандалики. Может, оттого, что сам был в ботинках с болтающимися шнурками?

Елагин остановился, будто испугавшись свернуть влево, пройти еловой просекой-тропой и увидеть себя, висящего на заборе.

Сразу за автобусной остановкой был виден автомобиль, съехавший с шоссе. В следах от колёс скопилась вода. Двигатель работал, и капли дождя, сеявшие на капот, испарялись. В машине сидела-полулежала целующаяся пара. «Вот и весь дом, что им нужен», — подумал Елагин, повернул назад и ускорил шаг. А почему бы не начать роман с Готской программы и несчастного Лассаля, которого полощут марксисты по сию пору? Готская программа, Эрфуртская программа, та, что поносил теперь уже не Маркс, а Энгельс, сменившая её на Гёрлицком съезде уж совсем (как считали записные марксисты) оппортунистическая абракадабра, провозглашавшая (кому, как, зачем провозглашавшая?) полный отход от марксизма. Зачем этой паре, укрывшейся в красном авто с дрожжами и тающими на капоте каплями, эти программы?

Глава 2

Ближайшим соседом Елагина, дверь в дверь, и, что хуже, — за стеной, оказался очаровательный Илюша Штемлер. Красавец, царственно передвигавшийся от номера до сортира в длинном, до пола бордовом халате, знакомый «со всем городом» и связанный со всеми таинственными связями. Илюша непрерывно стучал на пишущей машинке, превращая соседство в древнюю китайскую пытку, когда на голову несчастного медленно, но непрерывно каплют капли воды. Признаться, Елагина смущал не стук клавишей, а мысль, что милейший Илюша непрерывно пыхтит над очередным «деловым романом из городской жизни», так обычно представляли его многостраничные труды, в то время как сам Елагин валяется на диване, разглядывая следы давнишней протечки на потолке. Вода затекла на обои, образовав пятно, определённо напоминающее африканский континент. Можно было определять страны, умещавшиеся на континенте с белыми потёками мела, спустившимися на него с потолка. Или припоминать нынешних и ушедших диктаторов, сменивших колониальную власть Франции и Германии. Или даже попытаться припомнить не известных никому южноафриканских писателей, пишущих на таинственном языке — африканере. Или борьбу мужественного народа... название народа выпало из памяти, но мужественная борьба его против белых поработителей неплохо и даже зрительно воспроизводилась при разглядывании слегка ржавого пятна.

Потом приходил Илюша с не переменным чаем и домашним печеньем. Чай ему присылали из родного Баку, печенье пекла тёща — страстная поклонница не то его таланта, не то самого красавца Илюши. Надо было пить чай, хвалить умелость заварки, тёщины печенья и обсуждать последний роман, ради которого он месяц работал в ДЛТ — знаменитом Доме Ленинградской торговли. Впрочем, в ДЛТ работала старшим товароведом его тётя со стороны жены и её дочка Мара, обладательница выдающейся груди. Илюша нанялся на работу (всё официально, можете проверить!) и даже постоял дважды за прилавком в новом твидовом пиджаке, приобретённом тут же, в специальном (для избранных) отделе магазина-гиганта. После фотосессии, в которой как бы случайно поучаствовали тётя и дочка, фотографии из «Смены» и «Ленинградской правды» были с осторожностью и оглядками проведены (под гарантию публикации снимков!) в «спецотдел». Там им позволили купить по нейлоновой, самой модной, рубашке. «Не будешь думать о себе, кто о тебе подумает?» — учила Илюшу тётя. Снимки Илюши в твидовом пиджаке были великолепны, жаль, в газете не был передан удивительный цвет этого настоящего английского (sic!) твида. Зато интервью с Илюшей были превосходными. Он пыхтел над ними несколько дней. И не зря! Все узнали, что Илюша приближается к юбилею, что вот-вот выйдет его новый роман,

ради которого он, как настоящий писатель-исследователь городской жизни, несколько месяцев провёл за прилавком, познавая тайны советской торговли.

Конечно, не всё так гладко сложилось в ДЛТ: коварный фотограф из молодёжной «Смены», прельстившись выдающейся (игра слов) грудью тётушкиной дочери Мары, соблазнил девушку. Мара влюбилась, фотограф оказался женатым (не знали, что дважды!), и Илюше с тётшей пришлось распутывать хитро затянувшийся вокруг петушиной шеи фотографа узелок. Тётя утверждала, что фотограф-соблазнитель лишил её дочь девической чести и теперь как настоящий мужчина... и так далее. Фотограф же поведал Илюше, что дочка Мара, судя по её ловкости в постели и некоторым физиологическим подробностям, которые следует из деликатности опустить, не впервой пыталась заарканить хоть кого-то в мужья. Что было неправдой, — Мара очень даже могла понравиться. История эта в роман о городской жизни не вошла, хотя и отняла немало времени и духовных (ах, романтик Илюша!), именно духовных, сил.

Илюша не сомневался, что пишет значительно лучше американца Артура Хейли, которому изо всех сил пытался не подражать. Но не мог. Версификаторский дух побеждал, умный Илюша понимал это, страдал и мучил Елагина, заставляя ежедневно убеждать его, Илюшу, в чём тот и без него был уверен.

— Вам звонили, — встретила Елагина дежурная, оторвавшись от бесконечного чая. Кипяток она производила тут же с помощью кипятильника, укреплённого в литровой банке. А за «чай из Баку» она даже поднималась на второй этаж, чтобы позвать к телефону Илюшу Штемлера. — Молодая девушка, — она сделала упор на «молодая», давая понять, что она многое понимает в жизни холостяка Елагина. — Сказала «из редакции». И ещё Геннадий Гор, вроде бы тоже из редакции.

Геннадий Самойлович Гор был очаровательнейшим старым евреем, блестящим писателем и членом редколлегии журнала «Нева». Там же числился и Елагин. Редколлегия была довольно обширна, хотя большинство её членов на заседания не приезжали. По разным причинам. Даниил Гранин, к примеру, считал, что быть членом редколлегии «Невы» ему не по рангу. Не «Новый мир», где можно было бы попредставительствовать, пообщаться с достойными москвичами, поулыбаться всепонимающей улыбкой, дать тонкое интервью не кому-нибудь, а редактору рядом расположенных «Известий» и исчезнуть в Ленинграде, оставив ещё некоторое время светиться над новомирской редакцией улыбку Чеширского кота. Поэт Дудин, герой соцтруда и член Верховного Совета СССР, Елагин именовал его «сенатор», что тому льстило чрезвычайно, не приезжал просто по лени. Остальные, включая знаменитого рабочего-героя, двух-трёх нужных кому-то людей и престарелого поэта Всеволода Рождественского, просто забыли о существовании редколлегии. Исправно приезжал только Геннадий Гор. Он дорожил высоким званием члена редколлегии, боялся его лишиться, боялся... впрочем, он боялся всего. Даже, кажется, своих детей. Пошедших внешностью и характером в жену Геннадия Самойловича Наталью Акимовну. Бывшую домработницу в семье родителей Гора, тогда ещё Гдалия Самуиловича Горштейна.

Елагин позвонил Гору, с удовольствием услышал, что тот на даче, выслушал короткий рассказ, как один из писателей коварно перехватил мешок угля, заказанный Гору, и пообещал утром навестить старика. «Для важного разговора», — на всякий случай шёпотом проговорил Геннадий Самойлович. Собственно, Елагин знал, о чём пойдёт речь. Главный редактор «Невы», Александр Фёдорович Попов, решил напечатать в журнале роман о рабочем классе. Дело житейское, сколько их уже печаталось, но этот роман был непрост. То-есть его ещё вообще не было. Но и такое бывало. Заключение договор «под заявку» с известным писателем — и посиживайте, ждите, когда тот пришлёт рукопись. Но тут не было не только романа, но и писателя. То-есть кто-то, писавший некий текст, именуемый в дальнейшем романом, существовал. Числился им, по крайней мере, формально, главный редактор «Мосфильма». Но кто писал этот «бред орангутана», как именовал «роман» ядовитый Саша Лурье,

приятель Елагина и редактор отдела прозы, так и осталось неизвестным. Саша вообще утверждал, что роман хотят печатать в «Неве» в обмен на утверждение сценария Попова на «Мосфильме». Но об этом после. А пока что роман дали на чтение и рецензию (способ немного заработать в тощий промежуток жизни между гонорарами) Геннадию Гору. В таких случаях всегда вспоминали, что он старейший писатель, необыкновенно талантливый и бесконечно честный в своих оценках. «Честен в отношении литературы», — с присущей ему восторженностью говорил заместитель главного редактора «Невы», бывший замминистра коммунального хозяйства Карельской автономной республики. Тот, сидя в замминистрах, создал пьесу. Саша Лурье настаивал — комедию. Во всяком случае, с его слов, главная героиня пьесы, дама бальзаковского возраста, однажды, действии примерно в третьем, высказывала на сцену в нижнем белье. Публика должна была принимать это авторское разрешение судьбы дамы с восторгом. Было ли так или нет — неизвестно, но опять же из капель яда Саши Лурье следовало, что ловкий наследник Бомарше обещал отключить воду и, соответственно, канализацию, если его пьеса не будет поставлена на сцене Карело-Финского театра. Театр сдался. После следующей атаки сдалось и Петрозаводское телевидение. Осталось только взять штурмом (отрубить электричество? Канализацию? Или обещать министерский паёк председателю союза писателей Карелии?) Союз писателей. Писатели сдались без боя (в отличие от театра и TV), и вооружённый следующей пьесой си дивант, бывший замминистра, оказался в Ленинграде в должности заместителя главного редактора.

Итак, «бесконечно честный» Геннадий Гор должен был оценить достоинства (и отметить недостатки, если таковые обнаружатся) в огромной рукописи, привезённой в редакцию специальным человеком. Саша Лурье говорил, что это был второй курьер «по понтам», которого он видел. Первым был курьер от писателя Василия Ардаматского. Это был не просто курьер-посланец, а дипкурьер, приехавший в редакцию на мотоцикле. Дипкурьер писателя-чекиста был в коже с ног до головы, а портфель с рукописью (как выяснилось позже изумлённой редакционной публикой) был пристёгнут к могучей лапе дипкурьера наручником.

Глава 3

Утро было разительно несхоже с вчерашним дождём и ветром. Светло-жёлтые стволы стройных сосен светились на солнце, где-то вверху шумел ветерок, заставляя сосны гудеть негромко, создавая едва слышный фон согретой осенним солнцем жизни. Едва Елагин вышел за калитку Дома, через дорогу, не очень торопясь, проскакала белка, оглядываясь и приседая время от времени, будто поджидая кого-то. Это был хороший знак. И электричка проскочила прямо под носом, весело гуднув, даже вагоны её стучали в ритме итальянской тарантеллы.

— Тарантеллы? — удивился Геннадий Самойлович. — Итальянской? А что, бывают не итальянские?

Они сидели за столом, щедро накрытым Натальей Акимовной, пили растворимый кофе (дефицит!) с молоком и тёплыми булочками, на которые она была мастерица.

— Вы предлагаете прогуляться в сторону кладбища? — Елагин с Гором всегда гуляли «в сторону кладбища» и всегда обсуждали маршрут. — Я ведь, знаете, не очень люблю ходить к покойникам...

— Боишься, что ли? — поинтересовалась Наталья Акимовна, перекладывая из банки в вазочку земляничное варенье. — Свежее, этого года! — кивнула она Елагину. В прошлый визит доедали прошлогоднее.

— Нет, не боюсь, — Геннадий Самойлович выпил кофе и с интересом смотрел, как варенье, вспыхивая под солнечным лучом, перебирается в вазочку. — Просто

не хочу сегодня думать о печальном. А на кладбище столько знакомых, кажется, пришёл на заседание в Союз писателей. А я этот Союз очень не люблю! — это он Елагину. — Вы знаете, как меня принимали в Союз? Мне сказали, что я очень талантливый, но плохо пишу. — Было непонятно, Гор шутит или говорит всерьёз. — И я решил учиться писать хорошо — это на их вкус, то-есть писать плохо. Я взял... — он положил на мягкую, с хрустящей корочкой, присыпанной тмином, булочку варенье и, зажмурившись от удовольствия, принялся медленно жевать. Несколько тягучих капель упали на скатерть и белоснежную рубашку. Наталья Акимовна тут же подтёрла капли тряпочкой и придвинула варенье к Гору.

— Геннадий Самойлыч так земляничное варенье любят! — Она называла мужа то на «вы», то на «ты». — А вы, Костя, налегайте на варенье, налегайте, а то к завтрашнему дню уж ничего не останется!

Гор мигнул Елагину обоими глазами и запил булочку кофе. Из персональной чашки — огромного тёмно-синего бокала с отбитым краешком.

— Я взял, — он ещё дожёвывал, — книгу одной нашей писательницы, она тогда в большой моде была...

— Караваевой Анны, — вставила Наталья Акимовна, любившая ясность.

— Аа-да, да, — кивнул Гор, — её. Положил слева, а справа свою рукопись, над которой работал, и стал учиться.

— Он тогда и матом научился ругаться. — Наталья Акимовна стояла возле плиты, сложив руки под грудью. — До этого-то слова дурного от него не услышишь!

— Да-да, — мелко кивал Геннадий Самойлович. — Но не только из-за неё. Я тогда сразу несколько книг читал, учился! — он почти неслышно засмеялся. — И приняли! И даже хвалили!

— Хвалили, да не очень-то печатали, — прокомментировала Наталья Акимовна.

И, не дожидаясь пока мужчины закончат завтрак, принялась убирать со стола. Она надела на мужа курточку, пристроила на короткую небритую шею шарф и посмотрела, склонив голову набок, оценивая свою работу. Всё было в порядке. Можно выходить на улицу.

— Наташа, Костя сказал, что сегодня тепло!

Гор виновато смотрел на неё поверх очков. Но Наталья Акимовна «имела своё мнение».

— Так будет лучше! — она застегнула молнию на курточке. И, наклонившись — она была выше Гора, — поцеловала мужа в лоб. — Не очень долго гуляйте! А то вчера приезжал один, уболтал Геннадия Самойлыча чуть не до смерти!

— Иван Виноградов приезжал, — сказал Гор, когда они вышли на улицу. Виноградов тоже был членом редколлегии журнала. Но любимым. — Ратовал за рукопись... — он назвал фамилию главного редактора «Мосфильма». — А я её и не читал! — Гор засмеялся, как смеются дети, увидев, что кто-то из мальчишек упал в лужу. — Понимаете, это читать невозможно. А Виноградов просил, чтобы я её редактировал! — Он, смеясь, развёл коротенькие ручки. — Знаете, Костя, что я ему сказал? — он наморщил нос, словно собираясь чихнуть. — Что эту рукопись редактировать никак нельзя. Вы, это я ему, могли бы отредактировать валенок? Нет? Валенки можно подшить, починить, носочки-пяточки приладить, а отредактировать нельзя. Это другая материя!

— Он понял? — тоже заулыбался Елагин.

Гор был похож на весёлого нашкодившего мальчишку.

— По-моему, нет! — Геннадий Самойлович подхватил слетевшие с носа очки и принялся протирать их платком. — Предложил повысить гонорар за редактуру!

— К кладбищу? — Елагин слегка подмигнул Гору. Это была их постоянная шутка.

— Я не тороплюсь! — привычно отшутился Гор и снял с шеи шарфик.

Так он чувствовал себя совершенно свободным. Даже от глаз Натальи Акимовны.

— Пишется? — он принялся лихо размахивать рукою на ходу.

— Так, кусочки отдельные, — отозвался Елагин.

— Ну-ну, — Гор мигнул, как умел только он, обоими глазами.

— В Гори, где он родился, есть развалины крепости на горе, и каждый год двадцать первого декабря мужчины всего селения, это теперь его называют город, выходили ночью, шли в сторону крепости и колошматили в тазы, кастрюли, котелки — шумели до утра.

— Зачем? — удивился Гор.

— Отгоняли злого духа Амарана! Возле крепости лежал камень странной формы, круглый. Ну, почти круглый. Считалось, что Амаран играет им как мячиком.

— А в эту ночь, — сразу догадался Гор, — не сумели отогнать злого духа? И он вселился в новорождённого?

Елагин кивнул.

— Это был третий ребёнок, двое умерли уже. — Они вышли на асфальтовую, покрытую сетью глубоких трещин-морщин дорогу, свернули направо. — Мать обещала отдать сына Богу, если ребёнок выживет.

— Очень, очень интересно. — Гор поверх очков поглядывал на Елагина. — Вы, я надеюсь, здесь не будете роман писать? В Доме творчества?

— Хотя бы начать.

Елагин рассматривал стройные, тёмно-оранжевые стволы сосен. От дальнего верхового ветра сосны слегка гудели, напоминая нестройные звуки оркестра, настраивающегося перед началом спектакля.

— Упаси Господь! — замахал короткими ручками Гор. — С ума сошли, Костя! Зайдёт кто-нибудь, — он оглянулся, — хорошо если случайно зайдёт! Увидит, что вы пишете... Не валяйте дурака, Костя, будьте осторожны! — он в волнении замотал шарфик вокруг шеи. — Там же... хотел сказать половина... нет, не половина, конечно, но полно, полно стукачей, поверьте мне! И штатных, и любителей! Вот этот... — Гор назвал фамилию довольно известного писателя. — Надеюсь, он к вам не лез в друзья? Нет? Полезет, так гоните его к чёрту!

— Нет, — усмехнулся Елагин, — пока что только Илюша Штемлер заглядывал.

— Гоните к бесу, — заволновался Гор.

— Он тоже, вы считаете? — удивился Елагин.

— Нет-нет, ни в коем случае, но он ведь того... — Гор смешно пожал плечами. — Может по глупости сболтнуть. Чтобы свою осведомлённость выказать! Кроме всего, он вампир. Питается чужой кровью. — Гор покивал встречному писателю-велосипедисту. Тот довольно ловко поднял соломенную шляпу и снова водрузил её на голову. — Каждый день носится на велосипеде, — посплетничал Гор, — говорят, ещё и купается на Щучьем озере.

— Вот за этого я бы не поручился! — Елагин покосился в сторону велосипедиста.

— А и ручаться нечего! Вот он-то как раз штатный стукач и есть! Он и не скрывает! Даже гордится! Как Дмитревский! Тому в лагере однажды за какие-то подвиги целый месяц давали двойную пайку «от Ивана». Так все и узнали. Уж он отбивался-отбивался, а после плюнул. Ещё свирепее стал. И стол роскошный красного дерева из «Звезды» утащил. — Гор любил потихоньку посплетничать. — А этот, — он кивнул на велосипедиста, — сейчас усядется донос писать: Гор с Елагиным утром направились в сторону кладбища. Предположительно обсуждали проблемы написания антисоветской литературы.

Елагин засмеялся:

— Геннадий Самойлович, так же нельзя, вы сами себя до сумасшествия доведёте! Если каждого подозревать...

— Каждого, каждого, Костя! Агентом может быть и старушка с детскими глазами, и интеллигент, читающий Юнга и Кьеркегора. Кстати, Костя, вы знаете,

что Кьеркегор был ярким врагом демократии? Я недавно прочитал у него, это так, по памяти, что народное правительство из всех видов тирании — самая мучительная. А? Как вам нравится? Мало того, тирания самая бездуховная, губящая всё великое и возвышенное! Я не помню точно, кроме того, перевод невнятный какой-то, видно, переводчик и сам путался, я уж по-немецки читал, больше толку, но тут он попал в точку: народное правительство — портрет преисподней! Как вам нравится?

— Нравится! Поразительно, что сидел человек у себя в Дании сто с лишним лет назад, а думал почти как мы с вами!

— Это говорит всего лишь о том, — вдруг серьёзно сказал Гор, — что мы с вами сами себе не современники.

Елагин кивнул, вслушиваясь в таинственный лесной гул, словно вершины сосен, подхваченные примчавшимся издадека, с моря, влажным ветром, переговаривались, несогласно мотая головами.

— Весь религиозный экзистенциализм и истинное христианство мир уже проскочил давным-давно. Я ещё застал людей, которых эти вопросы занимали. А сейчас вы можете встретить истинно верующего человека, истинного христианина? Все церкви разбомблены, — Гор дёрнул ручной, словно отмахиваясь от комара. — Сын недавно возил меня в Ростов Великий, — Гор неожиданно достал платок и смахнул слезу, — это притом, что я не считаю, не могу считать себя истинным христианином. Я ведь не крещён! И по еврейскому обряду... сами понимаете... — понизил он голос, будто кто-то мог подслушать. — Но я чувствую Бога, ощущаю Его присутствие постоянно, можно сказать, даже — я на связи с Ним, — он цепко ухватил Елагина за рукав. — Вы не считаете меня сумасшедшим? Нет? Причём не с еврейским Богом, я ведь учился в хедере, а именно с русским, православным! В Ростове, в самом Кремле — центр комсомольского туризма. Там во дворе монастыря полуголые девки играют в волейбол, орут песни под гитару! Знаете, что меня спасло? Нет? Озеро! Неро. Оно спокойное, как было когда-то при основателях монастыря, а вдалеке — лодочка и одинокий рыбак. Я смотрел, не мог оторваться, пока меня сын не увёл!

Их догнала серая «Волга» и притормозила.

— Геннадий Самойлович, Костя, я вас приветствую! — Даниил Гранин опустил стекло, заулыбался своей знаменитой улыбкой. — На прогулку? — И машина покатила дальше.

— Я так перед ним виноват, — съёжился Гор. — Он дал мне рукопись почитать. Я прочитал, а отзыв написать всё не соберусь. Рука не поднимается. Данила сказал, это первая повесть о любви в его творчестве. Как вам нравится: «в моём творчестве», — Гор неожиданно весело хихикнул. — А повестушка-то дрянь, слабенькая. В любви, оказывается, Данила не очень-то смыслит!

— Вы думаете, кто-то в ней смыслит?

— Данила-то умный, он только думать не хочет!

— Или не может уже?

— Нет-нет, — испугался Гор, — он очень умный! Но философии не знает! — Это был конёк Геннадия Самойловича. — Я с ним хотел о Кьеркегоре поговорить, так он его не читал. И, говорит, читать не буду. Эту мистическую галиматью! А сам по телевизору, я слышал, утверждал, что без Гегеля, Фихте, Канта, Кьеркегора современный человек жить не может! На Гуссерля нажимал! Врал? — Он с детским интересом поглядывал на Елагина. — Врал-врал! А зачем? Как умный человек он понимает, что нынче без философов никак нельзя, не модно. А читать не хочется.

— Лень? — поддержал разговор Елагин.

— Не-ет, — возмутился Геннадий Самойлович, — вот уж чего в нём нет, так это лени! Просто он считает, что вся эта философия в жизни ему не пригодится! Он абсолютный прагматик! В чистом виде! Я ему стал разъяснять философию Кьеркегора, в самом примитивном варианте, конечно, — Гор произносил «варьянте»

и Елагину это нравилось. — Что Бог — это экзистенциальное сообщение, что прийти к истинному Богу можно только через абсолютный парадокс, через качественный скачок, а он только улыбается и смотрит на меня, как на ребёнка, несущего чепуху.

— Он правильно смотрит, Геннадий Самойлович. — Елагин шагнул с шоссе, нагнулся, сорвал осенний жёлтый цветок и принялся его разглядывать. — Гранину это совершенно не интересно. Кьеркегор утверждает, это вашими словами, я просто транслирую, что человек обязан стремиться к полной, абсолютной свободе личности, свободе выбора!

— Да, это так!

— А Гранин, как умный человек, давно уже увидел, что в нашей жизни есть только один выход — мимикрия. Знаете, кто лучше всех владеет мимикрией?

— Из животных или из людей? — серьёзно спросил Гор.

Елагин засмеялся:

— О людях мне судить трудно, я их не очень люблю!

— Когда говорят «не очень люблю», значит, любят. Иначе не признался бы! — Гор тоже улыбнулся. — Я правильно говорю? — это был его постоянный вопросик-присловье.

— Начнём с животного мира. С подводного царства, допустим.

— В таком случае, я думаю, камбала, — задумался Гор. — Нет-нет, — перебил он себя, — какая камбала, осьминог, конечно же!

— Почти угадали, Геннадий Самойлович! Каракатица!

— Так вы думаете, — он даже оглянулся, — думаете, Гранин у нас каракатица? — и мелко засмеялся. — Что чернильный хвост он выпускать умеет для маскировки, это верно!

— Даниил Александрович давно просёк правильный путь и сделал свой единственный выбор. Потому и считает разговоры о свободе выбора детской болтовнёй. Что вам и продемонстрировал.

— Позвольте, Костя, но ведь человек так жить не может! А уж писатель... — Он развёл руками. — Костя, я не хочу о нём так думать! Всё-таки какой-никакой талант у него есть!

Они замолчали, неторопливо шагая по дороге. Красные, жёлтые пятнистые листья осин, берёз, редких клёнов устлали обочину.

— Я тут недавно видел белочку, — сказал Гор, явно желая переменить тему разговора.

— Я тоже, — поддержал его Елагин. — Сегодня утром, прямо возле Дома творчества.

— Говорят, Горбовский приучил белочку, она к нему на второй этаж забирается. Кормит её мясом и орехами, — сообщил Гор.

— Белочку? Не белую горячку? — Горбовский был человек пьющий. — Хороший поэт Глеб, — отозвался Елагин, рассматривая цветок. Он пахнул сыростью, тленом и ещё чем-то, бесконечно печальным. — Талантливый. — Елагин отбросил цветок. — Не устали, Геннадий Самойлович? — они уже дошли почти до кладбища.

— Нет-нет, когда говорю о философии, я никогда не устаю! Вы знаете, многие ищут в философии смысл. Или смыслы, как теперь говорят. А я — нет! — Он игриво покосился на Елагина. — Я в философии ищу только красоту! Мысли! Это самое интересное.

Шурша гравием, свернули к воротам кладбища.

— Сейчас столкнёмся с Граниным, — сказал Елагин, поглядывая на серую «Волгу».

— Нет, мы к могиле Ахматовой не пойдём! А он, — Гор притянул к себе Елагина и сказал шёпотом, — он к другим не ходит. Да и к Ахматовой только гостей водит.

Посидим? — Они подошли к аккуратной скамеечке. — А вы согласны с Кьеркегором относительно пути к Богу?

— Если вы имеете в виду, что к Богу нельзя прийти силой разума, — конечно! А относительно трёх стадий существования личности на пути к Богу...

— Да-да, это очень важно для меня!

— Геннадий Самойлович, после Кьеркегора столько уже написано и пройдено в современной философии...

— Нет-нет, тут я с вами не соглашусь! Философские системы как теоремы в математике — не стареют. Пусть философы шагают дальше, но три стадии существования человека на пути к Богу — это его открытие. И оно никуда не денется. И знаете почему? Он сумел сформулировать главное: философия начинается не от начитанности, не с игры ума, не с удивления, а с отчаяния! Здорово, а? Я это понял, только когда сам дошёл до последней точки, думал — всё, конец! — И стал говорить тише: — Если бы не Наталья Акимовна, меня бы уже не было! Да... Хотел с собой покончить от отчаяния!

Он оглянулся. Возле ворот кладбища слышались голоса, смех. Оттуда даже потянуло вкусным трубочным дымком, один из гостей Гранина — высоченный блондин с ярко-красным шарфом, намотанным на шею, даже с виду иностранец — курил трубку.

— Хотел покончить с собой, — повторил Гор. — И не смог, струсил!

Серая «Волга» с иностранцами уехала.

— Я хочу сходить на одну могилу, — сказал Елагин, поглядывая искоса на Гора.

Тот сидел на лавочке, нахохлившись и бессмысленно, безнадежно глядя перед собой.

— Я хочу сходить...

— Да-да, — вернулся в этот мир Геннадий Самойлович. — Вы не обидитесь, я посижу здесь, на солнышке. Я ведь не люблю кладбищ, а тут... — он смущённо улынулся. — Я как бы и на кладбище, и нет... тут не страшно...

Елагин подошёл к могиле Ахматовой, постоял и свернул правее. Перед этим человеком он всегда ощущал чувство вины. Почему? Бог ведь! Ахилл Григорьевич Левинтон. Когда-то, первым из писателей он прочитал криво-косо настуканные на хромой машинке рассказы о целине. И удивился: «Вы там были? Так пишите же, у вас здорово получается!» И когда Елагин напечатал первую повесть в журнале, Ахилл Григорьевич позвонил, поздравил. «Костя, поздравляю! Мечтаю о встрече!» Тогда, да и сейчас, о встрече с Елагиным никто, кажется, не мечтал. Во всяком случае не говорил ему об этом. И Елагин всё собирался сходить в гости к Ахиллу, так он называл его про себя, потом забывал, вспоминал, ругал себя, но так и не выбрался. Пока однажды, слоняясь по Комаровскому кладбищу, не наткнулся случайно на неприметный камень с надписью: «Ахилл Григорьевич Левинтон 1913—1971». Бухнуло вдруг сердце, замерло, схваченное безжалостной рукой так, что впервые в жизни пришлось вцепиться в железную оградку соседней могилы и постоять, глядя на кричащую надпись: «Ахилл Григорьевич...» со следами воды в неглубоко высеченных буквах. Ах, Ахилл Григорьевич... «Стою я раз на стрёме, держусь за свой карман...» — сколько раз Елагин пел эту песенку, сочинённую Ахиллом Григорьевичем Левинтоном, человеком «с греческим именем, европейской головой и еврейской фамилией», — так он шуточно представлялся иногда, а для своих: «с еврейским сердцем».

На обратном пути Геннадий Самойлович с наслаждением стрекотал что-то о Кьеркегоре, о своих (и его) любимых трёх стадиях существования человека — эстетической, когда человек переживает лишь отдельные моменты, этической — это забота о будущем, но только исходя из взятой на себя ответственности за прошлое...

Гор замолчал вдруг.

— Костя, вы меня не слушаете? Я вам надоел? Вы скажите, я не обижусь!

— Геннадий Самойлыч, слушаю внимательно! — это Гора вполне устроило.

— А третья стадия, можете соглашаться или нет, — когда человек живёт с ощущением вечности. Это и есть стадия религиозная! — Гор смотрел на Елагина бойкими коричневыми глазами. — Пospорьте со мной!

— Ни за что! — Елагин взял Гора под руку, показалось, что того слегка пошатывает. — Ясно только, что Фрейд или Фройд, как вам ближе? — Гор пожал плечами. — Открыл животную природу человека, а Кьеркегор — духовную.

— Да-да, — покивал Гор и замолчал, поглядывая себе под ноги.

Елагин решил, что старик устал, но недалеко было уже и до дома. Наталья Акимовна вышла из калитки и стояла, держась за неё рукой. Гор, увидев её, заспешил, но возле самой калитки остановился, старческой хваткой вцепившись в рукав Елагина:

— Вы правильно собираетесь писать о тиране. Надо-надо, пока ещё живы... — он задумался на секунду, — живы те, кого он... жертвы, — и замолчал, глядя куда-то мимо жены, Елагина, мимо писательских домиков в жалкой пестроте осенней листвы. — Но они вам много не расскажут! — Посмотрел снизу вверх, будто изучая Елагина. — А я хочу написать рассказ или повесть маленькую о Вавилонской башне! Не так давно раскопали фундаменты, там ведь, оказывается, не одна башня была, они зиккуратами назывались, так самая большая, наверно, та самая, Вавилонская, была квадратная, девяносто метров каждая сторона! — И оглянувшись на Наталью Акимовну, шёпотом: — Все говорят, что Бог разрушил её потому, что люди решили, что они, как боги, достанут до небес. Согласны?

— Пожалуй, — неуверенно согласился Елагин. — А что не так?

— Весь фокус, что они строили из кирпича! — торжествующим шёпотом проговорил Гор. — И из цемента, а лозой переплетали вместо арматуры! Из искусственного материала! Сами изобрели и принялись строить! А Бог ничего искусственного не любит, когда дело святынь касается! Ведь башню-то они строили, чтобы Ему поклоняться! — Он потянул Елагина за рукав, чтобы тот нагнулся. — А Советский Союз, — прошептал он в ухо, — Вавилонская башня и есть! — Старик шагнул с помощью Натальи Акимовны на мостик через узкую канавку и исчез за калиткой, не оглядываясь.

Елагин вспомнил, что Геннадий Самойлович до сих пор просит жену перед сном поставить рядом с кроватью чемоданчик с бельём и зубной щёткой. На случай ночного ареста.

Глава 4

От Ситного рынка он решил пройти дворами. Громадный чёрно-зелёный арбуз оттягивал руку, кроме того Елагин забыл, в какую подворотню надо входить, чтобы выйти сначала на Воскова, потом на Кропоткина (Боже, кто их сейчас помнит?), Пушкарский переулок, мимо (нечаянно свернулось) замечательного доходного дома Колобовых на Малую Пушкарскую, а после на Пушкарскую Большую. Пустые дворы, старухи в деревенских платках, беззвучно провожающие прохожего, тихие улочки с безглазыми домами, всех расцветок коты, по-хозяйски сидящие на тёплых солнечных пятнах, возле одного — недоеденная крыса, жалкие деревца, кое-где уцелевшие старые тополя с коричневыми морщинами стволов и облетевшими наполовину листьями, листья лежали, раскиснув, на мокром асфальте, делая его скользким; ряды пыльных окон, без любопытства глядящих в нелепые дворы, без всякого плана расплзшиеся между улочек, неубранные помойки с запахом гниющих арбузных корок, слепленные из старья сараи и гаражи с приоткрытыми воротцами. В них виднелись мрачноватые

мужики с перепачканными отработанным сизым маслом руками и обязательным окурком на губе. Возле гаража на неярком солнышке вытащены старые табуреты, украшенные ржавчиной машинные потроха, напоминающие исполненные современными кубистами останки древних разнокалиберных механических ящеров.

Последние проходные дворы старенького доходного дома с дальним выходом на Большой проспект, дверь рядом с провалившимся в асфальт канализационным люком и две ступеньки перед крутым подъёмом на пятый этаж. На первых двух — содранные кем-то деревянные перила, запах кошек и давнишнего засора канализации. Зато на пятом этаже звонок, он звонит не с первого раза, надо ещё покрутить пальцем, нажимая провалившуюся кнопку, и — далёкие шаги, щёлк выключателя и металлический хруст замка.

— О, арбуз!

— Да-да, и я вместе с арбузом!

Греча, она же Галина Сергеевна Гречкая-Юрьева, доктор экономических наук, прикладывается вкусно пахнущей щекой и удаляется, запахивая халат, по узкому кривому коридору в сторону кухни. Там уютно, убрано, сверкает новенький холодильник — недавний подарок дяди Оскара, и даже что-то булькает на плите.

— Костик, дорогой, как рада тебя видеть, — Греча снова прикладывает мягкой щекой, берёт из пепельницы дымящуюся сигарету, крепко затягивается и садится возле круглого стола.

Как умный экономист она ненавидит советскую экономику и всю жизнь преподаёт её в институте Советской торговли, которую (советскую торговлю) тоже ненавидит. Вместе со всеми профессорами, заведующими кафедрами и просто преподавателями, унылыми вороватыми студентами, универмагами, рынками, магазинами и магазинчиками с запахами плохого мыла и дезинфекции.

— Костик, — Греча, ласково поглядывая на Елагина, выкладывает заранее приготовленную закуску, она знает, что Елагин без спиртного не придёт, заглядывает в кастрюльку с пельменями, которые должны вот-вот всплыть, — как тебе нравится этот гад?

Гадами именуются все её любовники, меняющиеся примерно раз в полгода. Кроме одного, которого зовут Артур Щупак. Он тоже относительно молодой росток советской торговли, но какой-то не очень удачный. Попытавшись однажды стать честным, угодил за решётку, отчего Гречина любовь к нему выросла пропорционально реальным и мнимым страданиям. Он довольно высок, худ, с прижатыми к узкому черепу ушами, смотрит с прищуром, будто знает о тебе гадость, но из ложного благородства не хочет о ней говорить. Сейчас. Он был женат до отсидки, второй раз — после, но отношений с Гречей не оставляет, возникая всякий раз неожиданно.

Водки в квадратной бутылке (новинка советской торговли) осталось меньше половины, спелый арбуз сам собою развалился на неравные части, стоило тронуть его, — он ждал этого ножа. Красно-сахаристые неровные края соблазнительно сверкали в свете резкой электрической лампочки. Прекрасная закуска. А Греча в модных затенённых очках, с сигаретой, яркая помада осталась на всех жёлто-коричневых фильтрах, приплюснутых в пепельнице, была замечательной собеседницей. Во всяком случае, выпив противной водки и закусив арбузом, Елагин принялся рассказывать о будущем романе.

— Почему именно о Сталине? Что нового ты можешь написать о нём?

— Можно подумать, что кто-то знает больше учебника истории первого курса для медучилищ. И то мелким шрифтом. А у меня собирается довольно много материалов. — Елагин вдруг подумал, не зря ли он затеял этот разговор. — Письма разные, воспоминания, кроме того, — опять мелькнуло в голове: «Зря, зря я болтаю!» — пока ещё есть живые свидетели. Они уходят, конечно... надо успеть...

— Костик, — Греча поднялась, чуть качнувшись, — у меня есть дневник моего папы. Ты знаешь, что он был чекистом?

И, не дожидаясь ответа, уплыла в коридор. Слышно было, как по дороге она вошла в туалет, потом проурчала вода, и Греча скрылась надолго.

Елагин любил бывать у неё. Крупная, бельфамистая Греча в вечном халате, с сигаретой в холёной руке существовала в созданном ею пространстве, перемещаясь из комнаты в кухню, сопровождаемая шорохом ткани и запахом дефицитных духов — польской подделкой под «Шанель № 5».

Затренькал звонок, нажимаемый десять раз подряд. Так мог звонить только дядя Оскарчик. Громадный толстый еврей с глазами, глядящими мимо собеседника.

— Костя, я тебя приветствую! — Оскарчик топал, хромал, гремел банками, сложенными в авоську, кричал так, словно Елагин находился метров за тридцать от него, вытаскивал из безразмерной авоськи двух невиданно больших лещей, завернутых в газету, и запихивал всё это в холодильник. — Костя, всё пишешь? — гремел Оскарчик. Его почему-то развлекало, что Костя что-то пишет и, более того, его кто-то читает. — Пишешь? — Он с треском захлопнул холодильник. — А зарабатываешь где? — Умный Оскарчик понимал, что на жалкие писательские деньги жить невозможно. — Гася! — проорал он в сторону коридора, в котором скрылась Греча. — Сейчас придёт Женька Ветеринар, принесёт водки. «Старки»! Настоящей! Что вы пьёте эту дрянь? — И тут же выпил рюмку, протянутую ему Елагиным.

Забавно, но тихий еврей-алкоголик Женька по фамилии Ветеринар был действительно ветеринаром.

Вместо Гаси из коридора появилась соседка Гречи, она же сожительница Оскара, Катя, улыбчивая и хитрая тётка с ямочками на толстых щеках. За эти ямочки её и любил Оскарчик. Так он говорил. То есть кричал, по обыкновению. Вслед за ней возник Женька Ветеринар, маленький, интеллигентно-профессорского вида человек, грузённый бутылками. И почти сразу — Греча с несколькими толстыми тетрадами, перевязанными вылинявшей розовой лентой. Из тех, что когда-то вязали бантами на головах послушных и аккуратных девочек.

— Костя, ты видел когда-нибудь такую водку? — Несколько бутылок «Старки» уже золотились на столе. — Нет? И никогда не увидишь! Её продают только своим. Женька, верно?

Тот молча кивнул, открутил невиданную в те времена винтовую готовку непродвинутой «Старки», поднял стакан, стоявший на столе, внимательно изучил, глядя на свет, засохшие чайники, подул на них, налил себе полстакана и выпил.

— Он может достать почти всё, верно, Ветеринар? — Оскар, развалившись в хиллом, скрипящем под ним креслице, успел хлопнуть по плотному заду протиснувшуюся к раковине Катю, та уже чистила Оскаровых лещей, выпить вслед за интеллигентным Женькой водки и слопать закуску, приготовленную Гречей. — Гася, как ты делаешь эти бутерброды? Сыр с чесноком? Женька, что они тебе напоминают? — Тот промолчал. — Они в точь похожи на черемшу! Костя, черемша — лучшее лекарство от цинги. Вот у меня не осталось ни одного зуба, — Оскар лихо выдернул изо рта розовую мокрую челюсть, помахал ею, демонстрируя челюсть публике, и снова забросил её обратно. — А у него? Женька, покажи зубы! — Женька послушно открыл рот и продемонстрировал зубы. — Костя, это я научил его есть черемшу! Он же загибался на лесоповале! А попробуй найти что-нибудь для жрачки там, где прошли зеки!

— На лесоповале? Он же работал ветеринаром? — удивилась Греча, она сидела рядом с дядей, любовно поглядывая на него.

— Женька? — Оскар повернулся к тихому еврею. Тот голубыми, стеклянными глазами смотрел мимо всех. — Рассказать, как ты стал ветеринаром? — захохотал Оскар. — Гася, ты думаешь, что его фамилия всегда была Ветеринар? — и забросил

в громадную пасть кислой капусты, выставленной на стол заботливой Катей. — Женька, как была твоя фамилия?

Ветеринар покивал, не поворачивая головы.

— Так вот, его фамилия была Беэр-Шэва, я правильно говорю? — он налил себе и Ветеринару водки, и они выпили. Оскар снова схватил волосатой рукой капусты и закусил. Женька повернулся, поискал что-то на столе, взял с тарелки Оскара остаток бутерброда и откусил микроскопический кусок.

— Вот так он ел всегда! — Оскарчик хлопнул друга по плечу, отчего тот слегка осел на бок. — А скажи, Костя, скажи как писатель, хоть один человек в лагере смог бы выговорить фамилию Беэр-Шева?

— Это древний город, — неожиданно сказал Ветеринар, по-прежнему ни на кого не глядя. — По-русски его переводили как Вирсавия.

— О, проснулся, — прокомментировала Катя, обнимая сзади маленького Ветеринара полными руками, — заговорил!

— А что делать человеку с такой фамилией, Костя, это я тебя как писателя спрашиваю. А? Правильно! На переключке майор наш, начальник лагеря Шапошников, начал было читать-мучиться, а я ему и крикнул: «Ветеринар он!» — Видно было, что Оскарчик не впервой рассказывает эту историю, не теряя при этом удовольствия. — Шапошников обрадовался, как... — он задумался на секунду, — как школьник, если ему голую жопу показать! Кричит: «Где, мать-перемать, ветеринар? У меня собаки дохнут, а вы, сучары, ветеринара на общие гоните? Где ветеринар?» — Оскар был в восторге от себя. — Я его и вытолкнул. Верно, Женька? А по фамилии как? — это Шапошников. Я для смеха кричу — тоже Ветеринар!

— Я всю жизнь собак боялся, — вдруг сказал Ветеринар, не обращая ни к кому. — А там собаки, — он помотал головой, — зверюги!

— Я боялся даже смотреть в их сторону! — Оскар отвлекся от леща, который уже скворчал на сковородке расторопной Кати. — Поперчи, поперчи как следует! — Он выхватил из рук Кати деревянную перечницу-мельничку. — А? У кого ещё есть такая? Это мне прислали из Америки! Я сразу отнёс к одним евреям в кооператив, говорю: «Евреи, налаживайте выпуск таких мельниц, так вы озолотитесь!» Нет, они делают жестяные накладки на гробы и не хотят ни о чём думать! — И с грохотом уронил мельничку на пол. — Я боялся смотреть в их сторону, такие зверюги, а он пошёл! Течных сук специально выпускают в тайгу, чтобы их волки трахали!

— Захочешь жить, пойдёшь, — прокомментировал бывший Беэр-Шева. — У них была парша, чесались так, что рвали когтями мясо до кости!

— Ты расскажи, расскажи, как ты их лечил.

Оскарчик успевал всем подлить старки, выпить и даже утащить со сковороды громадный кусок леща.

— Оскарчик, он же ещё не готов! — Лещ был обжарен с одного бока.

— Зато Оскарчик готов, — вставил Беэр-Шева, закусывая остатками бутерброда с тарелки Оскара. — Я вспомнил, как моя бабушка лечила овец припарками из отрубей...

— Костя, а ты можешь представить, как это в Ветлаге раздобыть отруби? А майор Шапошников раздобыл!

— Он любил собак, — кивнул ветеринар.

— Я эти отруби жрал за милую душу. — Оскар налил, и они впервые чокнулись с Беэр-Шевой. — Женька меня ими спас, я бы сдох раньше собак!

— А паршу я им вылечил! — кратко сказал Женька Ветеринар, он же Беэр-Шева.

— Ты лучше руки покажи! — Оскар, с треском развернувшись на хилом креслице, схватил со сковородки кусок леща и бросил его в тарелку другу. — Закуси, Катя подперчила как ты любишь!

Беэр-Шева покорно поднял рукав. Руки от кистей до локтя были покрыты страшными шрамами. Только сейчас Костя заметил, что на левой кисти нет двух пальцев.

Оскар перехватил его взгляд:

— Это от собак, — собаки, верно, Женька? Отожрали два пальца!

От громадных лещей на тарелках поблёскивали остовы, водка на столе почему-то не убавлялась, хотя две-три пустые бутылки Катя поставила в угол, под раковину. Из старого бронзового крана, нашёптывая что-то, всё время подтекала вода. Ветеринар Беэр-Шева слезящимися стеклянно-голубыми глазами смотрел на экран не включённого телевизора. Оскарчик единственным видящим глазом косился на Елагина.

— Почему вы все, писатели, против советской власти? — Очки сползали с толстого потного носа, он их подхватывал, надевал снова и опять ловил. — Я лично очень даже за советскую власть. Сказать почему?

— Почему? — неожиданно вскинулся Ветеринар. — Я тоже против!

— Потому что я был в Америке! Не верите? — Оскарчик неожиданно к месту и не к месту стал вставлять какие-то словечки. Как он думал, американские. — Я в двадцать четвёртом году эмигрировал ту май лав Америка! Вместе с братьями Лёвой и Зямой. И ещё четыре сестры, их можно не считать. Ихнее правительство, гавемент, пригласило евреев. А я был комсомолец из комсомольцев! Я не эмигрировал, а поехал строить для этих шлемазлов коммунизм. Мои братья Лёва с Зямой пошли на апойтмент, у них же было образование. А со мной даже не стали разговаривать. Я им про комсомол, а они — какой каледж закончил! А? Меня ж после этого апойтмента на работу никуда не брали, я ночевал с неграми под мостом!

— Оскарчик не врёт, — подтвердил Беэр-Шева, не отрываясь от мёртвого экрана телевизора.

— Золст лэбм — обэр нит ланг! — уставился на друга Оскарчик.

— Дядя, что вы ему сказали? — попробовала перекричать его Греча.

— Он сказал: «Чтоб ты жил, но недолго», — меланхолично заметил Беэр-Шева. — Он всегда умеет перебить мою мысль!

Они, не чокаясь, выпили, одинаково нюхнули кулак и задумались.

— Ты хотел сказать, как тебя из Америки выперли, — наконец сказал Ветеринар.

— Да, — неожиданно согласился Оскарчик, — мне сказали, что такого дерьма, как комсомольцы, у них у самих достаточно. Зато я плыл до Одессы на таком лайнере! За ихний счёт! Гася, ты представить не можешь, цельный дом. И ещё это... — он через стол оставил палец на Ветеринара. — Женька, как называется, когда можно жрать всё что хочешь?

— Шведский стол, — с интонацией заводного человечка сказал Беэр-Шева.

— Он, Гася, — это раскрасневшаяся от водки Катя — Грече, — он сколько ни выпьет, памяти не теряет!

— Да, — обрадовался Оскарчик. — Можно было жрать хоть цельный день. Но ты думаешь, что я только и жрал на этом лайнере? — Он почему-то говорил «лайнёре». — Там был один еврей, он меня научил делать толь. Костя, вы знаете, что такое толь?

Елагин едва сидел, то и дело роняя голову на грудь. «Старка» своё действие оказывала. Лампа в жёлтом стеклянном абажуре, недавнее приобретение Оскарчика, расплывалась и стреляла тонкими лучиками.

— Толь... толем... толью кроют крыши, такой материал...

— Он знает, что такое толь?! — Оскарчик повернулся к Кате, кресло под ним трещало и шаталось. — Катя, что скажешь? Толь, шейгиц¹ — любовно сказал

¹ Босяк (*идиши*).

Оскарчик, — кормит меня всю жизнь. Я таки имею свой кооператив и имею свою жизнь, верно, Катя?

— Ахухим аид, — вставил, не повернувшись, Беэр-Шева.

— Оскарчик, что он сказал?

— Гася, тебе ещё рано это знать про своего дядю. Он сказал «хитрожопый аид!» — Оскарчик уставился на тетрадки, переплетённые бантиком. — Ты хочешь дать этому пурицу дневники своего папы? Папа у Гаси, — Оскарчик строго смотрел на Елагина, — служил в НКВД. Вы знаете, Костя, сколько разных балабустов¹ он отправил кой-куда? Нам с вами не сосчитать! А меня с Гасиной мамой Софочкой он таки спас. Теперь скажите, почему спас? Только не слушайте майсы про еврейскую родню! Отправляли родных евреев куда надо за милую душу! — Оскарчик налил по полстакана старки, кряхтя поднялся, Катя с трудом ассистировала ему, и сказал со всей возможной торжественностью: — Выпьем за Сергея! Он не отправил меня в тридцать седьмом году куда Макар... — Оскарчик повернулся к Беэр-Шеве: — Правильно будет — Макар?

Тот кивнул.

— Макар телят не гонял, потому, что я был настоящий ёлд² и настоящий комсомолец, а он — коммунист!

Глава 5

Татьяна Николаевна Глебова играла на скрипке. Это священный акт. Не просто мешать или разговаривать (не дай Бог перешёптываться), а даже передвигаться по квартире запрещено. В живописи она слышала и рисовала музыку, в музыке видела свою жизнь, родителей, имение Коротнёво Мологского уезда Ярославской области, гимназию Стоюниной на бывшей Кабинетской 20, ныне улице Правды, годы учёбы и работы с Павлом Филоновым, таинственную, длиною в сорок лет, юношескую дружбу с Алисой Порет, страстный, долгий, мучительный роман с органистом Исайей Браудо, счастливый брак с Владимиром Васильевичем Стерлиговым, особо почитаемым в доме, собственную старость и благородную нищету.

Татьяна Николаевна, строгая, коротко стриженная опрятная старуха, всегда играла соло и всегда в дальней комнате, уставленной картинами, мольбертами с незаконченными работами, заваленной альбомами с рисунками и акварелями. Играла она долго, иной раз часами, прерываясь только на перекур и розыск нот, постоянно падавших с пюпитра. Игрался всегда Бах. Скрипичные сонаты. Скрипичные партиты, объединённые с сонатами в огромный *opus* из шести многочастных произведений. Один из шедевров Баха. Шедевр для скрипки без сопровождения (*Senza basso accompagnato*). Структура, именно структура (это важно!) настоящего «цикла циклов», поясняла Татьяна Николаевна, свидетельствует об особой «органичности замысла». Едва ли кто-то из слушателей мог прочувствовать органичность замысла. С возрастом, признаться, игра её не улучшалась, гости иной раз засыпали или подрёмывали под скрипку, несколько по-ученически, но горячо оплакивавшую утёкшую и утекающую жизнь.

Елагин был среди «допущенных» и приближённых. В дом, вернее, в мастерскую Татьяны Николаевны и Стерлигова, Елагина привёл Геннадий Самойлович Гор, страстный поклонник формалистического искусства, ярких красок, живописной смелости, формы, цвета. Поклонник и коллекционер. Сколько позволял скромный доход. Елагину было неловко бродить долгое время среди акварелей, холстов без рам,

¹ Больших начальников (*идиш*).

² Идиот (*идиш*).

глазеть на них и уйти, не купив хоть что-то, чтобы поддержать художников. Денег не было, но на последние пятьдесят рублей он купил небольшую акварельку: яблоко странного цвета и формы на наклонившемся сиреневом столе. Яблоко, нарушая законы физики, не падало. В кособоком разрезе его виднелись лиловые семена и капли то ли сока, то ли пота, проступившие на мякоти. Гор пришёл в восторг, утверждая, что Елагин выбрал лучшую картину. Глебова тоже одобрительно и ласково кивала. Так, неожиданно для себя, Елагин стал знатоком живописи и был «допущен в дом». Для Татьяны Николаевны, наследницы старинного дворянского рода, само понятие «дом» было особым.

Гораздо больше любил Елагин слушать записи Марии Юдиной. Для этого собирались специально, народа приходило много: какие-то старухи в шالях, взлохмаченные молодые люди, нервные девицы с сигаретами в руке, несколько знакомых лиц, близко Елагин знал только подпольного философа, как он сам себя именовал, Якова Друскина, рядом с которым всегда садился. Если кто-то из молодёжи (чаще Мишка Шемякин) не опережал его. Слушали никому не известных тогда Хиндемита, Артюра Онеггера, Мессиана, Игоря Стравинского.

Стравинского и Хиндемита Мария Николаевна любила больше других, раздобывала за бешеные деньги зарубежные пластинки, насторожённо смотрела, как Стерлигов ставит пластинку на проигрыватель, подаренный, кстати, Гором, и замирала, сидя в полутьме. Светился только кончик сигареты. Однажды почти удалось послушать и саму Юдину. Рыхлая, встрёпанная старуха в разбитых кедах на отёкших ногах, в бархатной рясе, с крупным нагрудным крестом, прошла не здороваясь к роялю, взяла, не присаживаясь, два аккорда, матернулась (или так послышалось?) и отказалась играть. Рояль был расстроен. Зато полвечера пила потихонечку плохой коньяк и говорила о Франциске Ассизском. Кто-то спросил её, правда ли, что Сталин услышал по радио её 24-й концерт Моцарта и потребовал пластинку. Старуха огрызнулась, сказав что-то вроде: «Не знаю такого, он музыку не писал», и снова, вцепившись в разговорчивого искусствоведа Всеволода Николаевича Петрова, вернулась к философии святого Франциска.

Елагин сбоку видел только её пепельно-седые лохмы, какие-то тряпки, свисавшие из-под рясы, и тяжёлую, набрякшую руку. Говоря, она шевелила пальцами, как шевелит пальцами мастеровой, плотник, рассказывая, как он ловко изладил незадавшийся сразу угол сруба. О святом Франциске Елагин тогда не знал ничего, просто слушал старуху, поражаясь напору, с каким она говорила, и мгновенным, резким ответам на реплики Якова Друскина. Кажется, Друскин утверждал, что святого Франциска переписывают время от времени, сообразуясь с требованиями эпохи. «Не умничайте, Яня, — сказала Юдина, странно закинув голову. Словно косилась в потолок. Позже такое движение он увидел у огромного филина в зоопарке. — Не умничайте, а читайте в подлиннике. Могу подарить, мне прислали из Рима, из папской библиотеки». «Из папской библиотеки» — это поразило.

— Я достаточно умничал в ссылке, — глаза Друскина вспыхивали, стоило ему повернуться в сторону Юдиной, так были расставлены старинные лампы.

— А помните, Яня, я прислала вам в Якутию пластинки Шенберга?

— Конечно, — засмеялся, словно закашлял Друскин. — Пластинки дожидались зимника, летом туда не было дороги. Я их слушал в школе. Вместе с учениками. Потом дети рассказывали мне, что за дверью подслушивал самый главный шаман Якутии. Он стеснялся войти. Но Шенберг привёл его в такой восторг, что «Лунного Пьеро» шаман исполнял на хомусе. Хомусам, кстати, пять тысяч лет. И меня называл «лунный шаман», утверждал, что видит моё лицо, когда играет «Лунного», просто «Пьеро» не мог выговорить... Потом мы с ним сошлись на том, что мир возник из точки и в точку же превратится, хотя это в полном несоответствии с якутской версией...

— Яня, я решительно отвергаю ваши математические бредни о начале и конце мира, решительно. Бог создал мир, и пока люди не поймут это...

— Мария Вениаминовна, а что же такое Бог, позвольте вас спросить? Неужели это более чем странное изображение на доске? Которое вы так разыскивали и которое, по-вашему, должно висеть непременно первым? Или это тоже сложная метафора, коими, по-вашему же, изъясняются все религии?

Дело в том, что Юдина, войдя в мастерскую Глебовой, уставилась на небольшую икону Богоматери, перекрестилась и повернулась к хозяйке.

— Марья Николавна, а где Иисус?

— Там, — Глебова махнула рукой, — в кабинете!

— Он должен быть здесь! — Юдина указала на стену. — Первым!

Вот и теперь в ответ на реплику Друскина она на мгновение задумалась.

— Бог — это высшее личностное существо, отдельное от мира... Так, во всяком случае, сформулировал один умный человек. Лучшее, что я слышала о Боге! Высшее — это очевидно и не требует пояснений, личностное существо — это живая сущность, которая вступает в контакт, в сношение с нами, с каждым из нас, и в то же время — отдельное от нашего мира. Никаких антропоморфных бредней! Боги как люди, люди как боги, боги совокупаются с людьми... Ересь!

— Это вообще не из богословия, не из философии, это каббалистическое утверждение! — вспыхнул Друскин.

— Тише, — подняла руку Юрьева. — Слушайте музыку, слушайте! Наш «Лунный Пьеро», — она хмыкнула, и было непонятно, смеётся она или плачет.

Ещё запомнилось из долгих разговоров разве что: «Начни делать необходимое, затем возможное, и увидишь, что уже делаешь невозможное». Запомнилось потому, что Гор, спускаясь по тёмной лестнице и схватившись дрожащей рукой за рукав Елагина, несколько раз повторил афоризм (так Гор именовал высказывание святого Франциска). «Я несколько раз в жизни, — Гор шаркал, нащупывая ногой ступеньки, — пытался следовать этому изречению. Первый раз — когда мне было четырнадцать лет. Последний — совсем недавно. И каждый раз не удавалось!» — Они вышли на улицу, сеял мелкий дождь, Гор смеялся, протирал очки и по-детски морщился от капель, разбивавшихся о жестяную крышу крыльца.

Глава 6

Саша (Самуил Аронович) Лурье был, по обыкновению, печально-ироничен.

— Едва спасая от Мануйлова. — Они с Елагиным вышли из Дома творчества и направлялись в сторону станции Комарово. — Виктор Андроникович всё пытался проводить надо мной опыты по хиромантии. — Саша прикурил, прикрываясь полкой лёгонького плаща от ветра. Под мышкой он держал папку с рукописью. — Я дал Даниле почитать своего Писарева.

Имелся в виду многострадальный роман «Литератор Писарев», который Саша сначала никак не мог дописать («Он, Писарев, вызывает у меня отвращение, а по всем канонам литературы я должен любить героя»), а потом издать. Сейчас, как представлялось Саше, был удобный момент: журнал «Нева», в котором Лурье был редактором отдела прозы, печатал очередную повесть Даниила Гранина.

— Я ему всунул рукопись полгода назад, он отбивался, как мог, — Саша был доволен собой. — Понимаете, Костя, он будет в дураках при всех обстоятельствах! — и хитро поглядывал на Елагина. — Сказать, что это плохо, он не может, — раз, всё-таки я его редактирую; сказать, что не может написать рецензию или хотя бы частное письмо, — неловко, мы же интеллигентные люди; просить Попова

(главного редактора «Невы») печатать роман — не будет, чем явит свою подлость. Таким образом — со всех сторон в дураках.

Елагин проводил Сашу, распрощались возле станции, — Лурье отправился к даче Гранина: тот попросил Сашу заодно помочь закрыть окна ставнями. На зиму. Саша видел в этом хороший признак: не будет же Гранин просить редактора отдела прозы навешивать ставни на окна, если для него нет хорошей весточки? Тем более — роман о Писареве, где ни намёков, ни подвохов, чистая литература. Биография. А уж писать Саша умел! Как умел и по-редакторски читать, схватывая текст целиком и потом разбирая его, как женщины разбирают принесённые с поля цветы, чтобы сложить из них букет, или опытный восточный искусник-повар разбирает руками волокна мяса, пальцами чувствуя плотность и упругость его, а может быть, даже и вкус будущего кухонного шедевра, который изумлённые гости будут поглощать, переглядываясь и не понимая, что же они едят, что за таинственные вкусы заставляют трепетать ноздри, обволакивая небо, возвращая забытое, исчезнувшее древнее наслаждение от еды, пищи, вкушения чьей-то бывшей жизни, руками кудесника превращённой в жизнь твою, сегодняшнюю. Саша умел насладиться текстом, словом, внутренним звучанием, ритмом, пластикой фразы, умел отбросить с кривоватой улыбкой знатока её подпорченную, прогнившую изнанку или заношенный, как старая портянка, оборот. Он любил и получал физическое, может быть, наслаждение, найдя, что было нетрудно, в рукописях современных классиков глупости, враньё, неумение пользоваться словом. И с профессиональным тактом подчёркивал фразы, правил их, оставляя классику решить, — так ли надо? — а на деле тыча его носом в протухший продукт привычных ко лжи мозгов. Замечали ли они эту издёвку? (А может, и комплексы самого Лурье?) Скорее да, потому и не очень любили Сашу, чувствуя его недосыгаемость: совал носом в их собственное дерьмо с деликатным упорством, с лёгкой иронией и милой интонацией опытного врача: потерпите, родной, сейчас вам будет немного больно! И втыкал (вонзал, вонзал!) ядовитые иглы под ногти классиков.

Елагин вернулся в Дом творчества, поднялся к себе в номер, стараясь не прислушиваться, как стучит машинка в комнате Штемлера. Тот с упорством дятла и ловкостью паука плёл свои ловчие сети для выживающих умом интеллектуалов, читающих между строк и находящих много смелости в липких ячейках, напоминающих жизнь, как напоминают запахи цветов и луга отдушки для общественных туалетов. Дамы обожали его намёки на семейные тайны цариц и царей нынешнего высшего света, девицы искали и с разочарованием не находили обещанных в аннотациях «откровенных сцен». Вместо них Илюша отделялся троеточиями.

Но Елагин, слыша стук машинок из-за дверей писательского дома, всегда чувствовал себя как цыган на рынке: все торгуют, куют что-то, продают, а у тебя и продать нечего, хоть вору!

Он заперся, оставив в замке ключ, — наивное представление интеллигента: если ключ не вытасен, замок открыть невозможно. А если просто высадить хилую дверь плечом?

На крышке чемодана, подаренного когда-то московскими тётушками, был почти незаметный карман, и Елагину хотелось думать, что это знаменитое так называемое второе дно. В потайном кармане хранились несколько листков фотобумаги с плохо различимым машинописным текстом. Листки эти Елагин привёз из Москвы. Незвестная девица, довольно хорошенькая, впрочем, передала («Вы знаете, от кого!») тонкую папочку в вагоне метро, в котором они условились встретиться. Зачем нужны были эти ужимки конспирации, Елагин не понимал, но относился к ним как к должному. Пусть играют!

Читать было неудобно, глянцевые листки отсвечивали, бликовали, кроме того, сам машинописный текст был, видимо, каким-то третьим-четвёртым экземпляром в закладке, то-есть полуслепым изначально. Это была исповедь-откровение старой

большевички Ольги Шатуновской. Той самой, что возглавляла комиссию по расследованию сталинских злодеяний. Материалы комиссии надолго легли в каких-то кабинетах, а воспоминания всё ещё энергичной старухи-большевички распространялись самиздатом. И очень беспокоили нынешние, как их стали называть, правоохранительные органы. Совсем недавно ещё говорили просто «органы», и всем было понятно. Время, однако, требовало, как казалось властям, перемен и пояснений, и органы превратились в «правоохранительные».

Видно было плоховато, но если удачно повернуть настольную лампу со следами чьих-то пальцев на чёрном пластиковом куполе, то прочесть текст было возможно.

Про Сталина в восемнадцатом году

О том, что Сталин, тогда ещё Коба, был агентом охраны, действовавшим в Закавказье, писал Ной Жордания в книге, изданной за границей. О том, что Сталин — провокатор охраны, говорил Степан Шаумян в 1918 году, когда я была его секретарём и присутствовала на созываемых им совещаниях.

Троцкий отдал Сталину приказ — немедленно направить на спасение Бакинской Коммуны дивизию Петрова. Сталин отправил дивизию в совершенно другом направлении. Самого же Петрова с небольшим отрядиком в несколько десятков человек и парой пушек он отправил спасать Бакинскую Коммуну. Когда руководители Бакинской Коммуны, встревоженные прибытием столь незначительных подкреплений, собрались у Степана Шаумяна, он сказал: «Вы ожидали, что Сталин будет вас спасать? Ничего подобного, он хочет вашей гибели. Это — агент охраны».

Существует две версии о поведении Сталина в дни Октябрьского вооружённого восстания: одна, что Сталин куда-то стушевался, отошёл на второй план, и версия Троцкого, что он просто бежал из Смольного, где-то прятался и прекратил информировать Ленина о происходящих событиях, что ему было поручено.

Обе версии неверны. Сталин никуда в дни октября не бегал и отнюдь не стушевался. С докладом, направленным против Ленина и Троцкого, он, оказывается, против решения ЦК от 16 октября выступал перед большевистской фракцией собиравшегося в те дни Второго Съезда Советов. Доказывал он, что восстание преждевременно, что не надо торопиться. Этот доклад Сталина перед большевистской фракцией РКП(б) на втором съезде Советов записал со стенографической точностью делегат от Ростова Жаков, старый большевик. У политкаторжан был журнал «Красный архив», там он опубликовал свою запись в начале двадцатых годов.

Сталин об этом знал и дождался своего часа. Жакова схватили и в одночасье расстреляли. Это я установила, когда работала в Комитете партийного контроля. В 1937 году, когда Жаков уже жил в Москве, за ним приехали сотрудники НКВД и без суда и без каких-либо объяснений расстреляли. Это было сделано по приказу человека, который обладал феноменальной памятью и ничего не забывал.

О нём сказал Буду Мдивани перед казнью, отказываясь дать ложные показания: «Вы убеждаете меня, что Сталин обещал сохранить старым большевикам жизнь? Я знаю Сталина тридцать лет. Он не успокоится, пока не перережет нас всех, начиная от грудного младенца и кончая слепой прабабушкой!»

Мдивани отказался оклеветать себя, и был расстрелян.

Кажется, действительно стоило прятать этот текст. Елагин поднялся, зачем-то подёргал запёртую дверь и снова сел к столу. В голове вдруг закрутилось: какого чёрта я ввинчиваюсь в это дело? Кому нужна эта «настоящая» биография тирана? Сколько надо ездить, сидеть со стариками, путающимися в именах и датах, врать в архивах, выуживая из параллельных дел что-то нужное, прятать заготовки романа от «всевидящего друга», который «всегда со мною»? Зачем? Чтобы кто-то из будущих читателей, может, и найдутся такие, лениво открыл толстый том, зевнул и отложил его? Или попасть

в сноску академического издания: «Такой-то, роман, год издания...» Кстати, а какой год издания? Кто тебе сказал, что твой роман будет хоть когда-то издан? Невиннейший «формалистический» (ах, ах!) роман Гора «Корова» тридцать лет валяется в рукописях, рассованных по знакомым, желательнее не связанным с литературой, чтобы на них не пала тень, а ты хочешь...

Елагин вспомнил московский визит, переулочек в районе Сретенки со смешным названием Последний, впрочем, может быть, это был другой переулочек, кажется, Большой Сергиевский. Кривой, падающий к Трубной улице переулочек с московскими проходными дворами, несхожими с питерскими, какие-то деревянные домики, похожие на дровяные сараи, галерейки с вывешенным на перила разноцветным женским бельём, хрустящим на морозе, подвал с кислым облаком жилья, скипидара, лакокрашочной химии, водки, закуски, стоящей на столе третий день, чавкающие двери, ступени то вверх, то вниз и большущая (или так показалось?) комната, ярко освещённая несколькими лампами, две — без абажуров, на одной прогоревший и пожелтевший в месте прогара бумажный растрёп-колпак, человек, спящий на полу почти под столом, за которым сидят веселящиеся люди, — пир! — а вокруг — картины, крутой замес цвета, линий, людских и лошадиных глаз, картины с толстыми тётками, написанные красным, жёлтым и синим, холсты с осыпающимся грунтом, сваленные в углу, листы акварелей с равнодушным котом, спящим на них, в дверном проёме без двери виднеется печатный станок, за которым полуголый человек делает оттиски и рассматривает, сбросив очки со лба на нос, далеко отставляя руку, дым, вьющийся вокруг ламп, две полупьяные красотки и огромный, высоченный человек с вьющимися чёрными волосами, падающими на лоб. Две длинные чёрные тени от ярких ламп пересекаются за его спиной. «Меня убить хотели эти суки...» — гремит человек, опираясь рукой на стол. В другой — полстакана водки. Это знаменитый писатель Юрий Домбровский.

— Налейте ему, — командует хозяин, обнимая молоденькую девчонку. — Я его знаю, питерский литератор, — он с трудом выговорил «литератор». — Елагин его фамилия, Стерлигов прислал. Садитесь, Елагин, как вас звать-величать? — по-светски проговорил хозяин. — Константин? Девчонки, налейте Косте водки.

Пить не надо бы, но и отказаться невозможно. Потом читали наперебой с Домбровским стихи, он обнимал Елагина, радовался, что тот помнит и любит Веневитинова:

— Как, вы помните «К друзьям. В Новый год»?! — И сам загремел прекрасным басом: — Друзья, настал и Новый год, забудьте старые печали, и скорби дни, и дни забот, и всё, чем радость убивали...

От второго и почти сразу третьего стакана Елагин быстро опьянел, опять читал стихи, обнимался с художниками, Домбровским, даже пел что-то под гитару, извлечённую из угла с акварелями. Кот нагло и недовольно мяукал, иногда попадая в ноты. Отметил, как старый художник исчез с красоткой в соседней комнате, той, с печатным станком, и вскоре появился совершенно голый, придерживая рукой длинный член, вывалившийся из пучка чёрных волос.

— Не стоит, — сказал он довольно равнодушно, как бы констатируя факт, — не хочет. А она, б... — матернулся старик, — лежит как бревно. — И пояснил, бросив на произвол судьбы причинное место и разведя руки: — Пьяная в хлам.

Среди общего шума, бряканья гитары особо выделялся храп спящего в углу человека.

— Толька Зверев, — пояснил голый хозяин. — Гениальный художник. Мы все, — он обвёл рукой со стаканом, водка разбрызгивалась, но он не обращал внимания, — не стоим одной его работы. Все! Потому что он гений, а мы... — старик задумался. — А мы, кроме Юрия Осипыча, дерьмо рядом с ним. Ты не думай, Костя, — вроде бы спохватился он, — что Толька Зверев пьяный. Нет, он сегодня трезвый, как стёклышко.

Просто устал. Я ему говорю, приляг вон в той комнате, там диван, а он — нет, люблю на полу спать. Завалился на холсты и спит. И вот так всегда. Даже когда трезвый.

На долгий, резкий звонок встал, качнувшись, только восточного вида друг хозяина. Он сидел с картонкой на коленях, пил со всеми и рисовал углем портреты, остро поглядывая на присутствующих.

— Менты идут, — пояснил он, — шас бабки вымогать будут. Будто мы кому-то мешаем, шумим.

Но вместо ментов в комнату вошёл высокий, плотно закутанный в пальто человек с глубокой морщиной, будто шрамом, меж бровей.

— А, — пьяно поднялся из-за стола Домбровский, — Александр Исаич, мы тут слегка... немножко... заходите!

— Я думал, вы пригласили меня для серьёзного разговора, — медленно, скрипучим голосом проговорил человек. — Юрий Осипович, вы держите себя недостойно вашего таланта! — и вышел, по-солдатски повернувшись кругом.

— Кто это? — спросил Елагин.

— Солженицын, писатель такой, — как бы отмахнулся хозяин. — Второй раз приходит, хочет Домбровского трезвым застать, — и скорчил печальную мину. — Хочет, а никак. Не может!

Неужели именно тогда и пришла безумная мысль написать книгу о тиране? Это какой-то катакомбный Рим! Талантливейшие люди встречаются в гнусной, пропахшей всеми запахами тления, распада, разврата «мастерской», где кот прячется от крысиных полчищ, запрыгивая на руки хозяину, а тот, не отвлекаясь от работы, швыряет в угол башмак и пишет, пишет уродливо-сумасшедше-красивые портреты, райские пейзажи, где пасутся скорбные коровы с человеческими глазами, а голуби мира с орлиными когтями, вцепившись в холки коров, выклёвывают мозг, где писатель, известный всему миру, пьёт, заливая водкой бессилие изменить страшный римский порядок, а тот, в ком есть силы бороться, смотрит на эти катакомбы с презрением пророка?

Может быть, тогда, в этой «выгребной яме русской культуры», по словам Домбровского, и почувствовал он, Елагин, писатель средней руки и среднего таланта, дыхание страшного тоннеля вечности, вдруг ледяным холодом дошедшее к нему, ощутил свист безумного полёта вдоль гулкого тоннеля, мелькание каких-то размазанных скоростью огоньков? И хищный треск клювов железных птиц, мчащихся навстречу. Они хватили малюсеньких, не больше утёнка-чирка, людишек, летевших впереди, слева, справа, рядом, не сумевших увернуться, и заглывали их десятками, давясь и шёлкая клювами.

Жаль, жаль, что не захватил из дома очков, без них трудно разобрать текст. Блики от лампы тоже мешают. Надо будет положить листки фотобумаги под какой-то пресс: если они не будут сворачиваться в трубку, читать будет легче.

Сталин и Орджоникидзе в Грузии

Нина Лордкипанидзе не любила Хрущёва и говорила мне: «Мы, грузины, никогда не забудем, как Хрущёв убил девяносто грузинских юношей. Мы никогда этого русским не забудем. Когда Хрущёв разоблачил Сталина, они хотели захватить радиостанции, связаться с ООН».

«А как Сталин расстрелял шестьдесят семь тысяч, это вы забыли? Расстрелял. А посадил ещё больше».

Рассказывают, что когда Будо Мдивани вела на расстрел, он кричал по-грузински: «Убейте меня, стреляйте, я это заслужил, это я их сюда привёл!»

В двадцать первом году Сталин и Орджоникидзе возглавляли террор в Грузии. Красная Армия свергала меньшевистское правительство и устанавливала советскую власть. Грузия была за меньшевиков и восставала. Они жестоко расправлялись.

Леонид Жгенти рассказывал — когда он был учеником школы, один раз заболел и отпросился у врача домой. Когда вышел из школы, она была окружена НКВДэшниками.

«Стой, ты куда? — А у меня живот болит, меня врач отпустил домой. — Никуда не пойдёшь, стой тут».

Но он всё же не стал стоять, потому что ему было совсем невозможно, и побежал. Тогда он не понимал, а потом говорил, спасибо вслед не выстрелили. А те вошли в школу, велели всех учеников выстроить, отобрали двадцать самых рослых, связали одной верёвкой, увели и расстреляли. Зачем? Террор. Чтоб родители не восставали. И так во всех школах.

В дверь постучали.

— Костя, вы дома? — голос Саши Лурье.

— Да-да, Саша, минутку! — и принялся прятать листки. Они не желали запикиваться назад, в карман чемодана. Пришлось неловко сунуть их под толстый словарь Даля, позаимствованный у Мануйлова.

— Костя, привет, я принёс «маленькую», — Саша достал из портфеля двухсотпятидесятиграммовую бутылку водки. — Больше денег не было, даже на обратный билет не осталось. — Саша плюхнулся в продавленное кресло возле стола. — Надо выпить, закуски у меня нет.

После пусть и умеренно дрянного обеда в Доме творчества пить не хотелось. Но... Выпили из стаканчика, которым Елагин пользовался при бритье, и закусили высохшим печеньем, оставшимся от визита Илюши Штемлера.

— Можете меня поздравить, Костя, — сказал Лурье, с возможным удобством расположившись в кресле, — я приобрёл ещё одну профессию.

Просиженное поколениями писательских задов кресло позволяло провалиться едва ли не до пола, но при известном старании можно было выбрать место, где комки сбившейся ваты не будут давить, заставляя ёрзать, а просто напомнят о всеобщей старости и тлене.

Омерзительный вкус и запах тёплой водки удалось изгнать с помощью нескольких глубоких вдохов и остатков дармового печенья.

— Да? — Елагин поднял брови, изображая готовность выслушать историю борьбы интеллектов, заставившую Лурье купить «маленькую» на последние деньги.

Саша Лурье был не только блестящий стилист, но и мастер устного рассказа. Хотя в этот раз рассказ оказался прост. Сначала Саша ждал возле дачи Гранина, покуривая на осеннем солнце, — Даниил Александрович приехал несколько позже оговоренного, потом Гранин открыл хорошо смазанный замок на дверях сарая, именно там были сложены ставни, которые Саша должен был навесить на окна: осень шагала по Карельскому перешейку быстро, как написал бы хозяин дачи, а самому классику предстояли долгие и противные командировки по части Комитета борьбы за мир. «Самуил Ароныч, вы не представляете, какая это тоска! Две недели просидеть в Австралии с тётками из Воронежа и ивановскими ткачихами. И рассказывать местным докерам о международном положении», — Гранин умел говорить, улыбаясь тонко и значительно. Мы-то с вами, Самуил Ароныч, понимаем больше, чем говорим.

Ставни оказались дико тяжёлыми: толстые доски были поверху схвачены металлическим крепежом. Скорее всего, железными полосами, которые в Сашинем рассказе превратились в кованые тяжи, годные для ворот крепостей. Сам классик что-то читал, скрывшись с веранды, потом (судя по звукам!) кипятил чайник, выпил растворимый кофе (аромат, аромат этого дефицитнейшего напитка легко улавливался у окна гостиной!) и снова погрузился в чтение. («Самуил Ароныч, не смогу сегодня помочь вам, давление пошаливает!») Но чтение это только радовало Лурье. Понятное дело, рукопись «Литератора Писарева» лежала у Гранина никак не меньше полугода, что-то подзабылось, надо освежить в памяти перед профессиональным разговором

с автором. («И кофе! — подсказывал нос создателя изящного романа о классике русской критики Писареве. — Позавтракать Лурье не успел, торопился на Финляндский вокзал, не опоздать бы в Комарово!»)

Последние две половинки ставней Саша хоть и дотащил с трудом, но устанавливал и закреплял их шурупами довольно бойко. Гранин, сочувственно стоявший на крыльце, даже пожал ему руку.

«Самуил Ароныч, я просто любовался, как вы ловко это делаете! Мне бы ни за что не справиться! Благодарю! — Гранин, ласково поглядывая на Сашу, пожал ему руку тёплой, мягкой ладонью. — Вот уж спасибо!» — и принялся, позвякивая связкой ключей, запирать дверь.

— Как в старом еврейском анекдоте, — грустно сказал Лурье, покуривая и почти не глядя стряхивая пепел на блюдце с окурками, — это мне уже не понравилось!

А дальше всё было просто и буднично. Гранин, ещё раз пожав руку, сел в машину, сообщил, что ему надо срочно заехать в разные места, а потому Сашу он взять с собой не может, хлопнул дверцей серой «Волги» и уехал, попросив Сашу закрыть изнутри ворота и калитку.

Елагин не стал расспрашивать пригорюнившегося Лурье о рукописи. Он сам, словно очнувшись от лёгкого морока (не «маленькая» же произвела на привычного литератора такое действие!), посмотрел на Елагина ясными глазами, тому даже показалось, не прослезился ли он, — но нет, — просто шурился от сигаретного дыма, покрутился в кресле, устраиваясь поудобнее, и сказал задумчиво:

— А рукопись, поди, и не прочитал, скотина!

Пришлось, как лекарство от депрессии, извлекать припасённую бутылку водки. Саша, впрочем, излечился быстро, сбегал в столовку («Хоть хлеба пару кусочков мне дадут!») и вернулся, неся завернутый в бумагу хлеб и даже три тёплые котлеты.

Лет через двадцать, когда рукопись «Литератора Писарева» превратилась в книгу, Гранин очень хвалил её и даже говорил, что был едва ли не первым читателем этого увлекательного романа. Разумеется, доброжелательным читателем.

Глава 7

Александр Антонович Морозов болел. Он не явился на завтрак, чего с ним не бывало, и когда Елагин пришёл навестить старика, тот лежал с печально-виноватыми глазами, как подбитый голубь, на литфондовой сиротской кровати.

— Благотворительность решили оказать? — Морозов старался не потерять иронического тона, что давалось непросто. Он сипел, подкашливал, сплёвывая мокроту в мягкий сырой платок, засовывал платок под ватную комковатую подушку и снова вытаскивал его, чтобы чихнуть.

— Нет, — сказал Елагин, не замечая иронии. Пришлось придвинуть к кровати табуретку и поставить на неё едва тёплые столовские тарелки. — Александр Антоныч, кипяtilьник есть у вас? — бодро, как принято говорить с больными, спросил Елагин. — Заварим чайку! Есть настоящий азербайджанский!

— От Штемлера? — скривился больной, и было непонятно, собирается ли он чихнуть в очередной раз или морщится при упоминании интеллигентного Илюши. — Он пользуется этим чаем, скупая будущих доброжелателей, — сколько смог ядовито сказал Морозов.

Елагин вспомнил намёки Мануйлова на Морозовский антисемитизм. Мануйлов знал старика прекрасно, вместе работали в Пушкинском доме. Даже, кажется, в блокаду. А уж там-то вся душа вывернется. Голод, как американский консервный нож на ленд-лизовских консервах, с лёгкостью открывал потайные кладовые загадочной русской души. Да и не русской.

Елагин пожал плечами, вступать в обсуждение не хотелось.

— Не ему жаловаться, — продолжил Морозов, не отнимая от лица мокрого платка. — Пишет километрами свою стряпню и тоннами её издаёт! Поразительно, но кто-то читает!

— Может, сядете, Александр Антоныч, удобнее будет есть!

Елагин приподнял старика, сдвинул подушку. Под ней лежали несколько скомканных грязных платков.

— Я своё уже отсидел, — печально отшутился Морозов. — Полагаете, мы с Эрной Георгиевной на Севере зря очутились? — и с жадностью принялся за унылую манную кашу. — Мы ведь ноги унесли от НКВД.

Он ел по-стариковски неаккуратно, каша падала на одеяло, которым он прикрыл тощие ноги в кальсонах с давно забытыми завязками, застревала в нестриженной, клочковатой бороде.

— Эрна умница была, сообразила, что драпать надо в самую глушь, к поморам. — Он помолчал, дожёвывая кашу. — Деревня Зимняя Золотица. Это у чёрта на рогах. Сотня километров от Архангельска. Эх, не зря местные говорили: кто в море не бывал, тот горя не видал. — И после паузы: — В Ленинграде в самый разгар, если так можно сказать, блокады начались дикие, бессмысленные посадки. Мы с Виктором Андрониковичем работали в Пушкинском доме... Что значит работали? Приходили кое-как, сидели, закутавшись, воду кипятили... — Он замолчал, пустыми дёснами разжёвывая хлеб. — И Мануйлов по сию пору считает, что стукачом в Доме был я. Что не соответствует действительности. Я знал, кто стукач, а он — нет! — Елагину показалось, что старик самодовольно улыбнулся. — Лучше бы в своём окружении поискал! — он протянул Елагину пустую тарелку и принялся за творог. — А сам Мануйлов абсолютно бесстрашный человек, всегда бросался на защиту. Бессмысленно бросался, без всякого толку. А чай вы мне сделаете? Только у меня кипятильник сгорел! — он засмеялся, будто сказал что-то очень смешное. — Я, знаете ли, поставил воду вскипятить и уснул! Просыпаюсь, банка разлетелась к чёртовой матери, кипятильник на столе валяется и уже успел пятнище чёрное прожечь! И свет, представьте, вырубился на всём этаже! — он высморкался и надолго закашлялся, весело поглядывая на Елагина. — Шум поднялся невероятный! А пятно горелое я теперь под папками прячу. И уборщице строго-настрога: ни-ни, папки даже не трогать!

Пришлось принести свой кипятильник и напоить старика азербайджанским чаем. Теперь он сидел на кровати, нахохлившись, накинув на плечи одеяло, сделавшись похожим на больную птицу.

— Мануйлов думает, что я был стукачом, потому что мне удалось выехать через Ладогу. Осенью сорок второго. И Эрну Георгиевну вывезти. — Он сидел, устало прикрыв веки, и только время от времени довольно остро поглядывал на Елагина. — Просто у меня были знакомства в НКВД, — острый взгляд, — на самом веру! — и снова взгляд-выстрел. — Не верите? — он замолчал, по-стариковски или по-детски вытирая нос платком. — Там, наверху, сидел один... еврей, между прочим, и очень неглупый человек, — Морозов хихикнул. — Жизнь такие шутки любит! Он когда-то допрашивал Ольку Берггольц, издевался по обязанности, потом прочитал её стихи, слабые, кстати, и сам заразился. Стал стишками грешить. — Морозов помолчал, кривовато улыбаясь и не глядя на Елагина. — А я его стишки правил, а то и за него пописывал. За хлеб, конечно, за хлебушек. И на радио стихи относил, — снова остро глянул. — Раз они там с Ольгой встретились. Кто-то догадался дать им выступить в одной передаче. Так Ольга ему чуть глаза не выпарапала, — он вздохнул. — Ольга могла. Безбашенная баба была. Но мужики клевали на неё, как, знаете, окушки во время жора. И я, грешник, в их числе. Но ей такие, как я, не нужны были. Борька Корнилов — вот её идеал. Тот вовсе без башки был, башку талант замешал. Он её и пить приучил. Сам-то пил как в прорву, нижегородский мужик, одно слово. — Показал бледной,

с синими жилами рукой на чайник: — Можно? — и замолчал, прикрыв глаза. — А нам с Эрной этот еврей-энкаведэшник всё-таки помог уехать, — Морозов хмыкнул. — Знаете, есть такой анекдот, кстати, он сам мне его и рассказал: «Изя, ты хочешь что-то сказать за Рабиновича? Но учти: о покойниках либо ничего, либо хорошо. — Конечно, ребе. Так вот, Рабиновича с нами больше нет, и хорошо».

— Я думал, что Мануйлов вас недолюбливает из-за статьи о Лермонтове.

— За это особо! — оживился Морозов. — Лермонтов его страсть, он им хочет обладать единолично, как всякий влюблённый. Мануйлов, — он сделал многозначительную паузу, — книжный учёный, библиотечная мышь. Не хватает широты взгляда. Но для составителя «Лермонтовской энциклопедии» лучшего человека не найти. — Морозов снова заулыбался, словно собираясь рассказать анекдот: — Знаете, как он в одних подштанниках выпрыгнул в окно? В Голицыно, в Доме творчества случился пожар, кто-то из писателей, по пьянке, конечно, нечаянно чуть не спалил дачу знаменитого Фёдора Адамовича Корша. Так вот Виктор-свет Андроникович выпрыгнул в подштанниках, но с рукописью «Лермонтовской энциклопедии»!

— А как удалось от Вавилова предисловие получить на вашего Ломоносова?

— Тут два обстоятельства, — задумался Морозов, словно прикидывая, стоит ли говорить всерьёз с этим типом. — Первое, но не главное — Сергей Иваныч, президент Академии наук, был человек серьёзный. Не как братец его гениальный, но оба, видно, в Вавиловскую породу пошли. Батюшка их купчина был — ого-го, на всю Москву! Так вот, первое — Сергей-то Иваныч был главным по научпопу. А мой Ломоносов так и задуман был. Опять же, это не самое главное, — Морозов захихикал, довольный собой и воспоминанием. — В книжку вставьте, когда помру! У Сергея Ивановича пёс был любимый, фоксик. Пёс невесть что, но близость как по характеру, так и по сердцу. Фоксы ведь от природы сумасшедшие. Пришлось, а жили мы неподалёку, Вавилов на Биржевой 4 жил, в третьей квартире, кстати. Но как к нему подойти? Я уж и так, и сяк, звоню, пишу, — всё на помощников да референтов натываюсь. Его энкаведешники с прихлебателями со всех сторон обложили! — Он сипло, но старательно засмеялся, став похожим на больного клоуна. — Пришлось собачонка завести! И тоже фоксика! В те поры — не простое дело. Эрна-умница присоветовала. Так и принялись гулять с собачками по утрам. А после уж — дело техники. Я текстик предисловия навалял, рыбу, он своей рукой поправил — и пошло-поехало!

— Неужели без фокса в издательство не взяли бы? Ломоносов всё-таки!

Морозов как-то по-разбойничьи оглянулся, весело блеснул глазками, словно и не болел вовсе, и прошептал:

— Брать-то брали, с руками, можно сказать, отрывали! — Морозов выдержал театральную паузу, глядя на Елагина поверх очков. — А кто, скажите, Сталинскими премиями в Академии наук и в том самом научпопе ведал, а? Вавилов, коего вы фоксом именовать изволили! А Сталинская премия, дорогой мой, это по тем временам прямая индульгенция! — и засмеялся, довольный. — Впрочем, — проговорил он сквозь смех, — он на фокса и верно похож был. Как мне прежде это в голову не приходило!

Глава 8

Как хорошо начать бы роман с фразы: «Иван Иваныч проснулся, как всегда, без будильника, умылся и вышел на кухню». И дальше — легко и приятно, в духе Илюши Штемлера. А как начать роман о тиране? Правильно было бы: «Такой-то родился 21 декабря 1879 года в маленьком грузинском городке...» — и пошло-поехало. Можно и пейзажик этого самого городка изобразить. На горе развалины старинной крепости, вдали виднеются вершины Большого Кавказа, неширокая дорога поднимается

(спускается) к небольшим строениям, которые издали можно принять за... И в зависимости от времени года — строения эти тонут в снегу, видны только строчки заборов, ушедших в сугробы... Или: строения тонут в густой зелени, из-за заборов видны цветущие сливы и вишни... Но с тиранами всегда сложнее: по слухам, а приходится пользоваться слухами и непроверенными ссылками на недостижимые источники, даже дата рождения тирана изменена. Почему? Зачем? Под какую историческую химеру подгоняли (или подогнал сам?), выправляли (ускоряли? замедляли?) само время появления его на свет? А может, и Время в этот миг забеспокоилось, дрогнуло, давая сигнал людям: насторожитесь, ждёт опасность! Но легкомысленные люди знаков Времени читать и слышать не хотят. Так, — по-прежнему лениво поколотят в чугуны, сковородки и бубны, шествуя к древнему храму, доживающему на горе, — раз уж предки завещали в эту ночь всем мужчинам селения с шумом-громом идти к храму. Может, они что знали?

Но кто верил по-настоящему, что идут отгонять дьявола? Никто! Хотя... хотя один-два, может, и верили, но перед шествием к развалинам уже приняли по стаканчику-другому чачи, закусили зеленью и сыром: кому в чёрной холодной ночи хочется выходить из дома, от стола, от тёплого очага и тащиться в гору, чтобы не допустить в селение беса? Сколько веков, говорят, люди в самую длинную, ледяную ночь с 21 на 22 декабря выходят с колотушками его отгонять? Ну и что, появился он? Хоть разочек? Тащатся в гору с ленцой, по обязанности, и колошматят в котлы-тарелки без жару, лишь бы старики не ругались. Вот и вышло:

В ночь с 21-го декабря на 22-е в семье сапожника-пьяницы Бесо (Виссариона) жена его Екатерина (Кеке) родила мальчика. Третьего по счёту, двоих Бог прибрал. Третьего она сама хотела отдать Богу, но тот передумал. Решил, рано. Пусть на земле покажет, каково это забывать древний обычай.

Зачем же подгонял тиран дату рождения? Есть запись о крещении, её-то не правила, надеюсь?

— Костя, ты не видел, что там Фёдор Абрамов вытворяет? — растерянный Илюша Штемлер в дверях.

Лауреат и орденоносец Абрамов, набравшись спиртного («Я водку уж сколь не пью? Могу себе и коньячок позволить!»), принялся, по обыкновению, задирается и «по-малому» дебоширить в зальчике над столовой, где стоял цветной телевизор и жаждающие живых новостей писатели собирались по вечерам.

— Уселся напротив Гусмана и принялся рассуждать о еврейской литературе!

— Кому как не Абрамову о ней судить! — отозвался Елагин. — Хорошо, что ты об ужине напомнил, я что-то засиделся.

— Он же, сволочь, — Илюша осторожно покосился на двери, — заведовал кафедрой в университете! Таких там дел наворотил! У него вся советская литература, кроме Бабаевского, — еврейская! Туда же и Катаев попал вместе с Эренбургом и Гроссманом, а Катаев ведь чистый русак, из дворян! — Штемлер сделал небольшую, но многозначительную паузу. — И меня туда же приписал! — Елагин понял, что Илюша даже испытывает некоторую гордость оттого, что попал в одно «перечисление» с классиками.

— Радоваться должен, — подыграл Елагин, — в один ряд с Эренбургом самим Абрамовым поставлен. Илюша, это — не иначе как к госпремии! Он ведь в тамошней комиссии чуть ли не глава.

— Да ладно тебе, — отмахнулся польщённый Илюша, — иди ужинай скорее, пока не закрыли столовку!

Елагин поднялся на второй этаж к телевизору. Сбоку от громадного ящика, где почти беззвучно открывали рты дикторы Центрального телевидения, слегка развалившись, сидел Фёдор Абрамов, и было непонятно, хватил ли он лишку или прикидывается пьяным, как любил прикинуться простодушным деревенским пареньком.

Ни пареньком, ни деревенским, ни, тем более, простодушным Абрамов никогда не был. Абрамов вскидывал голову, поправляя пятернёй нависающие на лоб волосы и смотрел прямо в лицо багровому старику Гусману. Тот не решался ответить наглецу, и уйти было невозможно: уж вслед-то сбежавшему Абрамов подсыпал бы соли на хвост еврейской литературе.

— Вот ваш Кассиль, вы чего отворачиваетесь, Лазарь Моисеич, что он сделал в русской литературе, а? Кроме как напакостил своими «Кондуитами и... — он повернулся к сидящему через стул от него Саше Рубашкину, любимому еврею.

— ...И Швамбрания», — подсказал тот.

— Во-во, — Абрамов уставил палец на старика. — Вся русская литература двадцатого века засижена еврейскими авторами и еврейскими мотивчиками и шуточками. Вся! От Эренбурга до Пастернака, от Катаева до Гроссмана... — он задумался, глядя на побагровевшего старика. — Что молчите-то? Сказать нечего?

— Я думал, что вы всё высказали, когда трудились на кафедре советской литературы в университете, — выдавил, наконец, Гусман, — и устраивали погром на кафедре, хвастаясь, что служили в СМЕРШе? Но тогда еврейский погром был в моде. Вспомните, у кого вы учились? Совесть не гложет? Может, припомнить Бориса Михайловича Эйхенбаума? Григория Александровича Гуковского? Марка Константиновича Азадовского? Вы, пока учились, успешно лизали им зады, клялись в любви, а после этих «проклятых космополитов» поливали грязью в «Звезде». Думаете, это забыто? Вам в Союз писателей рекомендации давали Лев Абрамович Плоткин с Михаилом Леонидовичем Слонимским! Не зря, видимо, Плоткина после того нечистоплоткинским стали звать!

— Ах ты, рожа! — Абрамов, качнувшись, поднялся с кресла. Стало видно, что он не валиет ваньку, а пьян по-настоящему. — И СМЕРШ мой припомнил? Я свой СМЕРШ ранами на фронте заработал! А таких, как ты, — он шагнул к Гусману, — я в Архангельске своей рукой расстреливал!

Писатели, сидевшие у телевизора, стали потихоньку рассасываться, исчезать в дверях. Связываться с Абрамовым, это все знали, было опасно. Любимец властей и лауреат был вхож в самые высокие кабинеты. Особенно московские. Говорили, не только писательские, конечно.

— Я вас прошу прекратить бардак! — поднялся навстречу Абрамову высокий плотный человек.

— А ты кто такой? — вскинулся довольно щуплый Абрамов. — Он кто? — и повернулся к Рубашкину.

— Во-первых, «вы», а не «ты», — сказал человек, вставая между Гусманом и Абрамовым, — мы с вами в одном СМЕРШе не служили...

— Это врач, врач знаменитый, — театральным шёпотом сообщил всеведущий Рубашкин.

— А, врач... — было похоже, что Абрамов и сам доволен, что начавшийся было скандал поубавился. — А зачем в наши писательские дела лезете?

— Это не писательские дела, — внятно сказал врач. — Вы выступаете здесь не как писатель, а как пакостник, понимающий, что пожилой человек вам отпора не даст!

— Кто это пакостник, я? — Абрамов сделал вид, что замахивается на стоящего перед ним. Рубашкин старательно, но аккуратно держал его за руку.

— Да, вы, — спокойно сказал врач. — Вам бы следовало извиниться перед...

— Перед кем извиняться? Перед кем?

— Перед всеми, — врач обернулся.

В комнате остались два-три человека, с любопытством ожидавших развития скандала.

— Перед ними? — Абрамов мутным взглядом обвёл потупившихся писателей. — Да я их в рот едал! — и, поддерживаемый Рубашкиным, шагнул к выходу. —

В рот едал! — обернулся он уже в дверях и затопал вниз по лестнице, продолжая что-то выкрикивать. Так шумят подвыпившие парни в деревне, когда друзья уже держат их за руки.

Гусман, попытавшийся было с протянутой доктору рукой подняться со стула, вдруг схватился за сердце и стал оседать, бессмысленно глядя в потолок. Врач подхватил его с помощью Елагина, тот на редкость вовремя поднялся к телевизору, усадил старика, выхватил из кармана какой-то флакончик и пшикнул несколько раз в беспомощно открытый рот. Через несколько секунд сознание стало возвращаться к Гусману, он задумчиво посмотрел вокруг, пытаясь что-то припомнить, и стал щупать толстый, побелевший у ноздрей нос.

— Очки, здесь были очки... — пролепетал Гусман.

Очки, к счастью, не разбившиеся, нашли на полу.

— Срочно вызвать «скорую»! — врач держал его за руку, проверяя пульс.

— В столовой телефон, но она уже закрыта, — подсказал кто-то. — Только в корпусе, надо туда бежать!

— Вызывайте! — скомандовал доктор, сел рядом с Гусманом, всё ещё держа его за руку. — Успокойтесь, всё закончено, инфаркта у вас, надеюсь, нет, — и повернулся к Елагину. — Странные вы всё-таки люди, писатели, полно стариков в доме и всего один телефон? А случись что?

С этой фразы «странные вы люди, писатели» и начался у Елагина разговор на следующее утро. Возле калитки он столкнулся со вчерашним врачом. Тот коротко пожал Елагину руку:

— Странные вы всё-таки люди, писатели! — и улыбнулся. — Представляете, этот старик вчерашний...

— Гусман? — подсказал Елагин. — Лазарь Моисеевич?

— Да-да, — снова улыбнулся врач. — Я отметил сразу, что он тёзка Кагановича. Так представьте, отказался ехать в больницу. Мотивация? — новый знакомый строго посмотрел на Елагина. — Знаете, какая мотивация? Жена, Дора...

— Семёновна!

— Да-да, именно! Дора Семёновна будет беспокоиться, если его заберут в больницу! А если это инфаркт? И увезут по совсем другому адресу? — Он любезно пропустил Елагина первым в калитку и представился: — Дёмин Владимир Николаевич! На прогулку? Вместе? Не возражаете?

Глава 9

Ничего необычного, просто ночной заморозок. Северный холодный поток прорвался через тёплые облака, поднявшиеся над Балтикой, обрушил их кромешным ливнем на Северную и Центральную Финляндию, захватил часть Карельского перешейка, передвинулся, минуя Ленинград, к Усть-Нарве, сломал несколько деревьев на побережье и пролился на эстонский берег и часть Латвии до Риги рядовым, хоть и холодным, дождём, а кое-где превратился просто в туман, устроивший несколько некрупных автомобильных аварий на аккуратных латвийских дорогах.

Зато следующее дыхание Севера было ощутимее. Ночью затрещал ледок на лужах, схватились морозцем и побелели жёлто-зелёные осенние поляны, замерли опоздавшие улететь листочки, даже изображавшие нечувствительность к морозам молодые ёлки скукожились и притихли, стараясь не поддаваться порывам ветра, беспричинно налетающего с залива.

Жизнь в Доме творчества обладала странным свойством: ты почти сразу переставал существовать в том мирском и людском сообществе, что ездило в электричках, автобусах, ходило за водкой, плавленым сырком и килькой в томатном соусе

в местный Комаровский магазин, а перемещался в вязкую субстанцию, хлюпающее под ногой торфяное болото с «бесовскими огоньками», промоинами, застарелыми лосиными орешками-какашками, кое-где подъеденными лесной живностью и расклёванными птицами. Здесь можно бы месяцами и годами (позволил бы всеильный Литфонд!) жить в застойном заповеднике, встречаясь по утрам и вечерком у телевизора с ведьмаками, тихими, сдвинувшимися лешими, учёными совами, сквозь двойные очки с удивлением изучавшими новоприбывших, и разнообразной и разнополой птичьей мелкотой, стайками навешавшей писательское болотце.

Елагин столкнулся в дверях с провинциальной поэтессой, она вела за руку средних лет человека, вжавшего голову в плечи, словно он ожидал удара сзади. Поэтесса улыбалась, как улыбаются кошки, таща в зубах ещё живую мышшь.

— Как думаете, Костя, — игриво спросила поэтесса, с которой Елагин познакомился только вчера, — моего друга накормят в нашей столовке?

— Накормят, — уверенно сказал Елагин, — если что, скажите — вместо меня.

— Вы не придёте на завтрак? — поэтесса приподняла размазанные ресницы и брови.

— Нет, — почему-то сказал Елагин, собиравшийся именно в столовую. От поэтессы пахло какими-то пачулями, табаком и слегка перегаром. — Приятного аппетита!

Она вакхически откинула голову назад и блеснула глазами на ведомого мужчину. Как, дескать, тут у нас, культурных людей?

Схваченный морозцем песок похрустывал под ногами, хотя блёклое жёлтое солнце уже появилось над гребёнкой недалекого леса. Скоро, час-другой, и песок оттаёт, станет сырым, хруст изменится, станет глуховатым, чавкающим. Елагин повернул, солнце теперь било в глаза, и он щурился. Это давало возможность не смотреть по сторонам. Сегодня не хотелось видеть ни академических домиков-коттеджей, ни заборов, ни ёлочек, высаженных заботливым офицером-энкаведэшником на пенсии, присматривающим за «хозяйством» академиков.

Статья, рукопись, которую дал ему Друскин, разительно не вписывалась в сегодняшнюю действительность, сбивала мысли, выталкивая на какие-то видения, вроде (ха-ха!) атомохода «Ленин», наваливающегося и сминающего сверкающее поле льда. Лёд проседал, потом ломался и взрывался, выстреливая залпы сверкающих осколков и тяжёлых, стынувших на морозе столбов воды. Ледокол давил мыслящее поле, с лёгкостью проламывал его до тёмной, чёрной на солнце воды и шёл неторопливо, уверенный, что препятствий нет. И не будет. За ним оставалась широкая колея битого, ломаного льда, тянущаяся до горизонта. Ледокол издавал победные звуки, подмигивал глазами клюзов, и даже ржавчина, стекавшая по плотному, рисованному белой краской боку корабля, как на детских рисунках, только украшала его и придавала лихости. Почему тихий, почти неслышный Друскин вызывал эти видения? Как он, тощий, усохший, немисливо маломерный рядом с ледоколом, позволял себе существовать, не боясь попасть под форштвень, старательно и умело сработанный для взламывания многометровых паковых льдов, противостоять, пусть тихо, пусть неприметно для атомного гиганта, и ломаться беззвучно и покорно? Но не совсем бесследно, судя по статье.

Елагин свернул в тупичок, ведший к даче Бергов. Хорошо бы услышать флейту, что звучала здесь однажды. Он остановился: слышен был только тончайший хрустальный перезвон, словно замёрзшие еловые иголки, соприкасаясь, звенели, как бы переговариваясь. И вдруг — флейта. Да-да, та самая! И звуки, которые могла извлекать только прелестная женщина-музыкант. Худенькая, с приподнятыми острыми локотками, стриженная, как средневековый паж. И Моцарт, конечно же, Моцарт. Елагин зашагал быстрее, стараясь угадать — из-за какого забора доносится флейта, оступился на хрусткой луже, и музыка исчезла, пропала. Он свернул в проулок:

нет, и там не звучала флейта, исчез даже нежнейший перезвон стройных ёлочек, высаженных рядками. Елагин обернулся, показалось, что сзади послышались шаги, мелькнул спешащий со стороны Бергов человек с портфелем, и навалилась, осела сверху, будто окутывая плотным туманом, тишина.

«Домой, домой!» — тревожно мелькнуло в голове. Елагин быстро вышел в проулок — человечка в чёрной шляпе не было. Проулок был чист, сверкали тающие лужицы, повеселели ожившие красные, редколистные клёны, и жёлтое солнце, поднявшееся далеко над заливом, слепило глаза.

В комнате было прохладно, Елагин, уходя, забыл прикрыть форточку. За стеклом сустились синицы, привыкшие к тому, что сердобольные писатели скармливают им столовский хлеб. Елагин вытряхнул пепельницу в корзину, там ещё лежал вчерашний мусор, посмотрел на серое, в каких-то пятнах щетины лицо, глянувшее из зеркала, и вернулся к столу. Фотокопии рукописи Шатуновской, спрятанные под толстый том словаря, неизвестно как забредшего в писательскую конуру, не давали сосредоточиться. И не только содержанием, но и тем, что их надо было вернуть Друскину. Буде он придет, в чём Елагин не был уверен.

Про Сталина и Иваняна

Людмила Янушевская и Зина Костельская рассказывали про Сталина, что когда он был в ссылке в районе Вологды в одном селе, то там же в уездном городе был Иванян. Он держал связь с банковскими служащими, с большевиками в Женеве, получал подпольную литературу и деньги для ссыльных, сам имел уроки и выписал жену и дочь из Тбилиси.

Однажды заявляется Сталин.

Иванян спрашивает: «Как ты смог, ты же прикреплён?»

«Я задумал побег, организую его у тебя».

То есть будет связываться с кем-то. Он поставит Иваняна под удар, — если кто-то без согласия властей живёт у него, он всего лишится. В конце концов Иванян сказал: «Если ты задумал побег, то беги».

«Какой ты товарищ, ты мне отказываешь в убежище. Ты тут пристроился к купцам, чиновникам, благополучие своё устраиваешь. Ты мещанин и приспособленец».

Произошла ссора. Сталин уехал и прихватил всю кассу, которую Иванян имел. Проходит время, наступает революция, Иванян вернулся в Тбилиси и как очень образованный специалист работает в Госплане Закавказской Федерации. Вдруг в Тбилиси приезжает с визитом Сталин, уже после смерти Ленина, в двадцать восьмом. Не говоря ни с кем подробно, каким-то образом пронюхал о том, что Иванян работает в Закфедерации — между республиками были крайком, наркоматы, — что пользуется большим авторитетом, и чем занимается.

А Берия был секретарём ЦК Грузии. Он говорит Берии, надо покончить с этим Иваняном. Берия вызывает Людмилу Янушевскую, секретаря парткома Закфедерации, в ЦК Грузии. «Вот у вас работает Иванян, надо его срочно исключить из партии».

«Почему?»

«Его ненавидит Сталин, он ему вредил в ссылке в Вологде».

Она вызывает Иваняна и говорит, что на вас большой зуб имеет Сталин. Тогда Иванян всё ей рассказал, что ясно было — его побег инспирирован охранкой и что уехал он вместе с кассой.

Её опять вызывает Берия: «Ну что?»

«Его не за что исключать».

Иваняна вызывают на бюро ЦК Грузии и там исключают и сажают. И уничтожили.

Я это всё знала до Янушевской, парткомитет получил письмо от жены и дочери Иваняна. Они были в Вологде, когда Сталин там вытворял. Я дала сразу этой записке ход, доложила на Комитете. А потом вот Людмила рассказала, и две версии сошлись.

Конечно, никакая это не рукопись. Это расшифровка с магнитофонной записи. Слышится тревожный, задыхающийся голос. Но кто такой Иванян, сосланный в Вологду и продолжавший связь с Женовой, «державший» кассу? Для кого? Кто они, где, зачем и за что бились, страдали, вызывали из Тбилиси жён и детей, те тащились тысячи и тысячи километров до Вологды? Не за эту же ублюдочную жизнь потомков! Что значит «поссорились»? Подрались? Почему молчал неизвестный нам Иванян, почему сразу не разоблачил подонка? Как Сталин ухитрился спереть «кассу»? Каким образом после революции этот человек оказался дома, на Кавказе, в Госплане Зафедерации? Да и сама-то Зафедерация? Что-то помнилось, но пришлось рыться в Энциклопедии.

А для задуманного романа — это ничто, дальний-дальний выстрел, как с невидимых фортов Кронштадта. Можно попробовать поймать эхо и даже представить облачко порохового дыма, обозначившее время, и в него же, в это время, уплывшее. Но и без этого отзвука и белёсого облачка-пара, пустынного берега с тающим силуэтом города-форта не будет. Сколько ни всматривайся, сколько ни скользи по отлакированным морозцем и ледком камням, пытаюсь рассмотреть то, что исчезает. Или исчезло без следа? А как же скрипучий, задыхающийся голос старой арестантки Шатуновской? Он есть, он живёт и ещё кому-то слышен! И нужен!

На стук в дверь Елагин спрятал фотокопии под зеленоватый том Энциклопедии.

— Да, войдите! — «Для Друскина рановато».

— Убратся у вас хочу, — звякнула ведром незнакомая тётка. — Погуляйте!

В коридоре встретился улыбающийся Глеб Горбовский.

— Здорово! — и тряхнул руку. — Слышал, Горышин приехал? Заходи, посидим вечерком!

Глеб «был в завязе», бросил пить, подлечился, но любил сидеть за столом, весело поглядывая на пьющих и, кажется, сам слегка балдел с каждой выпитой ими рюмкой. Или любовался, зная его характер, представляя, как эти весёлые выпивохи со временем окажутся в юдоли страха, ночных кошмаров и беспомощности, — там, откуда он выбрался, потеряв с десяток кило веса и полтонны уверенности в себе. Или веры?

Елагин вернулся в свою комнату и обнаружил там Якова Друскина. Тот сидел на краешке дивана и послушно поднимал ноги, когда уборщица приближалась с тряпкой.

— Я, кажется, не вовремя, — сказал Друскин, в очередной раз по команде бодрой тётки в синем халате с усилием подтягивая колени вверх. — Я как раз хотел поговорить относительно вашей рукописи.

— Какой? — Елагин пропустил в коридор тётку с ведром и прикрыл дверь.

— Про Сталина, про тирана, — Друскин поплёскивал очочками и был довольно весел, что случалось с ним нечасто. — По-моему, это идиотская затея. Вы со мной не согласны?

— Если бы я был согласен, я бы не брался за неё! — Елагин размышлял, откуда Друскин знает о романе. Вроде бы с ним про это разговора не было.

— Мне Гор рассказал, — словно прочитав мысли, отозвался Друскин. — Мы с ним даже поспорили. Он, как философ-дилетант, — за, я, как философ-профессионал, — против. Я вижу, вы хотите спросить почему? — он взял сигарету со стола, старательно размял её и с удовольствием закурил, пуская дым вверх через оттопыренную нижнюю губу. — Потому что вы никогда даже не приблизитесь к истине. Вам не понять людей того поколения. Изменились люди, их представления о жизни, идеалы, этика, эстетика, нравы, их совесть — единственное, перед чем (или кем) вы отчитываетесь. Их тогдашняя — это важно! — совесть, не гуттаперчевая, как сегодняшняя, вам ныне непонятна.

Перебивать монологаиста Друскина было совершенно невозможно. Тем более что он пересел, каким-то странным поскоком перескочил с дивана в кресло возле стола, и по-птичьи, по-цыплячьи, устроился поудобнее.

— В Китае семьдесят процентов вовсе неграмотных, миллионов восемьсот, я говорю условно, и их это не беспокоит. Почему? Потому что ещё пятьсот миллионов знают сто—сто пятьдесят иероглифов. Этого достаточно стране, чтобы жить хорошо, читать газеты и общаться. Двадцать процентов из оставшихся знают, допустим, тысячу иероглифов. Это элита. Управляют и работают на государство. Несколько последних процентов — мудрецы: знают и понимают пять и больше тысяч иероглифов. Они могут читать великую — и по объёму, и по значимости — китайскую литературу и познавать великую мудрость. Кто, скажите, из вашего окружения может читать Симеона Полоцкого, наставника детей Алексея Михайловича? А до него сколько лет? Кто может читать и точно, правильно понимать указы Петра? А это всего триста лет назад! До сих пор не могут растолковать и по-настоящему перевести «Слово о полку Игореве»! Ему лет восемьсот всего. Китайцы читают и владеют мудростью пяти тысячелетий! Иероглифы — не буквы, а сущностные понятия, эти понятия не изменились с тех времён и по сию пору. Вы толком не разберёте даже указов Николая Второго, даже писем Ленина, попади они к вам. Потребуется комментарий. Но, допустим, вы гений или считаете себя таковым. Вы гениально всё изложите. Но кто прочтёт вами изложенное столь же гениально, как вы написали? Вас обвинят со всех сторон: глупцы и неучи — в глупости и ошибках, мудрецы — в непонимании сути дела и фактических ошибках, неверном прочтении, недостаточном объёме исследованного материала, — словом, в научной глупости. Или недобросовестности. Согласны? А семидесяти или значительно более процентная масса вообще не узнает о ваших потугах. Если они вообще состоятся, чем-то закончатся и вы не сядете раньше, чем закончите свой труд. — Он нахохлился, исподлобья, из-под лохматых седых бровей, поглядывая на Елагина. Словно ожидая возражений. — Кроме того, в России с её византийской системой взаимоотношений, правда, а уж тем более истина, никому не нужна. России нужна ложь, миф! И кто больше, лучше, то есть красивее, солгал, тот будет считаться мудрецом и победителем. А уж попытаться реализовать миф могут только герои и пророки! — Друскин пригасил сигарету и тут же закурил другую. — Впрочем, — он постарался вольно откинуться назад, но у него это не получилось, — в истории всегда есть общее, или необходимое, и частное, случайное. Например, беспредметное искусство, абстрактный театр Введенский и Хармс создали ещё в конце двадцатых годов, но они остались неизвестными, а потом уже, независимо от них, он возник в сороковые-пятидесятые годы. Однако то, что создали Введенский и Хармс, и что бесконечно, поверьте, превосходит Ионеско, Беккета и других, — никто не создал и, думаю, не создаст. Что-то личное, оттенок — определяет главное. Главное необходимо в том смысле, что новые идеи всё равно возникнут, хотя бы их первый автор умер в неизвестности и всё, что он создал, погибло. Но личный оттенок — случаен. То, что ввели в поэзию, в поэтическую философию, в философию и теологию Введенский, Липавский, Хармс и я — этот штрих уже никто, кроме нас, не может внести и не внесёт. — Друскин был последним из обэриутов. Более того, спас в блокаду архив Хармса и сохранил стихи Александра Введенского. — Может, у вас что-то и получится. Вы молоды, и государственный режим уже не такой людоедский! — Он вдруг засмеялся, пластиковая вставная челюсть плясала во рту сама по себе. — Точнее, ещё не такой людоедский! — Друскин резво вскочил с кресла. — Мне пора, не вздумайте провожать, я этого очень не люблю. Рукопись свою я оставлю, там есть замечания относительно хаоса. Я считаю, хаос — единственно устойчивая система в мире. — Он нахлобучил на голову странный берет, Елагину показалось, что он сидел на нём. — А вообще-то, кое-что из воспоминаний я, пожалуй, вам подкину. Знаете, всякое исследование, вообще дело, в том числе и в искусстве, надо начинать с самого начала, не полагаясь ни на какие авторитеты, кроме Того, Кто сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете!» Это Евангелие от Иоанна.

У двери он взглянул на себя в зеркало, поправил берет и повернулся к Елагину:
— Татьяна Николаевна Глебова с Владимиром Васильевичем Стерлиговым передавали поклон и приглашали в пятницу, коли будете свободны и в настроении! Послушаем Веберна!

Глава 10

У Горбовского гуляли. Выпивали всерьёз. Кроме, конечно, «завязавшего» хозяина. На диване и вокруг хилого литфондового столика, придвинутого к нему, сидели несколько человек, было накурено, пахло водкой, непрветренным жильём и ещё чем-то больнично-неприятным. У Глеба, кажется, были язвы на ногах, он их лечил особо противной мазью.

— Заходи, заходи, — Горбовский явно обрадовался свежему человеку. — Знакомься, если не знаешь!

Сидевший спиной оказался московским поэтом Игорем Шкляревским. Рядом с ним — востроносенький, с зачёсом слева направо, не прикрывавшим лысину, паренёк-мужичок, изрядно подвыпивший и даже окосевший уже. Лицом к двери и спиной к окну — здоровенный Глеб Горышин, тоже на хорошем «взводе».

— С Игорем ты знаком ведь. — Шкляревский слегка обернулся, кивнул, бормотнул что-то вроде «здорово». — Про Глеба не спрашиваю, а это Коля Рубцов, с Вологды.

Рубцов смахнул со лба падающие волосы:

— Не знаю я его. — И потянулся к бутылке, которую Елагин поставил на стол.

— Закуска есть! — Горбовский указал беспалой кистью (на левой не было двух фаланг на указательном пальце) на стол. Там на серой жёсткой бумаге лежала толсто нарезанная, как режут в сельских магазинах, докторская колбаса, кособочились криво открытые рыбные консервы и хлеб, накромсанный ломтями.

— Костя Елагин, — представил Рубцову и всей компании Горбовский. — Хороший человек. Прозу пишет, — он задумался, всё ли сказал. — Прозу плохую, — и засмеялся. — Я, правда, не читал, но раз печатают, значит, плохую!

— Выходит, и я — плохую, — обиделся вдруг Горышин, — и меня печатают!

— Конечно, плохую, о чём ты можешь писать? Ты в жизни что видел? Папу с мамой? — завёлся Горбовский. — У писателя опыт должен быть! Сравни себя с Юркой Казаковым...

— Я на Алтае... я весь Алтай пёхом исходил, в районной газете работал!

— Воо-во, там-то и врать научился! В любой районке, посмотри, — ни слова правды! Сплошь герои и эти... ударники какого-то там труда. Пьянь, срань и сортир на улице!

— Пускай сортир на улице, а деревенского человека, особенно в глубинке, с городским не сравнишь!

— Какая разница? Я вот человек городской, чем я хуже?

— Ты? — Горышин внимательно уставился на него. — Ты не хуже, — наконец решил он, — потому что ты поэт!

— Кто поэт? — поднял голову Рубцов. — Глеб Горбовский? Поэт!

— Ты-то откуда знаешь? — с довольной улыбкой спросил Глеб. — Не читал ведь ни хера!

— Я? — Рубцов привычно закинул зачёс. — Я тебя за один стих полюбил. Гитара есть? Нету? Тогда так читать буду. На сухую. «Дождь прошёл, как поезд! Сразу — тишина... Сяду, успокоюсь. Буду как стена».

— Молодец, — одобрил Горбовский, и они вместе, в два голоса стали читать:

...Проводил, отрезал.
 Затолкал в вагон.
 Дым стоит над лесом.
 Прочь теперь... Бегом!
 Разгуляться, что ли?
 Кто там — на пути?
 Ветер я! А в поле
 ветра не найти.
 Убегай, дорога,
 рельсы в две струи.
 Нету нынче бога,
 только — соловьи!
 ...В памяти пороюсь,
 подобью дела.
 Дождь прошёл.
 И поезд.
 И любовь прошла.

— Это я когда ещё написал, по молодости лет!

— Мы с Юркой Казаковым в одном семинаре жили в Малеевке, — прогудел Горышин, — целый месяц. Он пижон московский!

— Почему пижон?

— К концу семинара нужно было написать по рассказу на современную тему, а он написал рассказ «Серебряный обруч». Про Лермонтова.

— И что? Рассказ-то хороший, не то дерьмо, что вы писали!

— Ты читал, что ли? — обиделся Горышин. — Там ребята сильные были, сам Василий Макарыч приезжал...

— Нет, не читал, — Горбовский обрадовался, «заведя», наконец, пьяного Горышина. — Юрка плохих рассказов не писал! А Шукшин там у вас только пил, поди, да за бабами бегал!

Горышин надулся по-детски, что было смешно: огромный детина сидит, скривив губы, вот-вот заплачет.

— Садись, Костя, у городских, говорят, в ногах правды нет. — Горбовский подвинулся, освобождая место рядом с собой на диване. — Мне Казаков рассказывал, как он году в пятьдесят восьмом, в декабре, приехал в Ленинград специально посмотреть на пушкинские места. Мойку там, Неву. Хотел написать рассказ о Пушкине. И Лермонтове. А в декабре, сами знаете, дни слабенькие, ночи длиннющие. Он рассказывал, тогда на Мойке в квартире Пушкина, не знаю, как сейчас, на подоконниках в папках лежали отпечатанные на машинке записки, выдержки из дневников, из писем тех, кто рядом с Пушкиным был, ну... в последние его часы. На земле. Все же понимали, кто умирает на красном диване. — Горбовский откинулся на спинку литфондовского дивана-уродца, забросил руки за голову, словно вспоминая что-то. — Не знаю, как сейчас, говорят, в квартире и книги не те, и диван не тот, мебель не та, что была при Пушкине. Остался, не знаю, тогда он говорил, был ещё стенд: под стеклом жилетка пушкинская, чуть ли не простреленная, свеча, что была при отпевании, и перчатка Вяземского, вторую он бросил в гроб. Да-а... — помолчав, протянул Горбовский. — Юрка рассказывал, вышел он на лестницу из квартиры и вдруг так разрыдался, не может идти, упал лицом на перила, не оторваться... Ты наливай, Костя, чего ждёшь? А говоришь, — это он Горышину, — пижон московский!

— Я тебе, Глеб, ещё в шестьдесят втором, когда мы у тебя в коммуналке гудели, стихи написал. — Рубцов встал, опёршись на столик, тот заходил ходуном. — Стихи, посвящённые поэту Горбовскому! — важно и торжественно сказал он.

Трушобный двор. Фигура на углу.
 Мерещится, что это Достоевский.
 И жёлтый свет в окне без занавески
 Горит, но не рассеивает мглу.
 Я продолжаю верить в этот бред,
 Когда в своё притонное жилище
 По коридору в страшной темнотище,
 Отдав поклон, ведёт меня поэт...
 Куда меня, беднягу, занесло!
 Таких картин вы сроду не видали,
 Такие сны над вами не витали,
 И да минует вас такое зло!
 ...Поэт, как волк, напьётся натошак.
 И неподвижно, словно на портрете,
 Всё тяжелей сидит на табурете
 И всё молчит, не двигаясь никак.
 А перед ним, кому-то подражая
 И суетясь, как все, по городам,
 Сидит и курит женщина чужая...
 — Ах, почему вы курите, мадам! —
 И всё торчит:
 В дверях торчит сосед,
 Торчат за ним разбуженные тётки.
 Торчат слова,
 Торчит бутылка водки,
 Торчит в окне бессмысленный рассвет...

- Это не весь ещё стих, остальное я забыл, — устало сказал Рубцов.
- Стих хороший, — поднял голову Шкляревский. — А Юрка Казаков, конечно, московский пижон. Хотел имя своё обозначить! Рассказ о Пушкине написал — и всё, ты уже в Пушкиниане, на века!
- По себе судишь! — неожиданно подал голос Рубцов.
- Я? — повернулся Шкляревский. — Ты, Колян, рехнулся, что ли?
- Какой я тебе Колян? — огрызнулся Рубцов. — Ты зачем за «Слово...» взялся? «...О полку Игореве»? Ха, переводить! До тебя мало переводов было?
- Ты что в этом понимаешь?! — развернулся к нему Шкляревский.
- Секу кое-что! — с достоинством сказал Рубцов.
- А верно, — видно было, что тема (и назревающий скандалчик!) радовала Горбовского. — Я читал перевод подстрочный Лихачёва, вполне прилично, читаемый перевод. А есть ещё Жуковского, Майкова, даже Заболоцкого, чего туда лезть?
- С кувшинным рылом! — сказал Рубцов, нагло вато поглядывая вокруг. — После великих-то! Вот имя и хотел заработать!
- Мой перевод сам Лихачёв Дмитрий Сергеич и хвалил!
- Да он всех хвалит, — подмигнул Горбовский, — по доброте души.
- Я с Игорем три месяца в палатке жил! — снова загудел Горышин, кивая на Шкляревского. — Кругом ни человека, одни на берегу. Он мужик правильный!
- Мужик правильный, а стихи соплёй пишет! — не унимался Рубцов.
- Шкляревский только обиженно сопел.
- Зато в собаках понимает, — задумчиво, как об отсутствующем, сказал Горышин. — Ездили с ним к егерям, которые лаек-медвежатников натаскивают, он прямо свой среди них... Помнишь, Игорёха?
- Горбовский ловко разлил водку:
- Ладно, ссориться не будем! За русскую литературу выпьем! Я сам слышал, как Шкляревского Борис Абрамыч Слуцкий хвалил. Такой зря хвалить не станет. Поэт от Бога!

— Слуцкий не русский поэт! — не унимался Рубцов. — Он и меня хвалил, а я ему так и сказал: не русский!

— А чей же? — насторожился Горбовский.

— Ев-рей-ский! — раздельно сказал Рубцов. — Они залезли в русскую литературу... последний русский поэт был Есенин!

— А Маяковский? — поинтересовался Горышин.

— Еврейский! — уверенно кивнул Рубцов. — Он всё писал по заказу этой своей... ну, потаскухи, которая у него «Форды» выцыганивала...

— Лили Брик? — ухмыльнулся Горбовский.

— Во-во! — подтвердил Рубцов.

— Тебя, старик, — улыбаясь и поблёскивая коричневыми глазками, сказал Горбовский, — уже из Литературного института выперли?

— Нет, — насторожился Рубцов. — Отпуск академический дали, а что?

— Зря, — Горбовский хитро прищурился. — Есть такие люди вроде нас с тобой, которым учение только во вред идёт. Башка столько знаний не вмещает!

— А ты-то! — задохнулся от такого предательства Рубцов. — Скажи, все эти Багрицкие, Мандельштамы, Пастернаки, Давиды Самойловы... этот, ну, который «коммунисты, вперёд» написал...

— Межиров, что ли? Он поэт сильный!

— Ну и пусть сильный, не в этом дело! Еврейский! А что, не так? Я и Слуцкому сказал, мы ещё с Солоухиным в Цэдээле были, что Сталин не зря всю еврейскую культуру погонял после войны. Он понял, он великий человек был!

— А Слуцкий тебе по морде не дал? — наконец, просыпаясь, меланхолично поинтересовался Шкляревский.

— Нет! — лихо откинул зачёс со лба на лысину Рубцов.

— И правильно сделал, — Шкляревский поднял стакан, взглянул на просвет на его содержимое и выпил.

Все тоже приложились, Елагин механически тоже выпил, рассматривая неожиданно бойкого Рубцова, и в наступившей паузе Шкляревский задумчиво сказал:

— Правильно Слуцкий сделал, что не дал по морде. Он бы тебя соплёй перешибить мог.

— Потом написали бы, — захохотал довольный Горбовский, — «еврейский поэт соплёй убил русского поэта».

Горышин вдруг поднялся, шатаясь, и стал пробираться к двери.

— В сортир? — поинтересовался Горбовский.

— Гулять! — бухнул Горышин и, задев плечами косяки, вышел в коридор.

— Костя, — обеспокоенно сказал Горбовский, было непонятно, говорит он всерьёз или валяет дурака, — Горышин, когда подопьёт, его черти таскать начинают. Сам не помнит, где ходит. Ты из нас-то потрезвей, проводи его, а? А то натворит хрен знает что, потом на меня валить будут!

Елагин догнал шедшего пологими зигзагами Горышина возле калитки.

— А, — сказал тот, внимательно разглядывая Елагина мутным взором, словно пытаясь узнать его. — Ты правильно разговор завёл насчёт еврейской литературы! Они всю русскую литературу засидели! Портят, изнутри портят!

— Я? С чего ты это взял? — Елагин, уже жалея, что ввязался в эту историю, подхватил его под руку, чтобы того не так болтало.

— Мы со Шкляревским три месяца на озере жили! Три! — он остановился для важности. — И все три месяца об этом говорили. И он меня убедил! Возьми хотя бы Васью Аксёнова, разве это русская литература? Еврейская! У него же мама...

Пьяного Горышина пришлось вести, точнее, тащить, до самого конца «академической» дороги, вдоль посёлка академиков, и он, не умолкая, талдычил о своём. Как гибнет русская литература от евреев. Пьян Горышин был настолько,

что бросить его одного было невозможно, тем более что начинало темнеть и осенний заморозок прихватывал основательно. И надо было выслушивать бредни до конца. Впрочем, перед самым уже возвращением, у Дома творчества, Горышин вдруг осмотрелся, спросил: «Мы пришли?» — и довольно резво потопал к калитке. Возле неё он оглянулся, всматриваясь в полутьму, что-то, видимо, щёлкнуло в пьяной голове, и он совершенно трезво сказал:

— А в собаках Шкляревский ни хрена не понимает! Взял у егерей щенка — помесь лайки с волком, теперь дома жить не может. Собачина вырос, хватает зубищами за ноги, рвёт! Только жену его и признаёт, — она его кормит. И то боится с дивана ноги спустить! Ха-ха-ха! — проговорил он, не смеясь, и исчез, огромный, всклокоченный, хлопнув калиткой.

Глава 11

Владимир Николаевич Дёмин нагнал Елагина, едва тот вышел из Дома творчества.

— Не против, если составлю компанию?

Дёмин был чисто, до блеска, выбрит, и при каждом движении, показалось Елагину, от него исходил запах дорогого одеколona.

Идти по утреннему морозцу было приятно. Бесцветное небо поднялось ввысь, стройные сосны, вытянувшись свечками, замерли, ожидая то ли оттепели, то ли заморозка.

— Вы действительно хирург? — спросил Елагин после нескольких ничего не значащих фраз знакомства.

— Да, — кивнул Дёмин, — онколог. Ученик Николая Николаевича Петрова. Как вот и Фёдор Григорьевич Углов, — кивнул он на голубенькую дачу слева от дороги. — Он тоже Петрова ученик.

— О нём тут какие-то смешные слухи ходят, вроде обливается старик холодной водой на улице...

— Он всегда не без странностей был, — пожал плечами Дёмин. — А к старости свихнулся на здоровом образе жизни. Хочет до ста лет дожить!

— Это можно?

— Теоретически — да, — он снова пожал плечами. — Только зачем? Доживать маразматиком? Или в лучшем случае в диком одиночестве? Ни жены, ни друзей, обуза детям, те ждут: ну когда же, когда? Жуть! Знаете, я однажды прочитал странное стихотворение такое... Там гениальные строчки есть: «Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить!» Здорово?

— Вы это стихотворение знаете? — изумился Елагин. — Это же Иван Иванович Тхоржевский!

— Вы ещё больше удивитесь, когда узнаете, где я его прочитал! — Он вполборота весело поглядывал на Елагина:

Лёгкой жизни я просил у Бога:
Посмотри, как мрачно всё кругом.
И ответил Бог: — Пожди немного,
Ты ещё попросишь о другом.
Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить.
Лёгкой жизни я просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить.

— Всё верно?

— Верно, но это только две строфы, стихотворение больше...

— Я знаю, я помню его всё. — Дёмин остановился. — Но прежде, откуда я его узнал. Если я вам расскажу, вы от меня отшатнётесь.

— Почему?

— Потому что я был сотрудником той самой службы, которой вы все так опасаетесь! И не зря! А стихотворение нашёл в Петербургском издании его стихов. В библиотеке в Женеве. Есть такой город в далёкой Швейцарии! — Он смотрел на Елагина с живым, но скорее исследовательским интересом.

— Я не сомневаюсь, что и там есть приличные люди, — сказал Елагин, это прозвучало довольно фальшиво.

— Может быть, может быть, — проговорил Дёмин и замолчал, потеряв, видимо, исследовательский интерес.

— Вы на Женеве остановились, — напомнил Елагин, — на Женевской библиотеке.

— А-а-а... — протянул Дёмин, возвращаясь. — Роскошная библиотека, надо вам сказать. Я там большую часть свободного времени проводил. — Он тихонько засмеялся. — Посидел на том месте, где сиживал Ленин. Может быть, даже на его стуле. Там люди стараются без особой надобности ничего не менять. — Дёмин заметно повеселел. — Но, признаюсь, большим поклонником марксизма от этого не стал. То ли задница не та, то ли марксизм другим местом понимать надо. А рассказать вам, как меня туда отправляли? Я ведь от ООН там был, в Женеве. На Rue de Lausanne, 78. Там сейчас «Врачи без границ» разместились. Я, кстати, с её основателем Бернаром Кушнером был знаком. Симпатичный такой молодой еврей, родители выходцы из Латвии, если я не ошибаюсь. Дико энергичный и не без некоторых странностей — был тогда убеждённым коммунистом, не знаю уж, как сейчас. А отправляли меня вот как, — спохватился Дёмин. — Позвонил человек «оттуда», вызвал на встречу на конспиративную квартиру, они любят тайны, говорит: «Вы ведь наш?» Я ему: «В каком смысле?» — «В том, что вы подписку давали!» Я упрощаю, конечно, — повернулся он к Елагину. — Пойдём обратно или к заливу спустимся? Вроде бы погодка позволяет. Словом, — они свернули на грунтовку, всю источенную бороздами ливневых потоков, — напомнил мне человек этот о моём боевом, — он хмыкнул, — прошлом и раза с третьего, я встречи имею в виду, предложил работу в ООН. И стал моим куратором. Так у них это называется. Я переговорил с Николаем Николаевичем Петровым, старик жив ещё был. Кстати, разговор состоялся здесь, в Комарово. У него тут два дома было. Один возле станции где-то, второй на Щучьем озере. Целое финское поместье ему в сорок шестом году пожаловали. По слухам, жену о-очень высокопоставленного человека, вроде бы из Политбюро, удачно прооперировал. А он, знаете, мастер огромный был. Про него говаривали, мол, если бы у человека душа была, он бы её при операции обошёл, скальпелем не тронул. Вот мы в том поместье и обсуждали с ним мою поездку в Женеву.

— Вы на фронте были? — Елагин уловил усмешку в «боевом опыте».

— Мы в сорок третьем ускоренный курс медицинского закончили, нескольких студентов отобрали, не знаю уж, по какому принципу, и пригласили в СМЕРШ, была такая организация, — он помолчал, аккуратно выбирая дорогу и стараясь не поскользнуться на крутом склоне. — А что мы тогда о СМЕРШе знали? Дураки были, «смерть шпионам!» А кто в двадцать лет смерти шпионам не желает? Вот и стали нас готовить к заброске... — он задумался на мгновение, — к заброске в тыл.

— И забросили? — спросил Елагин после долгой паузы.

Дёмин промолчал, внимательно глядя под ноги: дорога пошла через низину, надо было шагать по кривым, неровным доскам, брошенным в чёрную болотную грязь. Грязь подмёрзла слегка, стала седоватой от инея, но доски качались, проседая и пуская вверх маленькие фонтанчики пузырящейся болотной жижи. Последние метров триста до выхода на шоссе и дальше — к заливу, прошли молча.

— Вы спросили, как меня отправили в Женеву? — Дёмин снова был розово-уверенным в себе человеком. Джентльменом. — Это забавная история!

Залив уплывал за горизонт, поигрывая солнечными бликами, слева на самом краю исчезающего горизонта блестел золотым куполом Кронштадтский собор. Чайки ссорились из-за дохлой рыбины, выброшенной на берег. Их крики были похожи на вопли рассерженных детей.

— Это было смешно, — Дёмин зашагал по плотному, сглаженному отступившей водой песку. — Мой куратор, я о нём говорил уже, звонит, говорит, надо пройти какую-то районную комиссию старых большевиков. А меня буквально из операционной выдернули: важный звонок! Я кричу в трубку, сестра медицинская трубку держит, чтобы я руки не замарал: «Пошли вы все вместе с комиссией, некогда мне!» К вечеру опять звонок. Мы уже сидим в моём кабинете, отдыхаем. Чай с лимоном. Сладкий. Я вообще сласти люблю, видно, в детстве не доел. И снова: «Надо на комиссию, иначе не выпустят!» В общем, раза три-четыре я отбивался, потом он меня всё-таки вытащил. Там очередь сидит унылая на эту комиссию, мы мимо очереди — в дверь. Это, знаете, в райкоме партии было, на Невском, во дворце Белосельских-Белозёрских. Я там, признаться, с самой блокады не бывал. Поднимаемся, лестница широченная, скульптуры, позолота — красота! И всё это какое-то серенькое, не отделанное, не ухоженное, будто пылью покрытое. Я — бегом, с операционного дня сорвали. Входим, сидят в роскошном зальчике с лепниной на потолке какие-то старички, старушки божьи одуванчики, мышцы серые. Я — здрастье, молчат. Потом одна папочку полистала, говорит: «Фамилие ваше как?» — Дёмин! Она: «Та-ак!» — и смотрит на меня эдак испытующе. — «В Швейцарию хотите ехать?» Я говорю: «Нет, не хочу, меня посылают!» А куратор, он вместе со мной зашёл, за рукав дёргает, мол, не заводись! Тут старуха прищурилась так хитро и спрашивает: «А какой государственный строй в Швейцарии?» Я сходу: «Понятия не имею! Я туда не революцию делать еду, а больных оперировать!» Они раскудахтались дружно: «Как это вы понятия не имеете? А вдруг там вас спросят: какой у нас государственный строй?» Я говорю, они что, сами не знают, какой у них строй, чего меня спрашивать? И старушка, она, видно, главная была, папочку демонстративно захлопывает: «Так мы с вами вопроса не решим!» — и с важным видом на остальных поглядывает. Те только головами качают. Скорбно так, как на похоронах. Я говорю: «Вот и хорошо! Мне как раз в клинику побыстрее надо, операционный день сегодня!» — и в дверь. Куратор за рукав держит, тянет обратно. Видно, я ему всю малину испортил! — Дёмин засмеялся. — После он за мной несколько дней бегал, говорит, без очереди пройдем, без вопросов дурацких, я с ними договорился уже! А я, уж если упрусь... — Он оглянулся на Елагина, шедшего чуть сзади. — Потом мне куратор сказал, что я был первый, кто без парткомиссии в капстрану поехал!

На пустынный пляж вышла небольшая стайка разномастно одетых детишек в шапках-ушанках, панамках, косо сидящих кепочках, с двумя сопровождающими. Из-под пальто воспитательниц виднелись белые халаты. Что-то в детях было странное, Елагин сразу не мог понять — что. И только когда из-за низкорослого ельника с ветвями, повёрнутыми от залива, появилась инвалидная коляска, Елагин сообразил, что это за дети. Это так не вязалось с весёлыми бликами залива, свежим ветерком — особым, морским, — чайками, свободно, почти без взмаха крыльев парящими над водой, с простором, с дальним горизонтом! Цепочка больных, изувеченных полиомиелитом детишек, шедших осторожно, кособоко, криво, волоча ножки, опираясь на палки и костылики, держась друг за друга, — что-то библейское и брейгелевское было в этом убогом шествии.

Дёмин тоже остановился, коротко взглянув на детишек, и повернул назад.

— Здесь детский санаторий, — вздохнул он. — Рядом с дачей Углова.

— Я знаю, — кивнул Елагин.

Чайки кричали голосами, похожими на взволнованные детские крики, а дети, цепочкой, шли совершенно молча, беззвучно. Только одна из воспитательниц прокричала, взмахнув руками, словно собираясь вспорхнуть:

— Алёшенька, ну помоги же Машеньке, видишь, она упала!

Глава 12

— Вы, конечно же, Симплициссимуса моего не читали? — Отзавтракав, по обыкновению, первым, Александр Антонович Морозов сидел за своим столиком в углу, сытым коршуном посматривая на входящих в столовую писателей. И поджидая Елагина.

— К сожалению, Александр Антоныч.

— А зря. — Он попросил у подавальщицы стакан чаю и расположился поудобнее для долгой беседы. — Симплициссимус в переводе с таинственной для вас латыни — наипростейший. Но в романе он назван наипростейшим иронически, он, знаете ли, такой барочный пикаро, герой плутовского романа. Этакий Фигаро, Бендер, если хотите... — Он покивал подавальщице, которая вместе с чаем принесла и дополнительную сладкую плюшку. — А здесь нас окружают в прямом смысле наипростейшие, амёбы какие-то... Вчера вы подослали ко мне какую-то девицу весьма сомнительного вида. Я изумился: неужто Константин Константиныч пользуется сей материал. Или продукт? Потом смотрю, нет, она ведёт на поводке на кормление какого-то ушибленного типа, уверяя меня, что вы позволили съесть ваш завтрак! У меня просто отлегло от сердца! — Он жевал плюшку, запивая чаем, и был счастлив: есть с кем посплетничать и обсудить местный публикум. — На этих простейших Зошенки нет!

— Александр Антоныч, вы ведь были на том собрании... — Елагин задумался. — ...Трагическом, когда осуждали Зошенку?

— Вы имеете в виду собрание, — прищурился Морозов, — во время которого у барочного ангела с потолка отлетела ножка и дала по башке Азарову?

— Нет, — сказал Елагин, чувствуя, что хитрец Морозов хочет увильнуть, — я про собрание...

— Кстати, — Морозов быстро и старательно дожевал плюшку, — знаете, что было написано в медицинском документе, сопровождавшем Азарова в больницу? Нет? — Он поднялся из-за стола и жестом пригласил Елагина. — Там значилось, это почти точно, я сам видел эту бумажку, Всеволод Борисович очень ею хвастался: «Поэт Всеволод Азаров ушиблен упавшей ножкой ангела». Как вам нравится? — И зашагал к двери, косолапя по-медвежьи.

Через несколько минут, когда Елагин вышел из столовой, Морозов нетерпеливо прохаживался по дорожке, заложив руки за спину.

— Не хотел затевать этот разговор в столовке, — Морозов бодро подошёл к нему. — Они ведь, — он кивнул куда-то вверх, — всё слушают! Мне кажется, слушают всё, вплоть до наших сортиров. Им важен даже писательский пердёж! — Морозов любил иногда подпустить «мо». — Прогуляемся, если вы не против? Куда предпочитаете? Направо к академикам, налево к Углову, вперёд — к заливу, назад — на станцию?

— Мне безразлично!

Видно было, что старику хочется поговорить.

— Тогда с вашего позволения я бы хотел добрести до станции. Надобно в местной лавочке кое-что закупить, как нынче выражаются! — Он осмотрелся по сторонам. — Вы про то собрание, где Зошенко осуждали, спрашивали? Конечно, я там был! На таких собраниях «не быть» не позволялось! Потребуют объяснений! В идеале — справку медицинскую. А и то не поверят! Да-аа... — Они двинулись в сторону

станции. — Знаменитое собрание было, вы о нём Гора Геннадия Самойловича порасспросите, он расскажет поинтереснее!

— Он говорит, что не был.

— Ах, да, — припомнил Морозов, — собрание-то было партийным, да ещё и закрытым! А Гор ВеКаПэбе, — брезгливо сказал он, — игнорировал. — Морозов помолчал, поигрывая губами, словно мелко жевал что-то, случайно попавшее в рот. — Да-аа-сс, собрание было любопытным. Тогда царил в питерском союзе писателей Кочетов Всеволод Антипыч, вам, надеюсь, хорошо известный. Только по роману? По «Журбиным»? Читали, поди, как образец? — не упустил он капнуть яду. — Ваша ведь стихия — завод, верфь, а? А откуда это у вас, кстати?

— Я инженер по образованию. А начинал когда-то токарем на заводе. Так что завод для меня как деревня для наших деревенщиков.

— Вроде Василия Белова? Или, не к ночи будь помянут, Фёдор наш Абрамов? — хмыкнул Морозов. — Они с лёгкой руки Солженицына понаплодили таких деревенских старух, каких в жизни не было. — Он чуть сбавил шаг. — Это как с Тургеневым. Никаких таких «тургеневских девушек-барышень» и в помине не бывало, покуда он их не придумал. А после-то их и развелось! Задышаться стал на ходу, — без паузы сообщил Морозов. — Старость — это, знаете ли, довольно неприятная штука. — Они подошли к станции и замолчали, пропуская набирающую ход электричку. — А я ведь житель-то здесь старый. — Морозов, осторожно покосившись налево-направо, зашагал через рельсы. — Помню, когда ещё здесь паровозы ползали, а станция Келломяками называлась. Колокольная горка по-фински. Мы частенько с Евгением Львовичем Шварцем совпадали. Вместе ездили! Прелюбопытнейший человек! Дар редкий у него — сказочник. Редкий! Уж я-то в сказках, сами понимаете, соображаю кой-чего. Мы с Эрной Георгиевной в своё время со всеми поморскими сказочницами перезнакомились-передружились. Да и записывали их часами. — Он вздохнул, искоса взглянув на Елагина. — Кое-что и переписывали за них, грешным делом. Я особо этим грешил, за что мне от честной Эрны и попадало! — Они подошли к местному магазину. — Евгений-то Львович Шварц сказочник дивный был. — Морозов поднявшись на крылечко, отворил дверь в магазин и обернулся. — А мемуары со страху чепуховые написал, — сказал он весело, — пустейшие мемуары!

Морозов после длительного обсуждения с продавщицей, как старый покупатель он называл её по имени-отчеству, приобрёл поллитровку и бутылку трехзвёздочного коньяку.

— Это, — ласково подержал бутылку с водкой в руке, — для Сергей Владимировича Петрова, он в гости ко мне едет, а это, — кивнул на коньяк, — для меня. Сергей Владимирович такую дрянь не пьёт. А я, всё ж, его, трехзвёздочный, предпочитаю.

Продавщица, сгучавшая без разъехавшихся дачников, аккуратно уложила бутылки, какую-то закуску («На ваш выбор, голубушка!») в авоську и вручила Морозову.

— Помню девчонкой её, — сказал он, когда вышли из магазина. — Хорошенькая была. Худенькая. И писателей обожала. — Тяжело вздохнул. — Да и они её тоже! — И бодро пошёл обратно, в сторону станции. — А Сергей Владимирович, могу вам сообщить, — они снова пропускали электричку, теперь уже в сторону Зеленогорска, — поэт великолепный! Любую литературу мировую прославить бы мог, да ведь — как Пушкин говаривал, — угораздило родиться в России с умом и талантом!

Поезд прогремел, они перешли рельсы, — Морозов как-то испуганно озирался и даже схватил Елагина за рукав.

— Тут у нас, — пояснил он, — поэтессу одну: хлоп! — и нету! Поезд, электричка, в прах разнесла! Представьте, час назад мы с нею завтракали, всё спорили: можно ли поэтессой женщину, стихи пишущую, называть. Я ей: «А как же, позвольте спросить?» Она: «Просто — поэт!» Вот так-то, а после пошла в магазин — и в прах, говорят, вовсе ничего не осталось, хоронить нечего!

Неяркое осеннее солнце поднялось и изрядно пригревало спину. Морозов остановился, запыхавшись.

— Погреемся? — Он сощурился, как кот на солнышке. Разве только не мурлыкал. — Осень не люблю, — сказал он неожиданно. — Хоть и воздух особый, прозрачный какой-то. Люблю весну. Журчит всё, бурлит, дышит природа! И самому дышать хочется! У Стравинского «Весна священная» — божественная вещь! Уловил гений философский мотив вечно оживающей природы. Мравинский Евгений Александрович «Весну священную» дивно исполнял, никакому потрясающему фон Карояну так не удавалось. Немец! — Он обречённо взмахнул руками, бутылки звякнули в авоське. — Русской культуре вообще свойственно улавливать суть явления, суть природы. Уловить, отобразить, но не понять! У немцев — нет, у тех всё от ума, от размышления идёт, а у русаков — от души. — Он, не открывая глаз, повернулся к Елагину. — Вы знаете, что фон Кароян дирижирует в этих... как их теперь называют... вроде тапочек, модные такие, спортивные...

— Кроссовки? — удивился Елагин.

— Да-да, — обрадовался Морозов, — кроссовки. Видать, ноги болят у старика! — И двинулся в сторону Дома творчества. — А собрание ужасное, ужасное было, — он продолжал разговаривать с самим собой, не оборачиваясь. — Перед собранием, натурально, статейки пошли. Как положено: «Писатели осуждают». А там и Маршак, и Шкловский, и Фадеев поучаствовали... Полагаю, хотели бы и ещё многие отличиться, лягнуть поверженного, но не всем позволено было! — Он переложил авоську с руки на руку и вытащил из кармана платок. — Сейчас любят говорить, будто бы Зошенко таким героем на нём выступил. Я, дескать, бывший офицер, от своих принципов (он произнёс принциппов) не откажусь... Я тогда же за ним быстренько записывал. — Звучно высморкался в мятый платок и старательно запихнул его обратно. — Опыт скорописи за старухами во время ссылок пригодился! Кое-что в памяти осталось, а иной раз и перечту, освежу, когда на душе совсем худо бывает! Мол, как Пушкин говаривал, это горе-то не горе! Да-аа... — Он остановился перевести дыхание. — Хотите дословно? Что не надо, сидит в башке, что надо — не сыщешь. — И прикрыл глаза, как слепец, повернув голову к солнцу. — «...Могу сказать, моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения: ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею». — Морозов помолчал, не открывая глаз, со стороны казалось, будто он просто греется на негорячем осеннем солнце. — А потом вдруг говорит: «Я болен, болен, мне нужна путёвка в санаторий!» Вы, по счастью, не можете себе представить весь этот ужас! За столом вальяжный, загорелый Симонов с благородной сединой, в рубашечке джерси, каких у нас не видывали, из-за границы привёз, поди. Он тогда за рубежом в большой моде был. Симонов Москву представлял. Вроде и помалкивает, а важности собранию придаёт! Рядом Сергей Воронин, этого и вспоминать не хочу, дрянь человечешко, всю жизнь русофила изображает, а любит-то власть одну, Петька Капица, тоже тип хороший, спец по доносам ещё с Балтики, мне Азаров рассказывал. А главный-то обвинитель — Кочетов. Этот прямо как следователь, петухом всё налетал на Зошенку!

До самой калитки в Дом творчества шли молча. Перед тем как войти за синенький заборчик, Морозов придержал Елагина за рукав.

— После собрания я стоял в очереди в буфет, подошёл кто-то из молодых, не помню уж кто, вроде Коля Михайловский, вместе с Зошенко. Очередишка жиденьякая расступилась, дали стакан воды ему выпить, он принялся пить, глотать — и не может. Вода льётся за воротник, он кашляет, снова пробует пить — и снова то же самое. Спазм какой-то на нервной почве. Так он и не восстановился после этого собрания. Хворал,

лечился, снова хворал. Пока инсульт его не доконал. Может, и к лучшему? — Морозов понуро стоял возле калитки, словно не решаясь войти. — Речи лишился, перестал своих узнавать, а совсем перед уходом вдруг прояснилась голова, это мне Верочка, жена его, рассказывала, — потянулся к её руке и говорит совершенно внятно. Хоть и тихо. Но он всегда тихо говорил: «Как странно, Верочка... Как я нелепо жил...» — Морозов снова вытащил платок, по-детски утёрся и кивнул Елагину. — К чему я всё это вам говорю? Забыть бы как страшный сон, да не получается!

И ушёл в калитку не оглядываясь. Большой, грузный, с сеткой-авоськой в руке. Бутылки, завёрнутые в бумагу, перезванивались в такт неровным шагам.

Глава 13

— Вчера Друскин Яков Семёныч заходил, — встретился по пути на завтрак Мануйлов, — хотел портфельчик вам передать, да не застал. Ко мне милости прошу, у меня портфельчик! — Мануйлов семенил, несмотря на утренний холодок, в одном пиджачке и неизменной вышитой ермолке. Из-под ермолки выбивался седой реденький пушок. — Смотрите, что я не брит? — Он весело улыбнулся. — Не Бриттен? — И подмигнул. — Поленился, поленился сегодня. Думаю, гостей не будет, коли дуриком не набегут, нечего и марафет наводить! В двенадцать пятнадцать жду, у меня как раз перерывчик будет.

«Портфельчик», оставленный Друскиным, оказался новеньким кожаным чемоданчиком, из тех, что позже будут называть кейсами.

— Яков-то Семёныч видел вас вчера, — Мануйлов передал тяжёленький чемоданчик, — да не рискнул подходить. Уж больно, говорит, вы беседой с Морозовым увлеклись. А они издавна друг друга недолюбливают. Почему? — Мануйлов увидел, что Елагин вопросительно поднял брови. — Да кто ж знает? Друскин, знаете, после отсидки не очень-то к людям расположен. Считает, порода человеческая слишком к конформизму склонна, к соглашательству, по-нашему! Воркута особую закалку даёт! — И поправил очки, давая понять, что хочет вернуться к рабочему столу.

Профессор был поклонник жёсткого режима и не любил, когда его беспокоили во время работы.

В этом весь Друскин. Смешно, не весь, конечно. Припереться старику в Комарово, чтобы привезти обещанные рукописи, и не подойти, увидев, что Елагин прогуливается с Морозовым. Высоченный, худющий, словно Дон Кихот, со странной походкой и манерой сидеть, завернув ногу за ногу. Со взглядом, который Елагин видел только на фотографии Пикассо: взгляд изучающий, схватывающий, светящийся. Взгляд безумца и гения. Как он выжил в Воркутинском лагере, что перенёс, что претерпел, чему выучился?

В чемоданчике сверху, на кипе бумаг, лежал небольшой рисунок с подписью: М.Шемякин. На рисунке Пушкин, раненный во время дуэли. Уже выпал из руки пистолет, подкосились ноги, но живой, ясный взгляд устремлён куда-то далеко, куда даётся возможность заглянуть лишь в короткий миг перед смертью. И подпись на отдельном клочке бумаги, пришпиленном к рисунку: «Вам. Я.Друскин».

Под рисунком пожелтевшая газетная вырезка с английским текстом. Листочек-перевод почему-то пришит цветной ниткой. «*Кто убил жену Сталина?*» И дальше целая кипа листков, написанных от руки, машинописных, схваченных скрепками, сшитых скоросшивателем на манер государственных документов, напечатанных на разной бумаге: толстой, жёлтой, почти прозрачной (папиросной), то чётко, то на старых машинках с синим, забитым и заплывшим местами текстом. Кто может в этом разобраться?

После И.Н.Казакова тело покойной осматривал главврач Лечсанупра А.Ю.Канель, её заместитель Л.Г.Левин, проф. Д.Д.Плетнёв и академик Б.И.Збарский. Никто из них акта о самоубийстве Аллилуевой не подписал. Около часа дня протокол был подписан никому не известной Розалией Кушнир.

Каролина Тиль увидела её лежащей на полу. Она держала в руках окровавленную подушку. Видно было, что она пыталась защититься от кого-то. Рядом валялся маленький револьвер. Они подняли тело, положили на кровать и бросились вон из спальни. Кому звонить, кого звать? Позвонили Авелю Енукидзе...

Охранник, задремавший на посту у входа в квартиру, услышал резкий звук, будто кто-то хлопнул дверь. Выглянул в коридор и увидел тень, скользнувшую в спальню Сталина.

После парада и демонстрации, которые шли тогда подолгу, собрались на квартире Ворошилова, у него была огромная столовая, и как было заведено, сильно выпивали. Надежда была в чёрном блестящем платье, которое ей привёз брат Павел из Германии, в новой короткой причёске и с розой в волосах. Она могла иногда казаться красавицей. Сталин сидел за столом напротив неё, был в хорошем настроении, шутил с первой кремлёвской красавицей, женой бывшего начальника Главпура РККА Гусева (Драбкин ЯкДавид) — та была якобы актриса и славилась, как бы это сказать... легкомыслием по отношению к мужчинам. Сталин, шутя, стал бросать корочки от мандаринов, стараясь попасть в роскошное декольте Гусевой. Надежду это злило, она сделала ему замечание. Он вспыхнул, как он это умел, и швырнул мандариновой коркой в неё. А после стал катать хлебные шарики и бросать, потом окурки, по счастью, не попал, она попросила прекратить (довольно резко), намекая на то, что он много выпил, но он снова швырнул корку и попал ей в глаз. Может быть, случайно, а может, и нет: ему не нравилось, когда она по последней кремлёвской моде стала подкрашивать глаза. Тут тоже Павел, брат её, виноват: привозил из Германии всякие кремы, духи (Сталин духов не любил, все его женичины это знали. М.б. у него была аллергия на духи?), помады разноцветные, немцы это умеют, туши для ресниц. Полина Жемчужина раз как-то накрутилась синей тушью.

Обрывок с едва читаемым текстом:

Сталин выскочил, испуганный, с криком: «Я ничего не слышал, я был на даче...» Хотя все знали, что он на дачу не поехал, а завалился в своей спальне, почти напротив спальни жены. Зачем он кричал об этом?

...Маленький вальтер, подаренный Павлом, она держала в правой руке. Хотя выстрел был в левый висок. Но она левшой не была. Попробуйте выстрелить правой рукой в левый висок. К тому же на виске не было видно порохового следа-ожога, как бывает при выстреле в упор.

Сталин крикнул: «Эй, ты, пей», а она ему: «Я тебе не “эй”!». И выскочила из-за стола. За ней Полина Жемчужина, лучшая её подруга и стукачка, жена Молотова. Они чуть не два часа болтались по кремлёвскому двору, Надежда жаловалась, что с ней редко бывало, что он изверг, тиран, издевается над ней, что она сделала десять аборт, что хотела уехать в Харьков с детьми, что не пускал учиться в институт какой-то, в Промакадемию... Потом она как бы поприхла, вернулась в квартиру Сталина, и Надежда ушла к себе.

Говорили даже, что она не спала, слушала, не вернётся ли Иосиф? Потом позвонила среди ночи в Зубалово, на дачу. Охранник, видно, спросонку, и ляпнул: «Он занят!»

Надежда и спрашивает «а кто с ним?» Тот, дурак, говорит... Пьяный был, что ли? Говорит: «Жена Гусева, актриса!» Вот вроде бы тогда она браунинг и схватила.

Когда хоронили Надежду Сергеевну, видно было, что она причёсана не по-своему. Всегда на прямой пробор, она так любила, а тут — волосы на висок на левый зачёсаны и приклеены даже, это видно.

Было такое мнение, что Сталин — отец Надежды. Однажды он, якобы, ей это сказал. С того и начались скандалы, даже с мордобоем или уж, во всяком случае, пощёчинами в обе стороны, её безумные головные боли, поездки на лечение в Карлсбад. Её матушка, это известно, была, что говорится, “слаба на передок”, путалась смолоду с мужиками. Она и с Аллилуевым-то сошлась, когда ей ещё четырнадцати не было. Особо любила кавказцев. Немка ведь была, из тифлисских немцев. Там целая колония их была, ещё с начала 19-го века.

Рукописная пометка полувыцветшими чернилами:

Дневник. Наде 16 лет. И старинная сиреневого цвета машинопись с забитыми, размазанными буквами: «Уезжать из Питера мы никуда не собираемся. С провизией пока что хорошо. Яиц, молока, хлеба, мяса можно достать, хотя дорого. В общем, жить можно, хотя настроение у нас (и вообще у всех) ужасное, временами плачешь: ужасно скучно, никуда не пойдёшь. Но на днях с учительницей музыки была в музыкальной драме и видела “Сорочинскую ярмарку”, остались очень довольны. В Питере идут слухи, что 20-го октября будет выступление большевиков, но это всё, кажется, ерунда. 1 октября 1917 г.»

Я теперь в гимназии всё воюю. У нас как-то собирали на чиновников деньги, и все дают по два, по три рубля. Когда подошли ко мне, я говорю: «Я не жертвую». Меня спросили: «Вы, наверное, забыли деньги?» А я сказала, что вообще не желаю жертвовать. Ну и была буря! А теперь все меня называют большевичкой, но не злобно, любя. Я уже два месяца занимаюсь по музыке, успехи — так себе, не знаю, что будет дальше. А пока до свидания. Мне ещё надо несчастный Закон Божий учить. 11 декабря 1917 г.

Занятия в гимназии идут страшно вяло. Всю эту неделю посещаем Всероссийский съезд Советов Раб. и Солд. и Крест. депутатов. Довольно интересно, в особенности, когда говорят Троцкий или Ленин, остальные говорят очень вяло и бессодержательно. Завтра, 17 января, будет последний день съезда, и мы все обязательно пойдём. 16 января 1918 г.

В Питере страшная голодовка, в день дают восьмушку фунта хлеба, а один день совсем не давали. Я даже обругала большевиков. Но с 18го февраля обещали прибавить. Посмотрим! Я фунтов на двадцать убавилась, вот, приходится перешивать все юбки и бельё — всё валится. Меня даже заподозрили, не влюблена ли я, что так похудела... Приехал к нам на десять дней Павлуша и опять уехал. Он записался в новую социалистическую армию, хотя говорит, что ему страшно надоел фронт. Мама его бранила, а мы на «ура» подняли. Отец тоже хочет записаться, но, конечно, шутит. Февраль 1918 г.

Тот же старый, ломаный почерк, так писали ещё в начале века:

Письмо к Ал.(исе) Иван.(овне), жене И.И.Радченко, февраль 1918. Новый год, Надежда пишет: Новый год у нас совсем изменил нашу домашнюю жизнь. Дело в том, что мама больше не живёт дома, так как мы стали большие и хотим делать и думать так, как мы хотим, а не плясать под родительскую дудку; вообще — порядочные анархисты, а это нервирует: у нас дома для неё нет личной жизни, а она ещё молодая и здоровая женщина. Теперь всё хозяйство пало на меня. Я изрядно за этот год выросла и стала совсем взрослая, и это меня радует». И от руки: «...Мама, Ольга Евгеньевна, и в Питере свои проделки и похождения по мужикам не оставляла. Отец при всём его темпераменте почему-то ей это позволял. Или прощал?»

Другими чернилами и, похоже, другим почерком:

Говорят, он её изнасиловал в бронепоезде или агитпоезде, когда они мотались по Югфронту. Отец её, Сергей Аллилуев, тоже был в вагоне, услышал её крики и бросился

в купе Сталина. Там было всё ясно: девочка и здоровый мужчина без штанов. Аллилуев выхватил револьвер (парабеллум) и хотел его пристрелить. Сталин бросился ему в ноги (натурально на коленях), говорил, что любит её, обещал прикрыть грех — жениться. Надежда срамоту прикрыла, но молчала. Аллилуев плюнул и вышел.

Приписка карандашом кривыми, сползающими буквами: «А надо бы пристрелить!»

Елагин перелистнул папку и неожиданно увидел на полу листок, выпавший из чемоданчика. Он поднял четвертушку странички. Почерком Друскина было написано: *У моих знакомых есть американская книга Св.Аллилуевой «Двадцать писем другу». Могу доставить. Если вы свободно читаете по-английски. Я.Д.*

За дверь брякнуло ведро уборщицы, раздался чей-то смех и даже стук машинки у Илюши Штемлера. Потом пробарабанили к нему в номер: «Илюша, обедать пойдёшь?»

«Как обедать, уже?» — спохватился Елагин и огляделся в поисках зажигалки. Ему показалось, что комната, которую он обжил и пообносил, изменилась. Пишущая машинка «Колибри» смотрела с укором, словно ожидая умнейшего, пронизательного текста, вскрывающего ушедший мир, как охотничий нож банку проржавевших консервов, найденных в старой избушке с прохудившейся крышей и медвежьими следами вокруг. Сигареты, наполовину высунувшиеся из мятой пачки «Стюардессы», стопка бумаги, журнал «Аврора», сунутый ему перед отъездом Сашей Шарымовым, книги на подоконнике. Елагин вспомнил детскую свою шутку: открыть наугад книгу и посмотреть, как случайный отрывок впишется в сегодняшние размышления. Он потянулся к подоконнику, сверху лежал библиотечный том «Мёртвых душ» с чьими-то старыми закладками. Он открыл его, стараясь не попасть на закладки.

«Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя брочка мчалась во всю пропащую и деревня Ноздрёва давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он всё ещё поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепёлка в клетке. “Эк какую баню задал! смотри ты какой!” Тут много было посулено Ноздрёву всяких нелёгких и сильных желаний; попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да ещё и в сердцах. К тому ж дело было совсем нешуточное. “Что ни говори, — сказал он сам в себе, — а не подоспей капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы более и на свет божий взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени!”» Герой наш очень заботился о своих потомках.

Теперь, в присутствии чемоданчика, раскрывшего на диване свой новенький муаровый зев, эти чудные гоголевские слова и привычные вещи приобретали другой смысл. Что означает: «Герой наш очень заботился о своих потомках»? То есть он, Елагин, задумав роман о тиране, о Сталине, заботился о потомках? Чушь! Поначалу ему самому было просто интересно. Но кто такой в этом случае гоголевский капитан-исправник?

Чья-то жизнь вторглась безжалостно и возврата не было. Чемоданчик Якова Друскина притягивал, не давая сосредоточиться на другом. Чужая жизнь, спрятанная там, осторожно открывалась, словно кто-то позволил ему смотреть на театральную репетицию. Актёры, плохо знающие роли, ходили по сцене, переговаривались, держа в руках листочки и заглядывая в них время от времени, режиссёр-стажёр что-то говорил им, те останавливались, замирали на миг-другой, делая вид, что прислушиваются к его словам, и снова принимались бродить, посматривая друг на друга и произнося без чувства и выражения слова, подсмотренные ими в мятых листочках. Не было пока ни автора пьесы, ни режиссёра-постановщика, ни смысла в их перемещениях с улыбочками, привычными шутками и ленивыми, лишёнными

энергии движениями. Неужели из вот этого скучного хаоса на сцене может сложиться драма? Трагедия? Трагедия, трагифарс?

Елагин вспомнил недавнюю встречу с приятелем, актёром Юрием, Юрочкой Родионовым. Встретились случайно возле Екатерининского сквера. Родионов обрадовался и целый час водил под руку Елагина по садику, рассказывая о разводе с женой. Развод был тяжёлый, оба когда-то (а может, и по сию пору?) любили друг друга. Но у неё был крутой нрав, так он говорил, убеждая Елагина (или себя?), жаловался, что она дико ревнует, заставляет стирать со стен подъезда безграмотные объяснения в любви, выведенные разноцветными фломастерами.

«А основания для ревности есть?» — в шутку спросил Елагин, просто чтобы перебить горячий монолог знаменитого актёра.

«Конечно! — всё так же горячо отозвался не почувствовавший иронии Родионов. — Конечно, есть! Но пойми, Костик, это к нашим чувствам не имеет никакого отношения! Понимаешь, — он задумался, — мужчина ведь так создан... Как охотник! Увидел красивую женщину, девчонку, — и на прицел её. Поймал в прицел — ба-бах! — и всё! Охота закончена!»

— А если тебя ловят на подсадную утку?

Елагин очень любил Родионова. Тот при всём своём театральном опыте каким-то образом ухитрился остаться большим ребёнком.

— Костик, — обрадовался Родионов, — как ты верно сказал! Я, дурак, всё время попадаюсь на резиновых подсадных уток! Как ты верно сказал!

Петербургские старушки в шляпках с короткими вуалями, сидевшие под зонтиками от яркого, бьющего в лицо солнца, женщины с колясками, занявшие скамейки, узнавали актёра, улыбались ему, пробовали расслышать, о чём это он так страстно говорит? Конечно, о чём-то высоком, неземном! Молоденькая девочка подошла, стеснясь, попросила автограф, протянула билет и программку на сегодняшний спектакль.

— Да-да, с удовольствием, — отозвался Родионов и расписался на билете.

— А можно ещё и здесь, — покраснела девчонка, — билет ведь разорвут!

Родионов расписался и на программке с профилем Пушкина и тут же спохватился:

— Костик, прости, дорогой, я тебе морочу голову! — он глянул на часы. — Ужас! Опаздываю на репетицию! На полчаса! — И схватил Елагина за руку. — Костик, посмотри репетицию, а? Режиссёр — дурак, ни черта в Пушкине не понимает, цепляется к словам, которые бездарь-драмодел навалял, выдавая за пушкинский текст. Я тебе верю, пойдём, посмотри!

Родионов играл Пушкина. Это была роль-мечта, роль-страдание! Он обожал Пушкина, блестяще выступал с его стихами как чтец, и вот — наконец-то роль! Пушкин! Да ещё в какой миг! Перед самой свадьбой с Натальей Николавной!

Они, слегка запыхавшись, прошли через служебный вход, протрусили по пустым коридорам театра, Родионов распахнул дверь в зрительный зал. В зале было темно, пусто, старинные красные кресла затянуты каким-то брезентом.

— Скандал, скандал будет! — Родионов стащил летнюю курточку, бросил её Елагину. — Подержи пока, скажу, я давно здесь, работал с текстом! — он засмеялся, подмигнул и быстро, через ступеньки, взбежал по боковой лестничке на сцену, легко, неслышно пролетел к середине.

Перед тяжёлыми бархатными складками занавеса он вдруг остановился, будто пойманный единственным прожекторным лучом, бившим откуда-то сверху, и, повернувшись к тёмному залу, закрыл лицо руками, замер. Елагин, сидевший в третьем-четвёртом ряду партера, смотрел на сцену. Это было чудо! Юра, Юрочка Родионов, Юраня, только что смеявшийся и болтавший с ним о разводе, на глазах превращался в Пушкина. Ничего не изменилось: светлые волосы, знакомое лицо, но... — это был не Родионов! В луче, поймавшем пылинки, стоял усталый, бледный,

замученный размышлениями о женитьбе и всё же счастливый Пушкин! Пушкин обвёл глазами пустой тёмный зал, вздохнул и, легко, по-юношески повернувшись, исчез, раздвинув занавес. Нет, это было чудо!

Елагин, невольно прислушиваясь к шумным голосам в коридоре, поднялся с кресла. Показалось, невидимая тяжесть, мешок с песком улёгся на плечи. Чёрт возьми, зачем я взялся за этого урода человеческого, за монстра?! Смогу я вот так, как Юрочка Родионов, обратиться в человека того времени, сталинского, страшного? Иначе не понять, что же тогда произошло, как и почему жизнь миллионов людей превратилась в страшный и убогий кошмар? Только из-за него? Из-за них? Провидение Божье? А где в это время был сам Бог? Только не говорите, что Бог послал очередное испытание России!

Елагин сложил машинописные странички в чемоданчик, защёлкнул затейливый, незнакомый замок, сунул кейс под подушку и вышел, закрыв дверь на ключ.

Глава 14

Они нагнулись, чтобы поднять упавший карандаш, и стукнулись лбами. В тесном пространстве вагонного купе по-иному и быть не могло. Потом много смеялись и шутили, съели заготовленные ею бутерброды, запивая невкусным, но горячим чаем. И странным ему показалось, что она, вернувшись из туалета с полотенцем на плече, попросила его выйти на минуту, чтобы раздеться. Как если бы попросил его выйти старый приятель, с которым росли, гоняли мяч, обсуждали девчонок, делая вид, что как-то по-особому разбираются в них. Но когда, переодевшись, она выглянула в коридор и кивнула ему, он почувствовал, как ошибался. В полутьме горел только ночник над его разложенной постелью, от противоположной полки, на которой лежала молодая особа, тянуло нежным, едва уловимым теплом. Такое тепло осталось в памяти, когда мама приезжала в первый в его жизни пионерский лагерь.

Мама приехала не в «родительский день», когда папы и мамы толпой вваливались за зелёный штакетник и принимались кормить шустрых, плаксивых и прожорливых пионеров. Мама приехала одна. И кто-то, пробегая мимо крокетной площадки, возле которой маялся Костя, глядя, как старшие ребята ловко лупят по жёлтым с надколами костяным шарам, сказал невнятно: «Елагин, вроде к тебе мама приехала». Шары с глухим стуком отскакивали от длинноручных деревянных молотков и неслись или катились медленно к проволочным воротам с таинственным названием «мышеловка». За последними воротами, до которых надо было ещё добраться, стояли полосатокольчатые пирамидки, именуемые почему-то болванами. Этот кто-то, прошлёпав спадающими сандаликами, бросил так, между делом: «Елагин, вроде к тебе мама приехала!»

Маму он увидел в первый раз. Он жил у своих тётушек, жил вполне счастливо, зная по их рассказам, что мама где-то есть, что она много работает и потому не приезжает, ей некогда. А когда работа закончится, она тут же придет, потому что она очень любит своего Костика. В чём он мог убедиться, читая её письма. С рисуночками. Разные там вишенки, яблочки и землянички. А он тоже писал ей, когда тётушки особенно нажимали, и рисовал зелёные танки с красными звёздами, палящие в смешных чёрных немцев, похожих на чёртиков из иллюстраций к книге человека со смешной фамилией Гоголь, которую читали по очереди тётушки и заставляли читать его самого.

Мама стояла у забора, держась за него обеими руками. Она была в синем платье и смеялась. Или плакала. Елагин так и не смог понять. И почему-то потом ему всегда казалось, что мама шла откуда-то издалека по жёлтой солнечной или песчаной

дорожке. Даже не шла, а бежала навстречу, забавно раскидывая руки, как бегали девочки, за что их ругал суровый пионервожатый Павел, отвечавший за физкультуру. Она бежала, а Елагин замер возле калитки, глядя на короткие развевающиеся волосы, синее платье, из-под которого на бегу мелькали белые коленки, и не мог сдвинуться с места. На самом деле она стояла у забора, а он медленно вышел из калитки, сухие сосновые иголки скрипели под сандалиями, левый носок сбился и сполз внутрь, мешая идти. Мама обняла, обхватила его и тут же нагнулась поправить носок. Елагин чувствовал нежное тепло, исходившее от неё. Тонкая свежесть подснежника. Или нет. Лесного не крупного ландыша, если его не срывать, а нагнуться к цветку, к влажной весенней земле и вдохнуть воздух, окружающий фарфорово-белый с жёлто-розовыми тычинками и едва видимыми прожилками цветок. Позже он чувствовал это тепло всегда. Последний раз — когда отец позвонил ему и сказал, что мама умерла. Елагин примчался к ним, взбежал на четвёртый этаж, отец открыл дверь, будто стоял за ней, дожидаясь Елагина. Мама лежала в дальней комнате со спокойным светлым лицом. Елагин нагнулся — от неё шло нежное, едва уловимое тепло.

«Она жива!» — повернулся Елагин к отцу.

«Нет, — ответил тот, держа скомканный носовой платок возле виска, — она ещё не остыла».

Но это будет после, много после, а пока он ощутил родное тепло, исходившее с противоположной полки купе «Красной стрелы», на которой расположилась девушка, натянув сиротское железнодорожное одеяло до подбородка.

Утром они вышли как старые друзья. Лиза ехала к своим родителям, к отцу. Она прекрасно знала Москву и смеялась над Елагиным, — тот приехал в Москву впервые. Просто так, захотелось вдруг прокатиться в Москву, зашёл на вокзал за полчаса до отхода поезда — и поехал. Билеты, кстати, были дорожные, только в «мягкое купе», и съели значительную часть дорожных денег.

— Почему ты не хочешь взять мой телефон? — Лиза протянула бумажку, на которой аккуратным ученическим почерком был написан номер и единственное слово: «Звони!»

Звонить пришлось уже вечером: мест в московских гостиницах не было, а денег хватило только на пассажирский поезд в Питер, который тянулся чуть ли не сутки, останавливаясь «у каждого столба», как сказала Елагину кассирша на вокзале.

После нескольких слов с Лизой трубку взял её отец и голосом, не терпящим возражений, Елагину велено было «не валять дурака, а сдать билет и немедленно приезжать на Солянку».

Поплутав по Москве, а потом и по громадному дому-модерн на Солянке, похожему на питерские дома, Елагин поднялся на лифте на четвёртый этаж. На двери, тоже по старо-питерски, была прикреплена бронзовая табличка: «Профессор Загrevский М.В.»

Через час они уже с профессором, Лизой и молодой женой Загrevского, она была немногим старше Лизы, сидели за круглым столом под большущей люстрой, пили чай с удивительными маленькими бутербродами и «болтали», как сказал Михаил Васильевич, о литературе. Сам он, кстати, оказался биофизиком. Хотя Елагин тогда плохо представлял, что за зверь такой: «биофизик».

— Недавно перечитывал «Войну и мир», — профессор закурил толстую и довольно вонючую сигару, которую он извлёк из серебристого футляра и долго раскуривал, — читал как научную фантастику. Вовсе не исторический роман, как любят врать в нашей замечательной школе. Это героическая сага, миф. Мифологическая Москва, судьба, рок владеет героями. Там нет времени, всё переходит в вечность. И события происходят на другой планете, с другими людьми. Понимаете, люди, что нас сегодня окружают, — это другая человеческая порода. Человечество изменилось.

— Выродилось? — спросил Елагин. Тогда, в то время, это его очень занимало.

— Не знаю, — задумался профессор, — изменилось... Простите, сколько вам лет? Двадцать? Прекрасный возраст, чтобы задумываться о судьбах человечества! — Он смотрел то на Елагина, то на кончик сигары, от которой игривой спиралью поднимался дым. — Вы можете представить, не понять, разумеется, а просто представить, как жили, о чём думали ваши родители примерно в вашем же возрасте? — Загревский повернулся к жене, та молча долила чай в старинную фарфоровую чашку. — Это, впрочем, долгий и отдельный разговор, мы ведь о книгах начали... Я, знаете ли, недавно был с лекцией в Доме литераторов. Сейчас биологи, биофизики в моду вошли. А я спрашиваю литераторов, что в зале сидят: «У многих ли есть двухсоттомное издание “Всемирной литературы”»? Дефицит, смею сказать! И прошу поднять руку, у кого есть. Лес рук! — Профессор отхлебнул чай и пыхнул сигарой. — Далее спрашиваю, только абсолютно честно, кто за последний месяц открывал хотя бы один том из двухсот? Результат: две-три руки!

— Папа, ты хочешь сказать, книга умирает? Или такие писатели?

— Вовсе нет, просто книга из читаемой, заношенной, затёртой, со следами от стакана с чаем и масляными пятнами на страницах, становится почитаемой, стоящей на полке. Мёртвой.

— Михал Васильич, — Елагину нравился разговор, — а можно с вами не согласиться? У нас на курсе, в группе, точнее, все недавно читали, зачитывались даже «Хранителем древности» Домбровского, «Три товарища» Ремарка...

— Мне больше нравится «На западном фронте без перемен». Большая книга, — он отодвинул чашку. — Не знаю, читал ли Ремарк Толстого, полагаю, что читал. Книга написана в толстовской традиции, — он помолчал, прищурившись на дымок от сигары. — Вообще, полезно классические книги, простите за банальность, перечитывать в разном возрасте. Есть книги, мне кажется, сейчас только такие книги и есть, захлопнул её и — как крышку гроба. Навсегда. А великие книги похожи на вампиров: лежат, стоят на полках, ждут, как живые мертвецы, когда вы уснёте, и впиваются, оторваться невозможно. Они определяют вашу судьбу, симпатии, становятся собеседниками. Читал вот «Хождение по мукам». Роман рваный, признаться, я перечитывал «Сёстры», то, что Толстой писал в эмиграции, — профессор задумался, — потом он писал ради дивидендов: квартиру дали, целый дом, — Михаил Васильевич засмеялся. — А «Хранитель древностей» — книга очень сильная, Домбровский замечательный писатель, он ещё прозвучит!

— Папа, — Лиза подошла к отцу и обняла его сзади, — а наши философы на факультете говорят, что книга умирает. И умрёт в обозримо близком будущем.

— Такие, значит, философы, Лизавета. — Он, не поворачивая головы, взял руку Лизы, поцеловал и чуть оттолкнул. — Были периоды средневековья, когда книги практически не было: за всю эпоху, тысячу лет, человечество оставило всего-то двадцать тысяч томов! У моего коллеги, профессора Ахтырского, ты знаешь его, Лиза, томов этих пятьдесят тысяч! Книга в средние века была мертва. Но книга хитра, переменит одежду, станет другой, облачится в камень, в интерьер, ещё во что-нибудь. В средние века книгой был собор. Это для нас он — камни, а для тамошнего человека безграмотного книга была высшей прививкой культуры. В церкви ему объяснят, что значит каждая часть собора, что каждый собор выстроен по Ноеву ковчегу, как украшены и что означают витражи, почему Страшный суд при выходе... Сейчас, допускаю, книга умрёт, в лучшем случае превратится в магнитофонные записи. А как отделить человека от книги: ДНК наш — это и есть книга, там все поколения вашей семьи записаны. Это греческая трагедия рода! Живёт, живёт человек и в двадцать лет умирает от рака. Здравствуй, ДНК! Кто-то тебе оттуда, как царю Эдипу, привет прислал! — Он помолчал, прихлёбывая чай. — Конечно, девятнадцатый век — это маршал Кутузов, который читает французский роман перед Бородинским сражением, а по другую сторону император Наполеон почитывает их же. Припомните, как ездит

князь Андрей. У него сундуки полны книг, в основном французских романов. В «Пиковой даме» графине, не помню уж кто, говорит: «А вы не читали русских романов?» Та: «Русские романы? А разве такие есть?» Романы читают все! Вальтер Скотт выскочил со своими историческими романами, феномен в исторической литературе, его принялись читать взахлёб! Он, кстати, дружил с Николаем Первым, Николай пишет в письме Вальтер Скотту, в шутку, конечно, мы ведь забыли, что императоры тоже шутили: «Какой у вас новый роман, мои фрейлины в слезах, я не знаю, что с ними делать? Напишите ещё один!» Люди воспринимали мир через книги. Сейчас — через кино, скорее всего... — В прихожей раздался старинный звонок: тлень-блень! Тлень-блень! — Настенька, по звонку не иначе Борис Лазаревич, отвори, пожалуйста! — И, повернувшись к Лизе и Елагину, заговорил быстрее, стараясь закончить до появления гостя: — Великая русская литература, взошедшая на углях Пушкина, закончилась. Хотя ещё есть литературный процесс. Талантливые люди когда-то занимали свою нишу, гении — свою. Виктор Некрасов, с поправкой, Платонов с «Котлованом», Айтматов — «Пегий пёс, бегущий краем моря», притча, эдакой, как теперь говорят, магический реализм, не уступает Маркесу. Домбровский тот же. Есть накат старой русской культуры, нынешние «великие», хоть писатели, хоть учёные, даже обормоты-правители ещё учились в старорежимных гимназиях. Спасибо Хрущёву, — Загrevский поднялся из-за стола навстречу гостю, — остатки законсервированной в лагерях культуры вышли и подпитали существенно культуру нынешнюю, но накат этот слабеет. Хотя бы по естественным причинам, мрёт-с писатель, с нашим братом-учёным такое тоже бывает. А смены нет... — И, раскинув руки, пошёл навстречу вошедшему.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой. — Новый гость был невелик ростом, но крепок, броваст и, как показалось Елагину, слегка пьян. А может, и не слегка. — Лизавета-свет Михална, — крепыш облобызал Лизу, — рад, что в Москве появилась. А это что за персонаж? Жениха привезла?

— Почти! — весело отозвалась Лиза, оглянувшись на Елагина.

— Почти жениха или почти привезла? — Он подошёл поближе, присмотрелся, оценивая. — Хорош, Лизавета, даже слишком хорош. Будет по бабам бегать! — И уселся за стол, по-хозяйски придвинув к себе чашку. — Хотя кто за ними не бегают? А? — Посмотрел серьёзно уже, Елагин почувствовал холодок от его взгляда. — Или от них, верно?

Елагин невольно кивнул.

— Ну, знакомь нас! — И, привстав, тряхнул руку: — Иоффе Борис Лазаревич. Как-как? — Он приложил руку к уху. — Костя? Тогда меня прошу Борей называть! — И отвернулся. — Чай пьёте или ещё что?

Настя, Настюша, как ласково называл жену профессор, подошла к буфету в полстены, распахнула тяжёлые дверцы и вытащила коньяк.

— Настечка, дорогая, не забывай, я еврей настоящий, а потому коньяку предпочитаю водочку. С селёдкой! Селёдка есть? Нет? Тогда давай лимон, будем пить водку под лимон с солью, как в ЦК КПСС, — и проводил глазами Настю. Та ушла на кухню. — А я только что из Питера, от Маркуши Корнфельда. У него классные ребята в лаборатории работают. Одного, кровь из носу, Леманов по фамилии, выкраду от Марка.

Пока старшие обменивались новостями, Настя принесла бутылку заледеневшей водки, перелила её в сразу отпотевший графин, поставила розетку с нарезанным лимоном, ребристые, толстого стекла рюмки для всех и исчезла на кухню.

— Со свиданьем! — Борис Лазаревич потянулся к Загrevскому, они чокнулись, Иоффе тут же налил себе ещё рюмку и выпил. — Чудно! — Он шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла. — Ничего, что я в вашу компанию врезался, а, Лизетта? О чём речь шла?

— Папа лекцию о русском романе читал, — улыбнулась Лиза.

— О-о, нам, дилетантам, только дай поговорить о литературе, узнаешь много интересного! — Иоффе повернулся к Елагину. — А вы, что, писатель? Нет? Зря! Сейчас самое время для писателей. Я вам подскажу тему, хотите? Пора писать о великих злодеях.

— Почему, Борис Лазаревич? — удивилась Лиза.

— Всё просто. — Иоффе принялся в такт словам прихлопывать ладонью по столу. — Хрущёв разворошил сталинский термитник, но сил, чтобы уничтожить его, не хватило! Произошла утечка времени! Теперь, чтобы снова закрутить гайки, у них мощи нет, а общества, которое в состоянии сдвинуть, сломать сталинский термитник ростом с пик Сталина... — Повернулся к Загревскому. — Шутка! Общества этого не существует! Его надо строить! Это же просто! На великих примерах. А пример злодея всегда эффективнее.

— У физиков всё просто! — мигнул Загревский Елагину.

— Да! — Иоффе пристукнул ладонью посильнее. — Пока не вылезли сталинские последыши, мы обязаны, — он вскинул голову и уставился на Елагина, — вы обязаны выстроить общество внутри страны вместо стада баранов, которое с семнадцатого года то тащат, то ведут на убой! Пишите о злодеях! Чтобы Россия не родила очередного фюрера! — И после паузы: — С АБ сейчас встречался! — повернулся Борис Лазаревич к Загревскому. — Опять на Памир рвётся!

— АБ — это Мигдал Аркадий Бенедиктоаич, академик! — шепнула Елагину Лиза.

— Не зря, если мигдаль с иврита перевести, гора, башня получится или, — засмеялся Иоффе, — башня поедет! У меня в своё время затор с докторской был, Чук (академик Померанчук) выбрал оппонентов: Мигдал, Зельдович, Марков. Марков подвёл, не дал отзыв во-время, пришлось на Мигдала насесть. Тот при первой же встрече говорит: «Я рад быть вашим оппонентом!» Дескать, он давно хочет изучить квантовую теорию поля и надеется, что ему удастся это сделать, изучая мою диссертацию. «Мы будем с Вами много раз встречаться. Есть ещё время!» А до защиты полгода. Мы с АБ время от времени видимся, он всякий раз: «Днями сяду читать диссертацию, будем с вами много работать, ведь ещё есть время?» Наконец, осталось две недели, я сам позвонил АБ, спрашиваю. Не без ехидства, понятно: «Не могу ли быть полезен?» Он: «Да-да, конечно, позвоните в начале следующей недели». Звоню. «Мы непременно должны встретиться. Что если в четверг? Но сначала позвоните». Звоню в четверг. Его весь день нет, появился поздно вечером. «Давайте встретимся в субботу, позвоните часов в одиннадцать». Защита назначена на утро в понедельник. Звоню в субботу. «Давайте в воскресенье в двенадцать». Звоню в воскресенье в одиннадцать. Жена говорит: «Аркадий Бенедиктович ушёл в бассейн, позвоните после обеда, часа в три-четыре». Звоню после обеда. Жена: «Аркадий Бенедиктович спит. Позвоните в восемь». Наконец, в восемь я дозваниваюсь. «А, это вы! Приезжайте в девять». Приезжаю. АБ весел, бодр, а у меня уши как у зайца опустились. АБ: «Я же знал, что предстоит большая работа, надо быть в хорошей форме. Поэтому с утра в бассейн. Потом сел обедать, захотелось выпить водки. Ну, а после водки грех не поспать. Зато сейчас хорошо поработаем!» И выгнал меня, — Иоффе сделал театральную паузу. — Назавтра к Учёному совету АБ с блестящим отзывом был ввремя. — И поднял рюмку: — За науку!

— Есть такая невыразимая словами сущность, — задумчиво сказал Михаил Васильевич, — комплекс большой рыбы. Когда большая рыба всплывает в замкнутый объём, все маленькие рыбы забиваются по углам: она может их сожрать. Причём целиком. Может, и не съест, но... Вот это комплекс большой рыбы. Люди реагируют точно так же. Заходит крупная личность, вы сразу чувствуете. Это в науке называется искривлением пространства. — Он с улыбкой смотрел, как Иоффе быстро и с удовольствием поглощает бутерброды. — Для дам, — Загревский повернулся

к Лизе, — представьте себе эластичный резиновый бинт. Опускаем на него дробинки, потом шарики, потом ядро, всё скатится к нему. Так харизматическая личность полностью формирует вокруг себя пространство. Пример: в сорок восьмом году Черчилль пригласил Ганди в Лондон. Принимали премьер-министр достопочтенный Клемент Ричард Эттли, Черчилль, лорд Мальборо, сановники в золоте и эполетах, королевы, правда, не было. Заходит Ганди. Босиком, он же дал обет, наплевать, в Англии или Индии, — обет! Бритая голова огромная, он постился четыре дня в неделю, высохший жёлтый скелет, монашеская тога, короткая по колено, посох, шитая хлопчатая сумка на боку, в железных очках. Он вошёл, поздоровался по-английски, и пока шёл по огромному залу Вестминстерского дворца к месту, где сидела индийская делегация, все встали. Все! И никто не мог этого объяснить. Черчилль потом спросил у графа Эттли: «А вы какого хрена встали?» — спросил, разумеется, на хорошем английском. А тот ему: «А вы?» — Загrevский засмеялся, довольный собой.

— Борис Лазаревич, в качестве злодея вы имеете в виду какого-нибудь будущего русского Сталина-Гитлера или прошлого? — Настя принесла с кухни блюдо жареной картошки и супницу, полную коротких толстых сосисок в томатном соусе. — Мне кажется, после двадцатого съезда это исключено!

— Моя дорогая, — Загrevский салютовал рюмкой Иоффе, — Гитлер изменил полностью мировоззрение Германии, за пять лет она стала совершенно другой цивилизацией. Смешной срок! Восемьдесят миллионов цивилизованнейшего народу, а?

— Не было бы Гитлера — ничего бы не было!

Лиза положила на тарелку Елагину картошки, несколько сосисок и полила их соусом.

— Лизетта, дружок, — Иоффе хлопнул рюмку. — Могло бы возникнуть другое националистическое учение. Немцы всегда к тому склонны, а уж после Версаля, где их просто растоптали...

— И справедливо! — заметил Загrevский.

— Но для такого дела, — Иоффе не обратил внимания на реплику, — нужен настоящий одержимый.

— Они сами приходят? Или...

— Лизочка, — Загrevский покосился на дочь, та подливала водки Елагину и Иоффе. — Сами они приходят, призывает их История или Бог из глубин народных или ещё каких, — непонятно.

— Как фанатик Сталин? Взятся ниоткуда?

Настя придвинулась вплотную к креслу Загrevского. Так было легче за ним ухаживать.

— Фанатик? Сталин ближе к Наполеону — человек расчёта, беспринципный убийца... — Он задумался. — Мне один грузин говорил, я сначала отнёсся к этому равнодушно, не понял, а после поразмышлял... Он сказал что-то вроде: вам, русским, никогда не понять, кто такой Сталин. Он настоящий грузинский бандит, выродец, такие в Грузии бывали. Для него обмануть, предать, воспользоваться слабостью человека — самое большое наслаждение. И чем ближе к нему человек, хоть бы и брат, хоть отец родной, тем наслаждение выше. А уж сожрать тех, кто умнее, выследить, поймать на мушку, а потом ещё... я подзабыл, он много чего наговорил тогда... А, вот что: поймать на мушку и обязательно дать понять другу, брату, московскому умнику, что он никто, тень самого себя, а управляет этой тенью — он! Сухорукий, с гнилыми зубами, со лбом неандертальца!

В комнате повисла пауза, слышно было только как задышали, звякнули-скрипнули старинные часы, лондонский Тауэр, и пробили дважды. Круглый медный звук прокатился и растаял в углах.

— Не соглашусь относительно беспринципности Наполеона! — Загревский тихонько позванивал ножом о тарелку.

— А Гитлер — человек идеи, — не расслышал его Иоффе. — Как одержимы были идеей Троцкий, Ленин. Скорее это равноценные людоеды, просто Гитлеру больше удалось. Таким был Мартин Лютер, основатель протестантства, Кальвин, который устраивал костры в Женеве, Мохаммед, несомненно, был такой. Только эти могут историю двигать. Иисус был из них же, просто более добродушный. Ганди больше похож на Будду и на Иисуса. Мохаммед, Чингиз-хан любили воплощать свои идеи мечом. Одни предпочитали умереть за идею, другие — убивать, принципиальная разница. Другая порода людей.

Елагин был поражён. Смешали Ленина и Сталина да ещё приравнивали их к Гитлеру!

— Вы сказали, Ленин и Сталин людоеды? — негромко спросил он.

— Вас это удивляет? — довольно небрежно покосился на него Иоффе. — Среди тысяч лозунгов времён Сталина только один был совершенно точный: «Сталин — верный ученик и продолжатель дела Ленина!» Это следует запомнить, молодой человек.

Через час изрядно выпивший Иоффе стал подрёмывать за столом.

— Борис Лазаревич, вызывай академическую машину, иначе я тебя домой не отпущу! — Загревский обнял сидящего физика.

— А я и не поеду, — сказал тот, — пусть Настёна постелит мне на моём диване.

— А я на маленьком в твоём кабинете. — Лиза увидела, что отец призадумался, глядя на гостей. — Костю на мою кровать положим!

Ночью отворилась дверь, послышался шелест и прошлёпали по полу босые ноги.

— Я хочу, чтобы ты меня поцеловал, — сказала Лиза. Елагин чувствовал её губы на щеке. — Я никого не любила. Ты первый. — Она выбралась из-под одеяла, ловко сбросила ночную сорочку и нырнула обратно. — Мне кажется, я тебя люблю. — Губы были горячими и солёными от слёз.

— Почему ты плачешь? — прошептал Елагин, не отрываясь от её губ.

— Потому что мне очень хорошо. Я тебя ждала и нашла. — Она прижалась к нему. — Поцелуй меня крепче.

Утром она вышла из ванной, Михаил Васильевич уже сидел за столом, читая толстую папку чьей-то диссертации.

— Здравствуй, детка, безумный Иоффе уже умчался, — он смотрел на дочку поверх очков, — а я не хотел заходить в кабинет, чтобы не беспокоить тебя. Читаю какую-то чушь! — И подставил щёку для поцелуя.

— Папа, поздравь меня, — она приложилась к душистой бородке. — Я влюбилась и хочу представить тебе своего возлюбленного. — Лиза подошла к дверям, в которых стоял Елагин, и крепко взяла его за руку. — Или жениха. Или мужа. Как вам удобно будет его называть: Константин Константиныч Елагин. Студент, без видимых вредных привычек, — она повернула к нему смеющееся, счастливое лицо. — Мы с ним знакомы уже, — Лиза призадумалась, — двадцать четыре плюс восемь, — и наморщила лоб. — Тридцать два с половиной часа!

Глава 15

Иногда за стеной, в комнате Илюши Штемлера переставала стучать пишущая машинка, и Елагин, ощущая надвигающуюся тоску, начинал вслушиваться, надеясь, что Илюша просто вышел в сортир. Ах, какое это было счастье, когда хлопала дверь и машинка снова принималась за своё бесконечное плетение литературного чулка. Елагин просто слышал Илюшино: «Она стояла за прилавком универмага, нарядная,

улыбающаяся своей белозубой улыбкой всем так, как должна была улыбаться только ему. Он смотрел из-за стоек соседнего отдела и не решался подойти к ней, чтобы просто и твёрдо сказать: «Я тебя люблю»».

Но иногда в плетении наступала пауза, тоска и скука нарастали, как на обязательном занятии политпросвета, потом лёгкое шарканье Илюшиных тапочек и царапанье-постукивание в дверь. «Да-да, — отзывался Елагин, проклиная себя за то, что не может отказать милому Илюше. — Сейчас отворю!»

Приходилось наскоро, наспех складывать бумаги, оставленные Друскиным, прикрывать их тоже тайной самиздатовской газетой «Хроника текущих событий» и засовывать чемоданчик под подушку. Газета сворачивалась так, что сверху оставалась видна короткая записка:

Ленинград.

В январе 1968 г. в ленинградском доме писателей состоялся вечер творческой молодёжи. После вечера группа членов литературного клуба «Россия» (В.Щербаков, Н.Утехин, В.Смирнов) обратилась в обком партии с развёрнутым письмом-доносом, полным клеветнических измышлений и имеющим откровенно антисемитский характер. Вечер был назван «сионистским митингом». По этому доносу, без какой бы то ни было проверки фактов, были сняты с работы зам. директора Дома писателей А.З.Шагалов и референт Ленинградского отделения Союза писателей С.С.Тхоржевский, а также исключены из издательских планов рукописи участников вечера Иосифа Бродского, Майи Данини, Якова Гордина. Якову Гордину, кроме того, объявлен выговор по линии группкома ЛОСП¹ за подпись под письмом протеста против политических судебных процессов, с ним расторгнуты договоры в издательствах «Советский писатель» и «Детская литература».

За подписание писем протеста исключена из Союза журналистов Ирина Муравьёва, исключён из партии и уволен с работы писатель Борис Иванов.

А если газета сворачивалась по-другому, читаемой была заметка, набранная почему-то другим кеглем.

10 человек: Генрих Алтунян, инженер, коммунист (Харьков), Зинаида Михайловна Григоренко, пенсионерка, коммунистка, Илья Габай, учитель, находящийся в ташкентском следственном изоляторе, Решат Джемилев, рабочий (Краснодарский край), Ирма Костерина, служащая, Анатолий Левитин (Краснов), церковный писатель, Леонид Петровский, историк, коммунист, Сергей Писарев, пенсионер, коммунист, Леонид Плющ, математик (Киев), Пётр Якир, историк — обратились с письмом к Международному совещанию коммунистических и рабочих партий. Письмо говорит о зловещих фактах ресталинизации в нашей стране: о политических процессах, об атмосфере травли инакомыслящих, о попытках реабилитации личности Сталина, о растущем влиянии в партийном руководстве людей, стремящихся вернуть сталинское прошлое. Обращаясь к представителям коммунистических партий, авторы письма спрашивают: «Неужели столь видимая реставрация сталинизма в нашей стране, возглавляющей коммунистическое сообщество, не вызывает вашей тревоги?»

Письмо было направлено в президиум совещания, а также лично передано делегатам итальянской компартии, компартии Великобритании и некоторых других представленных на совещании партий.

Илюша Штемлер вошёл, виновато улыбаясь:

— Я тебе не надоел, Костик?

Елагина почему-то раздражало уменьшительно-ласкательное Костик.

— Что ты, Илюша, — отозвался Елагин, не без испуга поглядывая на несколько страничек, которые тот держал в руках. Рукава тёмно-красного мохнатого халата

¹ ЛОСП — Ленинградское отделение Союза Писателей.

с большими обшлагами-отворотами были украшены жёлто-золотистой тесьмой. Илюша в роскошном халате вполне мог бы позировать какому-нибудь современному Репину: «Поэт-демократ (имярек) читает свои стихи вернувшемуся из ссылки декабристу».

— У меня, как всегда, несчастье.

Илюша придал лицу красавца-мужчины скорбное выражение и слегка взмахнул страничками, давая понять, что несчастья его идут именно от них, машинописных листов.

— Вернули рукопись? — поинтересовался Елагин.

— Нет, — всё так же тихо и скорбно отозвался Илюша, — хуже, — он вздохнул. — Я присяду?

Было похоже, что он собирается читать.

— Что случилось?

— Понимаешь, Костик, — Елагин поморщился, — лучше бы вернули. Они роман берут, будут печатать в двух номерах. Причём хотят открыть год моим романом, — он прикрыл веки, как бы подчёркивая значимость романа, — но изуродовали всю рукопись.

— Правят?

— Ужасно! — Илюша извлёк из кармана, тоже украшенного золотистой тесьмой, очки. — Понимаешь, им нужен только сюжет, только производственная интрига. А стоит начать разрабатывать характеры... Ты понимаешь меня?

— Конечно! — кивнул Елагин.

— Ведь в универсаме работают обычные, нормальные люди! — Илюша, было явственно видно, страдал за этих нормальных людей. Характеры которых ему не давали разрабатывать в журнале. — Вот это, — он поднял руку со страничками, таким жестом поэт-демократ мог бы закончить чтение стихов, — выбросили! Спроси почему? — И не стал дожидаться вопроса. — Постельная сцена! Как тебе нравится?

— Вообще-то постельные сцены мне нравятся!

— Костик, прости, мне не до шуток сейчас!

Он надел очки, поправил волосы и стал читать.

«Постельная сцена» была написана с таким мастерством, что Елагин засомневался в существовании двух Илюшиных дочек, хотя обе эти дурнушки, невероятно похожие на своего красавца-отца, и приезжали к нему в Дом творчества.

— Что ты скажешь? — Илюша, оторвавшись от текста, с надеждой смотрел на Елагина.

— Блеск! — сказал тот.

— Ты, как всегда, шутишь? — И засиял. — Спасибо, Костик. В книгу я эту сцену обязательно включу.

— Конечно! — Елагин задумался, разглядывая жёлто-розовые шёлковые кальсоны, выглянувшие из-под распахнувшегося слегка халата. — Илюша, скажи, ты когда-нибудь порнографический фильм видел?

— Да, — сказал Илюша и покраснел. — То-есть нет.

— А фотографии?

— Фотографии видел, — Илюша покраснел сильнее.

— Посмотри ещё разок, — сказал Елагин, поднимаясь и глядя в окно.

— Зачем?

— Надо кое-что освежить в памяти! — Он легонько потарабанил пальцами по стеклу, пугая наглых синиц, требовавших еды. Должно быть, предыдущий постоялец кормил их из окна. — Пойдём обедать, Илюша!

— А зачем всё-таки фотографии?

— Твой герой, Илюша, кстати, зачем ты назвал его Константином? — Елагин всё ещё играл с синицами.

— Прости, Костик, мне нравится имя...

— Так вот, твой герой расстёгивает пуговички на бюстгальтере своей... — Елагин замолчал, разглядывая суету чёрно-жёлтых нагледцов.

— Возлюбленной... — подсказал Штемлер.

— Да, возлюбленной, — согласился Елагин, — дамы сердца. Так вот, имей в виду, что пуговок на лифчиках у современных женщин уже давным-давно нет!

— Как нет? — растерялся Илюша.

— Так! — Елагин повернулся к Штемлеру. — Крючочки, Илюша, крючочки! А вообще, — он обошёл растерянного Штемлера и двинулся к двери, — эта история была бы особенно хороша для девочек третьей группы протестантской школы Принстона!

— Почему Принстона?

Они вышли в коридор, Елагин запер дверь на ключ.

— Потому что там нет протестантской школы! — И зашагал по коридору, не дожидаясь Штемлера.

За обеденным столом сидел, насупившись, Морозов.

— Не к вам гость был? — поинтересовался он.

Елагин поднял брови.

— Я Гранина имел в виду. Прикатил на собственной «Волге», в шикарном заграничном шмотье, ошивался у Х., — он назвал фамилию недавно назначенного директора Литфонда. Морозов презрительно ткнул вилкой котлету. — Небось, такую дрянь им не подавали. Я, — он оживился, как всегда при обсуждении кулинарных изысков местного повара, — знаете ли, отметил такую закономерность. Стоит в любом советском общепите завести комнату «для своих», — Морозов оттопырил нижнюю губу, что означало высшую степень презрения, — как есть в этой харчевне, — снова оттопыренная губа, — становится совершенно невозможно.

— Не любите вы Даниил Алексанчыча, — поддразнил его Елагин.

— А за что любить? — с удовольствием слопал крючок Морозов. — Тут я слышал по телевидению профурсетка какая-то из нынешних объявила вашего Даниил Алексанчыча чуть ли не совестью Ленинграда. Он-де где-то там сказал что-то вольнолюбивое, чего-то отстоял, в блокаду был в Питере, героически воевал в окопах, в травле Пастернака не участвовал... — Морозов и не подумал снижать голос, только ухмылялся, видя, как из-за соседнего стола поднялась, опасливо поглядывая на него, парочка — экс-балерина Красовская с мужем. — Стукачи потянули на отдых, — кивнул Морозов. — Им это неинтересно, про Морозова в Большом доме всё знают. Так вот. В каких таких окопах сиживал политрук Даниил Герман, он же Гранин, хотел бы я знать? И как голодал, когда в армии, по тем временам, конечно, — не покривил душой честный Морозов, — кормили вполне прилично? Не мёрли, во всяком случае. А насчёт Пастернака, — он только махнул рукой. — Ездил ваш любимец Гранин в делегации писателей с Симоновым во главе в Швецию. Откуда весь шум поднялся? Они шухер и устроили! Им по большому секрету, как коллегам, сказали про будущего Нобеля Пастернаку, а они — в ЦК. Симонов ведь чуть ли не членом ЦК был, я уж не упомню. И тут же комиссия ЦК по идеологии через шведского посла: «Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности». Где она, общественность? — он презрительно фыркнул. — Секретные письма разослали в отделения Союза писателей: что делать, ежели премию Нобеля всё-таки дадут, — он засмеялся, уронил на пол вилку и, побагровев, подобрал её. — Что тут поднялось! Нобелевский комитет обвинили в разжигании холодной войны, а Грибачёв с Михалковым-гимнотворцем на писательском собрании, где, кстати, и Гранин был, потребовали лишить Пастернака советского гражданства. Хороши ребята, а? Знали, чем напугать: он дико боялся, что его с любовницей, Ивинской, расстаться заставят. — Морозов потянулся к соседнему

столу, взял вилку и принялся жевать котлету, весело поглядывая на Елагина. — Всю мерзкую шумиху опускаю, лучше меня знаете, а Пастернака турнули из Союза писателей. Единогласно, между прочим! Пастернак тогда говорил, это мне сам Всеволод Иванов, его сосед по даче, рассказывал: «Перед тем, как приходиться к вам, мне нужно принимать ванну: так меня обливают помоями». Так и помер, бедолага. «Ровно семьдесят, возраст смертный». — И вытер неважно выбритый подбородок салфеткой. — А кое-кто, «совесть Ленинграда», ха-ха! В отдельной от всех писателей комнате обедает. Вон, кстати, ваш приятель-врач к нам шествует, не буду вам мешать! — И со старческим кряхтением поднялся из-за стола.

— Хочу вас со своим сыном познакомить. Тоже врач, можно сказать, коллега, — подошёл Дёмин, — хирург-онколог. Не составите нам компанию, мы на Щучье озеро собрались, заодно и на кладбище Комаровское заглянем?

Мелкий осенний дождичек сеял ниоткуда. Пусть не море, а залив, Маркизова лужа, но всё-таки рядом. Небо было относительно светлым, а капли, пропущенные сквозь частое небесное сито, казалось, возникали сами собой из сырого, прохладного воздуха и не долетали до земли. Оседали на пожухлой траве, желтовато-ржавых лопухах по обочине, на седом мхе, местами выстлавшем землю между высокими соснами, на отпотевшем асфальте, редких кустах орешника с жёлто-зелёными, скукожившимися листьями.

Отец и сын Дёмины, похожие и не похожие друг на друга, шагали одинаковым ровным шагом. Речь зашла о единственно интересном для них предмете, о хирургии.

— Многие, почти все уверены, — Владимир Николаевич с удовольствием посматривал вокруг, будто зная, что от всего — мокрого асфальта, замершего леса, неподвижного неба, словно слепленного из ключев тумана — он должен извлекать удовольствие, — что хирург — это тот, кто режет. — Он посмотрел на сына, и тот ответил ему лёгким кивком. — А ведь хирург-то больше шьёт, чем режет, верно, Женя? — Тот снова молча кивнул. — И когда сошьёшь так же красиво, как природой было устроено, такая радость на душе!

— Как природой, не получается, — отозвался сын. — Так красиво, как у неё.

— Красиво? — удивился Елагин.

В его, Бог весть откуда взявшемся представлении (из кино, что ли?), хирурги стоят плотной группкой, почти что голова к голове, им вытирает потные лбы медсестра, а они что-то делают руками в испачканных кровью перчатках в страшных ранах-прорехах на безответном человеческом теле.

— Вы не представляете, — Дёмин-старший поднял голову, рассматривая белочку, перебежавшую через дорогу. Та взлетела на сосну, перевернулась вниз головой и любопытными выпуклыми глазёнками рассматривала человека, совершенно не боясь его. — Не представляете, как там всё красиво и рационально устроено! — Он остановился и не отрываясь взглядом от зверюшки, пока та с весёлым писком не умчалась, перепрыгивая с ветки на ветку и осыпая белёсые капли, осевшие на них. — Это изумительная красота, — он повернулся к Елагину, — представьте: желтовато-розоватое, чуть с кровинкой распахнутое нутро, и там всё живое, подвижное, всё пульсирует, переливается! Изумительный механизм, изумительная лаборатория!

— Как вы отличаете, видите опухоль?

Дёмины переглянулись.

— Как-как, — Елагину показалось, что Дёмин-старший проговорил это чуть ли не с обидой, — это же каждому видно! Опухоль выпячивается, — он задумался, видимо, переводя со своего, медицинского, языка на человеческий, — выпячивается и вокруг неё нарушается... равновесие нарушается, разумность! Как будто вокруг неё оплавленные ткани! Они иногда до того разложились, что распадаются прямо под рукой...

— Не всегда, — вставил Дёмин-младший.

— Конечно, не всегда, опухолей-то миллионы, — отозвался отец, с интересом поглядывая на Елагина. Почти так же, как недавно он рассматривал белку. — А вы говорите, что там где-то у человека сидит душа! — Это он вернулся к разговору, начатому у самого Дома творчества. — Нету там для неё места, всё радио, всё занято! Это только про особых хирургов, помните, я вам про профессора Петрова рассказывал, говорят: «Он скальпелем обойдёт душу, если встретит!» Редкий дар бывает у людей!

— Говорят, профессор Углов по сию пору оперирует, а ему уж за восемьдесят!

Дёмины переглянулись.

— Не знаю уж, как он сейчас оперирует, у него и в молодости были руки-крюки, как профессор Петров говаривал.

С ближайшей сосны, ступившей из леса к дороге, сорвалась шишка и звучно хлопнулась на асфальт. К тёмно-рыжему, мокрому с одной стороны стволу вниз головой прилипла белочка, посматривая весёлыми бусинками.

— Мы ей понравились, — улыбнулся Дёмин.

— Наверное, их здесь подкармливают, — отозвался сын, тоже глядя вверх. — Вон ещё одна!

— Есть такие люди, их сразу видно, — сколько их не учи хирургии, всё бесполезно, да, Женья?

— Ага, — кивнул тот, — зато они больше других оперировать любят.

— И репутации часто бывают на зависть! — засмеялся Дёмин-старший. — Человеческий организм ведь так устроен, особенно молодой, хоть что, хоть куда пришей, — и всё прирастёт! А насчёт души, — он явно веселился, — что скажешь, Женья?

Тот пожал плечами, снисходительно глянув на Елагина. Так врачи смотрят на больного, сморозившего какую-то медицинскую чушь.

— Владимир Николаевич, — снисходительный взгляд подстегнул его, — а у вас умирали люди на столе?

— А как же? — весело удивился Дёмин.

— Расскажите, как это происходит, как вы чувствуете, понимаете, что он умер?

— Как-как, — опять с лёгкой обидой, будто объясняя двоичнику что-то, сказал Дёмин. — Вот работаем мы у стола. Четыре хирурга, анестезиолог, сёстры тут рядом, больной на столе. Работаем. Нас четверо, он пятый. И вдруг — раз! И как будто что-то отлетело. На несколько мгновений пустота между нами. Он, пятый, мёртв.

— Вот вы мне всё и объяснили насчёт души! — обрадовался Елагин. — Блеск, Владимир Николаевич, лучше не скажешь!

— А что, что я такого сказал? — растерялся Дёмин. — Женечка, что я сказал? Ведь так и бывает, верно?

— Верно, — негромко ответил Дёмин-младший, глядя на отца, будто увидел его впервые. — Верно! Так вы всерьёз думаете, что есть у человека душа?

Глава 16

На редакционную коллегию в журнал собирались вяло. Первым пришёл, едва ли не с утра, Сергей Владимирович Петров. Поэт, переводчик, знаток многих и многих языков и «оригинальный человек», по определению Саши Лурье. Сергей Владимирович сидел в отделе прозы, дымил непрестанно дешёвыми сигаретами и пытался читать свои последние стихи, записанные в толстые ученические тетради разноцветными чернилами. В последнее время Петров увлекался стихотворными «симфониями», т.е. строил очередное стихотворение (поэму) по строгим законам классических симфоний.

Разрисовывая (для будущих непонятливых чтецов) строчки цветными карандашами и чернилами.

— Понимаете, Самуил Ароныч, — Петров листал свои тетради, роняя на странички пепел и сдувая его, ухитряясь при этом не выпускать сигарету изо рта, — сонет слишком слабая формочка, слабая, даже венюк сонетов для профессионального человека это ерунда, разминочка ума, а вот построение симфонии... Старик Аристотель её недаром гармонией сфер именовал. Особенно симфония венской школы, у них четырёхчастная форма недурно разработана была. Вот послушайте Гайдна, к примеру, Моцарта... с ним сложнее, конечно, гений, Бетховен вот тоже... — Он с досадой оглянулся на дверь, в которую вошёл главный редактор «Невы» Александр Фёдорович Попов. — Здрассьте-здрассьте, — покивал он пегой, седой головой, — мы вот тут с Самуил Аронычем про венскую симфоническую школу балакаем...

— Понятно, — кивнул Попов. — Вы прочитали роман? Готовы к редколлегии?

— Конечно, — закивал Петров, — хочу только сказать, что он...

— Вот на редколлегии и скажете! — Попов доброжелательно кивнул и вышел, сопровождаемый ответственным секретарём журнала. Тот следовал за главным на почтительном расстоянии.

До заседания редколлегии Сергей Владимирович успел рассказать несколько еврейских анекдотов, до которых был большой охотник, и почитать свои стихи. К его сожалению, не из цикла симфоний, — секретарша редакции уже приглашала всех допущенных в кабинет к главному, там происходило священнодействие. Саша Лурье вообще утверждал, что когда-то в помещении редакции «Невы» на Невском 3 существовала масонская ложа. А круглая зала в дальнем конце редакции и была местом заседаний ложи, в связи с чем предлагал проводить редколлегии именно в этом зале. И, естественно, одеваться (или переодеваться) как было свойственно членам этой ложи. Он даже хвастался Елагину, что консультировался по этому поводу с Вячеславом Михалычем Глинкой. Тот якобы подтвердил житие бывшей ложи в нынешнем помещении редакции, но относительно одежды обещал вопрос изучить. Справедливости ради Саша всё-таки добавлял, что Вячеслав Михалыч не был до конца уверен, здесь ли располагалась главная ложа Восьмой провинции масонского братства и даже какая именно.

— Просят, просят, — заглянула в дверь секретарь редакции.

— Это знаете, как, — уже в дверях заговорил Петров, — ребёнок в зоопарке спрашивает: «Папа, а почему горилла так злобно на нас смотрит?» Тот: «Торопишься, Сёмочка, это только касса!»

Расселись по привычным местам, поулыбались, покивали друг другу, и редколлегия покатила своим чередом. Главный рассказал об успехах, заведующие отделами, по обыкновению, пожаловались на судьбу, отсутствие места в журнале, сцепились коротко, но ядовито относительно качества материалов — поэзия, как всегда, боролась с критикой, главный подвёл итоги. Заседание отличалось разве что тем, что слегка глуховатый (лагерный «кум» ударил его в ухо, ошибочно решив, что тот издевается над ним) Петров всё пытался дорассказать Лурье и Елагину очередной анекдот. Главный недовольно поглядывал на него и укоризненно качал головой.

— И в заключение, — сказал, наконец, главный, — хочу рассказать о хорошей перспективе нашего журнала в будущем году. В редакцию поступила рукопись известного, — он взял паузу для раздумий, — известного в советской культуре человека. — Попов назвал фамилию главного редактора «Мосфильма». — Это роман о рабочем классе, о трудовых буднях и подвигах наших шахтёров в Донбассе...

— В Воркуте! — вставил Петров.

— В Воркуте, подсказывает мне Сергей Владимирович, — улыбнулся главный. — Я не сомневаюсь, это будет значительное явление в советской литературе о рабочем классе, — он вздохнул, поглядывая на сидящих перед ним. Не было, как обычно,

только Дудина и Гранина. — Хочу заметить, что автор не профессиональный писатель, поэтому, — Попов как бы чуть пригорюнился, — мы должны будем, так сказать, активнее и энергичнее с ним поработать. А частности, мы попросили Геннадия Самойловича Гора прочитать роман. Геннадий Самойлович?

— Да-да, я прочитал, но...

— Вот и хорошо, — не дослушал его главный. — Кроме того мы дали роман, так сказать, стороннему редактору, которого мы все хорошо знаем. Это Сергей Владимирович Петров.

— Ась? — Петров приложил ладонь горсточкой к уху. — Ась?

— Я сказал, — повысил голос главный, — что мы дали вам роман для чтения и редакции! — Он повернулся к остальным. — Затем мы предполагаем направить Сергея Владимировича в командировку в Москву, к автору. Для совместной работы. И, — он улыбнулся одной из своих редких улыбок (сверхдоброжелательной), — я надеюсь, что мы откроем следующий год значительным произведением о рабочем классе! — Главный внимательно посмотрел на всех и вернулся к Петрову. — Сергей Владимирович, скажите несколько слов о романе!

— Ась? — Петров снова приложил ладонь к уху.

— Я говорю, скажите несколько слов о романе! — нахмурился главный.

— О романе? А? — закивал Петров. — Говно, говно!

Когда Петров и ещё несколько членов редколлегии вышли из кабинета, главный развёл руками:

— Не зря всё-таки его не пустили в Рейкьявик!

Недавно Петрова граждане Исландии за перевод древнеисландских (нечитаемых) саг на современный исландский, чего исландцы не могли сделать несколько веков, избрали почётным гражданином своей родины. И со свойственной событию важностью пригласили в Рейкьявик присутствовать на торжественном приёме в честь долгожданной победы исландского языка и для вручения золотой цепи почётного гражданина. Наше же министерство культуры поспешило сообщить, что новоизбранный почётный гражданин в силу возраста и весьма большой занятости неважно себя чувствует и прибыть, разумеется, не сможет.

По слухам, распространяемым информированной редакционной машинисткой Лорой, основную характеристику в Минкульт дал Александр Фёдорович Попов.

Заведующий отделом прозы Владимир Николаевич Кривцов, Саша Лурье, Елагин, всё ещё смеясь по поводу резюме Петрова о романе, который «должен стать видным событием», возвращались в комнату отдела прозы.

— А что он смешного сказал? — маленький Петров семенил сзади и был уверен, что все смеялись какой-то шутке Попова, не расслышанной им. — Я ведь вам не дорассказал! — Он извлёк свои вонючие сигареты и плюхнулся в скрипучее кресло. — Встречаются двое. Один: «Изя, представь, в Ливане два миллиона ливанцев вышли на митинг против коррупции. Как думаешь, у нас такое возможно?» Другой: «Сёма, конечно, нет! Подумай своей головой, откуда у нас два миллиона ливанцев!»

Глава 17

На рабочем столе Саши Шарымова стояла фотография Ленина. Но, как всегда у Матвейча, как звали его близкие, в портрете была тайна: на фото был не Ильич, а отец Александра Матвеевича, известный провинциальный актёр в гриме Вождя. Сходство было поразительное.

Сам Саша Шарымов сидел, чуть склонив голову набок (то, что называется кривошеей), рассматривал макет журнала, курил и с тоской смотрел на Литейный.

«Сидит Шарымов Саша, краса и гордость наша, смотрит с тоской на Литейный, хочет в дом сбежать питейный. Да времени нет, да не склеен ещё макет, сидит с макета глаз не сводит, а жизнь мимо проходит». Это лубок прекрасного художника Лёни Каминского.

— Привет, Византиныч, — Шарымов любил давать прозвища, и Елагин Константин Константинович был у него Византинычем. — Привёз рукопись? Нет?

Речь шла о повести, на которую был заключён с журналом договор.

— Долго ещё сидеть будешь? — Елагин присел на стул возле редакторского стола.

— Есть предложения? — быстро взглянул Шарымов и, не дожидаясь ответа, принялся за дела.

Так, как это умел делать он один. По коридору — почти бегом, не обращая внимания на слоняющихся там авторов, бездельных гостей и сотрудников журнала. Сначала — к техреду, попастой армяночке Заре — Зарембучок — коротко, чётко: когда, что, куда, какими шрифтами и кеглями набирать текст, где лягут фото и иллюстрации; затем в публицистику к Людмиле Регине: два очерка идут, третий плохо выправлен и вообще без царя в голове, верни автору, пусть поработает. И главное — подумает. Поэзия — там дым коромыслом, шум, понять нельзя то ли ссорятся, то ли обсуждают стихи. Скорее, и то и другое. Верховодит Горбовский, заведует отделом его жена Лида Гладкая. Настоящая жена или бывшая уже — Бог весть.

Шарымов, открыв дверь:

— Лидия Дмитриевна, — он единственный называл её по имени-отчеству. — Стихи пошли все, вычитайте внимательно! Правки согласуйте с авторами.

Дальше — проза. Тихо. Спокойно сидит Лена Клепикова, редактор, напротив неё Владимир Соловьёв, муж. Критик. Всехний знакомец и всехний разноситель. Такая профессия и жизненное предназначение. Как и положено «злобному критику», мал, взъерошен, топорщит худосочные усы и готов к бою. На крайний случай сам с собой.

— Лена, правка есть, перенеси. Володя, над твоей статьёй будем думать. Пойдёт непременно. Пока что не лезет в номер. И про Дудина фразочку выкини, нечего ради собственного удовольствия гусей дразнить, щекотать вилкой сенатора. Он нам ещё пригодится. Материал будем двигать, что-то сократится, что-то, может быть, уйдёт из номера. На связи через Лену! — Он любит словесные игрушки: связь через жену.

Осталась завредакцией Марго. Шарымов уже в пальто и серой мохнатой кепке.

— Мы с Византинычем в творческую командировку, — поясняет Шарымов.

Та улыбается материнско-понимающей улыбкой. Марго знаменита в редакции тем, что однажды в журнале ухода-прихода сотрудников записала: «Рубильник обесточен». Это вызвало взрыв поэтического творчества журналистов. Теперь каждый уходящий чувствовал себя обязанным создать шедевр на тему обесточенного рубильника. «Пусть мир ужасен и порочен! Пускай! Рубильник обесточен!» Оказалось, на «обесточен» нашлось полсотни рифм и ассонансов. Марго вошла (впала, — это Шарымов) в историю.

— Да, да, Византиныч! — Мы перемещаемся от одного магазинного прилавка к другому, продолжая обсуждать нашу тему. — Роман о Сталине — это здорово! — Мы покупаем курицу, колбасу, сыр, две бутылки водки. — Может быть, три? — и оба задумываемся. — Но я всё-таки, — говорит Шарымов, — бутылочки три-четыре-пять пива возьму.

Гружённые снедью, движемся на Пестеля 7 в роскошный дом-модерн, куда совсем недавно перебрались Шарымов с молодой женой Ирэнной Каспари. Она же — секретарь-машинистка в редакции. Поклонница и почитательница Бродского, старательно (и бесплатно) печатающая его стихи. Он, тощий, бледно-рыжий, воробушком сидит на её столе, смотрит на свои стихи, будто видит их впервые, и по ходу работы что-то правит. Ирэнша беспрекословно переносит правки, даже если приходится перепечатывать страницы заново. Любовь!

Квартира, где Александру Матвеевичу принадлежит одна комната, бесконечна. Коридор уходит куда-то вдаль и скрывается в пыльной темноте. Но туда, кажется, никто не ходит. Потому что хоть и одна, но какая комната! Пятый этаж с видом на св. Пантелеймона храм, балкон, по сторонам которого стоят две аляповатые, зато громадные фигуры. Рыцарь и дама. В обиходе — Нинуля с Анейчиком, ближайшим другом Шарымова, есть портретное сходство. Нинуля — жена, актриса БДТ. При входе в комнату — малюсенький предбанник. Вешалка и столик с электроплиткой. Варим сосиски, жарим яичницу и кипятим чай. Сортир — прямо напротив. Что ещё нужно молодым интеллигентным людям?

Впрочем, не только молодым. Бывают здесь и Лев Успенский со своими «Заметками старого петербуржца» и в сто раз более интересными байками о старине, и Вадим Шефнер, обожатель стихов Шарымова, и Окуджава, и Володя Уфлянд с Володей Герасимовым, Бобышев, Женька Рейн с разнокалиберными девицами, да мало ли кто! Благо жильцы и квартиранты огромной квартирищи порой и знать не знают, что за титаны и гении здесь толкутся: комната-то, не забывайте! — возле входа. И сортир (это важно!) рядом — можно лишний раз местных обитателей не беспокоить.

Сосиски, яичница, хлеб, солёные огурцы из банки — всё, что можно и нужно до прихода Ирэны. В открытые двери балкона, возле которых сидим, тянет сырým холодком.

— Византиныч, это гениально, что ты собрался писать о Сталине, — захрустел огурцом Шарымов. — Надо успеть, пока ещё живы те люди, из того времени!

— Мне Морозов Александр Антоныч сказал, что Сталин схож, отчасти, конечно, с Наполеоном. Ставится задача, а средства — любые.

— Морозов? Он человек неглупый, даже умный. — Яичница и жареные сосиски быстро подходили к концу. Шарымов поймал вилкой почерневший кусок сосиски и с удовольствием принялся жевать. — Странно, не пойму, что он имел в виду. На мой взгляд — ничего общего между ними. Наполеон — носитель и осуществитель идеи.

— Имперская идея, то же, что и у Сталина, — вставил Елагин.

— Чушь, Византиныч, не повторяй чужой чепухи! Идея Наполеона — величие Франции, хоть он был корсиканец и всегда это чувствовал. Это только подогревало идею. Как маленькие люди стремятся доказать миру равновеликость с большими, с помощью побед над женщинами! А Сталин?.. — Ветер распахнул балконную дверь и тут же её с треском захлопнул. — Он... нет у меня готовой формулировки... Он грузинский бандит! Именно грузинский! Матвей Филиппыч, папенька, рассказывал, как в детстве он дружил с одним грузинским бандитом. В каком-то волжском городе. Допустим, Астрахани. Матвей Филиппыч тогда подрабатывал в местной опере. Я тебе рассказывал, у него был редчайший голос, бас-профундо. Все говорили: второй Шаляпин на Волге объявился! Хотя он никакой не Шаляпин был, а скорее Максим Дормидонтыч Михайлов. Певцом не стал, говорил: репертуар для профундо слишком мал: хан Кончак, да Гремин из «Пиковой», да ещё...

— Мельник в «Русалке», варяжский гость из «Садко», — подсказал Елагин. — «О скалы грозные дробятся с рёвом волны».

— ...Две-три партии, — даже не заметил Шарымов. — Ему мало казалось, но в местной опере пел. Хоть и не часто. А уж когда пел, то вот этот грузинский знаменитый бандит всегда сидел в первом ряду. Сидел один. Все остальные места скупал, и сидел один. Чтобы все видели. Ну и потом гулянку заказывал. На гулянке всегда тамадой был дружок его, тоже из бандитов. А потом, плохо помню, папенька рассказывал, этот главный бандюган друга своего прирезал. И голову выставил на шесте возле какой-то их лавки. Общей, что ли, не помню. А может, и не папенька рассказывал. А у Матвея Филиппыча нрав тоже крутой был. Сказал: пока этот бандит и убийца в театре сидеть будет, хоть бы и на галёрке, петь отказываюсь! Как выяснилось, главный вор подкупил каких-то торговцев, те надули папенькиного дружка, кинули его, а главный вор тут

и призвал друга-товарища к ответу. Мучил его, в яме держал, хотя сам и подстроил всю эту... не знаю как назвать, по нынешнему — провокацию. Но ходил, смотрел на сидящего голодом в яме дружка, дожидаясь, пока тот прощения будет просить, прощение слёзное выслушал, и только после того, униженного донельзя, прирезал. Вот так папенька говорил, я и понял, что такое настоящий грузинский бандит: унижить, уничтожить человека и только потом казнить. — Они выпили, одновременно приложились к бокалам с пивом и выдохнули в тишине. — А ты говоришь, Наполеон! На одном поле друг с другом и срать бы не сели!

Дождь усилился и мокрым венником хлестал по окнам.

— Я подготовлю тебе, ты ведь по архивам не большой ездец? — И не стал дожидаться ответа: — Я покопаюсь. У тебя план романа есть? Я так и думал! Я на волю случая полагаться не могу. Не умею. Кроме того, я вдруг начал чувствовать... — он задумался. — Самое расхожее и не очень точное — бег времени. Вернее — полёт. Не знаю, как это объяснить. Вчера не чувствовал, жил как жилось, сегодня встал с нужной ноги и вдруг — посвист ветра времени. Оно мчится, несётся мимо нас. Тот, кто это почувствовал, что-то сумеет сделать в жизни. Зевнул момент, когда твоё бывшее юношеское время, то, что тянулось беззвучно, неощутимо, бесконечно, — ускорилось: всё потеряно. Я, кажется, услышал.

Они молча подняли рюмки.

— Вчера вот здесь, точно на твоём месте, сидел Вадим Сергеич Шефнер. Ты знаешь, я его очень люблю, хоть он человек не пьющий. Стихи прекрасные, проза... — Помолчали, выпили. — Проза чистейшая, хрустальная, книги выходят, читаются...

Шарымов встал, подошёл к открытой двери балкона, выглянул наружу. Дождь ощутимый, спорый, невский. После таких дождей Нева с Фонтанкой, Мойкой, каналами вздувались, швыряли грязную жёлтую пену на берега и разбивали о мокрые, потерявшие стройность и красоту набережные, брошенные ротозеями лодки.

— Выйду на улицу, встречу Ирэшу. — Он встряхнулся смешно, по-собачьи. Хотя никогда собак не держал, любил кошек. — Она, кажется, без зонтика. А если и взяла с собой, то маленький, от него толку никакого.

Шарымов вышел в тёмный, лампочка там перегорела, предбанник и выглянул оттуда уже вооружённый мужским зонтом-тростью.

— За него тебе, Византиныч, очень благодарен!

Зонт недавно подарил Елагин. Не всегда же отделяваться в день рождения набором спиртного. Шарымов же с зонтом, особенно с огромным зонтом-тростью, никогда не ходил. Даже в самый-самый дождь.

— Я с этим громилой, — он выставил зонт вперёд, — хожу встречать Ирэшу. — Шарымов закрыл дверь и тут же её открыл. — Если кто и был похож на Наполеона, так это Троцкий!

За спиной Александра Матвейча блеснул свет, и в проёме дальней двери появилась мокрая с ног до головы Ирэна.

— Как, Ирэша, ты уже пришла? — Он обернулся и обнял её. — А мы с Византинычем только собрались идти тебя встречать!

Ирэне пришлось спрятаться за дверцы шкафа, чтобы переодеться, под холодным ливнем она застыла основательно. Но уже через несколько минут накрыла заново стол, смахнув с него остатки подгоревших сосисок и прилипшей к сковородке яичницы.

— Сталин, мне кажется, Византиныч, не чета этим революционерам с коротким дыханием, он бегун на большие дистанции.

Ирэна принесла горячую отварную картошку, помидоры, зелень.

— Ирэша, откуда горячая картошка? — изумился Шарымов. — Ты же только что объявилась.

— Надо дружить с соседями! И соседками! — засмеялась Ирэна. — Саша ведь до сих пор никого из них не узнаёт. Он здороваётся с ними по нескольку раз, они думают: от излишней интеллигентности. А он их просто не узнаёт, путает!

— Не наговаривай на меня! — Шарымов, не поднимаясь с кресла, обнял жену. — Так вот, про Сталина. Это игрок в го. Пять тысяч лет. Входит в пятёрку базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Как любят говорить китайцы, — «игра рук». Но он играет не в стандартную го, это, кстати девятнадцать на девятнадцать линий, а в игру с миллионом позиций. И к тому же по своим правилам.

— Там все, наверное, играли! — Ирэна присела за стол.

— Конечно, — кивнул Шарымов, — только в разные игры. Эсэры, по-моему, попытались сыграть в старый добрый преферанс: просчитываем ходы, предполагаем расклад, объявляем девять трэф, у большевиков-то вдвое (!) меньше голосов и открываем карты. А у Ленина с Троцким на руках дополнительные трэфы! Охрана Учредиловки — фальшивые кронштадтские моряки, завербованные большевиками. Эсэры: «Вы жулики!» А большевики: «Честные люди в карты не садятся! Караул устал!»

— Ну, допустим. — Елагин попытался представить зал Таврического дворца, тринадцатый час непрерывного заседания, депутатов, измученных болтовнёй партийных демагогов, дикими предложениями провинциалов, провокациями большевистских делегатов, гул голосов, выкрики и вдруг: «Караул устал!»

— А после начались игры и вовсе без правил: то Ленин с Троцким, то Троцкий с Лениным, потом Троцкий с острым перчиком от Сталина против бывших своих, дальше — просто сталинский перец, в результате — Ленин-труп, Троцкий — живой труп. Вопрос, два вопроса, которые меня волнуют. Первый: как можно без микрофона по три часа орать и держать оголтелую толпу на площади? Что они услышат? И второй: почему Сталин выпустил Троцкого за границу? Да ещё с архивом! Знал ведь, что он писучий кролик!

— А то, что Троцкий впервые после римлян децимацию применил, это тебя не волнует? — встала Ирэша.

— Думаю, выпустил как манок, чтобы ловить других человек, — пропустил Елагин её замечание. — Ты же сам сказал, что он, пусть неосознанный, игрок в го. Эсэры, особенно грузины Чхеидзе и Церетели, были уверены, что они умники и профессиональные игроки в шахматы, а столкнулись с талантливым самоучкой-драчуном Лениным — тот при случае и доской по башке двинуть мог — и великим игроком в го Сталиным.

— Эти его прямые расстрелы — игра в японо-китайскую фигну?

— Ирэша, массовые расстрелы, — назидательно сказал Шарымов, — продолжение дела Ленина и Троцкого. По идее. А по исполнению — шашки. Как играют дети, вышибая щелчком с доски игроков. Кстати, во младенчестве и я поигрывал в такие шашки. И не без успеха!

Неожиданно раздался стук в дверь и голос Катерины-соседки:

— Ирэна, к вам пришли!

Гостями, случайно оказавшимися с Катериной в лифте, а потом и на площадке возле двери, были уже хорошо клонувшие Володя Уфлянд с женой и очаровательный англичанин, совершеннейший мистер Пиквик: в меру толстый, в меру подвыпивший розовощёкий обладатель пухлого живота и рыжих бакенбард. Компания плавно перемещалась из квартиры Уфлянда на Таврической в поисках Шарымова. Зайдя в «Аврору» и две рюмочные. Розовощёкий Пиквик, преподававший русскую литературу в каком-то английском университете, был страстным поклонником Набокова, а Уфлянд успел не только подпойть англичанина, но наговорить (и даже прочесть что-то по памяти!) ему о литературном шедевре, пока что неизвестном самому Набокову, — шарымовском переводе поэмы «Бледный огонь», важнейшей части

знаменитого романа. И теперь настырный русист жаждал услышать перевод полностью. Да ещё и в авторском исполнении.

Пока располагались за столом, Уфлянд, сияя знаменитой улыбкой добряка, пытался разъяснить Пиквику, что такое коммунальная квартира. И русское понятие слова «соседка», тем более что соседка Катерина, достойная представительница ленинградского общепита, с первого взгляда покорённая англичанином, расстаралась, и на хлипком журнальном столике оказались такие закуски, которых он (стол) не видел никогда. Не говоря уж о бутылках, выстроившихся в аккуратный рядочек за спиной Александра Матвеевича на полу возле книжного шкафа.

Катерина, присевшая на краешек стула рядом с Пиквиком, заворковала так, что Уфлянд засомневался, удастся ли им добраться до набоковской поэмы. Но англичанин был твёрд, во всяком случае, пока не набрался спиртного совершенно по-русски, и требовал, чтобы автор немедля перешёл к переводу. «Пока не поздно!» — шегольнул знанием языка Пиквик.

— Говорить будем по-английски или по-русски? — Шарымов достал из канцелярской папки машинописный текст.

— Конечно, по-русски! — вскинул брови Пиквик. — Иначе, как же я пойму ценность вашего перевода?

— Тогда я должен сделать несколько предварительных замечаний, — начал было Шарымов.

— Сначала ты должен налить всем! — Уфлянд взялся за бутылку. — Питер, где твоя рюмка?

— За знакомство! — вставила Катерина и потянулась к Пиквику. — Вы, правда, хорошо понимаете по-русски? Тогда я вам признаюсь, у меня сегодня счастливый день!

Елагин отметил, что она, видимо, в качестве доказательства, крепко прижалась бедром к ноге англичанина.

— Сказать? — Катерина смотрела масляными глазками, стараясь поймать взгляд Пиквика.

— О, да! — Пиквик, несколько растерявшийся от напора, пытался отодвинуться, но за столиком было слишком тесно. — Да, сказать!

— Меня сегодня повесили на Доску почёта!

Все грохнули, исключая Пиквика и саму Екатерину.

— Ребята, — отсмеявшись, простонал Уфлянд, — дайте Шарымову почитать перевод, а то мы напьемся впустую!

В секундной паузе Шарымов встал и довольно твёрдо произнёс:

— Несколько предварительных слов, необходимых перед чтением. Я знаю, что Владимир Владимирович (Набоков) не любит поэтических переводов. Предпочитает прямой, дословный. В «Бледном огне» это исключено. Если попробовать переводить дословно, — то, что зашифровано в поэме, исчезнет. Или в лучшем случае утонет в комментариях. Поэтому в переводе есть некоторые вольности. Возьмём две первых строки поэмы. Их точный перевод: «Я был тенью свиристеля, убитого/ Фальшивой лазурью оконного стекла». Тут необходимо сохранить образ: не просто птица, но тень птицы! Кроме того, первая строка должна иметь самостоятельное лексическое значение, чтобы она, как написано в комментарии, могла бы закончить поэму. Став ровно тысячной строкой. То есть строка должна содержать информацию: «Я был тенью убитой птицы», в таком звучании она сохраняет и законченность, и образную силу. И третье: автор поэмы — пожилой американской поэт-академик Джон Шейд, вступление и комментарий к ней некоего Чарльза Кинбота. Шейд и Кинбот — главные герои романа. Шейд пишет поэму и на тысячной строке его кто-то убивает. Сколько строк не успел дописать Шейд? Ведь в поэме зашифровано и имя убийцы. Кстати, и Кинбот, по замыслу Набокова, — не просто Кинбот,

а династический наследник в таинственном королевстве Зембла, и зовут его Карл II, Карл Ксавье Всеслав. Здесь тоже есть свои сложности, но вообще их в поэме сотни, она как двойной сейф с двумя шифрами, причём, похоже, шифры к замкам не очень-то подходят! — Он перевёл дух. — Ладно, обо всём сразу не расскажешь. Итак, к делу, к переводу. Начнём с Шейда. В русском языке трудно найти созвучие имени Шейд, разве что в словах «нашедший», «ушедший». Мне показалось, что «нашедший» больше подходит. Ведь он находит что? Смерть! «Я был тенью птицы, нашедшей смерть», в пятистопном ямбе это: «Я тенью (два слога) был, нашедшей смерть...» Как ни крути, набоковский «свиристель» в два слога не уместается. Но, — он победно глянул на Пиквика, — свиристель из отряда воробьиных, *Bombusilla*. Я выбрал другую птичку — сойку! Она хоть и покрупнее свиристея, но чудно укладывается в два слога! И строка звучит так: «Я тенью сойки был, нашедшей смерть...» Потери с оригиналом есть, но есть и образ — тень птицы и игра слов... И таких потерь — несть числа, ведь у Набокова что ни слово — шарада, игра...

Я тенью сойки был, нашедшей смерть
 В лазури лживой, грянувшись о твердь
 Стекла; я пухом был белёсым — он
 Парил, всё в том же небе отражён.
 И изнутри удвоен был в стекле
 Я сам, мой стол и лампа на столе
 — Как будто ночью над травой смогло
 Подвесить мебель тёмное стекло.
 А что за дивный вид, когда газон
 Настолько снегопадом занесён,
 Что кресла и кровать совсем вовне
 Стоят — в снегу, в кристальной той стране!

— Матвейч, гениально, — поднялся Уфлянд. — Наш сэр Пайпс сейчас всё равно ни черта не поймёт. Не мечи бисера. Тем более что Катерина держит его за коленку, и мистер Пайпс думает вовсе не о Набокове и поэме...

— Нет-нет, — забеспокоился Пиквик.

— Слушай сюда. — Уфлянд царственным жестом, который удавался ему только в сильном подпитии, остановил Пиквика. — Задача мистера Пайпса, — он, оказывается, хорошо знаком с Владимиром Владимировичем и бывает у него в гостях, — не разбираться в тонкостях перевода... — Уфлянда изрядно качнуло, но он удержался и с помощью жены восстановил равновесие, — тем более что он всё равно не поймёт, а отвезти рукопись к автору. — Уфлянд задумался. — То есть к Владимиру Владимировичу Набокову. В Женеву, — сказал он после паузы. — Александр Матвейч, скажи, фантастично звучит: «В Женеву!» Даже начинаешь верить, что эта самая Женева где-то ещё существует! За уцелевшую Женеву! — Он поднял рюмку. — И Набокова!

Утром деловитый Пиквик, которого Катерина всё же уволокла к себе в постель, сфотографировал рукопись и исчез. Как ни странно, исчез он не в дебрях КГБ, как почему-то предполагал Шарымов, да отчасти и Уфлянд, для которого Пайпс был очередным развлечением, розыгрышем Шарымова. Пиквик вынырнул в Швейцарии и привёз шарымовский перевод Набокову. Тот отбивался как мог: никогда не читал стихотворные переводы. А уж таинственные и весёлые кружева «Бледного огня» и тем более. Но упорный Пиквик настоял, и шарымовский перевод (редчайший, может быть, единственный случай!) получил авторское одобрение. Т.е. великий Набоков признал равным себе никому не известного поэта Александра Шарымова.

Глава 18

С Шарымовым Елагин поссорился только однажды. Причиной стал ХТК (хорошо темперированный клавир) Баха, двухтомный сборник из сорока восьми прелюдий и фуг. Обычно доброжелательно-улыбчивый, Матвейч вспыхнул, некрасиво, пятнами покраснел и процедил сквозь зубы: «Византиныч, никогда не лезь туда, где ни черта не смыслишь. Худшее, что может случиться с человеком, это по собственной глупости оказаться смешным!»

Урок был усвоен, и сейчас, направляясь к даче академика Берга, Елагин вспомнил о нём. Зачем лезу не в своё дело, зачем травлю себя страшным, смертным ядом воспоминаний очевидцев жизни тирана, когда уже ясно изначально, что понять ни эту жизнь современного Дракулы, питаемую исключительно кровью жертв, ни жизни жертв самих, шедших на убой, невозможно. Ведь каждый, за редчайшим, редчайшим исключением, шёл на заклание со своим чудовищным лозунгом, коловоротом ввинченным в мозг. Исключая разве что тех, кто в силу смертельной усталости уже мечтал о смерти-избавлении, ибо жизнь была много страшнее.

Михаил Ефимович Левин, заведующий отделом публицистики журнала «Звезда», передал Елагину самиздатовские воспоминания знаменитого генетика, дочери академика Берга, Раисы Львовны. Трудно сказать, что испытывала сама Раиса Львовна, когда писала воспоминания («Кровью и жёлчью написаны», — М.Е.Левин), но читать их было невозможно: как, как могли выжить, работать, драться за свою науку учёные, как могли дружить, любить, рожать детей, чувствуя занесённый меч над головою? Или не чувствовали его? Или он висел так долго, не падая, что появлялось чувство, что вовсе не упадёт? Или особое эсхатологическое: погибну как все, раз уж такая судьба. Но первородный, животный страх перед насильственной смертью неотменим, как его преодолеть? Или с ним не могли справиться только те, кто становился орудием кремлёвского монстра, подельниками, непрерывно подтаскивающими новые и новые жертвы к кровоточащим, жующим челюстям? И их энергия, предприимчивость и страсть в охотничьих поисках новых жертв — это и есть сублимация дикого, животного страха за себя?

Бывшая калитка у дачи Берга висела косо, натоптанные следы шли мимо неё, сквозь несуществующие ворота. Кто-то посещал пожарище, собирая всё, что могло пригодиться в хозяйстве: обгоревшую кочергу, какие-то болты, сплюснутые обугленные банки, лезвие топорика — топориче сгорело, но сам топорик ещё — ого-го! — вполне пригоден. Разворошили местами и фундамент дачи, пытаясь добыть «стройматериал». Но некачественные, перегоревшие кирпичи и бетонные блоки крошились, и в хозяйство не пошли. Остались пожухлый иван-чай, летом пытавшийся кое-как прикрыть пожарище, пожелтевшие и сникшие от ночных заморозков лопухи, особая, жирная грязь старого пожарища, мокрый дух гари и сквозь него несильный, но острый запах беды.

Елагин почему-то никак не мог уйти от дачи академика, от остатков жизни людей, прерванной вот так нагло, в открытую, пожаром. Неслучайным пожаром. Уйти, казалось ему, — как бросить останки незахороненного человека. По чёрному полуразрушенному фундаменту важно бродила громадная ворона, время от времени расклёвывая гарь и скребя грязь чешуйчатой лапой. Она спокойно и нагло поглядывала на Елагина, орала «каррр!» и явно ждала, когда незваный гость уйдёт. Елагин слегка нагнулся, как бы намереваясь поднять что-то с земли, ворона лениво взмахнула крыльями, каркнула и перелетела на поникшую безлистную берёзу. На стволе видны были наплывы, — зажившие раны пожара. Что-то блеснуло в воздухе и звякнуло. Елагин подошёл, пошарил носком башмака, — в грязи лежала оплавившаяся монетка. Подарок вороны. Такие оплавленные монетки находили на пожарищах Древнего Рима. Елагин поднял, потёр её ржавым листом лопуха, платком и сунул в карман. Почему-то показалось, что пятнадцатикопеечная монета даёт право уйти

с пепелища. Унося её как воспоминание. Елагин вышел в кривую калитку, сделал несколько шагов по осиротевшей зарастающей дороге и оглянулся. Ворона, наклонив голову, уже сидела на облезлом заборе, провожая посетителя недовольным взглядом.

Елагин, не оглядываясь, двинулся по дороге в сторону шоссе. «В прошлый раз здесь звучала музыка», — подумал он и почти сразу музыку услышал. Обрывки шопеновского скорбного марша. По неширокому шоссе, разрезавшему пополам академический посёлок, шла похоронная процессия. Синий автобус похоронной службы с гробом, высунутым из задних дверей, за ним два человека: первый — с венком из еловых веток и искусственных цветов, второй — с наградами ушедшего навеки. На небольшой подушке лежали орден, медали и какие-то значки, когда-то, видимо, имевшие для усопшего особое значение. Иначе зачем их тащить на подушке? Вслед за венком и наградами шло несколько пожилых людей. Двое — с зонтиками, хотя дождя не было, ещё один катил перед собой инвалидную коляску с дремлющей, как показалось Елагину, старухой, укутанной пледом. Перед оркестром из пяти-шести музыкантов шла ещё небольшая группка, словом, похоронным шествием в обычном смысле назвать эти похороны было нельзя. Это, наверное, почувствовал и организатор похорон, единственный бодрый человек в скорбном шествии. Он остановил машину, что-то крикнув водителю, затем посоветовался с человеком, нёсшим награды, и пригласил «желающих занять места в автобусе».

— Дальше будем двигаться пассажирской скоростью!

Гроб водитель с грохотом задвинул вглубь автобуса, две-три старушки, поддерживаемые человеком с зонтом, поднялись по ступеням, остальные стояли рядом, печально кивая друг другу. Оркестранты, переговариваясь, тоже залезли в автобус («До станции!»). Впрочем, тромбонист остался, уложил инструмент в футляр, откланялся, обращаясь непонятно к кому, и повернул обратно. Автобус газанул, пыхнул дымком и двинулся по шоссе, оставив провожающих на дороге. Они постояли, переговариваясь неслышно, и вслед за инвалидной коляской со старушкой в шотландском пледе пошли назад, в академический посёлок. Там, где только что был похоронный автобус, остались двое: седобородый старик с тростью, нацепивший на голову вязаный беретик, и небольшой человек в чёрном. С жёлтым портфелем, застёгнутым на одну пряжку. «Этот откуда взялся, вроде его не было? — подумал Елагин, стараясь рассмотреть, и направился в сторону Дома творчества. — Определённо не было!»

Возле столовой на песчаном пяточке, где обычно толклись писатели, стояла пожилая поэтесса. «Детский поэт», — как она обычно рекомендовала себя.

— Вас не было на завтраке? — «детский поэт» явно обрадовалась встрече с Елагиным. — Плохо спали?

— Н-нет, — ответил Елагин. Он был не склонен к светским разговорам. — Как обычно...

— А я, представьте, не сомкнула глаз, — доверительно сказала «поэт». — Вы же знаете, со мной рядом, прямо за стенкой, живёт поэт... — Она так понизила голос, что Елагин не расслышал, кто же всё-таки живёт рядом с ней. — Так вот, представьте, он каждый день водит к себе на ночь новых женщин! Как вам это нравится?

Елагин пожал плечами.

— Я не спала всю ночь! — возмущённо сказала «детский поэт».

— Так шумели? — Елагин изобразил вежливый интерес.

— Что вы! — энергично откликнулась она. — Абсолютная тишина!

— А что же вы не спали?

— Ха! — с лёгкой игривостью цирковой слонихи сказала «поэт». — Вы не знаете, какое у меня воображение!

(Окончание в следующем номере)

Анна Долгарева

И вода живая, и земля тоже живая

* * *

Старики говорят,
Не было никакой земли поначалу,
А была вода и над ней во мраке носилась птица,
Не было для неё ни гнезда, ни причала,
Негде ей было тогда приютиться.

И свила она гнездо из перьев своих тогда,
И его приняла вода,
И это стала первая суша,
Первая во всём мире земля.

А потом на ней появились сады и поля,
А потом на ней появились войны.
Без войны земли не бывает.
Бьётся вода о берег, оставляя промоины,
И вода живая, и земля тоже живая.

* * *

В лодочке качается князь Глеб,
А из глаз ушли и тоска, и страх.
«Да за что погиб ты?» —
«За чёрный хлеб,
За парное молоко в материнских руках.

Я единой Руси для братьев хотел,
Скомороший, чудной, бестолковый шут,
Вот я и плыву через лагерь тел,
И всё кровь мою подтереть прошу.

Долгарева Анна Петровна — поэт, военный журналист. Родилась в 1988 году в Харькове. Окончила Харьковский национальный университет по специальности «неорганическая химия» (2010), Луганский государственный университет имени В.Н.Даля по специальности «политология» (2017), Институт прикладной психологии в социальной сфере по специальности «практический психолог» (2021). Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Нева», «Урал», «Крещатик» и др. Автор семи поэтических сборников, среди них «Красная ягода, чёрная земля» (М., 2023), «За рекой Смородиной» (СПб, 2023). Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве и Санкт-Петербурге.

За селянина, что сгоняет овец
Под прозрачной пылью к малому пруду.
Чтобы сын мужал и не трусил отец,
Чтобы привычны были не к войне, а к труду.

Но чего-то вышло, идёт печенег,
Да кривая сабля, да чёрная рать.
Вот какая доля досталась мне:
Не в бою, а от повара помирать.

Только будет, будет святая Русь
Из костей Бориса да крови моей.
И не будет иначе — смотри, не трусь,
Кровь всему голова, так будет верней».

* * *

Я живу в этом смутном холодном краю,
Где цветёт иван-чай, где до света встают,
Где учителем бабка была и дед,
А другого мне края на свете нет.
Здесь по осени сеном кормят коров,
Здесь не принято в хату пускать мертвяков,
Хотя Варин-то муж к ней ходил и ходил,
Подходил и стоял у окошка один.
И по осени славно так топится печь,
И так ладно выходит неспешная речь.
Вот иди так, с востока на запад иди,
И такие же лица везде впереди,
Без стыда и упрёка, без лишних страстей.
Приноси разговор и дождись новостей.
Не дорога идёт, а одна колея...
О родная, родная, родная моя!

* * *

Господи, что это, что же вокруг меня?
Белое, белое, светится, сребрения,
Только и думаешь в этом, насколько один,
Маленький, маленький человек посреди.

Было же, было: родители со двора
Ужинать забирали, такая пора,
Варежки на резинке, капор и шарф,
Голая неосмысленная душа.

А тут чего-то, Господи, погляди,
Белые все торосы, я посреди,
Небо такое большое, что можно щекой
Приложиться к нему — и будет тогда покой.

Небо большое, и в небе извечный Бог.
Кошкой большой прижимается, словно бок
Её пахнет шапкой, нежностью и теплом.
И молодые снежинки метут напролом.

* * *

Ледяная под утро приходит тоска,
И стучится, и крутит сверлом у виска,
За всех тех, кто не с нами отныне.
Никакого *сейчас*, никакого *потом*,
И хотелось бы рядом хотя бы с котом,
Но и он на окно отпружинил.

Никого не спасти, никого не сберечь,
Остаётся смертельная русская речь
И бесстрастные снегопады.
Это наша война, это наша судьба,
Это крест только-только касается лба,
Это город в окружье осады.

Только сердце живое болит до сих пор
Да вот так — да за каждый разбомбленный двор,
И не спится, и кот не приходит.
Это чёрная ночь среди белых снегов,
Когда мир оглушительно, бешено нов
В обречённой своей несвободе.

* * *

Глубокозимье. Спит вода на дне,
И птицы подлетают ближе, ближе
К жилью. Деревьям снится о весне
В закате фиолетовом и рыжем.

Но спит вода, тверда она, тверда,
И рыбы серебристые заснули.
Я так тебя любила, что всегда
Молилась, чтоб Господь отвёл от пули.

Глубокозимье. Белый снег пустой,
Зелёный лёд, замолкнувшие птицы.
Я так тебя любила, ну и что?
Уходит в землю всё, что сохранится.

Живи, живи, одно прошу, живи,
Как будет — будет, и что должно — делай.
Есть в мире что-то более любви,
И это — нежность за её пределом.

* * *

Мы вообще не виделись. Ты был на войне.
Отвечал через раз, ловя проблески Интернета.
Так что говорила с тобой я больше во сне.
И летела, летела, летела планета.

Женской ладонью не отвести беду,
Но я молилась словами любви измотанной,
И ты возвращался, и таяло солнце в пруду,
Я понимала: вот оно,

То, что зовётся любовью: не дом, не семья,
Вообще не какие-то отношения.
А только вот эта молитва, молитва моя
И раз за разом твои возвращения.

Человек

* * *

Человек, идущий в заснеженной темноте,
Подобен царапине на холсте,
Он излишен и мал, и дорога его туда,
Где начинаются холода.

* * *

В эпоху отчаянных перемен и кровавых жертв,
На самой грани стального века,
Человек ищет Бога. Это вечный сюжет.
Но ищет ли Бог потерянного человека?

* * *

Господи Боже, найди меня.
Я вышла в зыбучий медленный снегопад,
Белизна такая — ни следочка, ни пня,
Только и остаётся брести наугад.

Адель Хаиров

МЕСТЬ

Рассказ

В круглой жестяной коробке лежали чёрные кости. Разложив их на столе, перебирал. Осторожно прикасался, боясь раскрошить. Четыре ребра и фрагмент черепа — всё, что осталось ему от дочери. Она проплыла за спиной, обдав тёплой влажной волной. На ходу подсушивая волосы махровым полотенцем, напевала. Забравшись с ногами на диван, болтала по мобильнику. Он слушал её протяжное «да ну» и тупо смотрел на тонкие косточки. Они начинали шевелиться, превращаясь в засушенные лепестки южного цветка. В тот день Вера забыла дома телефон. Айфон играл и танцевал на полке до утра, потом умолк рядом с Барби (подружка детства) и стал похож на игрушечную могильную плиту...

Дмитрий Иванович, забыв что воскресенье, к восьми отправился на работу. Сидел в кабинете, поглядывая на часы, и не мог сообразить, где сотрудники. Потом очнулся и, оставив машину, пошёл домой через парк. Брёл, запинаясь, но вдруг ускорился и побежал... Открыл дверь, а там — тишина.

Привыкший к армейскому распорядку дня, когда сутки имели двадцать четыре часа, оторопело наблюдал, как время сначала собралось в гармошку, а затем вытянулось, наполнив комнату мёртвой тишиной безвременья. Ни утра тебе, ни дня. Всё — сплошная ночь под бутылочными осколками звёзд. Вместо утреннего кофе пил водку, крошил чёрствый хлеб в тарелку и поливал подсолнечным маслом. Грамота за безупречную службу в органах лежала скатёркой, по ней полз сморщенный огурчик.

Служебный мобильник первое время надрывался и кружил на тумбочке, потом обиженно пожужжал в кармане плаща и, наконец, пискнув, умолк. И связь с большой землёй оборвалась. Кто-то ещё звонил в дверь, тарабанил, но Дмитрий Иванович затихал, хотя и так уже превратился в шуршащую тень.

Когда в доме всё закончилось — и водка, и закуска, и даже бычки из цветочного горшка были докурены, — пришлось выбираться из лежбища. Зашёл в душевую

Хаиров Адель Ревович — журналист и сочинитель. Родился в Казани в 1963 году. Учился на филфаке Казанского университета. Автор сборников прозы «Играй, не знай печали» (Казань, 2019) и «Подкова Гамерлана» (Санкт-Петербург, 2020). Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новая Юность» и других. Лауреат ряда литературных конкурсов и премий, в т.ч. премии «Русский Гулливер — 2015» в номинации проза поэта. Живёт в Казани.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 1.

и отшатнулся от зеркала. Оно как будто треснуло. Сразу протрезвел. Полчаса отмокал под струями, гоня по телу похмельную дрожь. Потом нашёл в холодильнике дочкину колу и опустошил. План созрел сам собой. Вспышками в пьяном мозгу какие-то эпизоды до этого возникали, но только сейчас всё выстроилось и написался некий сценарий...

От расследования его, как близкого родственника, отстранили, но он продолжал сидеть в общем кабинете и был в курсе происходящего. Трагедия набросила тень печали на дружеские отношения с коллегами. Свет в помещении как будто бы стал мутнее. Юбилейный букет усох на следующий же день, и в воздухе запахло горечью. Его больше не называли Димоном, только по имени-отчеству. Здраваясь, задерживали ладонь.

Список сотрудников отдела напоминал зверинец: Зайцев, Тушканов, Козлов... Ну как тут обойтись без Рысина? Дмитрий Иванович и внешне походил на рысь: брови взлёт, серые цепляющие глаза, мгновенная реакция, порывистые движения, похожие на прыжки. Учувя след, затихал. Осторожно подбирался к преступнику. Потихоньку затягивал круги...

Прошло два месяца. Дело близилось к концу. И вот как-то поздним вечером Рысин вернулся в кабинет, не спеша выкурил сигарету и выгреб из сейфа уголовные папки. С юбилея оставалось полбутылки коньяка, пригубил. Поразился тому, как плохо знал свою дочь. Видел только фасад, а в доме том было много тайных комнат. Но строил-то его он! Откуда тогда тайники? Кто нарыл?

Просмотрел видеозапись из ночного клуба «Сударушка». Вот дочь сидит за барной стойкой, потягивая коктейль. К ней подсаживается бородач в светлом костюме. Они о чём-то спорят. Видно, как тот начинает психовать. Хватает её за руку. Горошек фенечек рассыпался. Камера на входе записала, как он тащит Веру к машине. Охранники не вмешиваются. Один из них даже помогает открыть дверцу.

Бородач с ней встречался около года. Вёл себя странно. Никогда не звонил, не писал. Сам её находил. Зная маршрут, по которому она ездила в вуз, терпеливо поджидал в припаркованной в закоулке машине. Она никому о нём не рассказывала. Может, запрещал? Ни одна из её подруг их вместе не видела. Единственный раз сокурсник, который пытался за ней ухаживать, заметил, что какой-то бородачатый мужик помахал ей издали, подзывая. И она покорно пошла. Нет, побежала.

В мешерских лесах в трёх километрах от посёлка Пустоша грибник наткнулся на обгоревший остов машины — когда-то это был кромешно-чёрный мерс, который слился с ночью и превратился для дочери в катафалк. Никто не видел, никто не слышал. И всё же собрали кое-какое видео с камер наружного наблюдения. Пробили таинственную машину, у которой часто менялись номера. Обычная рутина, не требующая дедукции. Но группа опоздала всего на сутки — бородач успел свалить к себе в горы. Отправили коллегам запрос, и вот сидят ждут.

Рысин знал, как будут развиваться события дальше. Когда начальнику местного МВД, какому-нибудь Музафару Музафарову доложат, он тут же поднимет трубку и сообщит родственникам подозреваемого. Но бегать бородач не станет, лишь на время забудет дорогу в Москву. Такие, как он, обитают в неприступных родовых замках, окружённые верными абреками. Маленькие шамили своих ущелий.

Рысин рассматривает ксерокопию паспорта. Ещё безбородый. Твердолобый. Взгляд тяжёлый, чёрные глаза, как дула. Отвратительный тип. Что она в нём нашла? Эх, дура-дура! Дмитрий Иванович допил коньяк, навёл палец на подозреваемого и несколько раз выстрелил, сопровождая спуск воображаемого курка именем убийцы:

«Бадих! Бадих! Бадих!» Достал из сейфа наградной пистолет. Переснял паспортные данные, прибрался и сдал ключи дежурному.

И вот теперь, когда от отпуска оставалась половина, Дмитрий Иванович собрался в тёплые края. Машинально забрасывал вещи в спортивную сумку. На «Стечкина» надел носок и замотал в треники. Взял бинокль и тонкие кожаные перчатки. Вспомнил, как год назад они собирались в Пицунду. У дочки набралось три сумки вместе с раздутой пляжной, ещё одна сумочка на плечо плюс розовый чемоданище на колёсиках против его скромного серого рюкзака.

Рысин полез на антресоли. Вытянул за ухо сиреневую сумку, где лежали дочкины вещи. Вытряхнул яркий ком на диван. Запахи тут же обрели призрачные очертания Веры. Он ловил их, хотел приобнять. Но пляжный кремовый халат сам обнял его махровыми рукавами. Вытащил её весёлый носочек и утёрся. Стал разговаривать с ней... И тут цветной струящийся сон оборвали писклявые звуки зурны и ухающие — барабана. То ли свадьба, то ли какой ещё их праздник. Рысин затворил ставни и зло прихлопнул зелёную муху, влетевшую со звуками, подвернувшимся журналом. Удар был такой силы, что муха вошла в кадр с Гузель Яхиной, украсив ей изумрудом гляцевый лоб. Как только очки не разбились!

До поезда оставалось полтора часа. Сварил кофе, обжёгся. Оставил чашку недопитой. Когда шёл к такси, то в гулкой подворотне услышал фразу, которую втолковывал кому-то в трубку азиат: «Нэт, нэ надо... Умоляю тебя!» Человек исчез, а фраза повисла в воздухе. Плачущее «умоляю, нэ надо» ещё долго звучало в ушах. Дмитрий Иванович физически ощущал, как перелезает через эти, выросшие живой оградой, слова.

Как ехал в поезде, толком не помнил. Так едут издалека на похороны близкого человека. Рассеянная улыбка, холодный луч взгляда за горизонт. Жизнь — как остывающий чай в железном подстаканнике. Степь, полустанки, чёрный чабан, стоящий по колено в кудрявых облаках.

Поезд заскрежетал. На бугорке, постелив ковёр, сидели аксакалы и держали на весу пиалы. Девочка с фарфоровым чайником подбежала к ним, из носика засеребрилась косичка. С верхней полки сказали, что старики приходят сюда из соседних кишлаков посмотреть на поезд. Чтобы состав притормозил, к рельсам стоняют отару. Машинист гудел и ругался. И опять начала зудеть зурна. Играл подросток, стоящий у насыпи. Из окон полетели монетки и конфеты...

Рысину вдруг показалось, что он умер, а поезд уносит его душу в тартарары, где на конечной станции будут встречать каракулевые черти. Но он не найдёт там свою Веру, потому что её светлую душу скорый умчал в противоположном направлении. Дмитрий Иванович обвёл взглядом купе с покойниками. Жёлтые заспанные лица, отупевшие от монотонной дороги. Обтираются влажным полотенцем; выкручивая ножку курице, брызгают жиром; припадая к горлышку, захлёбываются сладкой пеной. Подбородки лоснятся, губы жуют и сплёвывают русские слова:

— Я работал. Зарплата мне не платил. Ходил-ходил к начальника, приду сiju, лаваш из карман ем. Тут вышел Халим, я ему жаловался. Говорю: «Деньги давай!» Халим мне по жопам дал и сказал: «Иди к Мазгару, он тебе ещё премия даст». Завтра опят пойду...

— А вы почему ничего не кушаете, не пьёте? Мне же план надо делать, — тронула его за плечо проводница с маской монголки на широком лице. На её форменной курточке расправил крылышки металлический ангел. Время от времени она натирала его рукавом.

Попутчики исчезали на своих станциях с дикими названиями: Апашили, Сарасы, Курчали... На полках появлялись другие. Куртки и пиджаки сменили войлочные жилетки и засаленные халаты. Потянуло костром и сухим навозом. Эти уже постель не брали, разматывали грязные матрасы. На столике закрутилась дыня и, располованная самодельным ножом, выскочившим из-за голенища мягких сапожек, брызнула слёзками. Она осветила небритые морды, как распелёнутый младенец. Вкушая дыню, кругленький имам¹ просвещал тонкого юношу:

— У пророка Ибрахима было два сына. Так? От Исхака пошли арабы, а от Исмаила — евреи. Понял? Одного из них он хотел принести в жертву... Кого?

— Исмаила? — встрепенулся молодой.

— Не угадал. Тяни ещё!

— Турсуна? — выпучив глаза, ляпнул парень.

— Какой, балаят, Турсун? Ты что, ахмак²!!!

Ранним утром приехали на покрытую мохнатой пылью станцию. Женщина с закутанной головой катила по земле огромный арбуз. Аксакал с белой бородкой на кожаном лице чистил пальцем зубы и громко полоскал рот. В сторонке была навалена арбузная гора. Рысин послонялся вокруг закрытого вокзала. Начали подтягиваться угрюмые люди с тюками. Снаружи приподнялась замызганная гильотинка кассы, и внутрь потянулись руки с мятыми рублями. Подали грязный дизель-поезд из трёх вагонов. Столик и полка были липкими. Постелил газетку. Состав то разгонялся, то притормаживал, скрипел на поворотах, как арба.

К вечеру добрались, он еле успел на последний автобус — «Львовский» с мятыми боками, недовольно пыхтящий ещё с советских времён. Дальше взял латаный-перелатаный жигулёнок. Зелёный брелок с изречением из Корана прыгал у самых глаз. И опять засверлила висок зурна. Водитель мотал головой в такт, подвывая, и толстыми пальцами танцевал на перетянутом плёткой руле. Что-то шутил. Пытался разговорить пассажира. Плевался в лицо. «Надо же, — думал Рысин, — зубы золотые, а машина — ржавая». Закрывал глаза и начинал прыгать по ухабам времени. Вот они с дочкой взмывают в небо в стеклянной капсуле чёртова колеса, и дома с машинами становятся игрушечными. Потом сиреневая тень от пляжного зонтика накрывает Веру. Ветер за несколько секунд прочитывает всю «Каренину» с конца и летит к ларьку, где бешено крутит стаканчики в барабане урны. Волна одним ударом сбивает их с ног, ослеплённые и оглохшие, они не могут найти друг друга. «Вера! Вера!» — Дмитрий Иванович тянет руки к лобовому стеклу.

— ...А с эта гора сбросилась красавица Айла. Вон туда, где глубокий ущелий, видиш? Её адин князь соблазнил. Потом он застрелился с горя! С ума сошёл, и тоже сбросился... — забыв о руле и дороге, рассказывал, ёрзая и брызгая слюной, водитель.

Но Дмитрий Иванович не видел горы, он готовил завтрак для дочери: нежный омлет с зеленью дрожал на сковородке, кофейник надувал коричневые пузыри. Утренний ветерок с Яузы поднимал тюлевые паруса...

Под днищем «копейки» закручивается мутная волна горного ручья, деловито перетаскивающего через дорогу сучья и камни. Машину раскачивало, как лодку. Но, пыхтя и завывая, она вылезла из жижи и начала взбираться на гору, пробуксовывая на крутых участках лысой резиной. И вдруг завизжала от радости. Ух! Жигулёнок ушёл в пике — и через минуту свободного падения они оказались на бахче, где шоколадные

¹ Имам — в исламе духовное лицо, хорошо знающее Коран. Главный в мечети.

² Ахмак (*mat.*) — глупый.

парни, по пояс раздетые, не спеша перекатывали тяжёлые арбузы. Подпинывали босыми пятками, при этом неся на каляпуше¹ такой же. Это были люди с арбузами вместо голов!

Под колёсами что-то лопнуло. В открытые окошки ударил арбузный бриз. Выбрались. Водитель и аксакал, сидевший на полосатом троне, облапали друг друга. На капоте появился огромный арбуз, достойный экземпляр для ВДНХ, и его тут же зарезал кривой ножик. Зазмеились струйки крови. На лице водителя остался алый надрез до ушей. Рысин поднёс ко рту улыбающийся ломоть с чёрными зубами, и тут же был зацелован. Он никогда в жизни не ел такой свежей сладости, в которой купалось лицо. Арбуз опьянил!

Отяжелев, отправились дальше. Кажется, и машина наелась, комки арбузного снега слизывает с капота ветер. Жигулёнок довольно урчал. Рысин впервые за время поездки обратился к водителю по имени:

— Да-а, Шакир, угостил ты меня на славу! На всю оставшуюся жизнь наелся я арбуза. Теперь уж, пожалуйста, только не растрясси...

— Дальше дыня будет. Потерпи, дарагой!..

— О-о! — округлил глаза Дмитрий Иванович, заслонив рот ладонями, как будто собирался помолиться. Тело стало ватным.

Бахча с дынями лежала на зелёном блюде лощины. Издали казалось, будто молочные поросята роются в траве, покручивая хвостиками. Шакир окликнул кого-то, из неприметного шалаша вылез сонный парень с овечьими глазами. Глянув по сторонам, выбрал поросёнка и блеснул ножиком. И вот сладкие слюни потекли по капоту, потрошки с семечками соскользнули вниз. Корки повисли на пыльных придорожных кустах. Ломоть был как чаша. Рысин захлёбывался...

— Щас заедем в адин аул... — Шакир свернул к побелённым кубикам под лысой горой. — Пят минут!

Дмитрий Иванович не перечил. Он полулежал безвольным кулём. Рядом с ухом комаром зудела зурна, которую крутили по радио. Он вяло отмахивался. Бурка маленькой песчаной бури, поднятой колёсами, упала, и Рысин увидел празднично одетых людей, спешащих к ним навстречу. Зурна, покачиваясь, приближалась к окну, и вот она уже коброй заглянула в салон. Дмитрий Иванович отшатнулся, но, подталкиваемый Шакиром, выбрался из машины. Его взяли за кисть, как ребёнка, и повели к столу в тени хлопающего навеса. Терпко пахло от женщин, нос вспомнил забытую «Красную Москву».

Детские ладошки мягко надавили ему на плечи, и он опустил на плюшевые подушки с бахромой. Оглянулся, но девочка уже размазалась среди пёстрых халатов. Ему показалось, что можно любить её, не видя лица, лаская только пальчики, пахнущие плотью какого-то южного фрукта. Те же ручки мелькнули слева и поставили перед ним лепёшку-тарелку с дымящейся бараниной. И тут же справа появилась тарелка с большим чебуреком. Невидимая девочка делала всё так проворно, что Дмитрий Иванович никак не мог ухватить её юркий образ глазами, к тому же почтенный аксакал, сидящий рядом, что-то говорил ему на своём тарабарском, удерживая внимание, — видимо, о жизни.

Грязные тарелки исчезли, и появилась огромная чёрная гроздь винограда с пчелой. Рысин уже клевал носом, во рту карамелью перекатывалась виноградаина, а аксакал говорил, говорил... Голос, выползающий из вяло шевелящихся губ с налипшим

¹ Каляпуш — головной убор у народов Средней Азии, похожий на татарскую тюбетейку.

рисом, убаюкивал. И вдруг оба вздрогнули — их растолкал бубен, засаленный круг крутился лепёшкой в ловких и пристукивающих пальцах. Женщины повизгивали, зурна впала в истерику. Кто-то стучал по столу, как по барабану. Пиалы приплясывали, бараньи рёбра, подпрыгивая, двигались к краю, где их поджидала худая собака. С огромного и белоснежного, как подвенечное платье, торта на стол съехала красная роза. Уже и болтун аксакал был утянут в танец, и заваленный снедью стол, прихлопывая фалдами скатерти, начал кособоко пританцовывать...

Хозевам стало невыносимо смотреть на одиноко сидящего Дмитрия Ивановича, и они вытянули его грузное тело из-за стола и принялись подталкивать впереди себя по кругу. Он повиновался. Его приобнимали, бережно передавая из рук в руки, заглядывали в глаза, чтобы узнать, доволен ли он. Ковровой дорожкой стелились!

Дмитрий Иванович таял. И звуки зурны уже не так резали уши, они извивались усталыми змеями в воздухе, сплетаясь с дымком мангалов, которые выстроились вдоль стены-мазанки, с десятков в ряд. Пахло жареным мясом. Народу было так много, что дворик уже не умещал всех гостей. Те, кому не хватило места, приплясывали за воротами. У женщины с золотыми ушами вспыхнул от мангала персидский платок. Она, не заметив этого, красиво извивалась, покрытая огненной накидкой. Перепугалась только, когда несколько мужских ладоней крепко зашлёпали по спине и заду.

Потом люди расступились, и в центр вышла невеста с покрытым лицом. Все пальцы окольцованы. Руки изгибались лебедиными шеями. Вокруг били в ладоши и повторяли её имя: «Шахсенем! Шахсенем!» От белоснежного платка летели перья...

Посреди ночи Рысин проснулся. Темень была кромешная. Кто-то похрапывал в углу, кто-то посапывал посередке. Боясь наступить кому-нибудь на руку, на ощупь принялся искать выход. По потоку свежего ночного воздуха выбрался наружу. На ступенях сидел тот самый старик-балабол. Увидев Дмитрия Ивановича, обрадовался и продолжил свой нескончаемый рассказ. Кинжал месяца резал бугристое мясо горы. Чёрный человек журчал бисером на придорожный камень. Угли в мангалах мерцали...

Вчера, когда машина петляла по серпантину, приближаясь к бедному аулу, мраморный сераль местного богача неожиданно ослепил, как ледник, зажатый утёсами.

— Вах, какой дворец себе Бадихжан построил. Сказка! — разволновался Шакир, цокая языком. — Вор и мошенник... Зато уважаемый человек!

Рысин удивился, что не пришлось долго искать. Зверь сидел на мушке. Он сверился с адресом. От дома жениха до дворца Бадиха было километра три, не больше...

Месяц по рукоять вошёл в мохнатый горб. Дмитрий Иванович, сплёвывая ос, напился воды из кувшина, похлопал старика по плечу и пошёл за пистолетом. Он осторожно пробирался по стенке, но всё же сбил в прихожей кастрюльку, запнулся о складку коврика и приобнял задрожавший буфет. Снизу его чужим именем окликнула старуха, и дом снова погрузился в сон.

Дмитрий Иванович заблудился. Темнота висела такая, что он чуть было не зашёл в платяной шкаф. Обрушил коробки, зазвенела по плиткам пола медная тарелочка, но опять никто не проснулся. Рысин брал то вправо, то влево. Дом превратился в лабиринт. Когда, наконец, признал свою комнату и протянул руки к топчану, то пальцы колыхнули чьё-то горячее пузо и сжались, как пауки. Попятился и даже обрадовался, вновь оказавшись на крыльце рядом с аксакалом, который перебирал чётки. Прислонился к перилам и задремал.

Утром его разбудила та же таинственная ладошка. Потормошила волосы, и пока он продирает глаза, снова упорхнула за яркую шторку. Его позвали к столу. Из чёрного

тандыра две сестры-близняшки доставали лаваш и метали на стол. Бровастая хозяйка ловила, разбивала в серёдку яйцо и посыпала пушком зелени. На глазах яичница на горячей лепёшке начала пузыриться. Желток брызгал, из разорванного лаваша пыхал жар. Дмитрий Иванович наслаждался. И вдруг услышал запах карамели: рядом с ним стояла девочка-подросток — вся пушисто-золотая — и, смущаясь, протягивала ему богато расшитое полотенце. Он узнал эти пальчики и услышал имя: Наних.

Мужчина с женственными глазами подсказал ему: «Бери, бери... Вытирайся!» Рысин только слегка прикоснулся масляными губами к такой красоте. Полотенце пошло по кругу, собирая жирные поцелуи. А он всё никак не мог отпустить эти робкие нежные пальчики... Слёзы навернулись. Гости переглянулись и как будто бы всё поняли. Подвинулись. Девочка присела рядом. Он рвал для неё лаваш. Хотел поцеловать в темечко, но всё не попадал. Когда она вертела головой, косички стегали по плечу, как плёточки. Потом её губы выстрелили абрикосовой косточкой прямо в его пиалу с чаем. Она вскрикнула и прихлопнула ладошками губы. Оба рассмеялись.

У ворот загудели машины. Приехали жених с невестой. Стол быстренько убрали и снова накрыли. Блюда порхали по воздуху, щекоча нос пряными запахами.

Подъехал Шакир, оставив в сторонке от украшенных лентами иномарок свою грязную «копейку». Он шёл, торжественно держа над головой сумку Дмитрия Ивановича, и улыбался. «Бог ты мой, забыл... Забыл!» — обрадовался Рысин.

Появился круглый мельхиоровый поднос, куда гости принялись бросать деньги без конвертов, произнося витиеватые пожелания. Бабай-болтун вытащил из женского кошелька скомканные пятьсот рублей, поднос поплыл дальше, а он всё продолжал говорить. Пришла очередь Дмитрия Ивановича. Откашлялся в кулак. Рассказал какую-то восточную притчу, сунул руку глубоко в сумку, пошарил и вынул сразу три пачки тысячных купюр в банковской упаковке, почти всё, что снял в дорогу. Поднос сразу отяжелел. И вдруг с грохотом выпал «Стечкин». Чёрный носок, как маска, сполз со ствола. Зурна умерла. Гости заворожённо смотрели на пачки и мерцающее оружие. Рысин побелел. И тут на крыльцо вышел хозяин с блеснувшим на солнце стволом и начал беспорядочно палить в воздух. Вслед за ним появились соседи с древними ружьями, помнящими ещё имама Шамиля, и в горах заухало. Камни посыпались в реку. Рысин схватил пистолет и расстрелял всю обойму в небо, стиснутое горами. Горькое пороховое облачко повисло над аулом.

И опять затянула зурна. Наних взяла его за руку и вывела из-за стола. Вокруг Дмитрия Ивановича поплыли головы и горы. Наних извивалась, как деревце на ветру. Она нанизывала на себя звуковые кольца зурны и крутила на узких бёдрах. Бабуши¹ то семенили, то выглядывали из-под длинного халата, как котята, и снова прятались. Рысин был пьян. Не зная языка, он понимал их. Движения его замедлились, стали плавными. Всего за один день он округлился, лицо покрылось медью от здешнего солнца. Вдобавок на плечи ему накинули золотистый бухарский халат и усадили на мягкий диван в тени лозы. Он задремал, но вскоре почувствовал вокруг себя волнение. Краем уха услышал, что должен подъехать Бадих со свитой и поздравить молодожёнов. Очнулся. Засуетился. Жестом подозвал Шакира и попросил отвезти на вокзал...

Горячий ветер бил по щекам. Машина чихала. И вдруг, клюнув носом, встала посреди дороги — путь преградили овцы. Это была не отара, а белая река! Когда пыль осела, Рысин увидел белоснежный замок Бадиха. Блеснуло зеркальце с балкона. Он расчехлил бинокль и навёл на девочку в белом платъице. В её руках сверкнул на солнце планшет. Она болтала ножками. Один сандалик убежал...

¹ Бабуши — туфли без задника.

— Шакир, сделай доброе дело... — попросил Дмитрий Иванович. — Зарежь одного барана...

— Какого барана? — спросил тот, не отрывая глаз от серая Бадиха.

— Не того, нет... — усмехнулся Дмитрий Иванович.

— Понял-понял. — Шакир, отпихивая дверцей тучных овец, еле выбрался. — Выбирай, какой хочешь?..

Рысин хотел было ткнуть в любую тушу, но, высунув голову в окно, увидел одиноко бредущую за белой отарой чёрную овцу.

— Хватай этого! — крикнул он.

Баран шархнулся, соскочил с обочины и резво поскакал по степи. Шакир бросился за ним. Рысин не удержался и тоже побежал. Вдвоём они ухватили животное за рога и повалили на землю. Кувыркнулись в пыли. Баран жалобно заблеял и затих.

— Отвези в дом жениха, — попросил. — Угости всех. Плов приготовь!

Они забросили связанного барана в багажник и поехали, молча улыбаясь. Когда проезжали бахчу, в салон им накидали арбузов, и жигулёнок просел. Один полосатый устроился на коленках Дмитрия Ивановича и смотрел на дорогу.

В очереди на железнодорожном переезде Шакир включил радио, покрутил колёсико. Взвизгнула зурна и захлебнулась в волнах. По эфиру на белой фелюге важно проплыл муэдзин, он наслаждался своим самозабвенным пением. Баритон заполнил салон, но неожиданно был разорван визгами арабской музыки. Радовались братья-мусульмане недолго. Сильным северным потоком налетела «Метель» Свиридова и всё замела. Дмитрий Иванович покрылся мурашками, ему страшно захотелось обратно в Россию, чтобы оказаться в лесу, по колено в сугробе, и расцеловать лапы в снежных рукавичках. Отрясти на себя серебро!

Вернувшись домой, Рысин стал больше проводить времени с дочерью. Убирался, готовил, а по вечерам крутился на автобусной остановке, высматривая её. Недавно хотел показать в парке лужу, в которой замёрзшие листочки стали похожи на золотых рыбок. Но повалил пушистый снег...

Дмитрий Иванович ставил чайник, чтобы отогреться. Собирал разбросанные по квартире дочкины вещи. По-стариковски брюзжал.

— Пап, ну хватит меня доставать! — орала Вера, сбрасывая с колен пухлую косметичку.

— Всё-всё, не буду! — сдавался он, поднимая руки.

Как-то посреди ночи принялся искать в коробке с фотоальбомами снимки, сделанные в Пицунде, и ни одного не нашёл. Куда же подевалась фотография, где Вера сидит на лошади в бурке и папахе? Она ещё сунула себе под нос густую веточку лиственницы... И вдруг вспомнил, неприятно поморщившись, что никуда они тогда не поехали. Дочь психанула на него и убежала ночевать к подружке. Не было и влажных от ливня аллей Лосиноного острова, где вздрагивали на кочках их велосипедные звоночки. Ничего не было. Приходил с работы поздно, еле ноги волочил. В выходные тоже выдёргивали. Да он и рад, — отдыхать совсем не умел. Даже во сне всё кого-то ловил, ловил...

Рысин надел кремовый халат дочери. Обнюхал плечи. Налил чай с бергамотом в её чашку с чёрным котом. И затих, откинувшись на спинку дивана. Старался не шуметь и постепенно превращался в счастливую мышь.

Николай Железняк

Найти проходимца

Рассказы

Объявление о смерти

Услышав о своей смерти, Нино Коррадо очнулся и приподнял голову. Хотя и не до конца протрезвел. В черепе шумело после вчерашнего.

Невнятное бормотание телевизора едва доходило до сознания, но вдруг оказалось — прозвучало отчётливо, — что он погиб в ночном пожаре в собственной квартире в Генуе. Такое кого угодно заставит приподнять чугунную башку и ошалело вслушаться в новость. Он тупо смотрел на экран, где мелькнули несколько его фотографий, затем несколько его картин, с акцентом на их популярность и высокую стоимость.

Полуденное солнце стремилось растворить оранжевую ткань негостеприимно-плотно задёрнутых штор, стараясь проникнуть в гостиничный номер.

Женщина проснулась задолго до него и сейчас лежала, кусая губы и обдумывая дальнейшее. Она пыталась выбраться из-под грузного и потного мужского тела. Нино лежал, закинув на неё ногу и навалившись животом, погрузив лысую голову между грудей, всхрапывая от недостатка воздуха. Каждый раз, когда ей удавалось немного вывернуться, он судорожно за неё цеплялся, так что, в конце концов, оба оказались на самом краю огромной кровати, рискуя сверзиться на пол.

Осознав бесплодность своих попыток, женщина принялась пультом перебирать каналы и остановилась на французском новостном. Тут и подоспело сообщение о трагической смерти храпящего любовника.

«Умер бы раньше — и всё, не поживиться», — усмехнулась она.

К утру, устав от невнятных ночных любовных утех, Нино валялся на постели пьяным полутрупом, делай с ним что хочешь, бери что желаешь. И вот теперь

Николай Железняк — прозаик, драматург. Родился в 1964 году в Новочеркасске Ростовской области. Окончил Радиотехнический институт в Таганроге. Кандидат социологических наук. Печатался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Урал». Автор романов «Большой куш», «Чемоданы», «Гонки на лафетах», «Одинокие следы на заснеженном поле». Лауреат международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг», премии Министерства культуры РФ по поддержке современной драматургии и других. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 6.

оказалось: он и правда — труп. Сказать, что эта интрига была интересной, — ничего не сказать.

Нино откинулся на спину, не в силах терпеть напряжения шейных мышц. В висках бил набат, он вытер пот со лба и прохрипел:

— Воды дай. Пожалуйста.

Женщина поднялась, не одеваясь подошла к мини-бару, присела на корточки. Тут же подумала, смотрит ли он на изгиб спины.

— Может, виски? — предложила она и помахала маленькой бутылочкой.

— Воды, — потребовал Нино и поелозил мёртвым распухшим языком во рту.

Он в оцепенении пялился на экран, где молодящаяся вдова в прекрасном костюме и с макияжем, укрыв голову чёрным прозрачным платком, замерла в горе, мерно роняя слова о безвременной кончине мужа, известного мастера современной живописи Нино Коррадо. Оказывается, он сгорел в городской квартире, ночуя там после вернисажа в Ницце. Жена утром приехала на пепелище из семейного поместья в предгорьях Альп. Краткая справка о стоимости недвижимости. Свою фамилию синьора Нина Маттео, вступая в брак два года назад, не стала менять. Трогательное совпадение имён располагало друг к другу, хотя муж и был гораздо старше. Прощание с покойным назначено на завтра.

— Что за спешка с похоронами? — фыркнула женщина, присев на кровать.

Нино замахал рукой.

— Ты что, Стефания, не понимаешь, что это — я? — длинная фраза далась с трудом.

— Понимаю как раз.

Новости переключились на конфликты в нестабильных регионах, анонсировав вечерний показ фильма о безвременно оставившем своих почитателей мастере полутонов и светотени Нино Коррадо.

От странных вестей Стефания несколько растерялась, даже торопиться перестала, хотя Андре наверняка уже проявлял нетерпение. Он, должно быть, уже снял деньги с карточек сгоревшего живописца. Перед этим удачно обворованного ею.

Стефания припомнила вчерашний вечер в ресторане. Как они разминулись.

Она ждала на диване в зале возвращения Нино из туалета. А тот, не заметив её в полутьме, прошёл к их столику. Дальше всё происходило как в немом кино. Не успев окликнуть Нино, она видит, как тот спотыкается, падает, летит вперёд, выставив руки, а позади него валится ничком, хватаясь за грудь, метрдотель. Нино расшибается о дверь на террасу и тоже растягивается на полу. Так они и лежали, как два трупа. Перепуганный Нино через мгновение вскакивает, пятится вглубь зала, тычет рукой в темноту кустарника за парапетом террасы и голосит:

— Меня хотели убить! Там, там, убежал...

Правда, он несколько успокаивается, увидев настоящую жертву.

Метрдотель, без сомнения, мёртв, из-под белого смокинга растекается по мраморному полу густо-красное кровавое пятно. Суматоха, крики, визг.

«Неужели именно в Нино вчера стреляли? Вдруг он был прав?»

Полиция придерживалась другого мнения. Метрдотель работал в этом ресторане недавно, он был хорошо известен правоохранителям. Проходил по делу о развратных действиях с малолетками. Привлекался и по другому случаю: пропаже шестилетней девочки из гостиницы, в которой работал ранее. Если по первому эпизоду он был осуждён, но вскоре вышел, то по второму улики оказались недостаточно, хотя слухи ходили упорные.

Захватив одежду, Стефания пошла в душ. Тонкое платье, подходящее на большую пёструю косынку, комкала, сжимая в кулаке. И покачивала бёдрами, привычная к постоянному вниманию.

Вначале в столпотворении посетителей на выставке Нино Коррадо как-то не обратил внимания на красивую рыжеволосую женщину, она продефилировала между ним и пожилой парой коллекционеров в чёрном.

«Извините», — сказала.

Полуобернувшись, завлекаяще выставила плечо, прижав его к подбородку, слегка приподняла бокал с шампанским в приветствии. Она улыбнулась, но Нино был слишком занят. Он с воодушевлением пояснял замысел картины, заинтересовавшей богатых старичков.

Стефания переменила тактику. Она находилась неподалёку, в виду объекта, вступив в беседу с неизвестным бородатым ценителем прекрасного. Рассчитывала таким образом привлечь внимание, выказывая явное увлечение полотнами маститого художника, родившегося во Франции, а ныне проживающего в соседней Лигурии, красоты которой тот воспекает в непередаваемом авангардном стиле. Но Нино был занят общением с нужными людьми от аукционного бизнеса.

Наконец, у столика с напитками ей удалось удачно подтолкнуть мастера под локоть. Фужер с шампанским пролился ему на рубашку, и она удачно пошутила: «Одежду уже можно снимать в такую жару». И дотронулась указательным пальцем до груди Нино, метя в сердце. А он рассмеялся: «Благодарю за доставленное удовольствие и подаренную телу прохладу». Она лукаво улыбнулась: «А я летом белья не ношу...»

Отупев от услышанного, Нино выключил звук телевизора. Диктор, как рыба в аквариуме, разевал рот, неся очередную околесицу с новостных фронтов.

Стало отчётливо слышно шуршание воды в душе. Но ещё громче скрипели медленно ворочающиеся мозги, прямо-таки ощущался натужный скрежет цепляющихся друг за дружку извилин.

В поездке по Лазурному берегу Нино задержался, можно считать, в творческой командировке, завершившейся вернисажем. Должен был к полуночи вернуться домой. Но кстати познакомился со Стефанией.

Поначалу он ни на что не рассчитывал, вернее, собирался отбыть в Геную сразу по окончании приёма. Потел в несусветном пекле, вместе с публикой страдая от неработающих кондиционеров. Организаторы что-то блеяли в оправдание, пока он не нашёлся и не пошутил, что это их вклад в борьбу с глобальным потеплением и энтропией Вселенной. Он так тяжело переносил температуру в душном помещении, что даже с тоской обдумывал, к сожалению, невозможное: бегство с собственного вернисажа. Но потом, неловко отходя от фуршетного столика, натолкнулся на сексапильную Стефанию. Они болтали, переходя от одной картины к другой. У каждой она задерживалась, долго рассматривала, задавала вопросы, и такое любопытство к его работам будоражило даже больше стройной фигуры и очаровательной улыбки. Она сама рисовала для души и оттого крайне пытливо выспрашивала, как он выбирает сюжеты и как работает.

Наконец, в шутку предложила: «Могу поработать натурщицей для будущего шедевра. Хочу остаться в истории».

Он развёл руками от избытка испытываемых чувств, и тут позвонила жена.

Извиняясь жестами глухонемых, Нино вышел на балкон. Разговаривая, он мучился на солнцепёке, но в помещение не вернулся, пока беседа не закончилась. Он не понял, зачем жена звонила. Конечно, интересовалась происходящим, но, главное, уточняла, собирается ли он домой. Не доверяла. Похождения свои Нино тщательно скрывал, но Нина, несомненно, подозревала его.

Стефания предложила поехать в кафе в Вильфранш. Под сенью причудливо изогнутых сосен с высокого западного берега, за который зашло светило, можно бесконечно любоваться круглым зеркалом бухты, пляжем, яхтами. Он рассказал, как однажды пришёл к оригинальной манере письма, поняв, что никогда не нужно изображать видимое, а только то, что ощущаешь от столкновения реальности, мыслей и образов, внутренне связанных с зыбким внешним миром. Говорил о Прусте, Модильяни, Малере и пил много прохладного белого вина. Оно приятно горчило и влекло на приключения. Она слушала, и хотелось верить, что он вскружил ей голову. И действительно, после очередного бокала Стефания пожаловалась на лёгкое головокружение.

Они расплатились, отправились поужинать в ресторан, где ему в лицо прозвучит выстрел и произойдёт это неожиданное убийство метрдотеля, где полиция отмахнётся от фантазии о нападении на самого Нино Коррадо. Ему даже показалось, что полицейские почти не скрывали своего предположения о желании известного художника, случайно оказавшегося на месте преступления, быть замешанным в историю с покушением: прекрасное паблисити для повышения стоимости картин. Тёмная личность метрдотеля явно выглядела для служака кандидатурой подстойнее. Тем более убит был именно он.

Но сначала Нино предложил Стефании прогуляться. Чтобы развеялась её голова. Свою он совсем потерял от прекрасной незнакомки, что становилась всё ближе и желаннее.

Заехали на Кап Ферра, оставили машину на стоянке, решив побродить пешком: пляж Палома, набережная. Полюбовались великолепными видами на скалы Больё-сюр-мера и Эза.

«Отсюда в хорошую погоду даже Италию видно, — сказал Нино и прибавил, — но я туда сейчас не тороплюсь».

Его слова были оценены обещающей улыбкой, почти как у госпожи Лизы дель Джокондо.

Не желая закупориваться в машине, поднялись к перешейку, соединяющему мыс с сушей, двинулись направо в сторону Больё и вышли к ресторану через сквер. «Места все заняты», — развёл руками смертник-метрдотель. Вот обиженный им клиент, поди, и пристрелил в отместку за неуступчивость. Открытая терраса действительно полна, ни одного свободного столика. Они переглянулись, собираясь двинуться в обратный путь. И тогда метрдотель, несколько запоздало, определил в них местных богачей, проживающих на собственной вилле на Кап Ферра, вышедших пройтись, и предложил последний столик в зале. Видно, рассчитывая на жирные чаевые. Места он придерживал для подобных случаев.

Меню было превосходным, как и карта вин, они прекрасно посидели. И под конец вечера ещё больше развеселились. Потому хохотали в голос, когда в зал из кухни выехала огромная блестящая металлическая этажерка-холодильник, которую натужно катила перед собой маленькая женщина — то ли помощник повара, то ли официантка — в белой униформе и высоком колпаке на голове. Атракцион рассчитывался на жалость. Сытые и довольные гости обязаны были завершить ужин

по заведённому гурманскому ритуалу приёма пищи. Сыры отлёживались на стеллажах в охлаждённом виде. Снизойдя до понимания нелёгкого труда маленькой официантки, они взяли тарелку разнообразной сырной нарезки с орехами и заказали ещё вина.

Перед уходом Стефании понадобилось в дамскую комнату. Он вышел на террасу освежиться, но не в силах более бороться с аналогичным позывом, тоже отправился в туалет, но прошёл в зал через другую дверь. Тогда они и разминулись, так как Стефания уже ждала его в зале у выхода из заведения, не увидев за столиком. А он, в свою очередь, возвратясь, пошёл к месту, где они ужинали.

Не доходя нескольких метров, Нино споткнулся. Причина была не в алкоголе, он банально зацепился за край ковра. И вот он, инстинктивно выставив руки, летит в дверной проём. Собственно, в дверь, но почему-то без стекла. За мгновение до того, увидев на пустующей террасе тёмную мужскую фигуру с вытянутой вперёд рукой, что целит из пистолета с неестественно длинным стволом. Он падал нырком навстречу снопу огня. А когда поднимался, неизвестный уже перепрыгнул через парапет и растворился в темноте парка.

Нино утверждал подъехавшим полицейским, что видел спящую вспышку. Те сомневались, ибо если бы он действительно видел огонь, то был бы покойником. А так в бозе почил скандально известный в определённых кругах метрдотель.

Уточняющие расспросы и свидетельства утомили и Нино, и Стефанию. Спустя какое-то время, когда они освободились, дало знать нервное потрясение, разболелась голова уже у него.

Вышли на улицу, и тут подвернулось освобождающееся такси. Он был не в состоянии идти на стоянку за припаркованным автомобилем и тем более ехать за рулём.

Не мог забыть случившегося за спиной убийства. Причитал, что это его чуть не убили. В чём был уверен он один. Стефания всю дорогу в гостиницу поглаживала его по голове, играя его пальцами с редкими короткими волосками, целовала и убеждала в ошибке. Хотела, безусловно, успокоить. И ей это удалось.

Всё произошедшее отчётливо стояло перед глазами.

Вновь бессознательно взглянув на экран телевизора, хотя тот переключился на другие ужасы жизни, Нино вдруг отчётливо понял, ещё не связав все узлы, что на прицеле был именно он.

Именно его вчера хотели убить, пришло ясное осознание, это должен был быть он, Нино Коррадо. Перешедший дорогу неведомым силам, может быть, даже аукционной мафии. Теперь он был уверен в этом, хотя ни полиция, ни персонал не вняли его заявлению. Коченеющий труп метрдотеля, который, несомненно, имел уйму врагов, лежал в луже крови на полу ресторана.

В шум воды в ванной вплелись голоса. Нино испугался: слишком близок разговор. Неужели открыта дверь? Стеклопанель, в пол, окно было одновременно и стеной, и дверью, выходящей во внутренний двор, вернее, сад. Он осторожно, не забывая, в том числе, что был неглиже, выглянул из-за шторы. Двое молодых людей — юноша и девушка — стояли у края лужайки, за которой ниспадали уступы с курчавыми соснами в далекое море, и любовались стеклянной гладью в утренней дымке. Нино задвинул тяжёлую скользящую дверь, защёлкнулся замок. Скорее всего, постояльцы.

Несмотря на скверное состояние, он не смог отказать себе в том, чтобы взглянуть на Стефанию. Зайдя в ванную, отодвинул клеёнку, закрывающую купальщицу, и, заново открыв трезвыми глазами красоту её тела, пробормотал:

- У нас всю ночь была открыта дверь.
- Запах сигарет, — напомнила Стефания.

Ночью торопились, не захотели ругаться с портье, всучившим провонявший табачным перегаром дальний от ресепшен номер. Наверняка знал, потому что дверь на улицу изначально была открыта.

«У нас все такие», — не поднимая глаз, нагло отвечивал портье.

Судя по роже, он подрабатывал, сдавая парочкам кровати по часам.

Отель располагался вдоль Гранд-корниш, одноэтажный, длинный, как кишка, — искать новый ночлег не было сил. И некогда было, он воспыпал ещё в такси. Они обжимались, как молодёжь, в коридоре, смутив пожилого мужчину у лифта. Брюки он начал расстёгивать, ещё не войдя в дверь.

Нино вышел из ванной, нужно всё же одеться. Он взял брюки и сразу понял, что бумажник пропал. И ключи от машины.

Когда он вновь заглянул в ванную, Стефания вытиралась белым махровым полотенцем.

- У меня пропал бумажник. И ключи от машины.
- Украли в ресторане, — предположила Стефания.
- Я там расплатился, — возразил Нино.
- Ты же платил наличными, доставал из кармана.

Вспомнилось, как он оставил чаевые метру-педофилу. Мертвец не смог ими воспользоваться. Не принесли деньги счастья.

— Бумажник, кажется, тогда был. В заднем кармане.

Нино зачем-то залез пятернёй в пустой карман. Брюки он так и держал в руке.

— Выпал, когда ты рухнул, нужно поискать в зале. Официантов расспросить, полицию.

— Они там каждый квадратный метр пола просканировали. Разве что под трупом. И тот уже убрали.

— Камеры посмотреть надо, — не сдавалась Стефания. — Может, на них что видно.

— А если ночью воры вошли через открытую дверь? — предположил Нино, озираясь. — Портье предупреждал, не оставлять двери в сад, опасно.

— А что если они в подраде работают, вместе, в смысле: портье этот ночной даёт гостям — выбирает, наверное, посолиднее — номер прокуренный, те не запирают окно, и постояльцев грабят его сообщники?

— Хорошо, не убивают, — вздохнул Нино. — Мне опять повезло.

— Нам, — поправила Стефания, огладила груди и улыбнулась.

Нино вздохнул и вышел, прикрыв дверь.

Присмотревшись к выражению своего лица в зеркале, Стефания достала из сумочки зеркальце, помаду, тушь, — навести утренний макияж.

Ночью, когда Нино окончательно выдохся, замертво свалился на кровати и уснул, она передала бумажник и ключи Андре. Выскользнула ненадолго в открытое окно. Они отошли подальше и закурили.

— Дальше Кадиса не уедешь, — сказала она сообщнику.

— Мы разве туда собрались? — удивился Андре.

— Поговорка испанская. Про край света. Это я образно. В общем, у него больше нечего брать, — закончила она просвещение партнёра.

— Нахваталась от умников высоколобых словечек. Собирайся, поедем.

— На меня подозрение будет. Давай уж я побуду до утра. Тогда и расстанемся с ним. Ему в Италию нужно, домой. Ну а нам в другую сторону. Не в Кадис, — усмехнулась она.

— Как отдохнули?

— Он практически не в силах был. Одна возня и слюни.

— Сочувствую.

— Я исправлюсь.

— Придётся наказать тебя.

— Как водится, — рассмеялась Стефания.

Договорились, что она останется до утра, чтобы направить подозрения Нино по нужному руслу, отведя от себя. Времени снять деньги и перегнать машину в гараж в криминальном районе Ниццы Л'Ариан у Андре хватало. Ночь только началась.

Под утро любовника опять разобрало, второе дыхание открылось, но вновь не в силах выполнить желаемое, он развалился на ней и захрапел.

Нино торопливо натянул рубашку, взял брюки, примерился и застрял ногой в штанине. Раздался вибрирующий звонок мобильного. Он взял трубку: неизвестный номер.

«Кто-то проверяет?» — подумал Нино.

Он не ответил на вызов.

Жена должна убиваться по нему. Не похоже, конечно, по её виду на интервью, но позвонить ей надо. Только как сказать, чтоб не убить от потрясения — всё же живой труп на связи?

Обдумывая предстоящий разговор, проверил входящие. Были звонки вечером, телефон стоял на беззвучном: жена, из галереи в Париже, тесть.

Вдруг до Нино окончательно дошло.

Труп — его труп — должны исследовать и выяснить, что это не он. Но о смерти уже объявлено, значит, этот факт уже удостоверен. Значит, нужно, чтобы он умер. Кому? Нине? Или это отец её избавился от зятя? Решить свои финансовые проблемы из-за неудачных инвестиций и помочь дочери, уставшей от постоянных измен слишком творческого мужа, выросшего в вольной атмосфере Франции?

Опять же наследство. Картины ещё больше в цене поднимутся. Такая реклама. Тесть будет доволен.

И вчера в ресторане его хотели убить, чуть не убили.

В невменяемом, сомнамбулическом состоянии Нино заново обшарил карманы, оцупал рубашку. Облазил на карачках пол у кровати, разбросал подушки и простыни, заменявшие одеяло, заглянул бы даже под матрас, если бы смог приподнять толстенное ложе.

Не мог потеряться бумажник, разве что в такси выпал. А ключи? У него украли всё, включая документы. Так что ему придётся доказывать в полиции, кто он. Свидетели, интересно, потребуются?

Опять опросы, выяснения. Естественно, предположат участие Стефании. Нет, заявлять о пропаже нельзя. Понятно будет, где ночевал и, главное, с кем. Портье расскажет.

Такси вчера они взяли, уже отойдя от ресторана, водитель помогал выходящему пассажиру забрать из багажника вещи. Люди от ресторана разошлись, никто не видел, куда они поехали.

Хотя, если мысль о дражайших членах семьи, заказавших его, верна, то кому какое дело, с кем он спал.

А что если стрелявший вернулся позже к ресторану, стоял в толпе зевак и видел их? Или у него был сообщник.

И не связана ли с убийцами Стефания?

Мысли прошивали затуманенный мозг Нино, он физически чувствовал причиняемую ими боль.

Значит, домой нельзя. Нужно бежать от нависшей опасности. В полицию. В банк, заблокировать карточки. Без денег и документов. Или всё же связаться с женой? Но срочно уходить, пока Стефания в ванной. Бесплезная машина так и осталась стоять на парковке на Кап Ферра.

Нино застегнул брюки, надел летний пиджак. Быстро осмотрелся и открыл входную дверь, ещё окончательно не определив дальнейшие свои действия. Ему просто хотелось скорее покинуть гостиницу.

На пороге, напротив проёма, стояли две одинаковые мужские фигуры в серых рабочих комбинезонах.

Выстрел в лицо прозвучал глухо, словно резко открыли пробку винной бутылки. Нино рухнул навзничь. На это раз он наверняка увидел вспышку искр из длинного дула, приставленного ко лбу.

Тот, что стрелял, посмотрел на второго. Напарник достал из ящика для инструментов чёрный полиэтиленовый мешок, развернул и с хлопком расправил в воздухе.

Из глубины номера донёсся весёлый женский голос:

— Что там упало? Ты заказал шампанское?

Дверь ванной открылась, выглянуло женское лицо. Раздался второй выстрел. Стефания успела издать сдавленный звук, открыв рот для крика.

Ни один из псевдомонтёров, когда они вытирали кровь с кафельного пола, а потом упаковывали труп женщины в такой же чёрный полиэтиленовый мешок, не углядел за корзиной с мусором мобильного телефона Стефании.

В момент выстрела она отняла руку с трубкой от уха, заведя её за спину: Нино следовало видеть только её улыбку, не более.

Но на неё смотрел не обворованный любовник, а ствол. И сотовый телефон упал позади тела, отскочив в сторону, перед тем как она свалилась на пол.

Не знали, что женщина разговаривала с партнёром, что тот отчётливо слышал выстрел. Не знали они, что до Андре доносились и шум воды, и шуршание пакета, и их короткие реплики на итальянском.

Андре пользовался наушниками, а сейчас мчал на мотоцикле, подъезжая к гостинице.

Поначалу он хотел, не снимая шлема с опущенным зеркальным забралом, войти в холл отеля. Пройгнорировать недоумение портъе, оставив тому предположить, что это торопливость курьера, подойти к нужному номеру по коридору, подождать, когда откроется дверь, заранее достав из кармана куртки наган. Но убийцы могли выйти через сад. Стрелять же во внутреннем дворе, под обзором из множества номеров, — самоубийство.

Или остыть, дожидаться ухода киллеров, зайти в номер, забрать телефон и выбраться через сад, не привлекая к себе внимания. Одну из карточек к электронному замку мёртвая уже подруга на всякий случай передала ему ночью вместе с бумажником и ключами. Кто мог знать, какой будет реакция клиента? Люди порой ведут себя весьма

неадекватно, причём большей неадекватностью отличаются внешне тихие и безобидные особи. Куда только девается их респектабельность.

Или развернуться и уехать?

Но когда Андре услышал, что Стефанию упаковали в мешок и выносят через внутренний двор, он принял иное решение. Закрыть за собой стеклянную дверь убийцы не могли, им ещё нужно вернуться за вторым трупом.

Они встретились на лужайке со свежескошенной ровной травой. Двое мортёров в серых комбинезонах натужно тащили чёрный продолговатый мешок, он же делал вид, что увлечённо вникает невидимому собеседнику, кивая головой и жестикулируя.

Стефанию пронесли мимо, увидеть красавицу ему больше было не суждено.

Подойдя к приоткрытой двери, он скользнул внутрь, отодвинув занавесь. В изножье огромной кровати лежал второй, более объёмный, чёрный мешок с телом Нино Коррадо.

С чувством, будто связь со Стефанией лишь сейчас обрывается окончательно, Андре прервал давно завершившийся разговор с подругой. И быстро вызвал её имя опять. Телефон откликнулся в ванной. Убийцы аккуратно замыли кровь, полотенца исчезли.

Он подобрал трубку, негромко наигрывающую бессмертную мелодию «Бесаме мучо», и окоротил её, прекратив свои мучения. Возвратился Андре на стоянку к мотоциклу через главный вход, чтобы не сталкиваться повторно с убийцами.

Оставлять сотовый не стоило. Стефания умерла, и тут ничего не изменить, но вот где и когда умерла или пропала и где и когда её начнут искать, зависело от него. Так что телефон нужно было забрать из номера. Хотя полицию отель мог и не вызвать: ну пропали постояльцы, не заплатив, случается, а лишний шум ни к чему.

Андре надел шлем, надвинул забрало и ждал.

Отель был в коротком тупике съезда с трассы, каковой можно считать широкий Гранд-Корниш, деться белому автофургону некуда. Он из-за кустов наблюдал, как двое монтёров погрузили второй мешок через задние двери, захлопнули их и сели в кабину.

Андре решил проследить. Это не была погоня, он просто следовал поодаль за приметной машиной.

А убил их чуть позже.

За городом на окраине индустриальной зоны фургон остановился на пустынной парковке у белого приземистого здания, похожего на склад. Монтёры отнесли мешки поочерёдно.

Когда они затащили внутрь крематория для животных второй труп, Андре забрался в фургон. Открыть его для угонщика было несложно: двери остались незапертыми.

Ждать пришлось недолго, видимо, операция была хорошо спланирована.

Андре сидел позади в грузовом отсеке, открытое окно соединяло его с кабиной. Убийцы отправили голосовое сообщение, мол, дело сделано, и он обрадовался, что дал им возможность отчитаться.

Потом перекинул трупы через окно назад, те со стуком попадали на металлический пол, вытер наспех кровь, расправил на спинке водительского сиденья чью-то куртку и сел за руль.

Но потом передумал. С телефона, по которому звонил монтёр, вышел в интернет, пробил последний контакт и выяснил, что это был номер госпожи Нины Маттео.

Он сел на мотоцикл и поехал в гараж в Л'Ариан за оставленной там машиной художника. Такая неожиданная мысль пришла ему в голову.

Соединилось у него всё, когда на новостной ленте поискового портала он прочитал о смерти Нино Коррадо: оказывается, он вчера ночью сгорел в собственном доме в Генуе. Ещё до своей смерти в отеле на Лазурном берегу.

Андре понял — художника заказали. Жена. И, будучи упорным, он решил довести дело до конца, отомстить за смерть Стефании.

К замку семьи Маттео по извилистой дороге, забирающейся выше и выше в горы вдоль реки, что с каждым поворотом становилась всё уже, Андре приехал на лимузине Нино Коррадо.

Синьора Маттео увидела знакомую машину перед домом и позвонила отцу, не исключая возможный шантаж исполнителей. Мог ведь отец по скупости не расплатиться с ними. И не мог муж вернуться домой.

Из машины вышел незнакомец. Исполнителей Нина не знала, договаривался отец. Телефон, с которого ей докладывали о завершении дела, был выключен.

Желая окончательно удостовериться, Андре сообщил вдове, что Нино мёртв.

Растерявшаяся Нина, пролепетала: «Почему вы машину не утопили, как договаривались?»

Андре достал наган. Он сделал ошибку, не нажав сразу на спусковой крючок.

Потому что у Нины началась истерика, она в слезах кричала, что не виновна в смерти мужа, а всё это — отец. И инсценировал пожар, и убийца на Сицилии нанял, заставив её выполнять заранее обдуманной им, ещё до свадьбы с Нино, план. Страхование по смерти, завешание, написанное супругами друг на друга, — всё одно к одному. Наследство доставалось тому, кто переживёт супруга. Это всё — алчный отец! Он должен сейчас приехать.

На звук мотора Андре отвлёкся, посмотрев в широкое распахнутое окно на каменную брусчатку двора, по которой подкатывал автомобиль.

Тут-то и получил удар ножом в бок, хрипя, завалился на дубовый письменный стол, несколько раз выстрелил в судороге из пистолета в паркетный пол и затих. Нина перестала плакать, отбросила нож, села на стул и опустила отяжелевшую голову на столешницу.

Труп спустили в реку, завалив камнями. Кто будет искать проходимца? Машину подручные синьора Маттео отогнали на разборку, корпус смяли и утилизировали.

Через год, относив положенный траур, Нина Маттео официально вышла замуж. Обществу импонировало, что новый муж — дальний родственник семьи — усыновил мальчика, родившегося у Нины за шесть месяцев до пышного бракосочетания.

Это был его сын.

Под Скалой

Выловили его тело на восточной, средиземноморской, стороне мыса. Неподалёку от испанской границы. В месте, где уже около полугода засыпали грунтом бухту, и празднично гуляющие никак не могли там оказаться. Сначала посчитали, что утопленника прибило к берегу. Выпал за борт с проходящего Гибралтаром судна.

Экскаваторщик разравнивал ковшом щебень, сбрасываемый самосвалами в Средиземное море ради увеличения площади британской заморской территории, заметил торчащий из воды ботинок. Оказалось, труп цеплялся на дне за камень проволокой, обмотанной вокруг шеи. Так и торчал поплавком, ногами вверх.

Четыре месяца они втроём прожили на Гибралтаре. Сам Борис, жена и дочь. На Квинсвэй роуд. Когда-то, посещая заморскую территорию своей короны, королева Англии ступила здесь на причал. Историческое место. Дома изломами жёлтых блоков стояли вдоль широкой каменной набережной, от которой в воду вонзались зубы пирсов. На набережной приятно было сидеть за столиком ресторана под невысоким осенним солнышком, шуриться на бликующую воду, рассматривать яхты и Атлантический океан позади мола, ограждающего обширную гавань.

Королевской дорогой дочь ходила в школу, почти до Марина Бэй. Пешком. Всех, кто жил далеко, родители привозили, Борис же машину арендовал по надобности, когда семьёй ездили в Испанию развлечься. Что того Гибралтара? — за час можно неспешным шагом покрыть. Борис часто уезжал, улетал в Лондон по делам, а жена машину не водила. Так что дочери приходилось добираться своим ходом. Автобусы ходили редко и нерегулярно.

Однажды у него зашемило сердце, когда увидел её пришедшей после очередного зимнего ливня домой. С дождями на Гибралтаре было хорошо. Даже очень.

Проезжающие неширокой дорогой машины волей-неволей обдавали редких прохожих, зачастую с головой. Потoki неслись по мостовой поверх бордюра. Иногда и самого тротуара почти не было видно в мутной реке.

В такие дни дочь первый урок, нахохлившись, сидела на батарее в форменной клетчатой юбке, сушилась.

Показывала с высоты кулак задирам-одноклассникам. Те дразнили её, стайками гоняясь за ней на переменах. Она ничего не понимала по-английски. Родителей вызывали из-за агрессии и асоциального поведения девочки. Угрожает детям расправой. В общем, диковатые румыны. Практически цыгане. Хотя приехали они по молдавским паспортам.

Два месяца дочь в классе молчала. А потом вдруг, возвратясь из школы, начала рассказывать, что там происходит, передавая целыми кусками разговоры в лицах. И всё на чистейшем английском. С британским акцентом. Здесь она вновь пошла в пятый класс, и теперь, заговорив, быстро обгоняла одноклассников по математике. Точные науки ей давались легко.

Болезнь вот только начала постоянно: кашель, насморк, даже дышать иногда по утрам трудно ей было. Собственно, подобные симптомы перманентной простуды, всяких синуситов, бронхитов и т.д. и т.п. наблюдаются у многих жителей Гибралтара. С платками для выделений из носа не расстаются.

Серое облако грибом-поганкой неизменно висит над горой, скрывая гребень.

Повели дочь в больницу. Эскулап, прокашлявшись, сказал, что не видит проблем. И опять заперхал. И действительно, какие проблемы, если по коридорам ходят сквозняки. Распахнутые настежь окна построенной под откосом скалы больницы упираются в стену мокрой зелени. Иногда проёмы закрывают деревянными жалюзи. Но не от солнца, от обезьян. Те совершают набеги не только на клинику, но и на соседние жилые дома.

Сопливый врач прописал антибиотики, не удосужившись назначить сопутствующие антигистаминные средства.

Лечение не помогло. Пошли к специалисту нетрадиционной медицины. Тот, разглядывая радужку глаза, узрел у дочери аллергию на молочные продукты. Прописал полный отказ от коровьего молока. Пришлось искать в Испании козье. В супермаркетах Гибралтара такие изыски отсутствовали.

На выходных ездили за границу, в Испанию. Посидеть в кафе «Эстепоны», попить кофе, пока дочка играла в детском городке с испанскими детьми. Те её, правда, не очень принимали, норвя стукнуть исподтишка. Везде они чужие.

Жена поездки особенно не любила, типичная домоседка. Неведомое пугало. Однажды Борис уговорил сплавить паромом в испанскую Сеуту из материкового порта Алгесирас. Взяли напрокат машину. Планировался заезд на рекогносцировку в пределы марокканской территории. Но на границе с Марокко жена потребовала остановиться. Так что они ступили лишь на землю испанской территории в Африке, посмотрели со стороны, с другого ракурса, с противоположного берега на постылую Скалу — и всё.

Как сюда-то согласилась, непонятно, за ним поехать. Причём сразу, когда он сказал, что нужно уезжать, намекая на грозящую ему опасность.

Иногда она неожиданно становилась отчаянно смелой.

Взяла и выхватила у ражей рыжей обезьяны паспорт, украденный у португальского туриста. Тот только что не молился потом на жену — ноги у него подкашивались, — восхищаясь отвагой маленькой женщины. Предупреждали же, что обезьяны опасны и связываться с ними не стоит. Дикае люди, в общем. Туристы на лесистой вершине Скалы, в вотчине обезьян, оккупировавших остатки каменных фортов, выглядели как добыча этих многоруких животных. Обезьяны в поисках еды и просто из праздного любопытства, смешанного с озорством, бесцеремонно потрошили пакеты, рюкзаки, залезали в салоны машин через открытые двери и окна. Выметали, выбрасывали всё подряд. А этот крупный самец стырил у португальца из заднего кармана паспорт. Пока подруга его лишала беззащитного португальца фотоаппарата.

И тут жена. Выхватила. Служитель, приданный обезьянам, долго талдычил потом, что от них надо держаться подальше, не провоцировать. Те, похоже, увещевания его понимали и вели себя как избалованные подростки, бросаясь в людей объедками и шкурками бананов. Хорошо, не камнями.

Семьёй иногда ездили на экскурсии по Скале, прошитой насквозь подземными ходами — от Атлантики до Средиземного моря.

Безраздельная панорама открывалась с верхних фортов, с круглых пятаков, оставшихся от станин поворотных пушек. Весь город, пролив, сухопутные и водные подступы просматривались в прицеле. Недаром англичане цепко держатся за стратегический клочок земли, наплевав на претензии Испании.

Первый раз Борис прилетал один, на разведку. Авиакомпанией «Монарх». Название понравилось, показалось символичным. Отменный сервис на борту. Давали неограниченно вино, а столовые приборы были металлическими, завёрнутыми в белоснежные тканевые салфетки. Террористов авиакомпания, похоже, не опасалась.

Рейсы на Гибралтар были только из Лондона. Так что добирался на перекладных. Испания боролась с оккупацией, как они считали. Полуостров называли колонией Великобритании даже в официальных документах ЕС. Борис готовился к поездке, изучая будущее место пребывания семьи. Прельщала возможность устройства личной налоговой гавани. Законодательство заморской территории позволяло и способствовало тому.

Самолёт, швыряемый шквалистым ветром, заходил на посадку боком. Серая взлётная полоса перерезала узкий песчаный перешеек меж Атлантикой и Средиземным морем. Бросало из стороны в сторону так, что не только Борис с тоской и надеждой глядел на недостижимую ленту бетона в бурном море. Ветры, зажатые в низине между Скалой и испанским берегом, жгутами струились по фюзеляжу, как в аэродинамической трубе. Знаток объяснили, что на восток дует вендавале, а леванте — на запад. И в октябре они сходятся. Хотя и без этой встречной сшибки в Гибралтарском проливе всегда хватает болтанки. Но в этот прилёт и местные бывалые пассажиры отметили посадку как экстраординарную. А он тогда подумал, что это добрый знак. В последний момент, когда борт уже завис над полосой, самолёт порывом сбросило в волны,

но лётчики вырвались из цепкого вихря. Земли коснулись одним шасси, чуть не зачерпнув крылом бетон.

Спустились по трапу на липкий асфальт. Он был рад припасть к этой тёплой влажной земле. Облако стекало со Скалы жадным языком, желая слизать маленькие фигурки людей, что извилистой колонной брели к невысокому зданию аэропорта.

Гибралтар так мал, что прилетающих приходят встречать даже семьи с маленькими детьми. Развлечений и событий на мысе в недостатке. Встречающие ждут на смотровой площадке, на плоской крыше аэровокзала, издалека машут самолёту, поднимают на руки детей. Надеясь, что их увидят родные и близкие. Так же, собственно, проходят и проводы. Всегда один и тот же сценарий.

Религиозные евреи надевали чёрные шапочки. Они снимают их в самолёте на подлёте к Лондону, мегаполису, где никому нет ни до кого дела. Перед посадкой на Гибралтаре шапочки вновь покрывали головы. Здесь все друг друга знают. По крайней мере, в своей среде.

Бориса никто не встречал. Собственно, и потом он с женой и дочкой всегда прощался дома. Стесняясь этих деревенских провожаний и встреч с маханием платочками.

Пассажиры перед пограничным контролем проходили ещё и под заинтересованными взглядами людей, нервно ожидающих открытия единственного шоссе, связывающего анклав Великобритании с Испанией.

На время взлёта и посадки шлагбаумы закрывались, и стремящиеся в обе стороны машины и пешие транзитники пристрастно озирали вновь прибывших из-за барьеров. Надеясь скорее въехать или ступить на дорогу и пешеходную зону в пределах габаритов, нарисованных краской по асфальту.

Большинство перемещающихся через границу были испанцами. Вообще испанская речь на Гибралтаре звучала чаще английской, — колорит придавали арабы, — несмотря на принадлежность английской короне.

Испания была совсем рядом. Сразу за белыми крышами пограничного пункта начинался испанский город Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон с мавританскими мотивами в приземистых постройках и отделке керамическими плитками с голубыми рисунками по фасадам. На Атлантической стороне за сетчатым забором с колючей проволокой в Испании тянулся песчаный пляж. Туда как-то на учениях по ошибке высадили английский спецназ. Толпа загорающих с любопытством смотрела на бронетранспортёры и падающих в песок солдат с автоматами, потом на ретировку на бронекатера. Международный скандал из-за нападения на соседей не случился, но континентальные газеты долго насмехались над бравыми англичанами.

За Скалу Испания вела тихую ползучую борьбу. На их стороне таможня свирепствовала. То есть досматривала транспортные средства с тщанием. Через границу поток лился постоянно в обоих направлениях. Многие испанцы работали на Гибралтаре. Да и местные не брезговали бизнесом. Состоял он в легальном провозе пары блоков сигарет, плюс пара бутылок алкоголя. Плюс дешёвый бензин в бензобаке. Ретивый народ ездил несколько раз в день: до работы, в перерыв, после работы. Мопеды, треща и воняя, роились, создавали мельтешение в очереди.

А вредные испанские таможенники, подчиняясь негласным указаниям сверху, тянули, сколько хотели, с проверками, добиваясь огромных хвостов на досмотр из легальных контрабандистов и простых путешественников.

На Гибралтаре, в отличие от Испании, не существовало налога на добавленную стоимость и акцизов. Что приводило к существенному снижению стоимости покупок. Туристы с круизных лайнеров массово скупали аппаратуру и гаджеты в лавках, принадлежащих оборотистым индусам. И также, естественно, алкоголь и табак.

Комбинация, на которой можно было заработать, пришла Борису в голову в первый же приезд. Пока он ехал на маленьком автобусе среди буйной зелени, втиснутой между жёлтыми домами, обвитыми рододендронами. В салон проникали запахи неведомых цветов, врывались остролистые ошестинившиеся кусты и глянцеволистая магнолия. Водители-арабы круглый год ездили не закрывая дверей. Их лени потворствовал климат. Или формировал её.

Не заметить окно возможностей было невозможно. И присматриваться не нужно, куда вложить деньги. Блок сигарет стоил в Лондоне пятьдесят фунтов, в дьюти-фри аэропорта Хитроу — сорок пять, в небесном магазине на борту самолёта — восемнадцать, в дьюти-фри по прилёте в аэропорт Гибралтара — пятнадцать. А в самом городе на Главной улице в лавке можно было купить блок за двенадцать фунтов. Подъём сумасшедший. Привычные так называемые два конца. Меньше ста процентов — это не заработок.

При первом же возвращении в Лондон он по просьбе друзей — сам Борис не курил — купил два блока сигарет, а ещё два, из любви к риску и искусству, рассыпал на пачки и провёз в объёмистой сумке. Рыться в ней таможенники не стали. Ему и самому был интересен процесс. Вспомнилась бурная молодость с провозом в Польшу золота, а обратнo парфюмерии и часов.

Окончательно довела идею до кристальной чистоты жена. Невольно подсказала.

В тот день решили посидеть в ресторане на набережной под домом. Когда Борис подошёл, жена уже сделала заказ. Пожаловалась на привычную неторопливость размерённых солнцем официантов. Хотя в отличие от докучливых клиентов за столиками, они периодически заходили в полумрак помещения, снисходя иногда до выноса блюд.

На редкой волне бирюзовой марины изредка колыхались яхты у дощатых пирсов. На одну торопливо грузили ящики, опуская по-быстрому в люк.

Жена рассказала, как они только что смутили до невозможности мужчину с этой яхты. Дочка обратила внимание на висящий на борту парусной посуды овалный предмет в виде огромной подковы из розового пенопласта, так похожий на унитазный круг. Они дружно начали хохотать, временно, с большим трудом прекратив, когда мужчина с яхты посмотрел на них. Он шёл от яхты к набережной за очередной партией груза. Но смех вновь прорвался, — сдержаться было невозможно. Так как мужчина начал думать, что смеются над ним, принялся озираться, заглядывая за спину. Тут они просто покатались. В общем, неловко вышло. Мужчина до сих пор, отрываясь от погрузки, оборачивался, недоумевая. По его мнению, причин для подобного веселья не существовало. Для застёгнутых англичан, понятное дело, таких причин вообще не могло быть никогда. Борис сказал, что они приняли за унитазное сиденье спасательный круг. Вызвав новый приступ хохота и досаду яхтсмена.

Жена невольно и подала простую до крайности мысль. Вернее, обратила его внимание, связав воедино блуждающие в голове мысли.

Борис ковырялся вилкой в белом теле дорады, вынимая косточки, вполуха слушал фоновое щебетание жены и всё думал о погрузке на яхту ящиков. Размышляя, сколько мест багажа составляла необходимая в путешествии еда, напитки и прочее, а сколько контрабанда. Он не мог и предположить, что люди не захватили бы её с собой, если отправлялись не на кратковременную прогулку вдоль берега полуострова.

Дочка пристроилась к мальчишке, ловившему рыбку на удочку. Свесив ноги с набережной, они вдвоём рассматривали пойманную на хлеб серебристую рыбёшку и отпускали обратно. Чтобы снова покормить.

В тот день случилось ещё одно событие. По возвращении домой выяснилось, что Борис захлопнул дверь, забыв ключ внутри.

Приехала пожарная машина, оттуда вышел отряд похожих на скаутов пожарных в рубашках с коротким рукавом, шортах и белых гетрах. Наверное, и на пожар они так экипировались. Жарко, конечно. Борис в январе обгорел, плюс восемнадцать градусов.

Пожарные сняли раздвижную лестницу с машины, та еле достала до балкона третьего этажа. В доме было пять этажей, а в Марина-Бэй стояли и высотки, как там, на верхних этажах, тушились очаги возгорания, непонятно.

Неожиданного на новом месте хватало. Однажды утром проснулись, а напротив дома у дальнего волнолома стоит огромный тёмно-серый ракетный крейсер. И это ещё оказалось не всё. К обеду с крейсера конвейером полетели вертолёты, зависали посередине марины и спускали на тросах прямо в воду пуки торпед. Не иначе принимали их на подводной лодке. А то вдруг несколько дней подряд прилетали из зенита и улетали туда же истребители. А может, и бомбардировщики. Расчерчивали небо дугами инверсных белых следов. Дозаправлялись на базе и стремились на Ближний Восток.

Борис задержался на несколько дней, готовясь к поездке в Лондон.

В свободное время сплавали на лодке с подводными иллюминаторами в открытое море к дельфинам. Пока жена с дочерью наблюдали за игривыми млекопитающими, Борис пошёл в рубку, где мысли его сразу укрупнились. Рация работала, и в эфире слышались непрерывные переговоры судов, проходящих в обе стороны пролив. По-русски с вкраплением ядрёного матерка. Вот кого нужно задействовать при более крупных поставках. Может же судно ночью задержаться неподалёку от берега и принять дополнительный груз.

Назавтра он назначил отплытие. В этот раз лететь в Лондон не придётся. Пробная поездка морем, проторить маршрут. Яхту Борис арендовал прямо на родном пирсе. Дороговато, но первый раз торговаться трудно. Завтра гружённая товаром, она отвалит из бухты прямо от дома на Квинсвэй. Атлантическая сторона, по прямой, как говорится, на Туманный Альбион.

В Лондоне предстояло ещё налаживать сбыт по пабам и мелким магазинам — в крупные соваться не следовало, — но это не смущало. Для начала можно разгрузиться на склад. Потом эти издержки уйдут, когда цепочка заработает. Борис специально ходил по так называемым магазинам на углу, отмечая явно контрабандный товар, где на этикетках был только испанский текст. Пиво, безалкогольные напитки, крепкий алкоголь. И, видимо, не только. Поток нелегального товара ручейками лился на остров со всех сторон. Всякий турист пёр с собой. Уж больно высоки цены в Великобритании.

Пришлось привлечь друзей из Одессы, Борис не умел управлять яхтой и не имел на то документов. Это упущение в будущем он предполагал ликвидировать. Чтобы не делиться барышами, нанимая простых матросов.

Друзья, зная его оборотистость, быстро откликнулись. Переговоры следовало провести в очном формате. Переписке и телефону никто не доверял.

Втроём до полуночи делили доходы, сидя в глубоких кожаных креслах в фойе Рок-отеля. Звучало название гостиницы как «рок», но по-английски это — скала. Борис добился, как организатор, шестидесяти процентов в деле. Отдав друзьям по двадцать. Тем более что деньги в основном вкладывал он. И идея была его.

Он уже и схему налоговую разработал, для укрытия от алчных налоговых служб заработанного. Старый седовласый еврей-адвокат в офисе со старинной мебелью чёрного дерева предложил, видимо, стандартную. Три компании: основная, для оседания денег, операционная и компания с расчётным счетом. Плюс траст. Не докопаться. Старик унаследованное дело знал хорошо. Показал портреты

предков в тёмных рамах. Евреи здесь давно поселились. В налоговом убежище. В случае же Бориса и не только налоговом. Последнее время было неспокойно. На бизнес в Москве наезжали. Желая откусить кусок, если не отобрать. Пришлось эвакуироваться, спасая голову и средства.

Прибыл Борис из Москвы, но чтоб никто не пугался неявного криминала — как он понял, залётных коммерсантов из России остерегались, — напирал на свои молдавские корни. Мол, и бизнес там. Еврей в порыве откровенности даже сообщил, что адвокатов собирали, предупреждая об опасности московских гостей.

Морозить деньги Борис не умел. Уже в Лондоне, связавшись с рекомендованными людьми, собирался вложить деньги в реконструкцию и ремонт старых домов. Люди обещали не меньше двадцати процентов годовых. По тамошним меркам хороший подъём. А если русским недвижимость после продавать, и того больше.

Начинал Борис по молодости в Кишинёве с проституток. Их у него было до десяти в лучшие периоды. Потом через цыган торговал золотом, позже переехал в Москву и переключился на цветные металлы, отправляя за бугор через совместные предприятия с западниками. Ввозил сигареты под крышей крошечной нефтяной компании, за которой стояли большие люди: она имела право ввозить курево беспошлинно. Бизнесы были сплошь опасные, потому приходилось содержать и охрану, и службу безопасности. И боевиков, что выезжали на стрелки и разборки.

Из рейса Борис не вернулся. Он пропал. Исчезла и яхта. Искали его долго. Деньги кончились, и жена решила уезжать в Москву. За апартаменты и школу стало нечем платить. А активы Бориса не нашли. Карина отыскала визитку адвоката, но тот ничем не помог. Он знал только схему, что сам предложил Борису, но денег в неё ещё не поступило. А с кем Борис сотрудничал в Лондоне, она не знала.

Карина была рада возвращению домой. И действительно, Леночка сразу вылечилась. Никакой аллергии, похоже, у неё не было. Всё моментально прошло, все признаки болезни. И насморк, и кашель.

Во всём виновато закрывающее небо облако, намертво прилипшее к Скале, бесконечно растягивая пасмурное покрывало над городом, наполняя со стороны Средиземного моря. Атлантика дышала сырими испарениями.

Самолёт взлетел, и Скала, что нависала роком над ними, наконец, осталась внизу, а затем и позади.

Там, под Скалой, его тело и нашли через полгода. Как он оказался в Средиземном море, хотя яхта уходила с Атлантической стороны, так следствие и не прояснило. Как и куда делась сама яхта. И двое спутников Бориса.

Карина решила, что Борис вторгся на чужую территорию, всё, наверное, было поделено уже. Или друзья с ним расправились, присвоив деньги. Она очень смутно представляла себе сферы интересов мужа.

После соблюдения формальностей ей пришло извещение о дате похорон, но она на Гибралтар не полетела. Дочку не с кем было оставить. И с новым мужем объясняться не хотелось.

Дарья Верясова

Память о Кавказе

* * *

Старца Эльбруса крутые бока,
Прочный его упор.
Шумную песню пела река
Мне возле самых гор.

А наверху, в ледяной стране,
Гребень стоял в платке.
С яростным солнцем наедине,
С небом накоротке.

Скал голубых неземная строка,
Ветер — один на всех.
Плыли из Грузии облака,
Перетекая в снег.

Время осеннее шло к зиме,
Слышался бег его.
Кроме меня на большой земле
Не было никого.

* * *

Позабытая сказка моя, небылица:
В тёмном небе оранжевый мёд.
Где-то колокол, колокол бьётся, как птица,
Или древняя птица поёт.

А пока в переулках пустынно и гулко —
Слева лестница, справа стена —
Таёт город из прошлого, город-шкатулка
Драгоценного детского сна.

Верясова Дарья Евгеньевна — поэт, прозаик, драматург. Родилась в 1985 году в г. Норильске. Окончила Литинститут им. А. М. Горького. Автор четырёх поэтических сборников, среди них «Погладь кота» (М., 2021), книги монастырской прозы «Великий пост» (М., 2020), нескольких пьес, в том числе для детей, поставленных на сценах российских театров. Участница проектов АСПИР. Лауреат «Илья-премии» (2009), премии «Пушкин в Британии» (2012), премии фонда В. П. Астафьева (2016). Живёт в г. Абакане.

Тает город из воздуха и перламутра,
Прорастают ковыль, бересклет.
И взлетает над миром осеннее утро,
Невесомый серебрянный свет.

Акварелью прозрачной, диковинным словом
Или памятью горькой на вкус
Возле неба Кавказский хребет нарисован,
И вдали нарисован Эльбрус.

* * *

Уехать в Пятигорск на лето,
Хлебать из каждого бювета,
Свои тревоги позабыть.
Питаться воздухом и светом,
И запросто на свете жить.

Не помнить вовсе: что-то, где-то,
И от заката до рассвета,
Храпя, пролёживать кровать.
Читать Тургенева и Фета,
А Лермонтова не читать.

Но самым главным будет это:
Допеть всё то, что не допето,
Допить всё то, что для души.
И пристрелить в себе поэта,
И драматурга придушить.

* * *

Кончается осень, и небо сутулится.
Мне нравятся эти продрогшие улицы.
Туман над горами, листвы кутерьма,
Мне нравятся сонные эти дома.
Кавказское солнце, висящее низко,
Надгробия, памятники, обелиски,
Крутые ступени, тропа наугад,
Янтарный рассвет и лиловый закат.
Беспечных стихов неземная эпоха
И рынка обыденная суматоха.
Машук и Бештау, Юца и Джуца.
Трамваи звенящие, жизнь без конца.

* * *

Время к отъезду, курортников мало,
Стуже назло и дождю напоказ
Роза цветёт как ни в чём не бывало —
Это и есть настоящий Кавказ.

Сыр адыгейский, вино «Пиросмани».
И раскалённому солнцу взамен —
Горы в тумане и город в тумане.
Сойки трещат о грядущей зиме.

* * *

Туман такой — молочная река,
И шагу не ступить наверняка,
И даже рядом голоса не слышно.
Всё это тянется неделю с лишним.
Неделя с лишним — это не беда.
Так на Кавказ приходят холода,
Вступают в город царственно и пышно.
Деревья в ожерельях изо льда.
И я благодарю Тебя, Всевышний,
За то, что Ты привёл меня сюда.

* * *

Я помню тот нехитрый алфавит:
Как город был туманами залит,
И как ступени мокрые скользили,
И в тишине, холодной, как гранит, —
Заброшенного города предзимье.

Я помню это: в небе суета,
Рассвет, готовый с высоты свалиться,
Дрожа всем телом, за чертой черта
Из города уходит темнота
И обнажает улицы и лица.

И над Эльбрусом облака парят,
Вдали его бока белы и голы.
А тут, а тут который век подряд
Игрушечные домики стоят,
Баюкают всамделишные горы.

Я помню, как земля тревожно спит.
Но будет день сиянием умыт
И город будет блеском обозначен.
Я помню тот нехитрый алфавит,
Который для любви, и не иначе.

И всякий перепуганный предмет
На белом свете обретает вещьность.
А просто тьма перетекает в свет.
И ничего диковинного нет
В том, что душа перетекает в вечность.

Дмитрий Райц

МОМЕНТЫ УСТАЛОСТИ И ЛЮБВИ. ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

короткие истории

моей жене

*

Не просыпаясь, друг кивнул, что закроет.

Нежные неподвижные листья — осень пока ещё жёлтое лето. Но холодное и сырое, с грандиозной колоннадой мелькомбината и небом светлее и глубже. Чайки — так странно, над реками тоже есть чайки. Разглядев в окне утро, он не может спать.

Горит что-то приятное, листья или дрова. И всё знакомое, щемящее, детское, когда до дачи ходил трамвай. Гаражи, на которых написано мелом «куплю». Протопанная трава. Дождь на крышке чугунного люка. Последнее пиво, кажется, было лишним. В магазине он берёт бутылку «байкала». Вкус газированных шишек. Хлеб на деревянных полках. Крапива у заклеенной объявлениями двери. След собачьей лапы на старом бетоне. Степная трава лезет между ступеньками. Город становится большой старой дачей. Ветхий, заброшенный, случайно сколоченный. Если железо, то ржавое. Женщина кружится, рассыпая овсянку для голубей.

Он хочет описать свои отношения с каждым домом, заводы на гурьевской в разное время дня, каждый осенний рябиновый лист со своим фантастическим цветом, взгляд из миллиона окон на все некрасивые нежные улицы, короткие тропы, тайные дворики, где на скамейке ночью молчали и улыбались, всех людей в этом городе с их усталостью и любовью.

Как передать свою нежность? Как написать, что он видит, — чтобы не получился путеводитель? Чтобы невечный город не забыл его. Несколько точных моментов, по которым, как по косточке динозавра, можно представить целое.

Свет фонаря через тополиные листья. Женщина с большим букетом в тусклом вагоне метро. Мозаика на панельных домах сверкает как огромная рыба. Дома тридцатых годов, изуродованные балконами с утеплением. Тёмные крутые перила в подъездах. Всё это тоже природа. Где асфальт превращается в камни, вырастает степная трава. Тихий печальный город и есть осень. Чтоб полюбить его, нужно поймать красоту увядания и растающих в землю развалин, о которых никто и не скажет, зачем они им. Выцветшие вывески уйгурской кухни. Бетонные блоки с железными петлями. Полукруглые лесенки в буграх старой краски. Облака как горы, гривы и крылья.

Райц Дмитрий Владимирович (1990) родился и живёт в Новосибирске. Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Автор книги «Случаи с англичанами» (2020). Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Урал». Участник проектов АСПИР.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 6.

Вчера на большевистской он смотрел на потоки красных фар, уезжавших в сырой тёмно-серый сумрак, и испугался, что умрёт, как папа, в ужасный осенний день. Когда он долго не пишет, к нему возвращаются безнадёжные мысли.

Ободрав горсть рябины, он бросает по ягоде перед собой, это похоже на перебирание чётков. К зиме гроздь рябины будут как ягодные пирожные, каждая под своей горкой снега. Он спокоен и осторожен, — чтобы не расплескать это печальное, острое ощущение жизни, перехватывающее дыхание, радостное, чуткое к чужой боли, волнуемое, творящее.

Мальчик говорит, что пришёл смотреть на закат. Стрелы кранов вращаются как часы. Развалины зарастают кирпичом двадцать первого века. Он проходил здесь тысячу раз, что же тут было? Нежная подсветка, десятки этажей с красными огнями на крышах. Новая вечность. Подрастает газон, степную траву считают здесь сорняками. Перекрёсток военной и шамшиных, откуда не видно ни одного советского здания. Сотни балконов отражают густое вечернее солнце, освещая разрушенные склады. Дождь в царапинах на асфальте, оставленных снегоборщиком. Свет вывесок торгового центра горит на дороге цветными пятнами.

В киоске у завода «труд» за десять рублей он берёт сигарету. Лучшее время для одной сигареты, дрожащим свежестью утром она даже греет. Ему нравится в своих мягких домашних штанах, безобразных кроссовках растворяться в пространстве. Так он часть природы, города, пейзажа. Листья вылетают из-под колёс как жёлтые бабочки. Тут в «русском фейерверке» когда-то работал друг, он включал покупателям записи взрывов.

У города мало истории, и он не знает, как её помнить. Нет колоколов, с гула которых начинался бы день, — хотя с минарета около школы на пятом уроке пел муэдзин. Не азиатский, не европейский, город как будто не закреплён, может встать и пойти в другой век и на новую реку, Хуанхэ или Дунай. На средневековой башне овощехранилища валяется бутылка от кока-колы. Академию наук строили пленные немцы. Мужчина предлагает фотографироваться с лабрадором в солнцезащитных очках. Вокруг тёмной витрины горит тускло-синий неон — что-то от европейской зимы. Обезьяна кричит в холодном сосновом лесу. Другой мужчина в дорожных туфлях держит плакат: «каждый имеет право на свою долю недр». Старик поёт в метро ночью: «россия, россия, фридом, фридом», — баритон беззаботный. Городу подошла бы гора, пригвоздив его к месту и часу. Среди сосен нелепый фонтан с Горынычем и Кашеем — дар бандитов — на месте последней стоянки Кучума. Следы пальцев царского времени на кирпичках военного городка. Художница расписывает стены сгоревшей каптёрки. Берёза на крыше танковых боксов.

Если утро такое, как это — тишина, холодное солнце и никаких ранних дел, — легко идти по большевистской к речному вокзалу, не торопясь, чувствуя город частью себя и, родившись здесь, не жалеть, что остался. Можно даже поверить, что это судьба. На добролюбова, превращая в слова свет неба в окнах дк попова, рассыпающийся коринфский ордер из штукатурки и кирпичей, мёртвый завод за бирюзовым забором, лоскутное одеяло асфальта, он впервые всерьёз понимает, что он писатель, и судьба его будет писательская.

*

Миша пришёл в пиджаке, с бутылкой водки в кармане, на которую он опирался как на рукоять сабли. Дима не видел его в костюме, наверное, с выпускного. Он прямо со свадьбы. Чьей? Оли. Той самой? Той, той.

Дима зажгёт восточные палочки — тут малость накурено. Чай? Он принёс ещё одну турецкую чашку. Red dead redemption замер на паузе.

Миша так любил её, что думал, не выдержит. Вообще он был тогда не в лучшей форме: обманывал себя, маялся, молчал, хотел быть если другом, то лучшим, был

несчастлив, думал, что это с ним навсегда. Теперь кажется глупым — столько страданий из-за любви.

Комнату освещали гирлянды, развешанные по стенам. Дима открыл балкон, запустив сырую шуршащую уютную темноту.

А сегодня на свадьбе Миша не почувствовал вообще ничего. Без горечи, просто хорошо провёл время. А зачем водка? Так, озорство. Странно — неужели внутри совсем ничего не осталось? Ну и время! Как оно это делает? Пришлось даже приложить усилие, чтобы представить себя женихом.

*

Когда в первый раз провожал её, думал — боже, как далеко! Между домами сгущается чернота, дороги пустые, как возвращаться? На детской площадке, в слабом розово-жёлтом свете попросил разрешения и целовал её, как мальчишка. В эту ночь каждый угол и двор, каждая пара шагов — воспоминания. У её дома теперь навсегда свой цвет и лицо, своя эмоция.

О чём она думает? Просто вдруг замолчала, стала серьёзной, даже грустной как будто. Так падает свет фонарей, всё прекрасно.

В эту ночь нет силы вернуться к себе, в тёмную пустую квартиру. Как это произнести? Она открывает дверь в подъезд, и очевидно — без приглашения и вопросов, — что нужно войти. Приятно быть тридцатилетними, не играть и всё понимать.

*

В ночном метро никто не спешит. Одинокие поздние люди опираются на тусклый мрамор. У парня в серых спортивных штанах в пакете игрушечный грузовик. Девушка закрывает глаза и улыбается. Кажется, тоже с квиза. Похожа на Юлю. Андрей не общался с ней очень давно.

Антон стянул сырой капюшон. Ну что же, седьмое место не так обидно, как было второе, когда отставали на балл. «Стара, тупеет разум, Таня». Все поумнели, или сдают они?

Спасибо, что позвал. Не вопрос, Андрей тоже скучал по тому, как кипит голова, по оживлению, по азарту, по нервам. Коллеги предложили — не удержался.

Во тьме появляется поворот, рельсы, округлость тоннеля, толстый кабель вдоль стен. Врывается свет, воздух приходит в движение, с гулким грохотом выезжают последние поезда.

А «бродячая собака» не изменилась — к сожалению или к счастью. Когда уехала Юля? Уже восемь лет Антон не был на квизах. Потом и Настя... Жаль, они были хорошей командой.

Да и вообще жалко: времени, того, что были добрее, нежнее, умнее, как будто невиннее.

В Москве Антон видел Юлю. Юля в порядке — развелась с мужем, работает. У неё с Андреем что-то же было?

В соседнем вагоне человек снимает на телефон своё отражение. Ночью в пустом вагоне точно темнее.

Юля встречалась с Ильёй. Илья хороший человек. А Андрей, он же тоже хороший. Да и куда ему было — до неё...

Они переписывались каждый день, каждый вечер, помногу. Это было что-то серьёзное, совсем не случайное. Да, она говорила Антону.

В окнах метромоста мельтешит мерцающая река. Человек в соседнем вагоне устало смотрит на реку. Стёртые, шершавые поручни вспыхнули. Андрей проехал «речной вокзал». Это был не последний поезд? Нет, ничего.

Всё свистит, скрипит, бьётся — Андрей наклоняется ближе. Говорила — общались, писали. Понимала, что у Андрея были чувства. У неё тоже. К нему. Чувства?

Ещё раз спасибо Андрею, что написал. Антон встаёт. Нужно собрать команду, позвать тех, кто остался... А Настя в Австралии, вышла замуж за австралийца...

Толстый кабель и тёмный бетон резко сменяют бледные лампы, тайные ходы, голубые служебные двери в подземный мир, наконец, своды станции, мрамор, витражи с сибирскими городами. Запах шпал в метро кажется тёплым, приятным, летним, как черёмуха. Что-то изменилось — прошлое стало другим. «Счастье было так возможно?» Нет, нет, нет. Никакой грусти — только огромная, единственная, неумещающаяся радость. Она помнит, и ей не всё равно.

*

В дверь колотили. Что такое? Это соседи, папе плохо, тут «скорая», нужна помощь с носилками. Пятый час ночи.

Он лежит в прихожей. Не открывает глаз, только веки и брови дрожат. Большое тело, седые волосы на груди и плечах. Чёрные проёмы комнат. Вот как живут за стеной. Врач тоже не открывает глаза, а, прислонясь к косяку, переспрашивает диспетчера — «в железнодорожную»? Жена оцепенело смотрит, замерла, точно боится дотронуться. Медсестра в синей спецовке сидит на пуфике и держит капельницу.

Вешалка из икеи, панама над тёплыми куртками, летняя и беззащитная. Жена просит его повторять — «ангел мой, пребудь со мной». Синими губами он повторяет. Сын стучится в квартиру напротив. На крючке ключницы висит обувная ложка. Сосед из квартиры напротив входит, снимая шапку. И в зеркале всё повторяется. Врач отдаёт медсестре сумку и потирает ладони. Взяли.

Стены подъезда выкрашены в оранжевый. Горит одна круглая лампа. Сейчас цвет зловещий. Медсестра вызвала лифт. Жена кричит — «не ногами!». Врач рывкает, чтоб отошла и не лезла. Двери лифта съезжают, давят, грохочут. Врач бьёт по ним свободной рукой. Проваливаясь в холщовых носилках, отец с трудом приоткрывает глаза и синие губы. Ангел... Тошнит... Головой... Неудобные ручки впиваются в кожу.

Водитель курит и ждёт. От частного сектора несёт дымом. По тёмным лужам тянется первый лёд. На счёт «три» подняли его на каталку. Тошнит... Холодный воздух беспокоит его, веки дрожат. Врач зевает и говорит, что сдают в железнодорожную. Медсестра вешает капельницу и достаёт телефон.

Жена крестит двери газели и продолжает стоять, когда той уже нет. Сын, не зная, что делать, кладёт руку ей на плечо. Она пытается застегнуть ему ветровку под самое горло.

Поднимаясь с соседом на лифте, хотел рассказать, что во сне кто-то собирался ударить в дверь, из-за чего проснулся — и тут же заколотили. Сосед не отвечает.

*

Он никогда не был несчастлив в академгородке.

Что на левом берегу балабановщина — мрачные лампочки в коридорах, серая плитка на институте, тяжёлые двери, перила как деревянные рельсы — тут про радость, про умных, молодых, увлекательных, всё ещё шестидесятников, про утопию, которую не решились разрушить, и тайну, которую забыли раскрыть. В темноте почему-то совсем не страшно.

Когда на дозатора одинаковые хрущёвки смыкаются в лес, кажется — заблудился, и скребущее чувство из детства. Нехороший белый свет люстры. Может, тут дело в соснах — те же дома сохранили гостеприимство, праздничность. Рождество без конца. Люди дарят друг другу ноты. Талант занят делом. Советский девятнадцатый век.

На золотодолинской он остановился. Уже вечер, тонкие облака как красная акварель. Гигантские ели уносятся вверх. Коттедж какого-то академика. Может, того, который одомашнивал лис? Живая изгородь, тяжёлые треугольники елей, трава,

низкий заборчик, густые ровные линии берёзовых листьев — всё это разный зелёный. Дача из детства. Запах рая, старые доски, прохлада земли. Чужая жизнь, которую хочется, но невозможно. Он слушает восьмую симфонию Малера. Вокруг бог.

Они сидят перед морем на светло-серой сырой коряге.

Огромная мягкая пустота поглотила солнце, воду от неба едва отделяет мутная полоса. Точка костра, тёплая, рыжая, как мигающий лис. Фонари на плотине тянут иглы по тёмной воде. Она выйдет за него замуж? Её голова у него на плече. Пусть не сходит с ума, просто он посмотрелся на море. Он смеётся. Ну да. Но жалел, если бы не спросил. Два фонаря, две иглы — морда магического моржа. Как бескрайний и добрый змей, — волны тихо шипят, ползая по песку. Совершенное беспокойство, ровное оживление, тихая суэта. Фонари звёзд — падают в глубину, в ил утонувших домов.

Подумал — гэс ни при чём. Памятник города собственному масштабу, далёкий, невидимый, образ в уме — тут чудо через дорогу. Пустота как чистый прекрасный лист. Море — это свобода. Но как перестать считать себя чужакom?

Тусклые окна безлюдных вагонов освещают сосны и доисторический папоротник. Он опоздал на последний поезд. Знает. Не беда.

*

Из-за тёмных туч ощущение, что уже поздний вечер. Никакого света, только пустые дачи. Папа в штормовке и старой шапке с надписью galvin klein выходит из общества. У озера есть овраг, кругом ивы, тополь — красивое тихое место.

Вырыв яму, папа поднимает комок, обёрнутый простынёй. Он не в силах заглянуть в простыню, погладить пушистую спинку ещё раз. Когда у папы болел желудок, Васька чувствовал и ложился к нему на живот. Соседка спросила: вам нужен котёнок? Бабушка взглянула на чёрную мордочку и ответила — нужен. Ласковый, умный, верный кот, он пошёл за нами на озеро, залез в воду и вдруг поплыл. Открывая лбом дачные двери, Васька приносил папе мышь к каждому дню рождения.

Ветер пролетает сквозь чёрные ветви и ржавую рабицу, поднимает унылую рябь по свинцово-серому озеру. Бабушка звала его Васенька и растила на подоконнике травку, чтобы он её грыз. Счастливая восемнадцатилетняя жизнь. Почему же так больно? Почему это чувство, что из жизни, семьи вырван маленький важный винтик и всё начнёт распадаться на части?

Соседская собака напугала его, Васька забился в кусты, я хотел его вытащить, а он вцепился зубами мне в руку. Потом папа принёс Ваську ко мне. Кое-кто хотел извиниться. На память осталось четыре шрама.

Папа бережно кладёт комок в яму, разглаживает холодную землю руками, присыпает могилу листьями ивы. Папа плачет.

*

Антон назвал файл «заявление о том что всё».

Для Владимира Ивановича четверг пока как среда, как вторник и понедельник — день и день. Но вот формальность, бумажка — и всё сорвётся, закружится, и счастливая тайна не будет тайной, и день будет как праздник.

Антон вынул из принтера заявление и подписал — и то, от чего невозможно дышать, кончено. По капле давить из себя раба — тут что-то такое. Подумал сделать на память копию. Ничего, сколько таких ещё будет. Жизнь можно менять, и зря он тянул и боялся.

Владимир Иванович вздохнул, не отрываясь от монитора, — был бы моложе, убежали бы вместе. Куда — Антон не хочет пока говорить, боится спугнуть. Это первое увольнение. После института думал, что шанс, через семь лет понял, что, скорее, ловушка. Зачем было столько терпеть? Владимир Иванович достал банку кофе и сахар. Всё получится. Сколько раз он работу менял, — всегда было к лучшему.

Антон шёл по коридору. От мучительного облегчения его шатало как пьяного. Шершавые жёлтые стены — это было не навсегда. Весь отравляющий душу бред — служебные записки, придурочные резолюции, дальневосточные клоуны, которых директор за собой тащит, расплавленная кофеварка, бывшие офицеры, отвечающие «так точно», карта Новосибирской области, 1с, госзакупки, любимый подрядчик директора, цветы на шкафах — больше не его бред.

Начальник тёр бороду. Что сделать, чтобы Антон забрал заявление? Может, причина в нём? Ничего не хочется говорить. Его лояльность директору не встречает соответствующего понимания — из-за хейтеров. Конструктивисты находят тупиковые места сразу с решением. Критики видят уязвимости, но ждут чужих решений.

За разговором начальник рисовал в ежедневнике закорючки и рожицы.

И есть хейтеры, эти бездушно разрушают идеи любой ценой. Нужны конструктивисты. Тут есть люди, которые мечтают подставить его в глазах директора... Хватит слушать, он же никто с бородой.

Белый чистый снег только выпал и ещё не надоел. Кажущаяся обновлённой улица начинает жить сначала.

*

Казанский писатель спросил: какие у вас отношения с вашей рекой? Вы держите лодки? Речные трамваи плавают по деревням? Ваши зимы кончаются ледоходом?

Огни разделённых рекой берегов встречаются на чёрной воде. Какая она огромная.

У меня нет лодки, и я забыл, что река была первой. Что её, ослепительную, ледяную, до меня черпали монголы и мохнатые носороги. Что её зелёно-серые волны бегут в океан.

*

Девушка-фармацевт перед тем, как искать таблетки, щёлкнула пальцами. Серёжа думает — здорово! Мама пишет, что купила цветы, пусть сразу подходит к бабушке.

Бабушка говорит: «дай-ка прижмусь», — и обнимает Серёжу. Как Шурочка? Приходит в себя, немного кашляет. Полы грязные. Бабушка ищет и достаёт дедушкины тапки. Серёжа ставит пакет с лекарствами на морозилку — в девяносто лет такие подарки.

Мама греет мясо по-французски. А в сибирском молле начали вешать гирлянды. Станный вид. Снег тает, сразу стало темнее. Шёл пешком, не замёрз? Серёжа сделал крюк и прошёл, как всегда возвращался из школы. Как его водил дедушка. И всю дорогу какое-то детское, радостное ощущение жизни как череды дней рождения и каникул, предвкушение праздника, рулета с красной рыбой, бабушкиного торта. Бабушка переживает, что коржи не пропитались как следует. Серёжа смеётся. На месте гаражей и черёмух построили длинный дом, а так всё по-старому. В Костином дворе стоит та непонятная перекладина, через которую играли в бадминтон и футбол.

Втроём они садятся на кухне. Серёжа аккуратно качает пробку шампанского. Белые розы на белом столе. Мама опрыскала бутоны водой. С каплями даже красивее. Бабушка спешит поднять фужер за ребят, машет рукой — пить за неё несерьёзно. Всё было, уже всё сбылось. Дочка подруги прислала открытку, она увидела цифру, и голова закружилась. Как ей может быть девяносто? В год она заболела, и думали, что умрёт. И бабуля пошла с ней к фотографу, — чтобы она осталась у бабули хотя бы на снимке. Это было ещё в Таганроге... Вот теперь поглядела бы на неё бабуля. Для Серёжи она прапрабабушка. Для Шурочки прапрапра. А фотография уцелела? Должна быть в шкафу, в одном из альбомов.

За окном летит сырое подвижное небо. Бабушка говорит, в это время раньше лежал всегда снег.

Серёжа вспомнил. В мае дедушка уже не мог говорить, и непонятно, узнавал ли кого-то, только смущённо пил из большой кружки чай. Бабушка рассказала, как пришла из школы, а в их доме сидел незнакомый военный с усами. Только когда военный заулыбался, она узнала в нём дядю Шуру. Он вернулся с войны. Серёжа взглянул — дедушка вытирал слёзы.

*

На амвоне — оно, кажется, так называется — музыканты репетируют «мессу мира». Рита не видит их. Она сидит, поджав ноги, на деревянной скамье. Как будто в соборе, наполненном музыкой, кроме неё никого. *L'homme armé*, средневековая французская песня, звучит не маршем, а как танец в тяжёлых доспехах. *L'homme armé doit on douter*. Хорошо!

Вскрипывает скамейка — священник. Рита нащупывает ботинки. Она сделала что-то не то? Нет, он улыбается. Ей нравится музыка Дженкинса? Красиво, может быть, слишком плавно для конца двадцатого века. В «мессе мира» есть часть, где муэдзин зовёт на молитву. Да, она гадала, оставят ли это. Он согласился — он видел, он знает, что нет греха страшней, чем война. Мир важнее, пусть в соборе поёт муэдзин. И, в конце концов, это месса. *Better is peace than always war and better is peace than evermore war* — как можно лучше восславить Господа?

Рита держит скрипку, пока Света мотает свой шарф. Ребята в толстовках и худы убирают свои инструменты. Даже странно, что они могут вместе. Конечно, собор идеальное место, деревянные своды — тут как в ковчеге. Рите кажется, что красоте «мессы мира» не хватает строгости, аскетичности, какая была бы у Малера, Шостаковича или Бриттена, если бы сочиняли они.

Тихий снег опускается перьями на темнеющий город. Когда такой снег, Света слышит четвёртую Малера. Бледный купол оперного театра похож на луну. Вспоминают, как ещё Рубикис дирижировал на «Ромео и Джульетте» Прокофьева. Бесконечные удары в смерти Тибальта и похороны Джульетты — Рита не говорила, но у неё это сильнейшее впечатление от музыки вообще.

В сквере героев они гуляют между яблонями и елями, вокруг братской могилы белых и красных. Вечерний снег липнет к бровям и ресницам. Света, молодая, красивая, зимняя, качает футляром со скрипкой.

*

В турецкий ресторан Лёня не захотел — там одни цунарефы. Пошли искать рок-напитков. Лёня опять закурил длинную яву.

Пурпурно-серое небо ещё дрожало, как от усталости. Кончился снегопад. В девятиэтажках светились мутно-жёлтые, какие-то бесприютные сейчас окна. Где мы? На богаткова. Ладно, куда сказал, туда и приехал на такси. Лёня был в гостях у тётиной лучшей подруги. Он старается навещать её, когда в городе.

Лёня сделал медленный хороший глоток и передал фляжку. Наварил отцу всяких супов, пока тот в экспедиции, набил морозилку, хату отпидорасил. Поедет завтра назад в Красноярск. И к матери на село, снег чистить. Прекратит пить рок-напитки и начнёт амитриптилин.

Лёня огляделся: горчичные стены двухэтажных послевоенных домов, чёрные сараи, гаражи. Где мы вообще? Гаранина? Что это? Не так много тут мест, не закрытых в такое время.

«Такие дела», — как любил по случаю говорить покойный Паша Алипуп, гитарист красноярского панк-ансамбля «волосатые яйца», Лёнин очень близкий друг. *So it goes*. Он уважал Воннегута. Лёня разберётся, как это делается, и издаст «волосатые яйца» на виниле. Такие дела. Скоро твоя шашлычка? Нет, Лёня доверяет — веди куда надо.

Лёня поздоровался, спросил, есть ли водка. Тогда какое самое крепкое пиво? «Амстердам навигатор».

Так вот ночью в придорожной шашлычной смотришь на фотографию — неспящие небоскрёбы из стекла и тусклых огней, почему-то щемящих сердце, в ясной сгущающейся синеве. Потом в окно — там фонари, снег, обрубленный тополь, заборы из грязного профнастила и досок, военный суд. Слава богу, гирлянды зажгли. И хочется больше есть, хочется больше пить.

Лёня предложил помянуть Лену Макеенко. Благословенна память её. Ленка так писала про нашу словесность, как эта самая словесность не очень-то заслужила. Говноеды при ней стеснялись своего говноедства, старались писать и вести себя поприличнее. Жить бы да жить.

Женщина давит кетчуп из большой красной бутылки прямо на лук. «Молодые люди, шашлык заберите!»

Так и не дошли на заельцовское к Янке. Лёня сколько приезжал — так ни разу и не добрался. А Лена вообще всю жизнь тут жила и не была. Договорились как-нибудь сходить вместе. Теперь лежат недалеко друг от друга две рыжие девушки — Ленка и Янка. К Янке он теперь всё равно не пойдёт.

Лёня сломал о мясо зубец пластмассовой вилки.

Кирпичные сауны, гостиницы с почасовой оплатой, деревянные электростолбы, сайдинг, сибит, неровные чёрные доски. Лёня очень уместен в этом районе — в болотном пуховике, растянутой чёрной шапке, с животом, светлой бородой, тлеющей сигаретой.

Лёня пообещал подгон — книжку «сердца четырёх» Сорокина. В американском издании «дня опричника» «широка верзоха у Нечая» перевели «netchai's verzokha is wide». Куда мы идём? Мы ещё в городе?

Хлебный киоск, как и шашлычная, был тут всю жизнь. А за елями разрушенный бассейн СКА. Вот он, выгнутая громада с пустыми чёрными окнами.

С взъерошенными, согретыми феном волосами, уже не чувствуя запаха хлорки, возвращаешь замок от кабинки. По лакированным ящичкам в каталожном шкафу ищут абонемент — обязательно с клеенной фотографией, — отдают, замок убирают в ящичек. Папа уже ждёт в вестибюле, в меховой шапке, раскрытой дублёнке. Вечером с улицы неяркий голубоватый свет из бассейна напоминал аквариум.

За бетонным забором нужно свернуть с дороги. Военные простояли на этом месте сто лет, а потом за одну ночь ушли, оставив нараспашку все двери. Хочется, чтобы Лёня увидел. Тут в одной из сгоревших каптёрок спрятано чудо. Осторожно, под ногами кирпичи, бутылки, мало ли что ещё. Вот.

Опускаясь на красном парашюте, солдат закрывает лицо руками. Горят смотровые вышки. Красная птица летит над болотом, в болоте стоит униформа: бушлат, сапоги, автомат, рукавицы, парит шапка без головы. В поле маков обугленные ворота. Фонарик с телефона обшаривал рисунки, продуманные, тревожные, обречённые пропасть под ветром и снегом. Понравилось? Лёня помотал головой и закурил длинную яву. Снег мерцал на широких стропилах и тоже казался частью изображения, как и копоть, обгорелые доски, сколы на штукатурке.

Залаяла собака, но скоро отвлеклась и замолчала. Тихо. Ночь была серая — не темно и не страшно. Вокруг никого, только ровный нетронутый снег. Лёня склонил голову и тихо проговорил: «Господи, помилуй и сохрани Диму, Серёжу, Дашу, Ваню, Таню, даже Антона,— Лёнин персональный Новосибирск. Избавь от бед, дай им отдыха, пожалей и убереги. Господи, помилуй и его, грешного. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь».

*

Вечером директор полетит бизнес-классом в Иркутск.

На место в центральном аппарате, куда он так метил, поставили питерского мудака. Снова бывший военный. Всё опять зря. И сто кило копчёной форели самолётом в Москву из Хакасии зря.

В комнате отдыха темнота. Проезжает снегоуборщик, оранжевый свет мигает на шторах. Директор содрал с себя галстук и лёг на диван. У него московские мозги, и они киснут. В голове он решает сразу несколько дел — быстро соображает и не боится решать. Ему в этом городе тесно. Кабинет раздражает. Вид из окна — бесконечный забор вокруг брошенной стройки — сводит с ума. На вске-ке с Москвой он сказал лишнего. Там не забудут. Тут только рады и веселятся. Есть те, кто не прочь пересесть в его кресло. Остальные — балласт. По-хорошему с ними нельзя. Вроде бы взрослые люди, а ничего не умеют, боятся и не хотят. Лишь бы свалить на него ответственность. Ноют из-за зарплат, но тянут сюда родню и детишек. Завидуют, что его кабинет больше, чем их квартиры. Но перед ним робеют — это власть, — ему это нравится. И ему их не жалко. Недавно директор прочёл книгу о Сталине и понял его.

Хлопнув рюмку коньяка в Толмачёво, директор полетит бизнес-классом в Иркутск. Командировка без повода, так, просто развеяться. Для него забронирован номер в «марриотте», единственной в Иркутске гостинице для людей.

*

Как там дела? Мама не отвечает десять минут, и Ксюша уже не находит места. Она идёт в коридор позвонить.

Шершавые тусклые стены, скользкий пол и квадратные лампы. Чтоб они провалились. Совковые пиджаки. Три года проходили только снаружи.

Владимир Иванович стоит у приёмной, постаревший, усталый. Поздравляет с выходом. Или сочувствовать? Три года прошло — страшно подумать. Малыш в садике? С бабушкой? Так ещё лучше. Его тоже воспитала бабушка, и только сейчас он понимает, как ему повезло.

Когда зазвонил будильник, Ксюша уже не спала. Сидя у окна, спиной к темноте, она заставляла себя жевать несладкий творог и не засыпать. Пока мама варила кофе, Ксюша на цыпочках ходила по комнате. Её мучило от жалости. Ксюша коснулась пальцем его ладошки. Лёшка вздохнул, заворочался, но не проснулся. Насупленный медвежонок, такой крохотный — на огромном диване. Проснётся, не найдёт её, испугается.

Юристки шепчутся, умолкают, видят Ксюшу и улыбаются. Наверное, шепчутся про неё. Может, на плане пожарной эвакуации есть подсказка, как сбежать отсюда, чтобы не возвращаться?

Мама перезвонила. Пообедали, съел котлетку и брокколи. Не плакал. Ходит на цыпочках.

Три года прошли, пройдёт и этот дурацкий день. Целый день — огромный, сияющий снегом и небом день, — она торчит взаперти и делает глупости по работе. И вся жизнь пройдёт. Её, и даже его, — пройдёт. Как хочется уже схватить его на руки.

*

Когда мы вышли в осеннюю леденеющую темноту, Ваня сказал: зайдём ещё в «кёльн»? — пока только вечер. Может, в «клевер» тогда? Всё что угодно. Куда — всё равно.

Если взглядеться, за чёрным окном появляется нестрашный академовский лес.

В гостях Ваня пил ташкентский портвейн, в «кёльне» взял пшеничное пиво. Ваня говорит, вместо пошлины на развод оплатил второй раз заключение брака.

Он хочет как обычно шутить, но обычного больше нет ничего, видно — ему паршиво и больно, и пьёт он это пиво, чтобы не возвращаться домой.

В другом зале поют про коня и чему-то хлопают. По телевизору продолжается чемпионат по дзюдо. Серб и грузин хватают друг друга за кимоно и пытаются ставить подножки. Толстый тренер кричит на серба. Это нелепо, непонятно, но любопытно.

Есть ещё месяц. Нет, он больше не передумает.

Серб подсекает грузина и плечом прижимает к мату. На его кимоно капли крови. Серб закрывает лицо и плачет. К нему на мат бежит тренер и обнимает его.

Ночные чёрные сосны. Снег.

Ваня говорит: «Так это всё ради нежности...»

*

Даня считал — за два года он ходил так тысячу раз. Фрунзе, дорога вниз, цыганский квартал, пахнет печкой, маленькая деревня, пушистые снежные крыши, рыжее окошко. Волейбольный дворец к чемпионату мира, каски на шапках, чёрный памятник-паровоз с тупой красной звездой, работяга говорит: «чё, Сань, погудим?» Опять деревенька, лай собак, цыганка в багровой бархатной юбке, зелёный гараж, колонка, большая берёза. Морозная ясность, чёрные мокрые ветки заиндевели и стали ледяные, тонкие, белые. Деревянные ставни, фиалки, кирпичные трубы, прозрачный горячий дым. Даня идёт домой. Когда он откроет дверь, Володя будет есть брокколи большой ложкой. Марина запекает в рукаве курицу с картошкой и перцем. Гаснет широкий холодный закат. Красные огни парят над столбами домов и на стрелах остановившихся кранов. Пунктиры фонарей тянутся вниз по балконам подъездов. Окна тёмные и пустые, к ним только выходят и едут. Когда-то он думал, что люди в окнах несчастны, они устали, заперты, лампы светят им неуютно. Снежные змейки ползут по дороге вслед за машинами. Просто он был несчастлив — всё наоборот: за каждым окном тепло, покой, тихий ужин и празднично-тусклый свет, свои ждут своих, за каждым окном кого-нибудь любят. Горсть маленьких радостей. Даня заварит улун. Будут лепить динозаврам шляпы из пластилина. Потом Володя погасит свет, заберётся на диван к Марине, через полчаса слезет, станет искать в темноте любимую черепаху. Даня выйдет за хлебом и молоком. Неожиданность взрослой жизни — как часто ходить за хлебом. Замерший, таинственный, приятный момент ночного одиночества, музыки, памяти, мыслей. Над горящей вывеской «ауры» вихри красного снега. Даня возьмёт пива, Марина завернётся в его зелёную кофту, и они тихонько посмотрят на кухне что-нибудь лёгкое и неглупое. В обыкновенном дне, ясном спокойном вечере скрывается столько счастья, что оно тоже кажется чем-то обычным. Дорога наверх, под рыжим фонарём сухие кленовые вертолёты, и мягкие тени расплываются по столетнему кирпичу. Царь строил военные городки на скорую руку, но в типовом проекте были пилястры, узор по карнизам, большие окна как раскрытые багровые рты. Курьер в жёлтом плаще бредёт через снег по царскому плацу. Месяц и несколько звёзд наполняются светом. Кирпичная готика, брошенная, нежная, тайная, обречённая. Чёрные казармы с дырами вместо окон и темнеющим синим небом на месте крыш. Динозавры в пластилиновых шляпах. Чёрный паровоз и побелевшие ветки, любимые люди. Всё это личное, только его. Это он, это каждый, обычный, счастливый, тысячу раз его день. Хорошо.

Инна Волошина

Три рассказа

Павлик

Мария Михайловна в сорок лет родила долгожданного сына Павлика. Имя Павлик они утвердили с мужем единодушно, как только врачи определили пол ребёнка. «Павел», — повторяла вслух Мария Михайловна, пробуя имя на звук и пытаясь расслышать в нём будущую судьбу своего первенца. Ей слышалось что-то решительное, но без рыкающего «р» как в Александре и без надменного удвоения упрямых согласных как в Геннадии. А как певуче, тихо и ласково звучит домашний вариант — Павлик, Павлуша.

И вот теперь Мария Михайловна сидела в палате старого московского роддома на Соколе, держала на руках своего новорождённого Павлика, укутанного в больничные пелёнки, и тихо плакала, утирая нос измокшим платком: «Я тебя так ждала! Так ждала! А ты...»

Павлик беспомощно шурился, пытаясь осмотреться вокруг, но мешал слепящий свет больничной лампы над головой. Быстро утомляясь, он покорно прикрывал глаза, прячась в привычной уютности сна, но вскоре в тревоге разлеплял их снова, отзываясь на резкие материнские всхлипы. Он знал тёплую тесноту её утробы, знал успокаивающий стук её сердца, в такт которому билось его собственное, слышал её голос и, откликаясь на его зов, ещё там, в материнском лоне, распознавал единственность этого голоса среди всякого внешнего шума. Но сейчас эти новые резкие звуки сильно пугали его, оставляя чувство прерванного безмятежного покоя, словно он попал в чужой и негостеприимный мир.

Врачи сообщили Марии Михайловне, что у её сына синдром Дауна, и стали уговаривать подписать отказ от ребёнка. «Ну что Вы, — обволакивающе журчала врачиха с голубыми прозрачными глазами, — он же, — она запнулась на секунду, подбирая слова, — интеллектуально притупленный, скажем так, и никогда не сможет вписаться в этот мир. Давайте говорить откровенно: он почти ни к чему не будет способен, и вы вместе с ним сгинете на обочине жизни, похоронив и своё замужество, и карьеру. Вашу жертву он не в состоянии будет оценить. А в интернате ему обеспечен уход, и вы сможете навещать его, когда захотите».

Мария Михайловна до вечера не решалась сообщить мужу горькую весть. Муж, директор крупного научно-исследовательского института, по жизни торжествующий, побеждающий, повелевающий, скорее всего, не согласится растить сына-дауна.

Инна Волошина — журналист, искусствовед. Окончила Кейптаунский государственный университет, факультет истории искусств. Автор искусствоведческого цикла и цикла интервью в журнале «Фома». Печаталась в журналах «Знамя», «Юность». Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Во время кормления в палате на руках у матери Павлик чувал что-то недоброе. Мутным потоком слова и слёзы текли над его головой. Он останавливал взгляд на матери, ожидая, что его окликнут, как раньше, тёплым родным голосом и он тут же успокоится, радуясь бессмыслице солнечных плавающих зайчиков на стене.

Сына Мария Михайловна из роддома забрала. Она была перспективным учёным, лингвистом, недавно диссертацию защитила. Жизнь тогда многое сулила: второй брак, статусный муж, её научная карьера, долгожданный первенец после двух выкидышей. Но сбылось всё как в кривом зеркале: с работы пришлось уйти, муж с появлением Павлика недобро замкнулся в себе, пропадая в институте до позднего вечера, спасаясь от своего неудавшегося отцовства. И лишь в широко расставленных глазах обойдённого везением Павлика не было ни беспокойства, ни страха.

Первые месяцы Мария Михайловна жила с постоянной болью в душе. Она нарочно перебежала дорогу на красный свет, надеясь, что шальная машина закончит с этой непрерывно длящейся мукой.

Когда Павлик чуть подрос, она выходила с ним гулять, дожидаясь темноты, боясь признаться самой себе, что стесняется сына. Шёл 1979 год. Таких детей, как её Павлик, и не видно было на московских улицах. Напуганные диагнозом, сулящим одни лишь тяготы в не верящей слезам стране, родители поспешно подписывали отказ от своих подбракованных новорождённых и убегали от них прочь, замуровывая в глухой норе памяти надежды на счастливое родительство. Их дети доживали свой век в казённых домах, где без надобности гасли их слюнявые, нелепые улыбки, и Господь, сжалившись, вскоре забирал эти бесприютные души к себе.

А Павлик улыбался часто. Поздним вечером, дорываясь до детской площадки в опустевшем дворе, радостно вторя матери, он гортанно выкрикивал восторженное «ух», раскручиваясь на облезлой карусельной лошадке, пролетая мимо ярких огней вечерних окон. Он радовался вертлявой болонке, вышедшей на прогулку перед сном и, тыкая в неё пальцем, глухо выкрикивал неясные полуслова, сглатывая от волнения буквы и слоги, пока хозяйка с напряжённым лицом не уведила свою моську подальше от его чрезмерных восторгов. Мать окриком звала Павлика, и он возвращался. Он был послушным и кротким, её Павлик.

В надежде побороть природу и судьбу Мария Михайловна ни на миг не оставляла сына в покое.

В девять лет Павлик, коверкая труднопроизносимые слова, декламировал перед гостями «Молчание» Тютчева. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» — на этих строчках он проникновенно прикрывал глаза и, как учила его мать, театрально прикладывал руку к груди, показывая, что вслушивается в сокровенную жизнь своего сердца. Торжествующая Мария Михайловна давно перестала стесняться сына и даже, напротив, демонстрировала перед знакомыми и родными — что ей удалось сотворить из своего безнадежного дурачка. Он научился наигрывать на пианино нехитрые песенки, и Мария Михайловна часами заставляла его разучивать гаммы, уверенная, что знание музыкальных гармоний каким-то неясным путём приблизит его и к гармонии житейской. Ещё она записала его в секцию плавания, где Павлик показывал заметные успехи.

Сын стал её проектом. Героическим замыслом. Все неизжитые силы она отдавала только ему. Муж, когда Павлику исполнилось три года, ушёл от неё к молодой сотруднице своего института, пообещав сыну щедрое пожизненное обеспечение. Его уход лишь укрепил решимость Марии Михайловны отстоять своего неотмирного Павлика перед всем белым светом.

С перестройкой в стране отношение к даунам медленно менялось. От первоначального испуга общество поворачивалось к приятию и сочувствию.

— Наконец-то доросли до Европы, — при случае покровительственно роняла Мария Михайловна, чувствуя своё прогрессивное превосходство над непросвещёнными соотечественниками.

Повзрослевший Павлик теперь играл в особом театре, где все актёры были с синдромом Дауна. В шекспировском «Гамлете» он играл самого принца. Вечерами перед спектаклем Мария Михайловна часами репетировала с Павликом Гамлетовские монологи. На сцене сын появлялся в длинной мантии, величаво, как и подобает принцу, произносил заученные реплики, стараясь соответствовать режиссёрскому замыслу. Вряд ли понимая до конца Гамлетовские раздумья, Павлик тем не менее играл свою роль проникновенно, переживая некое смутное таинственное преображение. На его почти девическое лицо время от времени слетала страдальческая улыбка. Во всей фигуре, в движениях, в позах появлялась какая-то трагическая одухотворённость. Казалось, он, вырастая из своего неуклюжего тела, сам того не ведая, откликнулся на зов чего-то значительного и потаённого в себе. По окончании спектакля для Марии Михайловны наступало время триумфа: Павлик торжественно выходил на поклон вместе с остальными актёрами. Растроганные зрители с просветлёнными лицами несли ему цветы, чувствуя себя причастными к благому коллективному делу. Мария Михайловна, сидя в первом ряду в неизменных слезах, озирала зал. А после в фойе давала интервью журналистам: «Вы поймите, он же живёт на сцене! И действительно ощущает себя принцем! Он там принц!» — восклицала она, держась при этом так величаво, словно и сама была королевских кровей.

Ежегодно Павлик участвовал в различных соревнованиях по плаванию, и на него сыпались призы и награды. Мария Михайловна выделила полку в гостиной, где во всей полноте была представлена галерея его спортивных побед.

Небывалая радость случилась в 2004-м. Её сына включили в паралимпийскую сборную. Соревнования проходили в Афинах. Мария Михайловна по такому случаю купила себе нарядное пепельно-розовое платье, подобрала туфли, продумала аксессуары до последней мелочи, готовясь праздновать их с Павликом победу. Она в неё очень верила. В ней тогда сквозила особая молодость и даже залихватский какой-то задор, адресованный то ли бывшему мужу, то ли судьбе, а то ли самому Богу. Её Павлик — олимпиец! Как тот хромой, хилый, невзрачный греческий бог, он сам стал кузнецом своего счастья. Вот оно — неоспоримое свидетельство правильности всех её жизненных решений!

Афины встретили щедростью южных красок. В день финальных соревнований Мария Михайловна сидела в первом ряду среди болельщиков и неотрывно следила, как её Павлик, мерно и слаженно работая руками, уверенно первым идёт к финишу. Она уже предчувствовала победу.

И тут случилось непредвиденное. Услышав обращённые к нему крики болельщиков с трибун, всегда отзывчивый на чужую радость, Павлик вдруг остановился на середине дорожки и, позабыв о соревнованиях, стал ответно приветствовать зрителей. Словно обитатель инога, не порушенного в своей простоте мира, весь отдавшись нахлынувшему восторгу, он махал руками, мычал что-то в ответ болельщикам и улыбался счастливой улыбкой во всю широту рта. В глазах его было столько ликования, что растроганные зрители в первом ряду стали посылать ему воздушные поцелуи, и Павлик, подхватывая этих бесплотных мотыльков людской благодарности, мокрой рукой щедро разбрызгивал их обратно. Он очнулся, лишь когда услышал отчаянный крик матери:

— Дурак! — вопила раскрасневшаяся, всклокоченная Мария Михайловна из первого ряда. — Плыви! Плыви к финишу! Не останавливайся!

Безнадёжно проигравший, мокрый и счастливый, поживаясь от холода, Павлик вылез из бассейна и в сопровождении тренера торопливыми шажками побегал в раздевалку. За ограждениями зрительских рядов, где-то совсем рядом, взвизвала мать:

— Идиот! Ты же за команду выступал! За Россию! Понимаешь? Ты мог бы прийти первым! А ты! — разочарованно почти плакала Мария Михайловна, как в тот день в роддоме, когда первый раз взглянула на своего новорождённого сына.

Павлик покорно трусил позади тренера, догорающей улыбкой провожая зрительские ряды на трибуне.

Всё чаще, не теряя внешнего благодушия, он закрывался от материнского пламенеющего напора в неизведанных своих глубинах, словно рак-отшельник в мнимо надёжном домишке. Его взгляд рядом с ней становился потускневшим и отстранённо-дремотным.

Однажды Мария Михайловна приехала навестить его в спортивный лагерь под Москвой. Заметив её издали, Павлик поспешно перебежал на другую сторону дороги.

— Надо же, — тонко улыбнулась тогда Мария Михайловна, — и не соскучился совсем, дурак ты мой.

В то лето им повезло: один из солидных благотворителей и покровителей купил им с Павликом путёвку в санаторий в Коктебель.

Там, среди знойного летнего Крыма, под всплески моря к Павлику пришла любовь.

— Лублу Катю, — тянул Павлик при виде симпатичной этой девушки, расцветая лицом и расплываясь в улыбке. — Лублу!

Катя вошла в их жизнь воздушным лёгким облачком, угостив Павлика холодным арбузом среди дневного зноя на пляже.

— Какой солнечный! — улыбнулась она Марии Михайловне, потрепав Павлика по волосам.

— О, да! — откликнулась Мария Михайловна, с охотой вовлекаясь в разговор. — Меня, знаете ли, все обычно жалеют. А зря! Зря! Со мной же всегда рядом мой солнечный и молчаливый друг. Я ему что-нибудь рассказываю, а он — слушает, со всем соглашается и молчит. Мне хорошо! — почти пропела улыбающаяся Мария Михайловна. — Поверьте, милая, мне хорошо!

При встрече Катя первой заговаривала с Павликом и однажды подарила ему большую морскую раковину, показав, как слушать ворожбу древнего моря. Павлик с того дня не расставался с этой раковинкой. Перед сном бормотал что-то в её перламутровую потаённую глубь и ждал ответа, поднося ракушку к уху, словно море стало его невидимым, понимающим собеседником.

Что-то новое утверждалось в нём, и Мария Михайловна не узнавала и не понимала своего простеца. Его внутренняя жизнь с быстротой беглых и случайных мыслей и чувств, казалось, вся пришла в напряжение. Он теперь повсюду искал Катю. Выглядывал её в столовой, на пляже, вечером среди толпы на дискотеке. Находя, радовался и с каким-то почти поэтическим волнением рвался ей навстречу.

— Вы наш легкокрылый ангел, Катенька! — подслащивала Мария Михайловна, приветствуя Катю при встрече.

Если Кати нигде не было, Павлик затихал в какой-то элегической задумчивости, почти не откликаясь на заманчивые предложения матери. Видно было, что ему тоскуется.

На дискотеку вечерами Павлик ходил охотно. Увидев там Катю, оживал и весь вечер не сводил с неё глаз.

В тот вечер музыканты заиграли медленную композицию Whitney Houston.

И тут Павлик, неожиданно вырвавшись от Марии Михайловны, с которой сидел на стариковской зрительской скамейке, решительно и безбоязненно рванул через всю танцплощадку по направлению к своей Кате. Мария Михайловна растерялась и не решилась останавливать влюблённого дурака. А тот торопился, семенил, облизывал губы, высовывая язык и возбуждённо что-то мычал. Подойдя к Кате, затрубил, ошалевший от радости: «Танцевать, Катя», — и сильно потянул её за руку в центр зала. Катя, смеясь, высвободила руку и, шутливо потрепав его порозовевшие щёки, велела идти назад, к матери.

Обычно послушный, Павлик на сей раз всё не уходил, крутился рядом, с полуоткрытым ртом, беспокойно заглядывая Кате в лицо, пока подоспевшая Мария Михайловна не утщила его, наконец, восвояси. И тут Павлик заревел как-то не по-человечески, безнадежно-жалобно завыл, словно в первый раз почувствовал всю огромность своего одиночества. Ничего ужаснее этого воя Мария Михайловна никогда не слышала.

— Ну ладно, ладно, не разводи сырость, — Мария Михайловна успокаивающе приобняла Павлика.

Обычно сдержанная и даже безжалостная, она вдруг и сама почувствовала набегающие слёзы. Достав из сумки какие-то помятые, несвежие салфетки, она утирала лицо Павлика, ставшее похожим на размякшую перезревшую сливу. Они поспешили домой. В номере, вскипятив чай, Мария Михайловна достала из тумбочки пакет с шоколадными пряниками и овсяным печеньем. Павлик, притихший, сидел на стуле и тихо отхлёбывал горячий чай, не обнаруживая, казалось, никаких чувств. «Как увядший цветок», — подумала Мария Михайловна. Встретившись с матерью взглядом, потревоженный в своей замкнутой вселенной, он на миг улыбнулся покорной улыбкой. А она словно прозрела: а ведь он светел, её Павлик. Светел и прост сердцем. Но никому не нужен его свет. Никому от него не станет светлее.

В ту ночь она почти не спала. Всё думала, как мучила его все эти годы, не смиряясь с назначенной ему судьбой. Всё перечила Богу, во что бы то ни стало пробиваясь в жизни в первые ряды золотых медалистов. А Павлик жил, как мог, рядом, почти невидимый в свете этого блестящего золота, лишь беспомощно прячась в своём невольном затворе.

В поисках чего-то утешающего Мария Михайловна зачем-то встала среди ночи и достала из сумки маленькую иконку, которую везде возила с собой. Ей показалось, что Спаситель с иконы смотрел на неё строго, словно выносил обвинительный приговор. Без облегчения она вернулась в вязкую бессонность ночи. Вспомнилось, как утром местные мальчишки на пляже, играющие в волейбол, нахлобучили на Павлика соломенную шляпу с подсолнухами и гоняли его по кругу, не давая поймать мяч. А он, принаряженный, раскрасневшийся, не различающий вокруг себя добра и зла, захватив, наконец, мяч, подержал его секунду и протянул назад гогочущим парням. Неразумный, он будто удивлялся их лукавому уму.

Поняв, что уже не уснуть, ранним утром Мария Михайловна тихо собрала сумку и одна ушла на пляж. По-утреннему свежее море впустило её в свою прохладу, утешая и укачивая, как младенца.

Через неделю Павлик и Мария Михайловна вернулись в Москву.

Первым делом, отдышавшись дома, Мария Михайловна без колебания убрала с полки все призы, медали и грамоты Павлика и на их место неторопливо расставила фотографии сына. Она подолгу рассматривала каждый снимок, будто заново узнавая своё дитя, и, казалось, освобождалась от загустевшей за годы горечи, влившейся в её кровь в тот миг, когда узнала, что родила дауна.

А Павлик и не заметил исчезновения своих медалей. Он как-то размяк внутренне, почуяв перемену в матери и сонастраиваясь на её новый лад.

Осенью в театре Павлику дали новую роль — Дон Кихота. А вечерами они читали книги вместе, и он сидел рядом, её молчаливый друг, и слушал сочувственно.

В один из вечеров, отправив Павлика спать и проходя мимо его комнаты, через открытую дверь она увидела, как сын, зажимая в руках бессменную Катину ракушку, тихо произносит в неё какие-то слова, привычно обращаясь к неведомому и невидимому своему собеседнику. То притихал, зажмуриваясь, то начинал говорить снова.

«Где ты сейчас? С кем? В какой пустыне бродит твоя заблудившаяся душа?»

Мария Михайловна замерла возле дверей.

На Павлика с раковиной в руках из коридора падал свет ночника. В мягкой полутьме исчезла его дневная неуклюжесть, и вся сцена окрасилась почти сказочной таинственностью.

Сквозь неприметную обыденность этого вечера Мария Михайловна почувствовала что-то особое, как будто кроме них двоих в комнате кто-то был, и с этим кем-то в будничную их жизнь, протекавшую в старых стенах, вошёл тишайший покой.

Она присела рядом с Павликом на краю кровати и погладила его по голове. Он затих под её рукой. Прошло непомерно много времени, а она всё сидела молча, с едва заметной улыбкой, и не убирала руку, боясь лишиться чего-то дорогого. Словно скроилось, наконец, по размеру её материнство, так что нечего больше бояться и не за что сражаться. И, казалось, в этот час сама Мария Михайловна распрямилась и посвежела в новом своём одеянии.

В поезде

Это был последний рабочий день маникюрши Тани Силкиной в салоне красоты. Здесь она проработала почти десять лет и вдруг неожиданно для всех решила уволиться. Таня Силкина пилила ногти богатым клиентам, и эта работа ей даже нравилась. Ногти ногтями, но салон находился в самом центре Москвы, на первом этаже отреставрированного дома XIX века, и к ним ходила особая публика — те, кого просто так не встретишь ни на улице, ни в метро: певица, чьи хиты часто звучали по радио, известный театральный режиссёр — эта дама однажды подарила Тане пригласительный на культовый спектакль, и места оказались прямо во втором ряду партера. За десять лет у Тани сложился свой круг клиентов, и она была в курсе всех их жизненных планов и перемен. Она словно смотрела многосерийное кино и могла бы получить статус топового поклонника некоторых сериальных героев. По четвергам Таня Силкина ждала прихода Ренаты, известного кинопродюсера. Рената подала на развод и теперь с профессиональной безжалостностью резала, редактировала и выбрасывала из памяти неудавшиеся эпизоды своего короткого замужества. «Моя семейная жизнь оказалась художественным домysлом, — подводила итоги Рената, пока Таня Силкина покрывала её ногти на ногах лиловым лаком. — Цвет года, — иронично комментировала Рената. “В лиловом цвете нет улыбки”», — цитировала она Гёте, а Таня Силкина после её ухода суеверно поставила флакон с лиловым лаком в задние ряды, выставив вперёд ярко-красный с жизнеутверждающим названием «Фiesta». По пятницам приходила Анюта, жена владельца крупного торгового центра. Эта вечно куда-то летела: то на Мальдивы, то в Швейцарию на девичник, то на костюмированную вечеринку, где всех дам обязали явиться в образе японских гейш. Опустив ноги в тёплую ванночку, отпивая кофе без сахара, Анюта обсуждала по телефону очередной предстоящий побег от жизненной прозы. Не жизнь, а новогодний бокал шампанского! После её ухода Таня Силкина в своём кабинете с белыми стенами ещё какое-то время парила в восторженном опьянении в исчезающих блёстках Анютиной dolce vita. А потом, вместе со следующей клиенткой из тех, своих, они рассматривали в Инстаграме недавние фотографии вечеринки, где Анюта, вся в золотом и красном, изображала японскую напомаженную диву. Вообще, если бы её клиентки однажды собрались вместе, им совершенно нечего было бы друг другу рассказать. Все их увлекательные истории Таня пересказывала по кругу, невольно создавая атмосферу одной большой семьи, где близкие и дальние родственники время от времени пересекаются, перекликаются и разбегаются дальше, порой не в меру обогатившись увиденным и услышанным. Таня чувствовала себя членом этой семьи. Сохранив в душе некую детскую восторженность, она то и дело восклицала в разговорах с матерью: «Господи! Какие необыкновенные встречи! Какие люди мне попадаются! До чего повезло мне работать в этом салоне!»

В ярких декорациях чужих историй собственная жизнь проживалась смутно, как в полусне. Короткие паузы на выходных и в отпуске проскакивали незаметно, а потом она попадала в привычную рабочую круговерть... Но вот однажды, проснувшись утром, Таня Силкина почувствовала, что у неё больше нет сил. Вряд ли она смогла бы объяснить причину своей внезапной тоски, но смутно ощутила, что пора ей из зрительного зала самой выйти на сцену. Исполнить что-то своё.

Решение вернуться в Самару, в родной город, пришло мгновенно. Там, в доме на одиннадцатом этаже, в двух шагах от Волги, у неё была трёхкомнатная квартира. Вечерами можно гулять по набережной, а летом бежать на реку в купальнике, набросив халатик, прихватив полотенце и пляжный коврик. В Москве за все эти годы она так устала от своей бесприютной кочевой жизни, от бесконечных переездов из одной съёмной квартиры в другую: то хозяева задирали цену, то квартиру ставили на продажу и её срочно просили съехать. В последний московский год из-за кризиса её бюджет заметно просел, и она вынуждена была снимать комнату в коммуналке у метро Войковская с мрачным, плохо освещённым подъездом. Соседками по коммунальному жилью оказались две женщины, приехавшие с Орловщины в Москву на заработки. Они то и дело громко и матерно переключались, так что Таня, привыкшая к своим приличным клиенткам, всячески сторонилась этих мордатых баб. Работали соседки в смену на рыбном складе и после работы тащили домой ежедневный «улов». Торжествующий запах жареной рыбы, который Таня на дух не переносила, заполнял всю квартиру, догонял её в лифте, змеился следом даже на улице, пока она не забегала в метро, растворяясь в толпе. Кто знает, может, этот невыносимый рыбный дух стал последней точкой, заставившей её начать новую главу в собственной жизни. По большому счёту ей, в её пятьдесят, особо не за что было держаться в Москве: взрослый сын жил отдельно, мать вниманием и помощью не балуя. С мужем давно развелась и с тех пор от случая к случаю перебивалась проходными мужичками, коротко определяя своё отношение к этим «проходимцам»: не штормит.

Вернувшись в Самару, она по рекомендации подруги устроилась администратором в ветеринарную клинику и первое время жила на подъёме, ожидая от жизни вознаграждения за свою решительность. Она опять загоралась рассказами клиентов, теперь переживая истории их питомцев, волнуясь за морскую свинку Зосю, вдруг переставшую есть, и за старого бульдога Ричи, с тоской смотревшего на хозяина, силясь передать ему предсмертный ужас.

Как-то зимой, ближе к Рождеству, в тридцатиградусный мороз Таня даже спасла собаку, забравшуюся отогреться в уличный вертеп возле храма. История была столь необычна, с каким-то неразгаданным мистическим замесом, что даже сам батюшка из храма долго решал, что делать с этим псом и можно ли бедолагу считать осквернителем вертепа. Таня тогда вызвала такси, привезла собаку в клинику, отогрела, накормила и позже пристроила своим знакомым в деревню. Эта спасённая от холода собака из вертепа казалась Тане добрым знаком в начале её новой самарской жизни.

Но волнение новизны проходило. Никаких других знаковых событий в жизни Силкиной больше не происходило, и Самара надвинулась на неё густым ватным облаком провинциальной жизни. Таня давно считала себя москвичкой, и теперь по дороге с работы из окна автобуса устало смотрела на обветшалые экстерьеры родного города, разглядывала поношенные куртки пассажиров, их блёклые вечерние лица. Она чувствовала, что и сама постепенно линяет под окрас местной самарской тоски. «Здесь все бедные и злые», — подумалось Тане, когда она чуть замешкалась при выходе из автобуса и грузная тётка намеренно сильно ткнула её в спину. Она скучала по своим клиенткам, отсюда их жизнь казалась далёким праздничным фейерверком. Однажды, припозднившись на работе, она взяла такси. Паренёк-водитель был явно приезжим. Он всё путался в поворотах, и навигатор настойчиво возвращал его на верный путь,

повторяя бесстрастным женским голосом: «Вы ушли с маршрута». И Таня Силкина вдруг почувствовала в этих словах призывы, адресованные лично ей. Каждый день она писала короткие сообщения своей московской подруге, и та удивлялась количеству многоточий в этих посланиях. Отточия сыпались после каждой фразы, будто Тане на этом свете вдруг всё стало неясно. Прошёл год, и самарская затея теперь представлялась ей полнейшей дурью. После новогодних праздников, созвонившись с директором своего салона и получив согласие на возвращение, она взяла билет на поезд в Москву.

Поезд был ночной. Таня Силкина зашла в купе и увидела высокого мужчину за сорок. Он напряжённо смотрел в окно на ночной перрон, ожидая отправления. Таня поздоровалась, разложила вещи и тоже застыла у окна. Наконец, поезд тронулся и, ускоряясь, побежал прочь от её родного города, вроде ничего ей не обещавшего и всё же в чём-то обманувшего. Они оказались в купе вдвоём. Таня исподволь стала разглядывать своего спутника: он казался даже не смуглым, а каким-то сплошь прочернённым, точно кто-то углем прорисовал его брови, волосы и весь силуэт. Только глаза были серовато-синие. «Наверное, кавказских кровей», — подумала Таня. Вскоре он встал, вышел в коридор, резко закрыв за собой дверь, вернувшись, с шумом достал что-то из сумки и вновь исчез, через минуту возвратился, стал рыться в чемодане. В рваной траектории его движений было нечто гипнотическое. Таня пыталась вспомнить, где она его видела: не в том ли ресторане на окраине города, где осенью они праздновали юбилей подруги? Он был похож на бармена, с которым весь вечер кокетничала недавно овдовевшая юбилярша.

— Извините, — Таня прервала молчание, когда, наконец, он сел на место, — а вы случайно не в ресторане работаете?

— В ресторане. — Он ожидающе посмотрел на неё.

— «Патари», — Таня обрадовалась узнаванию. — Ресторан «Патари»? На Московском шоссе? Вы же барменом там, правильно?

— Правильно. Бывали, значит. Только не работаю, а работал. Уволился недавно.

— Чего ж так? — Тане показалось, что промельк той давней встречи даёт ей право говорить с ним как со старым знакомым.

— Да так... Надоело. Драйва нет. Раньше был драйв, а теперь нет, — он отвечал устало, неохотно.

— А в Москву, значит, за драйвом? — спросила Таня Силкина, чувствуя, как в её голосе переливаются те особые призывные круглые нотки.

Он скупо ухмыльнулся, но в глазах была тоска. Во всём его облике было что-то лихое, бедовое: казалось, скажи такому слово наперекор, и он сорвётся, выплеснет эту лихость на волю, оторвётся на случайном прохожем за всю свою жизнь, в которой чувствует себя словно в ловушке. Таня ждала ответных вопросов, и ей даже хотелось рассказать этому незнакомому видному мужику свою бредовую эпопею с отъездом и возвращением. Но он ни о чём не спросил.

Несмотря на поздний час, спать не хотелось. Он вытащил бутылку вина. Представился:

— Тимур

— А я Таня. Татьяна Васильевна, — зачем-то добавила она, не сбавляя игривости в тоне.

Выпили за знакомство. Вино не пьянило, но снимало груз этого суетного дня. Они размякли в нагретом душном купе. Почувствовали, что можно обойтись без долгих разговоров. Тимур опять вышел куда-то из купе ненадолго, а вернувшись, тут же сел на её полку. И она как-то сразу сдалась, вся распахнувшись ему навстречу. Поезд с яростной силой мчался в ночи, и на узкой вагонной койке их мотало и швыряло горячей волной в едином тяжёлом дыхании с летящей стальной машиной. Темноту купе разрывали красные всполохи мелькающих огней. И пронзительная тревожная переключка встречных поездов, гудки сирены и вскрики Тимура, сквозняком

летающие по вагону, — всё спелось под жгучими звёздами в один сплошной угарный, ликующий шаманский клич. Это был даже не зов плоти. Сама жизнь, казалось, выскывая за растрату, с разбегу кинула их в топку этого бешеного соития. Едва отдышавшись, лицом к лицу, живот к животу, они начинали снова. Кровь билась в голове, а они не в силах были опомниться, остыть, остановиться.

Утром Тимур спал до последнего. Встал хмурым. Поздоровавшись, быстро вышел в коридор. По прибытии он помог ей вытащить чемодан на перрон. Она ждала, попросит ли телефон. Не попросил. Наскоро простившись, улыбнулся смущённо и исчез в толпе. А Таня Силкина шла по перрону, как по красной дорожке. Она шла и думала, что никто не был с ней так нежен и страстен. Никто и никогда. И что эта ночь в летящем поезде между городами, посреди бескрайних чёрных полей и лесов, была лучшим из того, что случилось во всей её женской судьбе.

В Москве она остановилась у подруги, начала подыскивать квартиру и вскоре вышла на работу. В первый день к ней была записана старая клиентка Аня. Увидев Таню, искренне обняла её, обрадовавшись возвращению. Люди привыкают ко всему проверенному и надёжному. Аня готовилась к юбилею мужа и стала осыпать Таню подробностями предстоящего торжества. Но Таня едва слушала. Она пилила ногти, время от времени рассеянно глядя куда-то мимо собеседницы. Теперь у неё было что-то настоящее. Своё.

Попутчица

Она остановила меня на пути к машине:

— Подскажите, а какой автобус идёт к медицинскому центру на улице Крылатской?

Шёл полудождь-полуснег. Октябрьский день с гримасой скуки. В такие дни — зажечь камин и петь оду домашнему очагу. Зачем-то я предложила её подвезти. Может, спасти захотелось хоть кого-то от этого мутно-серого, задавившего Москву неба.

— Ой! Спасибо Вам! Вот уж радость нечаянная! — Она облегчённо вздохнула, заметно оживившись.

Пристегнувшись в машине, сразу начала рассказывать, что у внучки сегодня день рождения, двадцать два года, а подарок она так ещё и не купила. И всё в этот центр медицинский никак не доберётся. Невольно я взглядела в неё: на вид ещё нет шестидесяти.

— Вы же молодая ещё. Рановато для такой взрослой внучки.

— Ну, приятно, конечно, — она заулыбалась. — Только знаете, я как то яблоко: с виду красное, бодрое, а внутри всё гнилое. Да и за семьдесят мне уже, так что внучка мне как раз по годам.

Я ещё раз всмотрелась в её лицо:

— И что же вы делали, чтобы так выглядеть?

— Да ничего особенного. — Она помолчала. А потом неожиданно продолжила: — Меня очень любил муж. Он умер почти двадцать лет назад, пятьдесят три ему было. Но все годы нашей совместной жизни он меня так любил, что я своей дочке говорю: «Пусть твой хоть один день так будет тебя любить, и ты всё узнаешь про женское счастье!» Вот и весь мой эликсир молодости.

Я включилась: двадцать лет сплошного женского счастья. Такими рецептами надо делиться. Она отогрелась в машине. Было в ней что-то надёжно-земное и, несмотря на возраст, по-женски манкое: какая-то нежная округлость в голосе, взгляд с лёгким милым прищуром и нечто открытое, нелукавое в этом взгляде.

— И что, — спросила я, — за двадцать лет ни дня скуки, злости, разочарования?

— Нет, ни дня. Он же мой второй муж. С первым я восемь лет прожила, двоих детей родила. Но я его никогда не любила. Я с ним в постели и женщиной не была:

пережидала, пока всё закончится. Такой ягодой замороженной и прожила с ним все восемь лет. Мы не в Москве жили, а в маленьком городке. Он был известным человеком в этом месте. Я сама ушла, когда он мне изменил. Сразу почувствовала. Вы уж простите, что я об этом. Но помню, меня чуть не стошнило, когда поняла, что он где-то нахватался этих своих новшеств. Я его как-то прежде спросила: «А ты мне изменял?» — «Нет, — говорит, — я бабник-теоретик». А тут, видите ли, практиком стал. Освоил ремесло творчески, так сказать, и готов был делиться опытом. Практик...

У неё была странная манера говорить. Как естествоиспытатель, она словно пробовала слово на точность.

— А со вторым, Володей, всё иначе было. Я с ним в детском саду познакомилась. У нас дети в одну группу ходили. Я красивая женщина была, мужчины меня всегда выделяли. Чувствовала, что нравлюсь ему, помню, как он смотрел на меня. Но он был женат, я замужем. А потом он развёлся, и я вскоре развелась, и мы с ним, наконец, встретились. И вот, знаете, сначала у нас тоже ничего не получалось в постели. И мы очень стеснялись друг друга, своей неумелости стеснялись. А потом однажды он собрался в командировку, уехал в аэропорт. Но рейс перенесли, снег шёл, сильно мело в тот день. Он вернулся домой и позвонил мне на работу. А я была начальником отдела в строительном управлении. Жёсткая была. Властная. Знаете, в ком-то гайки недокручены, а во мне они перекручены были. И вот, Володя звонит мне: «Галюнь, а может, ты приедешь?» Я бросила всё и приехала. И тогда у нас впервые всё получилось. Я даже не знала, что такое бывает. Меня взорвало всю, как будто в какие-то миры другие бросило. Мы потом до четырёх утра не спали. Да какой уж сон в ту ночь. Не поверите, я этот день отмечала как второй день рождения — ведь как женщина я тогда родилась. И так странно... — Она помедлила. — Наш дом выходил окнами на городскую площадь, а в центре площади стоял памятник Ленину, он и до сих пор там стоит. Так вот, когда Володя заснул, я встала тихонько, как опьяневшая была...

Она замолчала на секунду, вспоминая.

— Да, встала и подошла к окну. Вы только не смейтесь... Мне показалось тогда, что Ленин этот меня поприветствовал, даже поздравил будто. Он стоял там один, на пустынной площади, и я ему в ответ помахала, рассмеялась, как девчонка. И жили мы без нуждения, без всяких этих работ над собой, популярных в сегодняшней психологии. Иногда детей отправляли к бабушкам, вдвоём в доме оставались. И вот, стою я, бельё глажу, пододеяльники встряхиваю, а Володя сидит на диване напротив и смотрит на меня. Серьёзно так смотрит, не как самец, знаете, а вот так... — Она замялась на секунду. — Наверное, Адам так на Еву смотрел до грехопадения. А потом тихо так скажет, как из глубины самой: «Жена моя». И чувствовалось, что это как откровение для него какое-то, к которому никак он не мог привыкнуть. И тихий сидит весь, преображённый.

— А кем он работал, Володя ваш? — решила я спросить. Мне всегда нужно вписать человека в окружающий мир, добавить какие-то уточнения, детали, чтобы схватить образ.

— Он мебель делал. Сначала на фабрике, а потом сам, своими руками. У него в гараже мастерская была, он и чинил, и ремонтировал, и новую мастерил. После перестройки это нас и спасало. Но мы небогато жили. Хотя своё джакузи у нас имелось, — она опять по-молодому рассмеялась. — Дача у нас маленькая была, участок шесть соток, ну, как и у всех тогда. И вот, он однажды привёз откуда-то старую побитую ванну. Поставил во дворе под яблоней. Летом вечерами натаскает ведрами подогретой воды, шампунь, какой был в доме, выльет и зовёт: «Галюнь, иди в джакузи посидим». И мы устраивались там вдвоём и смотрели на звёзды. Я так благодарна ему за эти звёзды...

На мгновение я засмотрелась на её потеплевшее лицо и проехала поворот. Пришлось разворачиваться.

— И знаете, — продолжила она, — с первым я жила, детей растила, но чувство такое, что жила всё время с усталым сердцем. А с Володей... С Володей мы за день до его смерти любили друг друга. Прямо в больнице. У него была отдельная палата. Ужин разнесли. Он поел немного, а потом отодвинул тарелку, помню, и говорит: «Галюнь, лежи со мной, а». И мы как будто знали что-то, вжались друг в друга, у него озноб был температурный, и мы всё крепче прижимались, чтобы согреться. Молча так лежали, в окно смотрели, а там, в темноте, тени на фонаре метались. А Володя вдруг и говорит: «Галюнь, выключил бы кто этот фонарь, из-за него же звёзд совсем не видно». А на следующий день он умер.

— Так сколько ему было? — переспросила я, помолчав, чтобы как-то проявиться.

— Пятьдесят три ему было. Пятьдесят три. У меня на столике возле кровати его фотография, и я всё обращаюсь к нему, рассказываю обо всём. И в его глазах на фотографии, в них иногда просвечивает что-то живое. Я это точно знаю. Ой, вот он, вот этот центр! Дом вот тот, шестизэтажный, видите?

Она словно очнулась. И я вместе с ней.

— Вот здесь остановите, пожалуйста. Спасибо вам!

Перед выходом она на секунду обернулась:

— Вы только не подумайте, что мы лишь сексом и занимались всю жизнь. Мы любили друг друга, очень любили.

Какое-то время я сидела ошеломлённая, не в силах тронуться с места. Сбивчивая траектория чужой памяти, валом хлынувшие на меня воспоминания. На несколько минут в машине вспыхнула чужая жизнь, границы, простенки которой на миг оказались проницаемыми, прозрачными, и я вошла в неё почти физически, со всеми запахами, звуками, интонациями. Прожила и тот суровый зимний день, когда её Володя не попал на самолёт, а в ней впервые проснулась женская, стихийная, первородная сила. И изумлённый Ленин под окнами с заледеневшей головой, может, и не зря простоял на этом месте все эти годы, не отводя глаз от их дома. Под утро, на рассвете только он и увидел маленькую бессонную женщину в окне тёмной спальни, светящуюся таким счастьем, будто заново родилась.

А вот они с Володей, никогда мною не виденным, но уже в чём-то ставшим родным, лежат, зачарованные ночной космической бездной, и звёзды, особые, крупные, какие бывают в деревьях летом, со своей высоты задерживают удивлённый взгляд золотых своих глаз, глядя на этих двух человек, обнявшихся в импровизированном джакузи.

Ну и тот последний вечер. Запах больничной палаты — к нему всегда подмешаны тревожные нотки лекарств, казённой еды и увядающих цветов — запах смирения. И свет фонаря, вокруг которого вестницы с выси, снежинки, уже завели безумную пляску смерти.

Женщина почти скрылась за углом дома, а я всё сидела в машине. И этот осенний сумрачный день, уже кутающийся в темноту, теперь казался мне до предела значимым и наполненным, открывшим мне какую-то важную тайну о том, как все мы связаны одной пуповиной на этой земле: и я, и Галюня, и Володя, которого уже лет двадцать как нет на свете, и даже Ленин бронзовый на пустынной зимней площади в предрассветном спящем городе. А ещё подумалось, что такой эликсир молодости на серийное производство не поставит.

Мария Затонская

ВЫХОДНЫЕ ЖИЗНИ

* * *

где бы я до этого ни была
я всегда прихожу сюда как будто нигде не была
табличка птицы сарова беркут дятел и утка
снова и снова дрожат солнечные паутинки
пришивающие куст к кусту

я молчу но они знают всё о моём пути
о прошлом из которого выхода не найти
о будущем ещё намечающемся впереди
уже обступает
глаза закроешь окажешься где
растерянно пялящийся в темноте
обязанный собственным временем
чужим сном
кто там

старики плетутся мужик с собакой прошёл
листья мягкие на дорожке, шишки тугие ещё
если бы так можно было
чтоб просто и хорошо
мушек считать на лавочке и прочая ерунда
вывалился из времени и не ходи туда

* * *

это так кажется —
ничем не наполнен ландшафт
но в глубине его вьюжные груши висят
хрусткая мякоть блестящая на острие
вышка электростанции тонущая в тумане
так они все
умещаются в окне

Затонская Мария Романовна — поэт. Родилась в 1991 году в г. Сарове. Окончила Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина в Москве. Публиковалась в журналах «Арион», «Новый мир», «Звезда», «Знамя» и др. Автор трёх книг стихов, среди них «Люди идут по облаку» (М., 2023). Главный редактор журнала «Пролиткульт». Победительница Национальной премии «Русские рифмы» (2019) и Международной литературной премии им. Иннокентия Анненского (2021). Живёт в г. Сарове.

глупые глупости
несуществующие штучки
больше и больше будто бы зарабатываешь очки
будто и в самом деле исчезнешь если не разглядишь

порхающие чёрточки человечков
над ними космические сачки

* * *

совершенно неясно откуда берётся
и дорога, и поле с обеих её сторон
ночной автобус навстречу
надвигается как пожар
остальное темно так и едешь долгое время

долгое время понедельника вторника или
любое другое кажется точно таким
а захочешь пройтись какие-то сумки в проходе
а захочешь поговорить требуют тишины

спать
спать

может проснусь куда-то
если на той стороне уже рассвело
люди двигаются медленные как даты
как поле которое уже замело

* * *

забыть тебя кажется
величайшим благом на свете
всё вроде бы как прежде
но тебя вырезали из памяти
из прошлого будущего
и я никогда не пойму
почему чувствую так

будто не хватает какой-то важной детали
всё выстраивается не до конца
живу в кривом доме не снимая кривого лица
во дворе кривые пьяницы
привыкаю
к ощущению кривизны

иногда только вспомнятся
линии длинные как самолётный след
откуда я это знаю

кого здесь нет

* * *

ты удаляешься с той стороны сна
переодеваешь лицо отходишь от дерева и идёшь домой
так наступает весна и мирное время
выходные жизни — нужно дышать легко

а здесь я плыву по льду и растягивая пространство
медленные конькобежцы движутся на острие звука
по музыке и зима проходящая как разлука
успевает до окончания сеанса

* * *

что у тебя есть кроме этого
собственного отражения
которое привирает
глаза в которых тоска
рука поправляющая причёску
мне же так хорошо мне так кажется
что же тебе всё кажется
почему ты никак
не совпадёшь со мной

* * *

здесь было что-то важное
ровно на этом месте
ещё доносится запах
привкус ещё остаётся
тёплые яблоки из чужого сада
иногда во сне приходит
и долго ещё так ходит
уже бестелесное безымянное
такое какое-то понятие
чёрт его разберёт
был какой-то —
стоял в снегу
подойди говорю говорит не могу
сначала оставались одни только губы
на них нарастали сугробы
их расчищали
мало помалу
расширялись дали

какое большое место
неужели это всё мне

Тимур Максютов

Два рассказа

Орлик

В тот год зима пришла жестокая. Столбик термометра скукожился кровавой каплей в самом низу, солнце укуталось серой хмарью и дрожало. Обь замёрзла, новосибирцы могли ходить друг к другу в гости без моста, если бы набрались сил.

Мама одевала меня долго и тщательно, столько на мне было всего, от дурацких колготок до платка под меховой шапкой с завязками, что я походил на капусту: много-много слоёв одежды, и где-то глубоко внутри ребёнок-кочерыжка.

Новенькие валенки не гнулись, заставляя передвигаться рывками; на мир я смотрел сквозь узкую смотровую щель, окантованную серебристым инеем. Но ворону увидел. Она сидела на покрытой изморозью ветке, совершенно остекленевшая от пятидесятиградусного мороза. Ворона походила на ёлочную игрушку: такая же неподвижная, и глаза уже неживые. А потом взяла и упала.

Ворону мы с мамой подобрали и понесли в подъезд отогреться. Дверь не открывалась, примёрзла. Мама велела подержать ворону, пока дёргала ручку; ворона была тяжёлая и вся рассыпалась на льдинки-перья, но я справился; дверь оторвалась с треском, словно навсегда сроднилась с косяком. Потом спасённая ворона ходила по общежитию, строго осматривала кухню и хрипло ворчала на жильцов (каркать пока не могла), словно ревизор от профкома.

Мама дверь открыла, а Лиза не смогла. Она выскочила за хлебом на минуточку, накинув пальто на плечи, дверь опять примёрзла; Лиза быстро обессилела, выронила хлеб и села на крыльцо, слёзы стали льдинками. Её спасли вернувшиеся со смены соседи, привели на кухню, поставили в таз и принялись поливать водой из чайника; примёрзшие чулки отрывались розовыми полосками вместе с кожей.

Я закричал, заплакал. Лиза теперь умрёт, а ведь я любил её, она была весёлая и пела мне песню про сотню юных бойцов из будённовских войск, храбрых красных кавалеристов. Убежал в нашу комнату, забился под кровать и остекленел, как та ворона. Меня нашли, обняли, пытались накормить печеньем, что-то спрашивали, но я не хотел ни с кем разговаривать в мире, где умирают добрые и красивые Лизы.

Максютов Тимур Ясавеевич родился в Ленинграде в 1965 году. Вырос в Таллине. Окончил высшее военное училище (1986), служил в Забайкалье, на Урале, в Монголии. Капитан запаса. Публиковался в журналах «Дружба народов» и «Новый мир». Автор книг «Ограниченный контингент» (2013), «Офицерская баллада» (2016), «Спасти космонавта», «Нашествие» (2017) и др. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 5.

И даже появление улыбающейся потрескавшимися губами живой Лизы не исправило ситуацию.

Мир скукожился, словно замёрз.

* * *

Тогда папа принёс Орлика. То есть ещё не Орлика.

Папа долго шуршал бумагой, снимая покровы, бумаги было много, целая серая гора. Что-то прикручивал отвёрткой. Наконец сказал «готово» и поставил его посреди комнаты.

— Масти гнедой, — непонятно сказал папа. — Красавец.

— Значит, будет Гнедич, — ещё непонятнее сказала мама. — В честь переводчика «Илиады».

— У вас, филологов, узок взгляд, одни древние гомеры на уме. Лучше пусть будет Дау, в честь Льва Давидовича.

— Трощкого?!

— Вот ещё, — фыркнул папа. — Ландау! Слышишь: «дау-дау» — это же как копыта стучат.

Я, наконец, догадался, что они придумывают имя. Подошёл. У него были чёрные густые грива и хвост, а всё остальное коричневое. Сияющее, заманчивое, праздничное, как шоколадка.

Я заглянул коню в глаза. И увидел. Услышал. Почувствовал.

Как скачут на разведку юные будённовцы, чтобы победить и умереть в последнем бою.

Как колышется морем степной ковыль, злой ветер бьёт в лицо горькой полынью и пороховым дымом, скрипит потёртое седло и звякает жаждающее боя оружие.

Я погладил гриву и взобрался в седло. Я посмотрел на мир, вперёд, туда, где между ушами скакуна видна единственно верная дорога.

— Его зовут Орлик. Это мой конь.

Возражений не было.

* * *

Сабля красная, пластмассовая; красных сабель не бывает, сразу видно, что игрушечная. Зато бинокль чёрный, большой, почти как настоящий. Строишь в него и видишь самый конец длиннющего коридора, где у стенки стоят чудесно пахнущие смолой лыжи и палки с бамбуковыми суставами.

А на груди папин значок «Победителю социалистического соревнования», большой, тяжёлый, словно орден Боевого Красного Знамени. Орлик устало скрипит колёсами, — были у нас сегодня и долгий марш по вражеским тылам, и лихие атаки.

— О, Тимурка прискакал. Возьми конфетку, сладкая. Называется смешно: «А ну-ка, отними».

— Красные командиры конфетки не едят. Лучше чёрного хлеба горбушку.

— Ох, суров! На.

Я давлюсь сухой горбушкой. Конфета была бы слаще, конечно. Но положение обязывает. Решаюсь.

— Лиза, тебе куда не надо? В Красный уголок, например? Садись, я подвезу.

Лиза вздыхает. Наклоняется ко мне, ароматный локон щекочет щёку, у меня перехватывает дыхание и сердце пропускает удар.

— Я уже слишком взрослая для тебя, Тимурка. Да и Орлик твой устал подвиги совершать, не потянете вы меня. Вот, Танюшку покатай.

Танюшке тоже четыре, как и мне. Она толстая, пахнет кашей, одни дурацкие фуклы на уме. Мой револьвер называет пестиком, позорище.

Но Лизе не отказать. Сажаю Танюшку перед седлом и везу на кухню, отгалкиваясь от дощатого пола. Колёсики Орлика надрывно визжат.

* * *

В самолёте я сел у окна. Конфетки перед взлётом раздавала тётянка в синей форме; красивая, конечно, но не Лиза.

Облака громоздились гигантскими сугробами, мы с Орликом пробивались сквозь буран, там, за снеговой стеной, ждали подмоги наши. Мы пробились, и солнце стало наградой.

Потом мы ловили чемоданы, которые катались на бесконечной резиновой ленте. Мама сказала:

— Ужас как много багажа. Как же мы справимся?

Я хотел сказать, что надо достать Орлика и погрузить вещи на него, он сможет, но тут пришёл суровый дядя в фуражке, подхватил все наши чемоданы и потащил. Он шёл не оглядываясь, широкими шагами, а мы бежали следом, мама крепко держала меня за руку, народу вокруг было страсть как много, и все потные, сердитые, сосредоточенные.

Дядя оказался таксистом, говорил мало, со странным акцентом, нараспев.

— Тоомпеа, — сказал дядя. — Вышгород. Наш самок.

«Замок», понял я. Прилип к стеклу и смотрел на серые древние стены, на башни с черепичными крышами. Я попал в сказку про рыцарей, и мы с Орликом не должны были ударить в грязь лицом. Надо будет сделать щит из картонной коробки. Да и меч не помешает: красная сабля не очень подходит для рыцарских поединков.

Потом мама разбирала чемоданы, носила вещи в шкаф. Устала, села на диван и сказала:

— Ну вот и всё. Привыкай, Тимурка, это теперь наш новый дом.

Я заглянул в пустые чемоданы и в шкаф. Два раза. Но не нашёл.

— Чего ты ищешь?

— Орлика, конечно. Не понимаю, куда он делся.

Мама вздохнула. Обняла меня и сказала:

— Понимаешь, сын, он слишком большой. Его бы не взяли в багаж. Он остался в Новосибирске.

Я не поверил. Вырвался из маминых объятий, снова заглянул в чемоданы, шкаф и даже под коврик.

Орлика вправду не было. Нигде.

Я зарыдал. Как можно забрать кучу ненужных вещей и дурацких книг, но не взять друга?!

Мама обняла, говорила что-то; я не слышал, вскочил, принёс тетрадку и карандаш.

— Пиши.

— Что писать, сын?

— Письмо папе. Чтобы срочно приехал и привёз. Папа сильный, большой, ему разрешат взять Орлика в самолёт.

Мама ответила не сразу. Зачем-то достала платочек и промокнула глаза.

— Папа срочно не придет, сын. Он вообще никогда не придет. Он больше с нами не живёт.

Я остекленел. Хотелось забиться под диван и рыдать, но мама заплакала раньше.

Поэтому я принёс воды, сел рядом, гладил её вздрагивающее плечо. Говорил где-то услышанные чужие слова:

— Ничего, ничего. Всё образуется.

А сам подумал: вырасту, поеду в Новосибирск. Отберу у папы Орлика. И не скажу папе ни единого слова.

Только посмотрю ему в глаза.

* * *

Мягко шлёпают копыта Орлика, звякает сбруя. Тучи-разведчики несутся над нами, выглядывают врага; дремлют в колчанах остроносые стрелы, ветер звенит тугой тетивой.

Великая Степь рысью идёт на запад, нет числа нашим туменам, нет преграды могучему натиску. Эй, жители тесных городов! Не спасут ваши каменные стены, не уберегут ваши печальные боги, приколоченные к крестам. Огонь и смерть несём вам! Встаньте на колени, подчинитесь стальному натиску, покоритесь воле Океан-хана! Алга!

Орлик хрипит, роняя пену: нескончаем поход, бесконечны пыльные степные вёрсты...

...Просыпаюсь, сажусь на заскрипевшей койке. Сердце колотится. В кунге жарко, храпят соседи, здоровенные мужики, смертельно уставшие.

Двое суток марша по пустыне, бесконечные вводные посредников из округа. Стрёкот «крокодилов» над головой, натужный рёв дизелей, пыль до неба над бронеколонной. Армейские учения. Мы идём на запад по пустыне Гоби. Заняли рубеж, рыли окопы, двое суток без сна, только коснулся щекой казённой подушки — отрубился.

Отчего проснулся? Будто гнедой Орлик коснулся мягкими губами, дохнул в ухо: «Вставай, друг! Опасность!»

Выбрался из кунга. Часовой дремлет, упёршись лбом в зелёный борт, автомат свешивается никчёмной палкой. Рассвет осторожно трогает розовыми пальцами сереющее небо.

Тихо. Только шуршат камешки под берцем вражеского разведчика.

— Штаб, подъём! Тревога!

Диверсантов повязали. Небритые парни из Сайншандинской роты спецназа ГРУ. Тоже смертельно устали за неделю учений, сдались без особого сопротивления.

— Как ты просёк, старлей? У ребят два штаба на счету, профессионалы, а на нас зубы сломали.

— Мой конь предупредил. Орлик.

— Какой ещё конь?! В отпуск тебе надо.

Я улыбаюсь, смотрю в синее монгольское небо. Где-то звенят подковы: цок-цок-цок.

* * *

Если устал, если вокруг обман и глупость, если годы разочарований навалились на плечи стотонным грузом...

Если кончились силы, кончились остроносые стрелы в колчане, затупилась красная пластмассовая сабля, а желанная красавица отказалась ехать с тобой...

Если друзья отвернулись и даже враги махнули на тебя рукой, — не отчаивайся. Прислушайся. Это ветер звенит, заплетая косы степному ковылю. Это твой настоящий друг, твой конь Орлик скачет к тебе на подмогу.
— Цок-цок-цок!

Часы

1980, март

— Улица Герцена называлась до революции Морской: когда-то, в самом начале истории города, тут селились мастеровые Адмиралтейства. Разумеется, жили небогато; здесь располагались деревянные избышки, огороды. Адмиралтейские держали кур и свиней...

— Хрю-хрю! — радостно захрюкал Серёга Пятс.

И тут же получил шиканье от Чайника, смешки девчонок и удивлённый взгляд экскурсовода. Интеллигентный старичок с седой клиновидной бородкой откашлялся и продолжил:

— Вам, как гостям из морского прибалтийского города, должна быть понятна важность корабелов для всей страны. Увы, вскоре после смерти Петра Великого флот пришёл в расстройство, а улица сгорела при пожаре 1736 года...

Пятс чиркнул спичкой; выкатил в ужасе глаза и изобразил горе погорельцев. Девчонки опять захихикали.

Старичок поморщился, но не сдавался:

— В девятнадцатом веке улица стала одной из самых престижных в городе и имела неофициальное название Бриллиантовая. Здесь находились лучшие, самые дорогие в Санкт-Петербурге магазины: украшений, платья, женского белья...

— О-о-о, — застонал Серёга. И шёпотом спросил у Наташки: — Ты трусы-то надеда?

— Дурак, — сказала Наташка и отодвинулась.

— Пятс, прекрати! — крикнул Чайник. Извинился перед экскурсоводом: — Простите, он у нас клоуном. Продолжайте, пожалуйста.

Серёга повернулся ко мне и заявил:

— Десять копеек давай.

— Чего вдруг?

— На сиги. Три всего осталось.

Серёга говорит тихо, чтобы Чайник не услышал про сигареты. Хлюпает простуженно, прячет длинные руки в карманы замызанной куртки. Мама ему связала манжеты и пришила к рукавам, но надолго не хватило: Серый растёт, и руки торчат бледными ветками.

Мы — поколение акселератов. Мы перерастаем свои куртки, комсомольские собрания и газетные передовицы. Девчонки хихикают и оглядываются на нас с Серёгой: они в мини-юбках, хотя март холодный; грязный ноздреватый снег издыхает, истаивает, но держится.

— Ну? Марат, не тормози.

— Серый, отстань. Я же рубль отдал на портвейн. Нету больше.

— Блин, как стрелять, так все горазды, — злится Серёга. — Пачка «Родопи» тридцать пять копеек. Я что, сын миллионера?

Серый — сын школьной уборщицы. А отца у него отродясь не было.

— «Приму» купи за шестнадцать копеек.

— Сам давись своей «Примой»! — возмущается он.

Чайник всё-таки услышал. Идёт к нам. Снимает толстые очки, пялится близоруко.

— Тагиров, Пятс. Что за шум? Вы мешаєте остальным. Громче экскурсовода выступаете.

— Да кто его слушает, — бурчит Серёга. — Бубнит какую-то ерунду. Николай Первый да Николай Второй. Кому это интересно? Их всех скинули давно, царей-то.

— Вот поэтому у тебя по истории всего лишь «удовлетворительно», Пятс.

— Нафиг мне история? — кипятится Серёга. — Всё равно в путь пойдю. Скорей бы уже.

— Действительно. Скорей бы ты освободил нашу школу от своего присутствия. Ни успеваемости, ни дисциплины. А то с милицией из-за тебя... Это же надо, окна бить в республиканской прокуратуре!

— Да кто бил? Нечаянно попал. Камнем. В кошку кидал и промазал.

— Всё у тебя так, — вздыхает Чайник и водружает очки обратно. — Ни учиться, ни попасть. Кошка чем тебе не угодила?

— А чё она?.. — шмыгает Серёга.

Классный поворачивается ко мне:

— А тебе, Тагиров, должно быть стыдно за товарища. Никчёмный он, вот как ваши папиросы. И даже вредный для общества субъект.

Я вспыхиваю, но молчу. Был бы на месте Чайника сверстник, я бы в морду дал. Мы дружим с Серёгой с первого класса, я всегда за него заступался. Давал списывать домашку, контрольные по математике за него решал. Котлетами откармливал быстрорастущего и постоянно голодного. Когда его мама на две недели попала в больницу «по женским делам», Серёга жил у нас дома. Он мне как брат.

— Идите со мной. Будете стоять рядом и слушать экскурсовода. А потом я тебя, Пятс, индивидуально опрошу: что там застряло в твоей пустой голове. Или, как сквозь дуршлаг, всё вывалилось.

— А чё меня? Чё не Тагирова?

— Он и так всё знает. Тем более единственный из нас ленинградец.

Чайник, он же Чайка Валерий Васильевич, — наш классный руководитель. Привёз на весенние каникулы из Таллина в Ленинград. Сказал: « Это ваша последняя весна вместе. Закончите восьмой — и всё. Разлетитесь: кто в ПТУ, кто в техникум. В девятый класс попадёт только половина. Так что давайте проведём эти три дня так, чтобы запомнить навсегда».

Да уж, не забудем. У Чайника нюх, как у ищейки. В поезде обнаружил нашу заначку и вылил три бутылки портвейна в вагонный сортир. Держал ногу на педали; тёмно-рубиновое вино лилось в грохочущую дыру, смазывая рельсы. Трёх по ноль семьдесят пять надолго хватило. Километров на пять, не меньше. Жители Нарвы, наверно, удивлялись заманчивому запаху с железной дороги.

Старичок тем временем продолжает:

— Обратите внимание на это устройство. Первые в России электрические часы. Установлены на арке Главного штаба по инициативе великого российского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева. Самые точные в Ленинграде; город трёх революций свою жизнь, свой пульс сверяет с ними.

Мы пялимся на циферблат. Часы как часы, на вокзальные похожи.

Минутная стрелка, подумав, прыгает вперёд и показывает четверть.

* * *

Вечером я отпрашиваюсь у Чайника: нужно зайти за посылкой для мамы к её сокурснице по аспирантуре Герцена.

— Час тебе, Тагиров. Тут близко, туда и обратно.

— А можно мне с ним? — встречает Серёга. — Вдруг посылка тяжёлая? Не дотащит.

— Нельзя. Нет тебе доверия, Пятс.

Мы живём в спортзале ленинградской школы. Гулкие и пустые по причине каникул коридоры. Серёга догоняет меня, суёт горсть мелочи и два мятых рубля:

— Вот. Купишь сигареты и две бутылки бормотухи, а лучше три.

— Да тут не хватит.

— Хватит. Своих добавишь.

Тётя Саша живёт на Мойке, за Исаакием. Двор-колодец, небо с гривенник. Захламлённое парадное, воняющее кошками. Лифт жалуется на ревматизм. Скрипит так, будто едет в последний раз.

Тётя смотрит на меня изучающе. Отдаёт папку: внутри толстая истрёпанная пачка листов, бледные буквы едва можно разобрать. Машинописная копия, четвёртая или пятая.

— Только никому не показывай. И сам не читай, рано тебе. «Лолита» Набокова. Он, кстати, родился тут недалеко — на Герцена, сорок семь.

Ещё конфеты «Мишка на Севере», круглый ржаной хлеб.

— Такого нигде не пекут, только в Ленинграде. Дилера скучает по нему. Студентами были: утром купишь, да бутылку кефира. И всё, на день хватало. А со стипендии — в пельменную. — Протягивает конверт: — Едва разыскала. Мама твоя найти не смогла, когда уезжала, расстраивалась сильно. А тут я антресоли разбирала и обнаружила.

— Что там?

— Открой. Это твоё.

Голубая медаль: Ленин указывает путь в светлое будущее. На реверсе надпись: «Родившемуся в Ленинграде. Марат Тагиров». И дата.

Сейчас у меня полно всяких побрякушек. Советских, российских, афганских, монгольских.

Эта лазоревая медаль — самая ценная.

1988, ноябрь

Бронетранспортёр ревёт, карабкаясь на подъём. На броне холодно: снизу промёрзший металл; ветер с заснеженного хребта льётся ледяной волной, забирается под «афганку». По обочинам — рыжие, обгрызенные ржавчиной остовы. За девять лет накопились.

У блокпоста встречают. Столб с самодельными табличками: «до Саратова 3379 км, до Ленинграда 4920 км, до Таллина 5234 км».

Ротный хлопает по плечу:

— Как добрались, Марат?

— Один камаз оставили у мазуты, передний мост накрылся.

— Плохо. Но главное-то взял?

— А как же. В кабине канистра.

— Отлично, старлей! Эй, Таллин! Давай десяток бачей на разгрузку.

Я вздрагиваю:

— Таллин? И на табличке тоже.

— Это сержант у нас. Толковый, хоть и фамилия чухонская.

Я вглядываюсь. Серёгу трудно узнать. Как и меня.

— Марат, братишка! То есть, извините, товарищ гвардии старший лейтенант.

— Да ладно, не выпендривайся.

Буржуйка жарит — не продохнуть. Серёга протягивает кружку, стучает о мою.

— Как там наши, Марат?

— Кто где. Олежка лётчиком, Михо в Баумана. Наташка в «тряпочке», в Ленинграде. У них главное здание на Герцена. Переписываемся.

— А помнишь, в Ленинград ездили в восьмом классе?

— Такое не забыть. Блевал я тогда с этой бормотухи...

— Слабак, — хмыкает Серёга. — А мне вот почему-то часы запали. Помнишь, на Главном штабе? Иногда будто тикают внутри.

— Ага. Потом ещё на «Аврору» пошли...

— Погоди ты с «Авророй». Я, кстати, тогда с Наташкой. Ну, того. В классе пустом, на учительском столе.

Я молчу. Я влюблён в Наташку со второго класса.

Утром мы не попрощались. Он стоял, подняв руку; я отвернулся и сделал вид, что срочно надо дать указания механику.

Серёга не вернулся. Погиб в декабре восемьдесят восьмого, за месяц до вывода полка.

Часовые стрелки протыкают во мне кровящие памятью дыры.

1991, март

Центральный переговорный пункт на Герцена забит под завязку. За стеклянными дверями кабинок кричат, молчат, плачут.

— Нам на три часа, девушка.

— Ещё десять минут, ждите.

Выходим на улицу. Я достаю сигареты, прикуриваю.

Наташка прижимается, смотрит снизу:

— Волнуешься?

— Есть немного.

Минутная стрелка на менделеевских часах перепрыгивает на «без пяти».

— Помнишь Серёгу? — решаюсь я.

— Пятса? Зачем про него?

— Он не вернулся из-за речки.

Она вздрагивает, сереет лицом.

— Да. Конечно, жаль. Но мне страшно от другого: ведь это ты... — у неё перехватывает дыхание, продолжает не сразу, — ты мог не вернуться. Как подумаю — мне страшно становится.

— Вспоминаешь его?

— С чего вдруг? — удивляется Наташка.

— Ну. Всё-таки первый мужчина.

— Чей?

— Твой, разумеется. Он мне рассказывал. Как вы тогда, на каникулах. Здесь, в Ленинграде. На учительском столе.

Она прячет лицо в ладонях. Плачет и смеётся одновременно:

— Марат, он выдумал. Ничего не было и быть не могло. В восьмом классе. Ты вспомни, мы же совсем маленькие были.

Мне становится легко, будто снял набитую разгрузку. Легко и стыдно одновременно.

Минутная стрелка подгоняет: мы спешим в переговорный.

— Таллин, пятая кабина.

— Алло!

— Алло! Николай Анатольевич, это Тагиров. Здравствуйте.

— Привет, Марат. Что случилось?

— Ничего дурного. Я прошу руки вашей дочери.

— Что? Слышно плохо.

Я ору:

— Я прошу руки...

— Что?

— Прошу! Руки! Вашей дочери!

— Тише ты, — шипит Наташка.

Глаза её светятся.

Переполненный улей переговорного на миг перестаёт жужжать.

— Я люблю её, люблю Наташу!

Кто-то начинает хлопать, и через секунду аплодируют все: замороченные операторши за стеклянными перегородками, студенты, пенсионеры. Какой-то брютет в кепке-аэродроме говорит:

— Вах! Уважаю, слушай.

Мы идём на улицу сквозь шпалеры улыбающихся людей.

Словно солисты Мариинского сквозь кордебалет.

2017, май

Мы собираемся на Восстания. Нас сотня тысяч или больше. Колонна выстраивается вслед за виллисами, в которых сидят ветераны. Сидят, потому что идти им трудно.

Людское море колыхнется, поёт, смеётся, смахивает влагу с уголков глаз — ветрено сегодня. Мы трогаемся, вытягиваемся, сворачиваем на Невский.

Динамики выводят: «Это радость со слезами на глазах...»

Портреты плывут над разноцветной толпой. Чёрно-белые лица: молодые, чуть старше, совсем юные; улыбающиеся и строгие, славянские и широкоскулые, женские и мужские.

Наташа несёт портрет своего дедушки, капитан-лейтенанта Краснознамённого Балтийского флота. Я — своего отца, мамы. Сержант Тагир Шайдуллин: медаль «За отвагу» за финскую войну, орден Красной Звезды и медаль «За оборону Ленинграда». Помощник командира взвода лыжного батальона.

Взводных у него сменилось пятеро. Последний, лейтенант Власов, погиб при освобождении Таллина. Дед до Таллина не дошёл: был тяжело ранен под Нарвой.

Мы дошагали до пересечения с Большой Морской. Внучка просится на ручки, устала. Маленькая ещё.

Я сажаю её на плечи, отдаю плакат с портретом прапрадеда. Смотрю вправо.

Часы на арке Главного штаба идут.

И будут идти.

Всегда.

Татьяна Шапошникова

Тот, кто сильнее

Рассказ

Серёга из триста двадцатой квартиры был уверен, что к своим сорока пережил немало, хватит на его долю, так что какие бы бури ни сотрясали его и порядок его вещей, а хоть бы и до основания, всякий раз он находил силы и средства продолжить намеченный кем-то свыше для него путь. Убеждался, что фундамент цел, — и строился заново.

К последней встряске он оказался не готов.

Неприятности начались в конце сентября, когда Костик, сосед сверху, вдруг перестал в предрассветной тишине обрушиваться с кровати на пол. Серёгинский организм, помимо самого Серёги, по многолетней привычке просыпался за мгновение до этого падения, будто от толчка, по неслышному таинственному сигналу. Теперь же напряжённый, взмокший Серёга вслушивался в ночь — повисала неестественная, пугающая тишина, особенно та, что шла из квартиры сверху. Тишина эта никуда не девалась, Серёга ворочался, всё естество его недоумевало, ждало, когда Костик рухнет и можно будет, наконец, уснуть, теперь уже до утра.

А всё дело в том, что рухнула Костикова семья.

— Как в кино! Как в романе! — вращая глазами, восклицала Людмила Зиновьевна, бывшая учительница Костики и Серёги, в прошлом гроза местных школьников, как успевающих, так и не очень, а ныне старушка на пенсии, по четыре раза в день выгуливающая своего пуделя. Несчастный жался к ногам Людмилы Зиновьевны, сразу видно — устал, но Людмила Зиновьевна домой не спешила — не могла оторваться от созерцания подлинной жизни, бурлящей вокруг, а в её однушку уж сколько лет не заглядывающей.

Соседи волнение Людмилы Зиновьевны разделяли. Ещё бы! Столько лет прожить с человеком бок о бок, и вдруг оказывается, что совсем не знать его. Изумлённые, они беспомощно поглядывали друг на друга — не узнавали в Костике Костика. Даже помыслить не могли, что он оказался на такое способен! Незнание это и нервировало,

Шапошникова Татьяна Викторовна — редактор, прозаик. Родилась в Ленинграде. Окончила Северо-Западный институт печати. Автор сборников рассказов «По чёрным листьям», «Последний аргумент» и книги прозы «Багатель». Печаталась в журналах «Звезда», «Урал» и др. Лауреат премии журнала «Звезда» за 2016 год. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 1.

и отрезвляло, и порождало панические слухи одновременно. Люди подолгу шушукались о произошедшем — во дворе, на подъездных лавочках, в магазинах, на кухнях.

На их отдалённой рабочей окраине Рыбацкого все друг друга знали как облупленных, во всяком случае, так казалось Серёге, родившемуся здесь. Четыре школы, три училища, две поликлиники, шайба — бывший универсальный магазин, теперь сборище арендаторов во всех коридорных кишках, как будто мало отдельно стоящих торгующих стекляшек. По две аптеки на каждой улице. МРТ всего организма — скидка семьдесят процентов. «Дом на набережной» — высотка, построенная на месте огромной спортивной площадки его юности. И, конечно же, церковь-новодел, куда без неё! Серёга родился в Рыбацком, жена его Ольга, их родители, Серёга из двести семнадцатой, Людмила Зиновьевна, Валерка из восьмого дома — всех не перечислишь. Это счастье, что теперь у совсем взрослого Серёги — машина. Пока добежишь до метро, сколько раз вынужден будешь поздороваться. Суровый, неразговорчивый Серёга общаться не любил.

Костик, конечно, отчебучил. В ночь, следующую сразу после объявления частичной мобилизации, Костик исчез и на связь не выходил. Как и его мамаша. Однако тишина в квартире сверху беспокоила Серёгу недолго. Скоро там начал кричать ребёнок — орать ночи напролёт. С удивлением и тайным негодованием Серёга узнал, что у Костики, оказывается, «уже трое». А возвращаясь с работы, Серёга стал чуть не каждый вечер обнаруживать на своей кухне Костикову жену Маринку с младенцем на руках. Тяжёлым взглядом Серёга выдавливал Маринку вон, но (неужели?) в соседней комнате, комнате его дочери Польки, продолжали раздаваться беспечные голоса старших Костиковых отпрысков. А когда Ольга, наконец, выпроваживала непрошенных гостей восвояси, то шла с ними и назад не спешила — кто же ещё поможет с новорождённым, пока Маринка сходит в душ?

Если честно, чужие дети Серёгу бесили. Раздосадованный донельзя, Серёга хлопал дверью в гостиной, он называл это «у себя», — там же он обычно укрывался от Ольгиных многочисленных подруг — и уговаривал себя потерпеть: «Уйдут же они когда-нибудь». Но подружки ладно — пришли и ушли. А что касается фактически поселившихся у них чужих детей — тут Серёга был категорически против. Он скрежетал зубами и прибавлял громкость телевизора. Чёрт бы побрал этого Костики! Не мог, что ли, играть в прятки дома: качал бы младенца, бельё развешивал, воду кипятил, картошку чистил! Звонок в дверь — сразу под кровать! А так его, дегенерата, ещё и с работы уволили.

И Серёга отчаянно тосковал по прежнему укладу. Когда он вваливался вечерами, как всегда, после трудового дня и пробок, злющий, издёрганный — в тёплое нутро своей берлоги и на него с воплем бросалась Полька и повисала, — Серёга молча терпел восторги и ласки дочери, никак не отвечая на них, мешающих ему раздеваться, да и нога гудела отчаянно. Он проходил в ванную, потом в кухню, Полька трещала без умолку, пока он ел, жизнь явно налаживалась — и вот он уже отвечал дочке и вступал в разговор, и скоро уже сам что-то бубнил. После ужина послушно шёл за дочкой к ней в комнату, потом к жене, — и всюду за ним с завидной настойчивостью следовал рыжий кот Людвиг, подобранный им четыре года назад на железнодорожных путях, не кот, а собака, честное слово. И да, Серёга приходил в себя. А иногда, глубокими вечерами, когда убаяканная Полька давно спала в своей постели и взрослые смотрели кино на диване с баночкой любимого пива в руке, Серёгу охватывало чувство, которое в романах, что нет-нет да почитывала его жена, называлось, он запомнил, полнотой жизни: он был счастлив.

Теперь же ночами, слыша вопли младенца и растравляя себя, Серёга снова и снова вопрошал кого-то невидимого: доколе?! Естественно, долго это не продлилось, и однажды Серёга перекричал младенца — высказал всё, что он думает: о Костике, о Маринке — и даже о жене своей Ольге. На какое-то время спокойствие восстановилось: Маринка, видимо, стала укачивать младенца подальше от комнаты, в которой Серёга спал. И детей не приводила, — или они толкались в Серёгиной квартире днём, в отсутствие хозяина.

Но тут бабахнуло снова. После двух месяцев отсутствия с выключенной телефонной трубкой Костик вернулся. И теперь Серёгу и Ольгу преследовали крики не только новорождённого, но и его родителей: скандалы сверху не прекращались ни днём, ни ночью, ни во время завтрака, когда невыспавшийся и опаздывающий Серёга метался по кухне и предметы падали у него из рук (нога давала о себе знать уже с утра), и он с руганью шарил по полу в их поиске.

— Убирайся! — вопила Маринка и топала ногами, неистово рыдая.

Младенец заходился криком, и Серёга с Ольгой многозначительно переглядывались.

И снова Маринка торчала на их кухне, проливая слёзы. Ольга учила её уму-разуму. Только вот чему одна дура могла научить другую?

Жена его, Ольга, не отличалась практической сметкой. Она, как это сейчас красиво называется, искала себя. Всю жизнь. Всё время чему-то училась. Результат — бесконечная трата денег и времени. Когда они поженились, она шила и мечтала о карьере дизайнера одежды. Потом посещала вокал. Дальше — курсы риторики. Затем выучилась фотографии, купила профессиональную камеру в кредит, даже не посоветовавшись с мужем. И вроде бы нашла себя: занялась портретной съёмкой. Так нет! Чуть больше года назад связалась с косметикой, распространяемой по каталогу. А это уже была секта, потому что продажа осуществлялась в команде, работа организовывалась среди женщин под видом обучения, совершенствования, девичников, совместных посиделок, дурацких праздников по поводу и без. Серёга запрещал, не давал денег, не отпускал, да только всё без толку.

— Займись ребёнком! — кричал он, когда жене следовало сесть с Полькой за чтение, а вместо этого она, расфуфыренная и наштукатуренная, в «проституточных» серьгах, «выходила в эфир» с телефона. Пару раз он даже эффектно завершил эти «эферы» — врвался в комнату и выхватывал у неё из рук телефон, как он надеялся, на самом интересном месте.

Серёге было стыдно, что его жена продаёт людям косметику. Ладно бы ещё в городе, но в родном Рыбацком, где их и так многие знали, а теперь, благодаря Ольгиным маркетинговым ходам, узнали ещё вот с такой стороны... Серёга гнал от себя противные мысли, но они сами лезли в голову. И он не умел с ними справляться.

Ольга же, как предписывали каноны трансатлантической фирмы, никакой неловкости не испытывала, ведь она помогала людям. Она дарила миру красоту, а всем желающим женщинам — ещё и свободу от мужчин, собственный доход; всё это, по её мнению, вело к пробуждению у прекрасной половины человечества таких утраченных ныне добродетелей, как красота души, отзывчивость и — не показная, а подлинная любовь к людям.

Ну а как же Полька? Серёге не давала покоя худоба дочери и бледность, отдающая голубизной. Жена же, по его мнению, только усугубляла болезни ребёнка. Придумала какую-то аллергию, да не простую, а такую, при которой лечиться надо только у гомеопата (пять тысяч за очный приём, три — по телефону). Серёга слушал

Ольгины мудрёные объяснения, почему ребёнку нельзя дать лекарство, согласно рекламному ролику, помогающее всем и каждому, не понимал, начинал волноваться, стучать кулаком по столешнице, потом хлопать дверью.

Болела Польша каждые три недели. Когда температура у неё переваливала на четвёртые сутки, у Серёги начиналась истерика. В позапрошлый вторник, как только Ольга отвернулась, он добавил сироп ибупрофена ребёнку в чай — и с их порозовевшей сияющей Польшкой тоже можно было бы снимать видео.

Отдушина поджидала Серёгу опять-таки в полумраке гостиной — в компании говорящего табло с баночкой напитка, расставляющего всё по своим местам. По телевизору с некоторых пор гоняли одно и то же: стрельба, карты военных действий, обучение новобранцев, свидетельства убийств гражданского населения, переполненные военные госпитали, оружие, военные заводы. И, конечно, разговоры в кабинетах: переговоры, аналитика, интервью. И, конечно, пышные похороны героев. Серёга уже не умирал к вечеру, а прямиком шёл к экрану, ловил каждое слово, шевелил губами. И однажды ночью волною сделанных открытий его ударило так, что прошибло броню, которой он столько времени защищался от жизни. От взрыва внутри него образовалась бездна, а когда дым рассеялся, он увидел себя, маленького, беспомощного человечка, балансирующим на краю этой бездны. Это был конец.

Теперь он точно знал, что сразу же после новогодних праздников будет объявлена вторая волна мобилизации. Точно знал, что его призовут. Как знал и то, что никуда не побежит и пойдёт, куда скажут. И знал, что будет убит.

Оставались какие-то жалкие несколько недель.

Смерть Серёга знал довольно хорошо. Когда-то ему с ней даже удалось сторговаться.

Её звали Нелька, и она училась в б-классе. Она лежала на продавленной койке, почти всегда под капельницей, укрытая больничным байковым тряпьем и, чтобы не мёрзнуть, ещё какими-то кофтами, и даже полотенцем. Серёга помнил, бутылка стоила двести долларов: месячная зарплата матери — и недельный заработок отца (если бы у него был этот отец, но у Нельки был). Живительная влага, капля за каплей, поступала Нельке прямо в кровь — только Нелька становилась, капля за каплей, всё прозрачнее... Это было его единственное желание — чтобы Нелька умерла мгновенно, во сне. Мальчишка, он день и ночь уверял кого-то неведомого, но всемогущего, что если будет услышан, если ему помогут, то впредь он у того, кто сильнее, больше ничего и никогда не попросит — за всё будет биться сам...

Разборки наверху более Серёгу не волновали. До сна ли ему было? Он раздумывал об ипотеке, тянуть которую ещё предстояло четыре года и четыре месяца. Состояние безденежья упрямо отсылало во времена его юности, к матери, и иной раз у него так что-то сдавливало за грудиной, что он крепко стискивал зубы, чтобы не охнуть. Он отодвигал от своего мысленного взора мать-покойницу, Нельку, заставлял себя сделать глубокий вдох, выдох, и так три раза, как диктовали какие-то умницы его жене, а жена учила его, дальше он осторожно, чтобы не разбудить Ольгу, поворачивался на другой бок — и отчего-то покрывался липким потом. Приходилось дышать снова. И так до утра. До пяти, пока он не забывался в болотистой дрёме то ли видений, то ли снов. А в семь тридцать пикал будильник. Серёга вскакивал, подавленный, растерянный, предчувствуя, что и сегодня на работе свалит дурака. Кое-как завтракал и прислушивался к звукам, доносящимся из детской: Польша кашляла и соплилась, и он кожей чувствовал: жена колеблется — собирать в школу или оставить дома. И Серёга, вступив в сделку с совестью, выносил вердикт: дома. Ничего, первый класс

первое полугодие, считать до десяти сами научим. Жена вздыхала озабоченно, Серёга — с облегчением.

Превысить свою известную ему дозу алкоголя, иными словами, хлопнуть на ночь, он не решался, в противном случае у него непременно начинала ныть его проклятая коленка. А если совсем везло, так на неделю боль заряжала берцовую кость и стопу — настолько, что он забывал про коленку. Кажется, это называлось «подагра». Но разве мог он бюллетенить, когда жена у него дура, а ребёнка одноклассники до сих пор окликают «девочка, а девочка»?!

Снова опускалась ночь — и снова Серёга вертелся на простынях. Сменить работу на ту, которая обеспечила бы ему бронь? Поздно. К тому же, он умеет только то, чем занимался всю жизнь, — обслуживать газовое оборудование. Смыться в какой-нибудь Казахстан или на Кипр, как это сделал, по слухам, Серёга из двести семнадцатой, дружок его закадычный в далёком прошлом? Серёга бессемейный, может себе позволить. Перспектива выживания в краю, где ни слова на родном языке, когда все его мысли в детской с температуращей Полькой, казалась извращением и пугала едва ли не больше, чем гибель.

Дружок его, не разлей вода. Это для дворовых ребят и их родителей он значился «Серёга из двести семнадцатой», а для него с ясельной группы он был Баранос — так ему слышалась и выговаривалась фамилия друга Волостнов. В школьные годы там, в раю за гаражами, на пустыре за железной дорогой — о, сколько благословенных часов они провели там, в затопленном березняке, играя в войнушку! С брызгалками из-под бутылок с болгарским шампунем в руках вместо калашей. Баранос вопил задиристее всех: «За Родину, мужики!» И всегда в их партизанском отряде Баранос был командиром. Помощником командира — Валерка из восьмого дома. Герка Молозёмов, конечно же, ходил в разведку и почти всегда бывал убит. Частенько за их компанией увязывался маленький Костик. Почему-то считалось, что Серёга за ним присматривает. Костику отводилась роль местного населения возле воображаемой избы, у гаражей, но Костик своей роли недопонимал, бестолково возникал то у одной высоты, то у другой в самый разгар стрельбы. «Беги, недоумок!» — кричал Баранос.

Серёга начал брать на работе дни за свой счёт. Ходил с Полькой с утра в аквапарк, по музеям, даже в театр однажды. В городе обязательно кормил дочку всякой запрещённой едой. А потом брал её за руку и вёл дальше по «культурному маршруту», маленькую, худенькую, но вёрткую и цепкую, как мартышка. Вёл, держа за ладошку, спрятанную в варежку, и осторожно прощупывал пальчики, и молча ужасался — какие крохотные всё-таки эти пальчики. Кончался день тем, что они возвращались домой, нагруженные подарками.

— Что это с тобой творится? — наконец тихонько спросила Ольга, встречая однажды их в коридоре после такого загула и помогая дочке раздеться. (И гоняя Людвига, путающегося, как всегда, под ногами. Усталый Серёга мог и поддать ему. Собака, а не кот, честное слово.)

Надо же, заметила — в погоне за американской мечтой.

Серёга так и сказал, как думал:

— Хочу с ребёнком провести время напоследок.

Вот! Вот! Наконец, жена его шлёпнулась с небес на землю, начала соображать, что к чему. Вон как вытаращилась.

— Убьют меня после Нового года на этой войне. — Серёга ещё что-то хотел сказать, но не сумел найти нужных слов и только по-дурацки улыбнулся.

Полька разревелась. Стаскивала рейтузы, прыгая на освобождённой ноге, при этих последних словах замерла, и вдруг веки, брови, нос, щёки — всё мгновенно сделалось красным, припухло, затрепетало, и задрожала на шее большая голубая жилка. Так плачут только дети. А ещё жена его Ольга.

— Да вы чокнулись, что ли, оба! — сердито воскликнула Ольга, подхватила Польку на руки, унесла в комнату, и Серёга услышал оттуда: «Это папа так шутит. Мы вчера кино смотрели. А вы куда сегодня ходили, не в кино, случайно?»

Протрезвевший Серёга (он и правда тяпнул в городе незаметно от Польки) сидел в кухне и слушал, как дочка за стенкой с рёва переходит на всхлипывания, между всхлипываниями рассказывает про коллекцию бабочек из Латинской Америки, которую они сегодня видели, про тыквенное пюре, которое они ели. Ольга хлопочет рядом, виртуозно отвлекая ребёнка, за тыквенное пюре не ругает — и вот уже Полька смеётся над Людвигом, который забрался на верхотуру шведской лесенки, принял стойку и готовился прыгнуть на аквариум с золотыми рыбками. Только аквариум-то уже без крышки второй год (Серёга разбил, когда чистил, да так новую и не купили). И рыбок не четырнадцать, а всего три — шельмец Людвиг прошлой весной всё-таки нырнул. Интересно, помнит ли об этом рыжий негодяй? Помнит, собака: прыгнуть не решается, только урчит на полусогнутых с горящими глазами и водит хвостом из стороны в сторону.

Дальше они с Ольгой сидели в их любимом кафе-ресторане. Расставленные там и сям вертикальные модные обогреватели не спасали от холода, но уходить с застеклённой веранды не хотелось. Господи, как же привык Серёга ко всему этому: к витрине, Неве без гранита, Неве раскованной, вольной, в обрамлении чёрной чавкающей жижи из земли, пожухлой травы и первого снега. Кажется, этот спуск к реке оставался единственным нетронутым властями. Только здесь и дышалось полной грудью.

Дед был предан Рыбацкому беззаветно. Говорил учительно, что это она, красавица Нева, их всех спасла в войну. Уходя навсегда, мучил их: всё просил хлеба «на невской водичке». Они покупали ему чудесные кирпичики в пекарне у метро, а он качал головой и плакал: «Не то». Вон там, где Нева слегка поворачивает, за плотно высаженными тополями, до войны устраивали мостки, и бабка ещё девочкой ходила туда с матерью и сёстрами полоскать бельё — себе и на заказ. Пальцы ныли, руки немели, девчонка плакала, а спину разогнуть лишний раз боялась — вдруг мать увидит, как младшая дочь отлынивает: хлестанёт при всех по лицу тяжёлым полотенцем, стыда не оберётся. И замуж не возьмут, раз лентяйка.

А вместо игрушечного вида церкви-новодела слева от ресторана простирался пустырь. Однажды зимой здесь они с Ольгой сыграли костюмированную свадьбу. Вышли перед изумлённой публикой (впрочем, весьма немногочисленной) вон из того перелеска, ведя лошадь под уздцы, она в белом платье и босиком, он без пиджака. Серёга противился всем нутром, сердился, ворчал, но покорно шёл, проваливаясь в мокрый снег и держась за лошадь, хотя и тогда уже подозревал, кого в тот день охотунали. Впрочем, снимки вышли преотличные и по сей день приносили Ольге заказы, служа рекламой.

— Ну и с чего ты решил, что тебя заберут и именно тебя непременно убьют?

У Серёги руки зачесались грохнуть кулаком о стол. Жена-инопланетянка не понимает. И ипотеку никто не заморозит, несмотря ни на какие обещания. А кто заплатит за его бесполезное тело?!

Он долго подбирал — ночами — слова, предназначенные Ольге, способные выразить хотя бы половину его чувств. Ночами это у него получалось, и довольно складно. Но теперь, когда он сидел напротив неё, он не мог двух слов связать. Чтобы он, Серёга из триста двадцатой, ковырялся в своих болячках и рисовал справки о непригодности? Чтобы он, Серёга из триста двадцатой, подличал и изворачивался в надежде, что пуля попадёт в соседа? Легче самому слохнуть. И вообще: тот, кто сильнее, давно уже присматривался к нему, подбирался ближе, ближе, и вот теперь под видом этой войны явился — за ним.

— За других сказать не могу, но ты останешься жив и здоров, — вдруг произнесла Ольга, и прозвучало это так ясно и спокойно, словно по-другому быть не может.

Он и рассердился, и испытал облегчение одновременно. Набрал воздуха в лёгкие побольше, чтобы попытаться всё-таки объяснить ей, что к чему, но она не позволила:

— Тебя не убьют. Я секрет знаю.

Он посмотрел в её смело распахнутые навстречу ему и жизни глаза, как-то непонятно светящиеся, улыбающиеся, что ли, — почти с отвращением. Нет, объяснять было бесполезно.

Нелька являлась под утро, какой он никогда не видел её при жизни, присаживалась к нему на краешек постели, торжествующая, с лёгкой улыбкой на полнокровных губах, со смешинкой в карих с крапинкой глазах, отчего-то ликующая, и выходило так, что иной, лучший мир, знакомый Серёге лишь понаслышке от чересчур фантазийных творческих личностей, — мир этот так же реален, как сам Серёга и вся его жизнь. Нелька — в наивной тоненькой ситцевой ночнушке в голубой лепесточек и тошнотворным жёлтым пятном почему-то на плече. Нелька — с высушенными бесцветными губами в страшных вертикальных трещинах. Нелька — с неровно обкусанными до мяса ногтями. Почему же, в самом деле, он тогда за неё не боролся? Почему так легко отдал? Почему не верил и тогда, в больничном коридоре, просил у того, кто сильнее, не жизни, а смерти?!

Он резко сел на кровати и неловко свесил ноги — и в ушах сразу же застучало, прямо-таки забухало — оглушительно и неровно. Спасибо, в глазах не потемнело — или в чёрной комнате всё равно не видно?

Жена его, Ольга, то ли всхлинула, то ли всхрапнула, он опасливо покосился на неё, и снова сделалось не по себе. Неужели правда пора к кардиологу? Он не был уже несколько лет, а шумы, обещавшие исчезнуть к двадцати пяти годам, со временем только возрастали.

Ольга ещё раз всхлинула. Совсем не плохая девчонка, ничуть не хуже Нельки, если честно. Как же так случилось, что он женился на ней? Припомнилась встреча после школьного выпуска: двенадцать лет. По-прежнему смешная, неловкая чёлка, румянец во всю щёку, голубые глазки, и смотрят так прямо и бескомпромиссно. И да, за те годы, что они стали взрослыми, она не утратила своей дурацкой, непонятно откуда берущейся жизнерадостности. Зла не хватало, на неё глядя: как её жизнь не обломала! Он знал, что какой-то женатый мужик морочит ей голову уже лет пять или семь. Вот свинья, с какой-то особенной ругательной силой подумалось ему тогда: как же можно так бесчеловечно поступать с человеком! И он позвал Ольгу в кино. Просто так позвал, чтобы хоть как-то отвлечь. А потом пригласил к ним домой. Мама у него была мировая, кого угодно развеселит.

Может, жена его никакая не дура? Как виртуозно она умела утешить перепуганного ребёнка или плачущую у них на кухне какую-нибудь маринку! И с матерью

его поладила замечательно. Вон жена Валерки из восьмого дома — до сих пор встречается со свекровью только на остановке общественного транспорта, и гордится этим! И весь квартал над ней ухахатывается, кроме Валерки. А ежедневная-еженошная рутина, называемая бытом, в котором приходится лавировать между ним, таким вспыльчивым Серёгой, вечно болеющей Полькой, хитроумным Людвигом, черепашкой Аксиомой, рыбками в аквариуме... А в перерывах между завтраками, обедами и ужинами — ретушь фотографий, — и всё это изо дня в день, безо всяких каникул, даже без выходных, и так, чтобы не сорваться (при Польке же нельзя)...

«Я секрет знаю», — сказала она. А в глазах — готовность номер один. И сияют они, эти глаза. Любит она его, что ли? И с любой войны он вернётся, потому что она его не отпустит? Вырвет из лап даже самого сильного? Вот он упустил Нельку, а Ольга его — нет?

Накануне Сочельника, только-только они с Ольгой обсудили ёлку, угощение и подарки, в Серёгином мирке снова произошёл взрыв.

Жена объявила, что у них родится сынок Никита.

— Так что об ипотеке можешь не беспокоиться, — так и сказала она с непередаваемым чувством превосходства, лишаящим дара речи. — Выброси свои глупости из головы и спи спокойно.

Если бы он мог, он бы заплакал: всё-таки жена его безумна.

Она и раньше говорила, и не раз, что, кроме Польки, хочет мальчика Никиту, но ведь не всегда то, что люди хотят, исполняется, и когда им минуло сорок, он полагал, что вопрос этот сам собой отпал. Проклятый основной инстинкт! Сердце ноет, нога отваливается, а вот поди ж ты! Полтора раза в растрёпанных чувствах приласкал жену — и пожалуйста: мать-природа с женщиной обо всём договорились.

В тот вечер под предлогом проверки масла в машине он выскользнул из дома и пошёл к реке.

Глобальное потепление, похоже, сравняло Петербург с Европой. Никакого снега в ночь накануне Сочельника. В резиновых сапогах Серёга по чёрной жиже пробрался на берег ныне незамерзающей реки. А ведь когда-то на ту сторону по льду дорожки протапывали, чтобы не делать крюк до моста. Сейчас перед ним расстилалось чёрное волнующееся месиво в ледяную крошку, Нева, совсем не похожая на альбомную, ну, ту, в центре города, киношную, в камнях, чугунного литья фонарях, несла осколки чьих-то несбывшихся надежд вон из города. А может, и вон из жизни. Серёга ещё раз взгляделся в ближайшую к нему шумевшую тёмную полынью, слабо освещённую растущей луной.

А ведь кто-то наверняка здесь топился и сто лет назад, и двести. Глупость, конечно. Он, Серёга, и не подумает о таком конце. Не может себе позволить. У него Полька, у которой со вчерашнего дня опять кашель. А ещё ему надо установить на аквариум крышку, сделанную на заказ. Вчера притащил. Протиснулся в лифт, навьюченный пакетами, не сразу нажал на нужную кнопку, развернулся к зеркалу — и цветисто выругался. Думал, пудель Людмилы Зиновьевны юркнул в кабину, а это Костик-дегенерат, тоже с сумками в обеих руках, вжался в угол этого самого лифта и смотрит на Серёгу почему-то заискивающе, виновато. Серёга недобро засопел, а Костик вдруг ему улыбнулся — широко и почему-то беспомощно.

Эта дурацкая, извиняющаяся улыбка Костики вызвала совершенно ненужное воспоминание: Герка Молозёмов, уж сколько лет покойный, подходит к маленькому Костику и говорит:

— Мальчик, а мальчик, сделай руки вот так, — и показывает как: ковшиком. Костик простодушно сложил ладошки, демонстрируя свои неправильно выросшие передние зубы, и Герка всыпал в них красные ягоды, которые дома у Серёги находились под строжайшим запретом. Дальше Герка сжал Костику ладони — алый сок закапал на асфальт и на Костику сандалии. «Придурок жизни», — говорила в таких случаях, фыркая и встряхивая медной гривой, Нелька. «Ни ума ни фантазии», — ругался Герка, качал головой и энергично сплёвывал, как взрослый.

От этой беспомощной улыбки у Серёги внутри как будто что-то зашевелилось против воли, и он, по слабости, даже узнав во взрослом мужчине маленького мальчика, готов был простить Костика — на один вечер.

Серёга в который раз, «напоследок», втянул в себя влажный запах реки, в который раз бросил взгляд на могучую стихию, распластанную перед ним, которую люди не хотели замечать, не видели в ней чуда, и оглянулся на горящие жёлтыми огнями клетушки в коробках, которые были средоточием их маленьких вселенных, за которые они судились, дрались, приукрашивали и меняли на клетушки побольше, а потом уже за те судились, и воевали, и впрягались в ипотечное рабство: он, Серёга из триста двадцатой, Серёга из двести семнадцатой, Костик, Людмила Зиновьевна, Валерка из восьмого дома. В этих клетушках хранились их немудрёные секреты, здесь переживали они свои обиды, здесь вынашивали детей, зажигали праздничные свечи, купленные в местном супермаркете, и вынимали из закровов бабушкину посуду...

В этот час почти все окна были освещены. И всё-таки гирлянд и подсвечников, выставленных на подоконники, Серёге показалось, меньше, чем в прошлом году. Интересно, подумалось, сколько миллионов людей в мире под завтрашние куранты у Деда Мороза Для Взрослых будут просить мир во всём мире? Ну, чтобы официальные лица договорились?

В ту ночь к Серёге по очереди навевались все герои этого рассказа, даже Людмила Зиновьевна на шпильках и с халой на голове, и даже (совсем дурацкое, непонятно как сохранившееся и так некстати вынырнувшее на поверхность воспоминание) Костик — маленький беззащитный мальчик на краю «деревни», несмышлёныш в белой рубахе, который, вместо того чтобы бежать, озирается и беззвучно разевает рот. Бойцы вокруг падают, сражённые пулями, а он — нет. Вслед за Костиком Серёге подумалось о ещё одном беззащитном маленьком мальчике, которого звали Никита, и он не сразу осознал, что подушка, на которой лежит, — мокрая, и очень удивился и даже пошевелился, проверяя, не показалось ли. Показалось, наверное.

Но чего Серёга из триста двадцатой квартиры точно не мог знать, так это того, что когда он засыпал, уголки его губ подрагивали: он улыбался. Он улыбался.

Владимир Козлов

Прожорливая почва

Фрагменты чистого поля

[надпись]

Пошли, прожорливая почва,
фрагмент письма на древней глине.
Отколотое многоточье
утрачено, однако длинно.

Пришли письмо, что есть другие,
пришли письмо, что они были,
что умирали, но любили,
что это просто мы забыли.

Пускай суха и фрагментарна,
строка вернёт под уговоры
дым упоений, дух алтарный
и веру, что спасёмся скоро.

[голос]

В букву заходит голос
и начинает петь,
нарушая молчанье поля,
заполняя бесцветную персть

крупными каплями боли,
соков весёлым ручьём,
криком, парящим над полем
расширяющимся кумачом,

а из букв вылупляются твари,
буквы оказались семена,
и заверчивается коварный
план управиться дотемна.

Козлов Владимир Иванович — поэт, прозаик, литературовед. Родился в 1980 году в г. Дятьково Брянской области. Доктор филологических наук. Главный редактор журнала о поэзии «Prosodia». Автор четырех книг стихов. Лауреат премии фонда А.Вознесенского «Парабола» (2017). Живёт в Ростове-на-Дону.

[вышиванье]

Тучное травую сорной,
поле ждёт заботы и труда,
чтобы стало оно плат узорный,
а на нём паслись стада.

Мелкими стежками бисер, жемчуг,
вышиванье, золотая нить,
бугорки мужчин и женщин,
трудно, трудно славить и кормить.

Презирая роскошь, паразитов,
вычистить, покрыть, освободить,
чтоб сама земля была красива,
чтобы захотела мне родить.

[пёс]

Пёс на невидимом поводке,
на благодатном луче
книгу держит в руке,
ходит на задних в плаще.

Пёс рогами по проводам
и не может свернуть в поля,
радуясь не по годам
в них поглядывать издаля.

И ночами пугает лай,
и на холке встаёт шерсть.
Только связи не отбирай,
меняющей всё, что есть.

[абстракция]

Крупные куски явлений
своё присутствие несут
столпами цвета, разделеньем
на там и тут.

Душой размеченное поле.
Но что она в нём — не понять.
Она до формы, тела, пола
и очевидно над.

Идолы следят из камня,
шеи бы не свернуть,
а цветными промеж облаками
замысловатый мерцает путь.

[ночь]

Включаешь ночник —
и он освещает камыш,
игру его мышц,
бег его мыш.

Поезд в ночи идёт,
и из его окна
безбрежности освещена
колеблющаяся тишина.

Погашенные цвета,
луч дрожащий в руке,
проявляя на миг букет,
прозревает объём вдалеке.

[зима]

Пора, пора заворачиваться назад,
в бутоны, в пастушьи сумки,
в стерню, лопухи, прикрывая глаза,
чтобы их не заметили суки.

В голосах пробивается сталь,
стервенеют от них умы,
забирая места, отверзая уста,
объявляя приход зимы.

В голубиную книгу идёт
глубинный, глубинный народ,
закрывает глаза и живёт,
и во сне его зреет плод.

[светильник]

Без иллюзий никак не выйти,
жизни пространство — нора,
и в окошке кресты перекрытий,
лишь на картинке заря.

Везде заминировано, и ошибку
не совершай, глядя на труп:
рвано и перепрошито
поле залпами поутру.

Тупо заглядываешь в холодильник,
в картинку, обратно в окно,
и зажигаешь однажды светильник
фантазии, чтоб не темно.

Ирина Барабанова

Когда Бог смотрит в микроскоп

Невероятно-вероятные истории из жизни землян

Безупречная

Ниночка родилась отличницей. День в день, минута в минуту по прогнозу акушеров, астрологов и даже тётки Любы. Та, как увидела бледную мать Ниночки у почтового ящика в подъезде, так сразу и выдала: срок три недели, девочка, конец января. Разумеется, ей никто не поверил. Это уже потом будущий папаша принёс килограмм овсяного печенья. Позвонил в дверь, смущённо впихнул кулёк в руки соседки и убежал.

Всё сбылось точнее некуда.

Ниночка пришла в новый мир тихо, крикнув для приличия три раза и сразу же виновато умолкнув. Не дай бог кого побеспокоить. Так хорошие девочки не поступают. Даже если внутри всё горит от больничного воздуха. Даже если боль от перерезанной «на живую» пуповины дикая. И страх умереть от голода и холода. Она будет молчать, терпеть и улыбаться. Иначе может задеть чувства уставшей матери, задёрганных врачей и подать плохой пример другому младенцу.

Ниночка была аккуратной. Никаких каш с фруктовым пюре по ковру, рисунков на обоях, обливаний кипятком и пальцев в розетку. Всё чинно, благородно, без эксцессов.

В школе — лучшая, в институте — первая, на работе... Ох! Коллеги бы с радостью её сожгли и закопали где-нибудь, но кто тогда будет ночевать в офисе, спасая их задницы в конце квартала? Конечно, безотказная и безупречная Ниночка. Она не пьёт, не курит, с чужими мужьями не спит, в барах в нижнем белье не танцует.

Ниночка идеальная жена, мать и вообще невозможно без слёз на это всё смотреть, но куда деваться.

Ниночка никогда не уставала, не жаловалась на проблемы, всех спасала, всем помогала, везде успевала и однажды проснулась в реанимации.

Барабанова Ирина Аркадьевна — журналист, копирайтер, писатель, поэт, историк искусства, сценарист. Родилась в Казани. Окончила Казанский Государственный Университет, учится в магистратуре РГУ — «История зарубежного искусства XV — XX вв.: контексты и интерпретации». Автор книг «Странная девочка, которая не умела как все», «Метафора» и др. Участница проектов АСПИР. Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Ба! Кто это у нас тут разлётся без дела и ещё заботы требует?! Нина, ты, што ль?

— Тётя Люба? Здравствуйте, извините, — прошептала Ниночка пересохшими губами и зажмурилась.

— Я-я! Уже лет пять в этой забегаловке для трупов швабрами заведу.

— Что?

— Санитарка я здесь. Карма-йогой занимаюсь, видишь? Чистоту навожу. Памперсы меняю, полы мою, и там по мелочи всякое. Чего разлеглась?

— Не знаю, простите...

— Эх, девочка! Доигралась. Воды попьёшь? Давай немножко? Ага, глотай-глотай. Да не торопись. Хорошо, молодец.

Ниночка подавилась, раскашлялась и заплакала. Стыд душил её. Она не могла встать. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Господи, неудобно-то как.

— Что со мной, тёть Люб? Как я тут оказалась?

— Инсульт. Нашла тебя на лестнице в подъезде. Хорошо, что не убила. Доктора говорят, удачно упала, ничего себе не разбила. Сумки твои Генке отдала. Он пьян, как обычно. Муж твой грёбаный с диваном обручённый.

— Дети?

— Участковый приходил. Сашке колония грозит, если за ум не возьмётся. А Ольку я к себе пока взяла. Аллергия у неё жуткая по всему телу. Чешется бедный ребёнок. Займусь этим, свожу к своему гомеопату.

— Деньги...

— Потом, лежи молча. Сейчас сорочку тебе поменяю. Ты тут уже две недели, знаешь?

Нина не ответила. Не могла. Провалилась в небытие. Ей снилось, что она горит в печи, а выйти не может. Голос хриплый кричит: «Выходи!»

А она упирается. Ей кажется, что она всё правильно делает, что так надо: терпеть... молчать... и ненавидеть...

СЕБЯ!

За что?

Огонь превратился в чёрную смоляную лаву. Она почувствовала, что злость, гнев раздрают её сердце, а выхода им нет и быть не может. Это плохо. Она не должна. Пусть погибнет, но никто об этом не узнает.

Никогда. Она хорошая... она справится.

— Нин, ты как?

Муж смотрел напряжённо и, что невероятно, трезвыми глазами. Он был выбрит, чисто одет и даже пах едой, а не водкой.

— Я работу нашёл. Сашку в школу вернул. Олька пока у соседки, но так сейчас лучше.

— Вы без меня справились?

— Конечно. Всё путем.

— А почему со мной не справлялись?

— Не хотели разочаровывать. Ты же у нас такая вся правильная, сильная, безупречная. Ну, а я говно. Слабак и алкоголик. Плохо мне, но выхода не вижу. А ты была счастлива?

— Нет.

— Тогда зачем это всё?

— Не знаю. Мне казалось, что так надо: постараться, потерпеть, и всё получится.

— Дотерпелась.

Гена покормил Нину. Поменял грязные вещи на чистые и ушёл.

Вечером на смену заступила тётка Люба. Поделилась новостями.

Ольке легче. Она перестала чесаться. Сашка принёс первую в жизни пятёрку. Гена, наконец, починил всю сантехнику в квартире.

В то время как жизнь Нины рушилась, вокруг всё как будто оживало и восстанавливалось.

Что она делала не так? Почему?

— Когда мы безжалостны к себе, то жестоки по отношению к другим. — Тётка Люба поправила Нине одеяло.

— Никогда об этом не думала. Мне казалось, что я должна быть комфортной и удобной, тогда всем будет хорошо со мной. Заботиться о других в первую очередь. Не быть эгоисткой.

— От осинки не родятся апельсинки. Страдание творит только страдание, боль отражает боль, и только радость умножает радость. Измучила ты себя, девочка.

— Да нет. Хотела как лучше.

Из больницы Нина вышла через два месяца. Ей очень повезло. На своих ногах. Речь немного притормаживала, но это её не пугало.

Дома было чисто. Гена пожарил картошки. Дети закинули больничные вещи в стиральную машинку. Позвали соседку. Отметили возвращение морсом из клюквы.

Утром Нина приготовила на всех завтрак и тихо ушла... В кино. Одна. Присела за столик в кафе. Заказала капучино с ароматной пенкой. Закрывает глаза от удовольствия, развернув бледное лицо к солнцу, подпевая французскому шансонье знакомую песню...

И опоздала на сеанс! Как двоечница! Господи! Ну, как так?

Зато счастливая и с кремом от пирожного на щеках.

Мелочи жизни

У Софьи Михайловны был сложный характер. Многие бы сказали — невыносимый. Но только не Геннадий Павлович. Он, вопреки общественному мнению — своих родителей, родственников и друзей, — делал всё возможное и невозможное, чтобы усугубить ситуацию.

Отдавал жене зарплату, беззаветно выполнял все её мелкие и даже крупные поручения. На премию покупал пирожные и гранатовый сок в стеклянных бутылках. Для неё. Прилежно утюжил ей кофточки и ел пересоленный борщ. И, что самое поразительное, — с улыбкой. Без гримас боли и страданий. Без жалоб и упреков. Легко и с удовольствием. Потому что никто не видел, как нежно она чесала ему за ушком и прижимала лохматую голову к роскошной груди. Как утешала и защищала в его собственных глазах от чужих мнений. Как задорно они хихикали под одеялом, рассказывая друг другу анекдоты. Кидались подушками и танцевали голыми танго.

Софья Михайловна страшно раздражала маму Геши (так она ласково называла пропавшего в омуте любви сына, глядя на его детские фото).

Варвара Семёновна даже составила список всех недостатков невестки. Она имела обыкновение зачитывать его только коту Василию. По двум причинам. Во-первых, он древнейший член семьи. Во-вторых, не болтливый. Павлу Иосифовичу такого доверия оказано не было. Потому что супруг и отец «ребёнка» не имел окончательной позиции

относительно выбора сына и постоянно метался в предпочтениях. Один раз даже заступился за Софу вопреки «расстрельным» взглядам жены с дивана.

Геша старался угодить всем. И, казалось, находил в этом счастье.

Дети уже давно оставили их с Софочкой одних и навещали по праздникам и выходным.

Кристина любила мать, но была к ней «несправедлива». Вадим вежлив и предупредителен. Все соблюдали дистанцию и старались, как умели.

Софья Михайловна сетовала на холодность детей и их неблагодарность.

Геннадий Павлович в этот момент бежал за каплями пустырника или валерьянки. А момент такой случался всегда, когда Кристина отказывалась принять советы любящей матери и, упаси боже, применить их в своей жизни. Дочь начинала дерзить, бросать трубку и хлопать дверью. По ситуации. Мать — метать молнии. Геннадий Павлович — их усердно ловить. Молнии, разумеется.

Вадим «жил» в телефоне, поэтому конфликтов не создавал.

Соседи почитали эту пару за идеал. Зинаида Прокофьевна даже приносила варенье и всячески прокладывала себе путь на их семейную кухню. Ей хотелось узнать секрет этого поразительного согласия. Но Софья Михайловна предпочитала обсуждать музыку и картины. Геннадий Павлович мог говорить только о футболе и об успехах в огородном искусстве. А кот Василий, как известно, был нем и неподкупен.

Однако раз в год случалось самое страшное. И длилось оно от двух недель до месяца. Супруги ругались, замолкали и переселялись в разные комнаты. Страдали молча. Никому не рассказывали подробностей. Разве что коту Василию.

В эти дни окружающий мир, состоящий из родственников, детей, друзей и соседей, замирал в ожидании. Сердца наполнялись смесью страха, сочувствия и сожаления. Никто больше никого не критиковал. Не хлопал дверью. Не дерзил. Все молились и ждали перемирия.

А когда оно по неведомым причинам однажды наступало, — радовались и собирались на ужин за одним столом.

Однажды в припадке благожелательности Варвара Семёновна даже пошла Софочке новое платье. Торжественно вручила его на глазах обомлевшего кота Василия и даже заплакала от своей чувствительности.

Наступали дни благоденствия. Ненадолго.

И никому не приходило в голову выяснить причину этой странной и регулярно повторяющейся «трагедии». Но предполагали самое ужасное. Кроме кота Василия. Тот знал, что виной всему Гагарин.

По мнению Софьи Михайловны, его похитили инопланетяне. Геннадий Павлович же был уверен, что космонавт погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полёт на самолёте. Так сообщали официальные источники. В этом вопросе позиции супругов были решительно непримиримы. На другие мелочи жизни они внимания не обращали.

Нежный котик

Котик был очень чувствителен. Он любил стихи Мандельштама и кофе из недожаренных зёрен. А ещё — гулять под дождём в плаще матери и напевать Пятую симфонию Малера. Возвращаться в набитую дорогой антикварной мебелью профессорскую квартиру и ставить кассету с фильмом Висконти. Чтобы упиваться эстетикой и болью этой невыносимой лёгкости бытия.

Под подушкой, разумеется, его ждал томик Милана Кундеры. Вечером, в потёртом кресле под мрачным торшером он глотал буквы из великого романа и воображал себе всякое. Котик был счастлив. Но недолго.

— Константин Валерьевич, к вам тут дама одна, ну, девушка, короче, всё рвалась, но я запретил. Я очень уважаю ваш труд в искусстве. Но эта, простите меня, просто вульгарная особа... Не знаю, чего хотела, но тем не менее сообщаю. Поклонница ваша?

— Ко мне? Дама? Очень интересно. А как она выглядела?

— Да не помню уже. Значит, ничего особенного. Вот матушка ваша всегда в белом пальто, в шляпе, которая в дверь не проходила. С достоинством была дама. В одной руке — кошечка, в другой — ридикуль. Но, главное, аромат какой! Аромат на всю парадную. Ох! Женщина была настоящая. Царствие ей небесное. Упокой, Господи, душу...

— Хватит, Семёныч, давай ближе к делу. Она имя своё сказала?

— Нет! Говорила, что не знает, в какой квартире вы живёте, но ей надо передать вам что-то важное. И шапку такая сняла, а там никакой причёски, — сплошной хаос и стихия. Такая бессовестная, я вам скажу. Платье даже до колен не доходит, ничего не прикрывает. И чёрные сапоги, как у водолаза.

— Симпатичная хоть?

— Дааааа... Глазища вот такие, как у Бурёнки. Губы красные-красные, как у гуся лапы. Я аж вспотел, Константин Ва...

— Н-да, девушка-то вроде и ничего себе, а ты, злодей, не пустил. Жаль, очень жаль.

— По инструкции. Если номера квартиры не знает и предупреждения от вас не было, то извиняйте. Мало ли кто тут по Москве шастает. А вдруг разбойница она или аферистка.

— Ну да. Твоя правда в этом тоже есть.

Тут Котик (как называла его мама в детские годы) подкинул трость и ушёл, насвистывая уже что-то из Битлз. Кто эта странная незнакомка? Зачем он ей понадобился? Непонятно, но приятно. Что впервые со смерти матери им кто-то интересуется. Ах, как порой такие приятные неожиданности настроение поднимают! Аж подбрасывает! Даже голова кружится. Немного. Как весной.

Он подошёл к витрине и посмотрел на себя. А издалека вроде ничего. Лысоват? Да. Полноват? Ну, а как иначе? Не Алэн Делон, но человек. Мужчина, в конце концов. В самом расцвете, можно сказать. Из вредных привычек только Томас Манн. Он его по третьему разу перечитывает. Никогда вниманием женского пола отмечен не был, а тут такое.

Хотя нет, было, было однажды. Ещё в университете одна блондинка к нему подбивалась. Он даже к ней проникся, но Маман заподозрила её в корысти и посягательстве на благородную фамилию. Котик был вынужден проявить холодность и недоверчивость. Она всё быстро поняла и вышла замуж за его друга. Тот фамилией особо не дорожил.

Потом Константин Валерьевич защитился и остался преподавать в родной Alma Mater. А барышня та троих Толику родила и ушла к другому.

Было, что на кафедре к Котику приставала Зинаида Альбертовна. Женщина харизматичная, с таким рельефом ниже спины, что не каждый альпинист рискнёт покорить. Дело было после защиты дипломов. И водки. Он не долго отбивался. Сдался после второго стакана. Был лишён девственности грубо и без церемоний. А потом такое началось, что слава Богу, Маман уже никогда не узнаёт. Милый, чистый и наивный Котик превратился в наглого, развратного и циничного КОТА. Ой, простите, Константина Валерьевича.

Студентки трепетали. Декан дважды пытался с ним объясниться. Вопреки всему Константин вляпался в историю: сделал ребёнка третьекурснице, испугался жениться и дал денег на аборт. Был скандал. Маман его выгораживала. Приобрела сердечный приступ. Дело кончилось больницей. Котик выздоровел, Маман похоронили, домработница уволилась. Наступило долгое-долгое непонятно что. Наверное, равновесие.

Константин Валерьевич преподавал, новая домработница тушила капусту, Малер изливался через новые колонки. Бурная молодость закончилась.

И вот девушка в мини-юбке, в ботфортах и без причёски. Кто она? Что хотела?

Котик не спал три ночи. На четвёртое утро дал наказ консьержу: «Никому не отказывать». Семёныч был против, но покорился.

И в самую рань, в воскресенье, без пяти двенадцать пополудни, Котик был разбужен нервным и требовательным звонком в дверь. Он скоро натянул бархатный халат, тёплые тапочки с помпонами и поспешил на встречу, шаркая по паркету.

— Кто там?

— Константин Валерьевич, откройте, пожалуйста!

— Вы кто?

— Рита.

— Что вам надо?

— Передать конверт.

Константин открыл, но цепочки не сбросил.

— Давайте!

— Можно мне войти?

— Ладно, только сапоги снимите в коридоре.

— Окей. Я Маргарита Кузнечикова.

— Чем обязан?

— Жизнью.

— Преступление какое?

— Похоже на то. Воды можно?

— Да, конечно. Проходите-проходите. А как вас по отчеству?

Константиновна. Маргарита Константиновна Иванова по матери, Роберт — по отцу. И Кузнечикова теперь по мужу.

— Роберт? Но это же... это же я.

— Да, вы мой отец.

— О! Я? Когда? О...

— Когда мама студенткой была. Вроде третьего курса. Только не надо так потеть и нервничать. Мне от вас ничего не надо. Просто прикольно было посмотреть. Что это за тип такой, которого мама столько лет так любила, что даже замуж не вышла. Н-да, ничего особенного. Плешивый, брюхатый старый чел. Ладно. Вот конверт. Мама просила передать. Она умерла месяц назад. На этом моя миссия окончена. Здравия желаю, гражданин Роберт.

— Но подождите, Маргарита... я... Да что же вы?

— Пока, папаша! Чао!

Котик присел на старинную резную тумбочку. Открыл конверт. Оттуда выпали 20 советских рублей — две красные бумажки, по червонцу каждая. И записка: «Деньги на аборт. Не понадобились. Юля».

Ох!

Котик схватился за грудь с левой стороны. Доковылял до серванта, достал хрустальный графин, налил стопку водки. Выпил. И включил Пугачёву. Чувства так переполняли его нежную душу, что под Малера он бы уже не выжил.

Ольга Сичкарь

АЗИЗА

Рассказ

— Тебя зовут Азиза? Проходи.

Ей открыл сухопарый высокий мужчина, почти старик, с аккуратной седой бородой. Азиза мельком глянула и опустила глаза. Он годился ей в дедушки: за семьдесят, лицо спокойное, в сети морщин. Азиза никогда не была бойкой. В Москве её природная робость удвоилась: говорила мало, смотрела в пол и каждый раз боялась, как поведёт себя клиент.

— Меня звать Николаем Даниловичем.

— Можно в ванную?

— Да-да, вот сюда, — он щёлкнул выключателем.

Но свет можно было не зажигать, он лился в ванную комнату из небольшого оконца сверху. Азиза бывала в таких квартирах с высокими потолками и большими окнами. Эти дома назывались «сталинки». Снаружи здания из светлого кирпича с арками и иногда лепниной впечатляли. А внутри, в квартирах, могло ждать что угодно: где-то ослепляющая роскошь с зеркалами в пол и пёстрыми марокканскими коврами, а где-то унылая ветхость — покосившиеся шкафы и пожелтевшие от времени обои.

Пока Азиза передевалась в ванной комнате, Николай Данилович задумчиво рассматривал её кроссовки — такие маленькие не налезли бы и его тринадцатилетней внучке. Интересно, сколько Азизе лет? Семнадцать? Деятнадцать? По миниатюрным азиаткам не поймёшь. Выглядела она школьницей, с миловидным круглым лицом, широкими бровями и испуганным взглядом чуть раскосых глаз.

Азизе недавно исполнилось двадцать. В её возрасте мать уже родила троих детей и одного из них — мальчика — похоронила. У Азизы была бы уже семья, если бы она осталась в родном Худжанде. Но она поехала в Москву на заработки. Обычное дело для таджикской молодёжи, особенно если ты старший ребёнок в большой семье, папы уже нет, денег тоже. Маме невозможно тянуть эту лямку одной.

В ванной раздался грохот — упал металлический таз. Николай Данилович очнулся и увидел, что Азиза стоит в дверях во всеоружии. В её руках — швабра и ведро с тряпками, голову стягивает ярко-розовая косынка. Шаровары подвёрнуты, а фартук, длинный не по росту, закрывает ноги до щиколоток.

Ольга Сичкарь — журналист, редактор. Родилась в Красноярске в 1980 году. Окончила ВЛК Литературного института им.А.М.Горького. Печаталась в журналах «Звезда», «Знамя» и др. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Где начну убираться? — прошелестела Азиза, стесняясь плохого русского.

— Давай с кухни. Там работы непочатый край.

Он махнул рукой в нужном направлении и, шлёпая тапками, удалился в комнату.

Азиза вот уже год занималась уборкой, но каждый раз, отправляясь по новому адресу, переживала, — вдруг там опасный мужчина? Большой, грубый, нахальный? Как ей, такой маленькой, защитить себя? Месяц назад один на прощанье с богатырским размахом шлёпнул её по попе. Пиво, которое он держал в другой руке, расплескалось по чистейшему полу прихожей. Загоготал, довольный собой. Азиза трясущимися пальцами принялась завязывать шнурки на своих маленьких кроссовках. Схватила сумку и куртку, пулей вылетела к лифту. Наступила на шнурок и растянулась во весь рост.

Это был несчастливый день. Лифт привёз её на двенадцатый этаж вместо первого, и она никак не могла понять, где же выход? А спустившись, оказалась перед консьержкой, злобной, как маленькая собачонка.

— Ты что на двенадцатом этаже делала? Пасифлору с подоконника воровала? Покажь рюкзак!

Брезгливо обшарив сумку, сторожевая консьержка обнаружила только тряпки и бутылки с моющими средствами.

— Нечего лазать по этажам! Раз на пятом убиралась, вышла — и вон из подъезда, чурка! Потом у моих жильцов велосипеды пропадают!

Обычное дело — женщина-анчар, источающая яд. Такие Азизе частенько попадались в Москве. И ей бы уже привыкнуть, но каждый раз обжигало их ненавистью, до слёз.

Двоюродный брат матери Фарух уговаривал Азизу работать в его в фруктовом павильоне на Черёмушинском рынке. Он считал, что, если овощи и сухофрукты будет продавать миловидная девушка, а не этот бесомон¹, его сын, с грязными ногтями, покупателей будет больше. Фарух привёз Азизу на экскурсию, с гордостью показал огромный светлый зал в стиле европейских крытых продуктовых рынков и свой лоток с горами бананов, лимонов, гранатов... Торговля шла бойко. Покупатели спрашивали, чем иранские финики отличаются от израильских, проверяли хурму на жёсткость, оставляя вмятины, возмущались ценами на лимоны. Шум, суэта и разговорчивые покупатели так испугали Азизу, что на уговоры дяди она только мотала головой, закрывая ладонями лицо.

У Николая Данииловича Азиза чувствовала себя спокойно. В кухне она бодро принялась за посуду. Кастрюли, тарелки и стаканы были её друзьями, она гладила их мягкой губкой, погружала в пену и шёпотом разговаривала с ними на таджикском фарси, вставляя нежные узбекские словечки — память от папы.

Азиза навела чистоту в кухне и робко шагнула в комнату. Стены до потолка были увешаны картинами — маленькими, большими и очень большими, почти в её рост. На полу стопками громоздились рисунки без рам. Возле письменного стола, где сидел Николай Даниилович, стоял мольберт. Азиза вспомнила мастерскую отца, где на стенах висели шланги и трансформаторы, тоже от пола до потолка. Папа Азизы за работой всегда пел себе под нос и курил, выпуская дым в разные стороны.

Николай Даниилович работал молча.

— А что значит твоё имя? — спросил, не отрывая глаз от карандаша.

Азиза замерла с тряпкой в руке. Она зашевелила губами, пытаясь подобрать русские слова. И вот сформулировала:

— Это... такая девушка, кого дорого стоит и кого все хотят!

Николай Даниилович вскинул брови, посмотрел на неё большими глазами и, не удержавшись, расхохотался.

¹ Оболтус (*таджик.*).

— Ну и дела! Девушка, кого все хотят! — Он откинулся на стуле, и тот скрипнул, подхихикивая хозяину. — Ох, стар я для таких шуток!

Азиза закрыла круглое лицо руками. Уши стали малиновыми, в тон косынке. Азиза поняла, что сказала что-то непристойное. Но разве она виновата? Русских слов «драгоценная» и «желанная», как переводилось с арабского её имя, в Москве она не выучила. Здесь она узнала другие слова и выражения: «иди отсюда», «что уставилась», «черномазая», «сука», «чурка», «проститутка», «ехай домой, дура»...

— Ну, перестань, ты что! Посмотри на меня, я совсем старик, что смущаться, — стал успокаивать её художник. — Кто ж тебя так назвал, мышонок? — пробормотал он тихо и продолжил рисовать.

Азиза, увидев, что никто над ней больше не смеётся, и даже стул молчит под Николаем Даниловичем, вздохнула и продолжила уборку. Дольше всего она возилась с окном, оно было выше её роста. Николай Данилович то и дело посматривал. Поймав его взгляд, Азиза смущалась, крепче сжимала тряпку и втягивала голову в плечи.

«Может, боится, что я выпаду из окна?» — пришло ей в голову.

На следующей уборке Николай Данилович, вот сюрприз, опять велел ей вымыть окно в комнате. Азиза посмотрела на него с тревогой. Она так плохо это сделала в прошлый раз?

В третье посещение, к радости Азизы, про окно он не вспомнил, зато нужно было протереть стеклянные дверцы большого книжного шкафа. Николай Данилович дружелюбно наблюдал за её работой и даже развернул стул, чтобы лучше видеть. Но Азиза не боялась: амак¹ хороший, не обидит!

Когда Азиза закончила уборку и пошла в ванную переодеться, зазвонил телефон, и у Николая Даниловича начался неприятный, напряжённый разговор. Громко и грозно он повторял в трубку:

— Маша, не делай так! Не вздумай!

Азиза открыла кран, чтобы заглушить звуки чужой ссоры. Но Николай Данилович закричал вдруг так свирепо, что его голос пробился сквозь шум воды:

— Как ты с отцом разговариваешь?!

Азиза пару минут простояла зажмурившись, а потом стала потихоньку заворачивать воду. Убедившись, что за дверью тихо, она мышкой выскользнула в коридор. Николай Данилович тут же позвал её из комнаты уже совсем другим, тихим голосом:

— Азиза!

Он сидел на софе, согнувшись, и прижимал руку к груди, так вцепившись пальцами, будто хотел вырвать себе сердце.

— На столе, там, таблетки, дай две.

Упаковка нитроглицерина лежала на самом виду, Азиза торопливо выдавила две пилюли в протянутую ладонь.

Следующие несколько минут Азиза простояла не шелохнувшись, тоже с прижатой к сердцу рукой. Николай Данилович, увидев, как она испугана, улыбнулся и подмигнул:

— Кажется, на этот раз обойдётся без «скорой». Порядок!

Последнее слово, как волшебное заклинание, вывело Азизу из оцепенения. Она огляделась — правда ведь, какой она навела порядок? Её взгляд, скользя по комнате, упёрся в картину, висящую рядом с софой. Она не могла оторвать глаз от портрета закутанной в сиреневый шарф девушки с сигаретой в руке. Точнее, казалось, девушка с картины не отрывает от неё взгляда, пронзая холодными серыми глазами.

— Это моя младшая, Маша, — чуть слышно сказал художник.

¹ Дядя (*таджик.*)

* * *

Недели две спустя Азиза шла убираться к Николаю Данииловичу и чувствовала прилив радости, будто приглашена в гости. Ей нравился вид из его окон на сталинскую высотку и широкий, забитый машинами проспект; стопки рисунков и эскизов на полу, которые нельзя задевать шваброй, нравился сам Николай Даниилович.

Поднявшись на этаж, Азиза обнаружила, что дверь в квартиру распахнута. Тревожный паучок зашевелил лапками у неё чуть выше пупка. Заглянув в квартиру, она увидела трёх мужчин. Николая Данииловича среди них не было. Мужчины обсуждали перевозку мебели. Старший — округлый мужичок с шарообразной лысиной в обрамлении седых кучерявых волос — причитал:

— Это же его рабочий стул! Как можно, Валера, Олег! Как можно! Если совсем не нужен, то я заберу. А вот, сколько красок, холстов осталось, смотрите!

Наконец, один из тех, что помоложе, хмурый медведь в чёрной водолазке, заметил Азизу.

— Что вам? — устало спросил он.

— Я убираюсь у Николая Данииловича, — пролепетала она.

— Умер Николай Даниилович. Всё! Не у кого убираться, — мрачно изрёк человек в чёрной водолазке и отвернулся.

— Валера, да пусть уберётся девушка, раз пришла. — Мягко возразил пожилой с лысиной. И обратился к ней: — Только обожди, пока мы с вещами разберёмся.

Азиза кивнула. Её посадили на табурет в кухне. Поджав ноги, она смотрела на знакомую мебель, посуду, занавески — и не узнавала. Чужие, поникшие, унылые. Вот жизнь и лишила её маленькой радости — приходиться к Николаю Данииловичу. Она чувствовала, что в её груди, как в раковине, появилось большое круглое отверстие, ведущее в темнеющую пустотой трубу.

Часть предметов была свалена в углу, на выброс, эту гору венчала белая эмалированная кастрюля, пузатая, с полосой из красных ромбов и давно неотмываемой густой желтизной у доньшка. Эта кастрюля помнила ещё молодость художника. В застойные семидесятые он варил в ней закупленную Союзом на нефтяные деньги французскую курятину, в полугодовалые восьмидесятые — тощую воспитанницу подмосковной птицефабрики, в девяностые — исполинские «ножки Буша». В двухтысячных кастрюля вместе с хозяином повидала столько экзотики, что её уже трудно было чем-то удивить. Ньюки? Равиоли? Fruit de la mer? Соба? Чана масала? Что только в ней не подгорало! Теперь, отварив своё, кастрюля вслед за хозяином отправлялась на покой.

К Азизе подошёл лысый толстячок.

— Чтобы не скучать тут, помоги мне картины упаковать.

Азиза кивнула.

— Держи за раму крепко, за холст не хватай.

Дело у них пошло быстро. За работой мужчина качал кудряво-лысой головой и, не в силах переживать молча, всё рассказывал и рассказывал Азизе.

О том, что Николай Даниилович умер пять дней назад — сердце отказало, что похоронили с божьей помощью на Троекуровском. А младшая, Машенька, не приехала провожать: командировка в США, день инвестора, новая работа, нельзя, говорит, отказаться! В МГУ, что ли, сделали из ребёнка карьеристку? Она ему при жизни все нервы истрепала, а он её больше других детей любил, всё Машенька да Машенька. И квартиру оставил Машеньке. А у Машеньки день инвестора, а дня отца нет у неё.

— И так неожиданно, ну что такое! Выставка его открывается. Как же теперь без него выставка?! И как мы все? И как я без него, друг мой Николаша! — он замотал головой и по-настоящему, мокро, не стыдясь своего горя, заплакал.

На прощание кругленький мужчина протянул Азизе какую-то открытку.

— Возьми, дружочек, приглашение на выставку. Открывается в понедельник. Покажешь бумажку — и тебя сразу пустят бесплатно. Сходи обязательно, посмотри, какой наш Николай Даниилович художник был!

* * *

Музей, скрытый от Ленинградского проспекта низкими краснокирпичными домиками, снаружи показался Азизе маленьким и неказистым. Но внутри он вдруг развернулся вглубь и вширь. Полным-полно народу, яркий свет, дуб и мрамор, дорогой лифт с зеркалами, запах кофе и булочек с корицей.

Азиза идти на выставку боялась, но всё же решилась. Ей хотелось ещё раз как будто побывать в гостях у Николая Данииловича, попрощаться с ним.

Первое, что она увидела в огромном зале, — большой портрет художника с траурной лентой и цветами. На фото он был моложе, чем Азиза его знала, а глаза более строгие. На портрете он был похож на Хемингуэя, говорили люди, стоявшие рядом, и Азиза пожалела, что не знает, кто это.

Николай Даниилович был плодовит и талантлив. Азиза ходила от одной картины к другой, удивляясь, как ярко и благородно они выглядят, как много света направлено на них и как задумчиво-почтительно, с лёгкими улыбками рассматривают их москвичи. В ней вспыхнул огонёк гордости, что она была причастна к его жизни, что он шутил с ней, пил чай из чашки с городецкими петухами, которую она перед тем усердно мыла и насухо вытирала вафельным полотенцем.

Сейчас она смогла разглядеть его картины гораздо лучше, чем тогда, в полутёмной комнате, и они показались ей сказочно-прекрасными. Азиза вспомнила, как, приехав в Москву, попала на Красную площадь. Там у неё закружилась голова от восторга: то, что раньше она сотни раз видела в книжках и по телевизору, теперь окружало её, яркое, огромное, настоящее. Когда начали бить куранты, она расплакалась. Сейчас в музее она испытала то же чувство, почти влюблённость, и у неё навернулись слёзы.

Вдруг Азиза замерла: на картине перед ней была пузатая кастрюля, наполненная яблоками. Азиза моментально узнала её, — с округлыми боками, украшенными красными ромбами. Неужели это та самая кастрюля, которую она безо всякого уважения драила металлической мочалкой? Та несчастная кастрюля, которую новые распорядители квартиры отправили на помойку вместе с грудой старых вещей? Это она — герой картины, которой любуются, которая будет висеть в галерее или чьей-то коллекции через сто лет, когда всех нас уже не будет... У Азизы заныло сердце при мысли, что эта кастрюля отправилась на свалку, а она её не спасла.

У следующей картины, висевшей чуть особняком, стоял народ и шёл оживлённый разговор. Азиза встала рядом с нарядной немолодой парой, надеясь услышать что-нибудь интересное.

— Эта — из последних. Смотри, Светик, как поменялась манера, — бодро говорил мужчина в очках элегантной даме с ярко накрашенным ртом. — Уж не соцреализм ли у него тут просвечивает на старости лет?

На картине, большой и наполненной солнцем, Азиза увидела распахнутое окно, обрамлённое нежным молочным тюлем, и девушку в розовой косынке, с круглым лицом и чуть азиатским разрезом глаз, которая, стоя на подоконнике с мечтательной полуулыбкой, мыла стекло. От окна и от девушки исходил свет, картина была будто намагничена солнечными лучами и нежностью. Единственной жёсткой деталью был проступающий вдали холодный, зловещий силуэт сталинской высотки.

Азиза сначала узнала эти тюль и окно, потом ей показалась знакомой розовая косынка на голове девушки, и вдруг ослепляющий световой столб обрушился на неё и пронзил с головы до ног. Несколько мгновений она ничего не видела и не слышала из-за шума в ушах, так, что перестала дышать от захлестнувшей её новой лучезарной реальности.

Сияющая, мечтательная и робкая, с нежной улыбкой, с фартуком ниже колен, пронизанная светом и излучающая свет за пределы картины, — это она стояла на подоконнике и мыла окно под внимательным взглядом Николая Данииловича.

— Смотри, Светик, девушка как с картины сошла, — задумчиво произнёс мужчина, смотря на Азизу поверх очков. — Я говорю супруге, очень вы на эту картину похожи! — обратился он уже к ней самой.

Азиза мягко очнулась, как будто медленно опустилась на землю, и так же легко и мягко ответила, не вспомнив, что нужно стесняться акцента:

— Это я у Николая Данииловича окна мыла.

Она глядела на мужчину и улыбалась. Это проснувшееся у неё внутри солнце улыбалось и смотрело на мир открыто и радостно. Мужчина восторженно всплеснул руками. Он посмотрел на картину, уткнувшись в неё очками, потом на девушку, потом снова на картину:

— Азиза, да? Посмотрите, название картины — «Азиза»! — радовался он своему открытию.

— Можно с вами сфотографироваться, Азиза?

Азиза кивнула, продолжая улыбаться. Не отвела глаз, не смутилась и не втянула голову в плечи.

С Азизой фотографировалась эта пара, потом другие — красивые и модные, пахнущие духами молодые люди, с ней знакомились одни, и вторые, и третьи, какие-то журналисты, и каждый говорил ей что-то приятное. Азиза радостно принимала их внимание, ощущая себя центром этого зала. Казалось, её свет струился так далеко, что достигал башен Кремлёвской стены, а может быть, и самого Худжанда.

Это она — сияющая волшебная девушка на огромной прекрасной картине, которая висит в галерее в центре гигантской холодной Москвы. О ней говорят, её обсуждают, ею любят хорошо одетые, прекрасно образованные, уверенные в себе люди. И она улыбается им с картины лучезарно и тихо, шёпотом. Тем нежным шёпотом, которого не хватает громкой, грубой, расчётливой, чёрствой, железной Москве.

В сумерках Азиза шла к метро мимо Белорусского вокзала, чтобы затем долго-долго по темноте ехать на дальнюю окраину. Там, в крошечной комнате, она живёт с тремя женщинами, так же работающими с утра до вечера без выходных. Теперь она шла легко и уверенно. Москва больше не страшила её. Раньше город напоминал ей грозного пса, безжалостного монстра, которому ничего не стоит убить или покалечить. А сейчас она чувствовала, что этот пёс признал её, стал послушным и ласковым.

Азиза знала, что будет дальше. Сияние картины сделало прямым и ясным её путь. Она согласится продавать фрукты и овощи в магазинчике Фаруха. Будет сидеть за прилавком, окружённая горами ярких мандаринов, пузатых яблок и ненормально дорогих лимонов. И десятки, сотни людей будут с радостью покупать их, получая в подарок что-то очень важное — её улыбку и её тихий голос. Они будут улыбаться ей в ответ и возвращаться снова и снова. Так же, как бесконечно люди будут приходить любоваться Азизой, нарисованной рукой Николая Данииловича.

А в один прекрасный день к её прилавку подойдёт тот, для кого её улыбка и солнце её души станут самыми дорогими на свете. И в её жизни будет любовь и никах¹, семья и дети. Но даже если этого не случится, — не беда. Ей так светло, словно солнце и луна сияют вместе, и так будет всегда.

¹ Свадьба по законам ислама (араб.).

Антон Ермолин

Что-то новое в глазах, или Сын, отец и маменька

Рассказ

1

Маменька наказывала, чтобы он усердно читал буквы из школьного учебника. И выходило у него не по режиму, а, проще сказать, чёрте знает как, потому засиживался он до поздней ночи. Отцу-рыболову, уважавшему порядок, такое поведение сына в семействе до злости не нравилось.

Отец был не только на деле рыбак — значился на озере через дорогу удачливым седоком над лункой в любой из частей обширной замёрзшей воды, — но и, что называется, умел и сына поймать на живца. Ночью он высматривал, когда тот включит за закрытой дверью настольную лампу для чтения — и тут начиналась ловля.

Рыбак-отец чутко видел даже и через сон, как в комнате сына зажегся свет; проснувшись, он вставал со спальных кроватей и шумным шагом шёл на кухню — вроде как испить воды. Но воды вовсе не пил, а садился за столик и ждал. По отсветам из коридора или же их отсутствию ему было видно, включена настольная лампочка или нет.

Заслышавши громкие шаги, сын обычно загораживал рукой свет и дожидался, пока отец уйдёт на кухню. Потом тушил лампочку и бесшумно нырнул в кровать. И казалось, раз отец проходит мимо, не заходя, значит, света из комнаты не видно. Но проведёшь разве знающего рыбака?

Рыбак-отец идёт обратно в большую комнату, шагом уже менее грозным и шумным, садится на край спальных кроватей и высиживает здесь на живца — пока жёнушка спит. По точности говоря, было вовсе и не на живца; просто рыбаку казалось, что по ловле сына возникает между ними живое и азартное чувство, то есть получается, что возникает между ними жизнь: вот и «на живца».

Антон Ермолин родился в Челябинске. Получил специальность техника-электрика в Челябинском государственном техническом колледже. Окончил филологический факультет Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Работал электриком, продавцом, журналистом, слесарем на оборонном заводе. Печатался в журнале «Урал». Участник проектов АСПИР. Живёт в Челябинске.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Пока отец сидел на кроватях и чутко выжидал, губы его укрупнились и как бы намасливались, посверкивали в темноте, будто бы уже искушивал приготовленную в масле да с лучком рыбу со сковородки. Высиживал так иной раз по часу; и ложился спать, если не клевало. Больше часа сын не тихарился.

Подождав время, сын, может быть, снова зажжёт лампочку и начнёт читать учебники. Они нравились ему — учебники эти; в них был объём и ещё нечто. Дорогая маменька убедила сынулю, что ученье — свет. Вот только умудрялся он не поспевать делать уроки и засиживался над ними до той поздней ночи, когда в мире уже и звуков нет, спят они... На цыпочках, как бы ловко проскальзывая между стенами коридора, рыболов-отец оказывался у двери сыновней комнаты, неслышно опускал вниз дверную ручку и быстро отвёртывал дверь, сматывал, значит, леску на катушку, тянул рыбу, подходил к столу шумными грозными шагами, выключал настольную лампочку и рассказывал превесма убедительно и как бы пережёвывая вкусно приготовленную животинку:

— Нечего барахтаться по ночам, пока люди спят! Ишь ты какой непослушливый взялся! Спать ложись!

Сын испугивался и — нечего делать — ложился в кровать. Отец, вроде того довольный проделанной ловлей, шагал обратно, захлопывал сыновью дверь и уходил к себе в большую комнату. И неспроста он захлопывал дверь: знал он, что так сын имеет соблазн заново зажечь свет. Не зря ведь и маменька научила сынулю закрывать двери, чтобы «папочке не мешать». Но разве проведёшь знающего рыбака?

После такого потрясения удачной ловли сын обычно уже не отваживался зажигать свет; но шанс всё же имел и где-то задним числом его держался. В одном на три случая так и выходило — отваживался. Да только не знал он, что таким образом отец-рыболов даёт ему вид, будто бы ничегошеньки не знает. А знает он всегда. И сейчас, повернувшись в кроватях к любимой жёнушке, всё знал своей никогда не дремлющей спиной.

А когда нужно было прибить рыбку-сына до последнего исхода, отец-рыболов действовал особенно напористо. И в такое время его нос-картошка удлинился, как копьё или же гарпун, заострялся, значит, — и он, резко, бесшумно проскользнув между стенами коридора к комнате сыны, входил охотником, орал благим матом и прибавлял:

— Убью тебя, такой ты гад, а не сын! — и как-то грубо, без обиняков, выключал лампочку.

Сын сидел в оцепенении — оглохшим, пронзённым — и ещё с минуту, как уходил рыболов-отец, не мог подвинуться с места. Потом доходил до кровати и ложился спать обессиленным и убитым.

А иной раз из комнаты вступалась маменька:

— Отстань ты от него! Пускай занимается!

В такие минуты отец-рыболов, будучи избличённым, возвращался к жёнушке и, ложась на спальные кровати, долго ещё ворчал и спорил с ней; но потом успокаивался и спал, ничего не зная, и бог знает как, но мог не замечать до нескольких дней сидения сына по ночам (надо сказать, что сидел всегда он тихо, а вовсе говоря, и без единого звука).

Маменька же не только умела поддерживать в любимом муже любовь к зимней ловле, говоря разные искренние похвалы, кои очень помогали ему рыбачить лучше других товарищей (они таким же образом сидели с удочками над ледяными лунками), но умела также маменька отстранять мужа от ловли сына на живца.

Ненарочно иной раз она вселяла в сынулю своею поддержкою по учебным делам невиданную удаль и храбрость в отношении отца-рыболова. Как-то раз дошло до того, что сын, не особо дождавшись окончательного ухода отца-рыболова в большую комнату, подступил широким размашистым шагом к дверям этой самой комнаты, в которой уже стоял отец, и так хлопнул ею, что тот удивился и смешался в первые мгновения, смолчал; сын же присовокупил такие слова:

— Ложися сам спать, говорю тебе!

Отец-рыболов, однако, пусть и смешавшись, тоже не особенно дождался ухода сына и, открыв двери, вскричал, брызгая слюнями:

— Ложися сам, чёртов сыночка! — и хлопнул дверями обратно.

— Нет, это ты ложися, говорю, твою-та мать! — крикнул сын в коридор.

Рыболов-отец не преминул ответить, заново открыв двери:

— Это ты свою мать... это самое! Дешевле обойдётся! — и хлопнул, и лёг в спальные кровати.

И лёгши, призадумался. Кажется, сам он понял, что хватил лиха, потому, хоть и поспорил для приличия с жёнушкой, поворчал, но более недели совсем не подпускался к сыну, а уж тем более к его ночным сидениям над буквами. Пошмыгивал только смущённо носом-картошкой, замечая свет из его комнаты.

2

Однажды маменьке, рыболова жене, стало плохо под сердцем. Никто поначалу не узнал об этом, потому что было это посреди ночи. Рыболов как-то особенно ворочался во сне на больших кроватях, весь измотался, по всей ширине. А получалось так оттого, что жёнушки не было рядом, как это бывало обычно. Рыболов, понявши, наконец, в чём дело, пошёл её искать по квартире, напрямиком на кухню. Там она и сидела, пила чай в темноте.

— Что это ты?

— В сердце что-то поднывает. Бури, наверное.

И правда, помнил рыболов, днём по радио говорили про некие бури. Он почесал в затылке и сказал ей:

— Надо чего тебе?

— Ничего, наладится, это бури всё.

Успокоившись не то чтобы до конца, но до приличного положения, муж-рыболов вернулся в большую комнату, лёг в кровати. Попереживавши ещё, помаленьку сморился и ушёл в сон.

Сын не занимался буквами, успел освоить их за день, что, надо заметить, бывало не так часто. Пойдя до уборной комнаты, он увидел ужасную по впечатлениям картину: маменька лежала на кухонном полу в некоей неестественной позе. Сынуля не преминул опуститься рядом с ней на колени и проговорил нечто жалобное. Потрогал пульс, как было написано в тех буквах, которые он уже в приличном объёме прочитал и знал. Пульс то ли был, то ли не был, разобрать получалось чёрте знает не пойми как. Он включил свет и увидел, что по рукам и ногам и на шее маменьки имеются мёртвые *трупные пятна*, то есть такие, которые буро-синие, будто бы маменьку колотили до сильного избияния. Сынуля брызнул слезами, снова припал к матери и кричал какие-то сопливые и неразборчивые слова. На крик прибежал отец и в порыве жутки и гнева похулил его:

— Что ты наделал, гад!

Хотя сын и заливался слезами над маменькой, но подействовал решительно, как научился, кстати говоря, не только в буквах, но и, сам того не понимая, нахватавшись отцовского характера, его сноровке и быстроте: он закрыл пальцами *мечевидный отросток* и, не думая, вдарил кулаком другой руки повыше в грудь. И маменька сразу очнулась, поднялась вперёд. Муж-рыболов ахнул от счастья.

Маменька села на полу. Она диким образом рассматривала всё вокруг, вроде того изучая впервые. Остановилась, наконец, на близких людях, сказала нездешним говором:

— Где я была, знали бы вы... Чуть... не утянули!

И тут же побледнела, упала в прежнюю неестественную позу и уже более не поднималась. Как ни бился сын, воспроизводя по заученным и осмысленным буквам, *по всем правилам реанимации*, спасти маменьку не удалось; как и врачам, которых не преминул скорей вызвать отец, пока сын делал *непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот*.

Врачи *констатировали* присутствие в теле смерти.

3

Сидит на кухне ночью. Выжидает, когда появится свет в коридоре, загорится затаённо в комнате сынули. Рыбачит так, будто охотится, — глядит, когда на воде появится характерная рябь.

И вот, появляется едва заметный свет и исчезает через несколько минут. Играется рыба, хочет сынок обхитрить рыбака; тоже некоторый опыт имеет, пусть и наивный. Ещё через несколько минут заново мелькнёт свет и опять канет в никуда. Пробует рыба, опасно или нет...

На третий раз свет из комнаты задерживается на добрых десять минут. Рыболов поднимается и крадётся. Ни звука от рыболова, ни звука и от сынули... И неприметно горит настольная лампочка в комнате; но не проведёшь знающего рыбака. Он скользит между стен, пригнувшись, и губы его укрупняются и лоснятся в полумраке, довольные губы, будто бы чувствует рыболов мясистую вкусную гадину во рту.

И чем ближе к сыновней комнате, тем едва заметно, но всё же ярче становится вокруг от подступающего света. Скользит рыболов меж стенами, и где-то рыба скользит под ночной водой. Кто перескользит: рыба или рыболов, сын или отец?

Кроме прочего, и нос рыболова удлиняется, заостряется копьём; ещё и задорно двигается носопырка, вроде того пригнувшись к обречённой животинке.

И сынишка не промах: сидит за дверью над книгой, под настольной лампочкой, поставив её под тем углом, чтобы меньше света; но не смотрит на буквы, а слушает маленькими зоркими ушками и обнажает свои зубки, готовясь вроде того прикусить добытчика-рыболова за руку, а то и в большую мякоть запястья. Вершится основательное дело: отец хочет сожрать сына, а сын хочет достойно и ощутительно цапнуть отца. И как только потянется тихо-тихо вниз дверная ручка, так сразу потухнет лампочка, и сын за раз окажется в кровати — вроде как он спит.

Заметивши отсутствие света, рыболов так же, как опускал ручку, тихо поднимает её вверх. И на цыпочках ускользает между стен в свою пустую тёмную комнату. Не удаётся лёгкая ловля... Лёгши в кровати, сам того не зная, убирает отец укрупнившиеся губы. Не лоснятся они больше и не радуются. И нос затупляется, возвращается в некрасивую картошку. Глядит в потолок рыболов.

В неписаной темноте глаза его хотят сощуриться, чтобы не впускать так много чёрной густоты, но не слушаются они и глядят во всю широту и глубину в потолок, и черпают в себя колодцем, пьют до дна; да только нет вроде бы никакого дна. Рыбак не выдерживает и в надежде смотрит в коридор. Можно было и сдаться на непоимку, заснуть и попробовать в другой раз изловить мясистую гадину; но не спится рыбаку.

И сыну тоже не спится. Не хотел он больше сидеть над буквами в книге. Хотелось испробовать силы рыбака. Но отчего-то помаленьку и пропадает, и тухнет весь живой азарт. И тогда так же, по подобию рыбака, лежит он и глядит в потолок, не видя ни зги; и черпает, всё никак не доставая до дна.

Не могут уснуть отец и сын. И не могут продолжать взаимную ловлю. Захотелось им другой — отеческой и сыновей — взаимности. Но откуда же ей взяться, если оба порядком упорные, как святые подвижники! Каждый не отступается, глядит в потолок, черпает и черпает, задавливая тяжёлым грузом своё сердце.

Первым не выдержал сын. На то он и рыба. Встаёт и тихонько подходит к своей двери, опускает без звука ручку, открывает дверь с малым шорохом. Слушает он и ждёт не пойми чего; и вот дожидается — скрипнула немного кровать в большой комнате. Зашевелилось сконфуженное тело в той комнате.

— Батя, что же это — умерла маменька; и что же теперь делать?

— Кхмэ, — крикнул оттуда недовольный голос.

— Вот как же, помню: маменька совсем повысохла, когда видели маменьку в гробу. Будто кукла какая. И лицо натянутое, губы сжатые у ней, — сказал сын. — Маменьки нечто и не было, осталась только кукла неживая, труп, — прожалобил сынишка.

— Вот гад какой! — занемог отец. — Вот неимётся! — И заёрзал на кровати тонущим рыбаком. — И меня убивает, что ли? Вот попался сынок!

Рыболов-отец лежал близко к стене, буквально упёршись в неё, на месте жёнушки; чувствовал недремлющей спиной свет из рыбьей комнаты, и глаза его постепенно зажигались чем-то новым. И немного боязно, наверное, было бы подумать стороннему наблюдателю, но в то же время и с надеждой о том, что будет делать дальше рыболов...

«Уйдёшь в литературу поутру»

*Участники Мастерской АСПИР в Мурманске (2024)
на страницах «ДН»*

Дмитрий Бобылев

Ждущим, любимым и прочим

* * *

В парке ночуют олени,
Рыжим листом укрываясь.
Бронза блестит на коленях,
В стылой луне отражаясь.

Ходишь, на лавочку сядешь,
Гость из панельного дома.
Греются лавочки пяди,
Мёрзнет листок на ладони.

Ждущим, любимым и прочим
Холод ползёт под колени.
Звонко дыхание ночи,
Бронзово сердце оленя.

* * *

Куда деваться в этом декабре?
Промокший двор неделю ждёт рассвета.
Не выйти потому, что нет дверей.
Вернее, есть внутри, снаружи — нету.

Бобылев Дмитрий Викторович — родился в 1987 году в г. Серове. Окончил филологический факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. Публикации в журналах «Знамя», «Наш современник», «Нева», «Юность» и др. Автор поэтических сборников «Флажки на карте» (Екатеринбург, 2017), «Улица Бобылева» (СПб, 2023) и книги прозы «Ксякся» (СПб, 2023). Лауреат литературной премии им. Олега Герасимова (2019). Участник литературной резиденции АСПИР на Урале. С 2014 года живёт в Санкт-Петербурге.

Нет переулков с твёрдой мостовой,
 Нет улиц, расступающихся мирно —
 Сплошная хмарь, и город неживой
 Колышется в окне прокисшей ширмой.

Там за окном, понурый, я иду,
 И грустно мне смотреть на путь неверный.
 В такие дни из окон упадут
 Те, кто в пространство за окном поверил.

И лужи тщатся отразить ничто,
 Но вот — какой-то дурень, сапожищем
 Сминая воздух, вылепляет ртом:
 — Я выронил ключи. Пойдём поищем.

Владислав Емельяненко

...где ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СООСНЫ

* * *

В лесах где жизнь и смерть соосны.

Александр Переверзин

в лесах где жизнь и смерть соосны
 о чём-то замолчали сосны
 о чём-то замолчали травы
 и я о чём-то замолчал

и стынет время на пригорке
 и пар идёт из-под земли
 идёт посмертная работа
 листвы

идёт-течёт промеж корней
 гниёт и снова оживает
 и превращается в людей

что бродят хмуро по опушке
 глаза сожмурив с непривычки
 и растворяются по ходу
 и просыпаются листвой

Емельяненко Владислав Павлович — родился в 1999 году в г. Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область). Окончил Кемеровский государственный университет. Публиковался в журналах «Пролиткульт», «Огни Кузбасса», «Бельские просторы». Участник международных Форумов писателей «Липки» и Мастерской АСПИР. Живёт в Санкт-Петербурге.

а там по новой
с непривычки
живут
и жмурятся от солнца
живут
и жмурятся от солнца
и не касаются
земли

* * *

крякает механика часов
и комната становится прудом
а время тиной
по краям квартиры

и в чём-то вязком и похожее на сон
приходит утро
кто его позвал?
и как мертвец всплывает собственное имя
которое
не опознать никак

и сам ты словно так себе жилец
родился как-то заново ни к месту
но имя новое всё так же тесно
и словно смерть — его не пережить

Александр Курапцев

Во времени дыра

* * *

хвойная похъёла калевал
стерви-лярви мурава-трава
дух лесной лосиные рога
ягодный отвар грибной угар
камень камень ты кому стоишь
ты зачем поднять себя велишь

Курапцев Александр Владимирович — родился в 1981 году в г. Дзержинске на Донбассе. Работал грузчиком, кровельщиком, горнорабочим, сторожем, охранником, слесарем-сантехником, официантом, контент-менеджером; в настоящее время — электрогазосварщик на ОАО «РЖД». Пишет стихи, рассказы, песни, выступает как автор-исполнитель. Изданы два поэтических сборника: «Лоскуты» (Донецк, 2011) и «Иван-душа» (СПб., 2024). С 2014 года живёт в Санкт-Петербурге.

и на камень сверху положить
будто после сможешь ты ожить
ночью встретишь белку и лису
ночью хвойно ягодно в лесу
по ночам на каменной горе
бродит в шкуре зверя человек
он волшебный инструмент берёт
песни по-звериному поёт
и от этих песен там и тут
ёлки выше облака растут
реки полноводные текут
камни речи мудрые рекут
мёртвый финн смеётся остяку
лёжа под скалою на боку

* * *

во времени дыра
затягивает в рай
где все мы детвора
бегущая за край
за самый тонкий слой
за зыбкий горизонт
где не хватает слов
и так туманен взор
вот зрелый человек
из фокусов и вер
вотще плетущий вервь
ведущую наверх
вот семя и зерно
заброшенные в ночь
которым всё равно
в каком из топких снов
расти от сель до сель
вбирая ум и тьму
и позабыв про все
зачем и почему
вот всё что есть и нет
в замызганных руках
летающее на свет
грозы и ночника
врываясь и дробясь
через дверной проём
взирая на себя
себя не узнаёт

* * *

где болота стекаются в моря разливанные
где макар не макал и мазай не тусил
светятся лаврики обетованные
яко на земли тако на небеси
туда не доехать на тачке и в бричке
вертолётom не долететь никаким
туда приводят неприехавшие электрички
мечты и одичавшие борщевики
там заспиртованные строители
лепят теплушки из мармелада
одной рукой подать до питера
другой рукой — до ленинграда
там лавры и мавры великолепные
гудят стадионы спортивным понтам
и ловят голкиперы мякиши хлебные
мы все после смерти окажемся там

Алина Митрофанова

Ты слышишь только тишину внутри

* * *

Уйдёшь в литературу поутру
Мечтательной девчонкой угловатой,
Ни стиль письма, ни поведенья стиль,
Ни одеванья стиль, ни раздеванья
Ещё не выработавшей...

Ещё тебя здесь гонят все взашей —
Ну вот ещё одна, поди-поди же
Да прочитай хотя бы книг три сотни,
Потом к нам осторожно постучись,
Осядь в углу, найди к полудню мужа,
С которым до обеда доживёшь.

Митрофанова Алина Валерьевна — родилась в 1992 году в г. Тихвин (Ленинградская область), в детстве жила в близлежащем городке Пикалёво. Окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Работает библиотекарем. Пишет стихи и прозу. Публиковалась в журналах «Нева», «Звезда», «Аврора», «Урал» и др. Автор трёх книг стихотворений. Живёт в Санкт-Петербурге.

И если до обеда не умрёшь,
То дальше близость умножай на книги,
Прогулки вниз по склону до реки,
Рисуй словами, сочиняй грехи
И искупай их теми же словами.
Топись в реке, но лучше не топись,
Твоя всё это будет летопись.

На ужин не иди. Тебя не вспомнят.
Займи себя до самой темноты,
Покуда ты не перейдёшь на «ты»
Со всем, что есть вокруг, живым и мёртвым.

...к полуночи вернёшься, хлопнешь дверью
И свет зажжёшь на первом этаже.
И сядешь в кресло то, что в самом центре,
Тебя пойдут другие выгонять,
Но вдруг посмотрят,
Вдруг тебя увидят,
Заохают:
Ну как ты постарела,
Вес набрала, тоску и нетерпимость,
А ведь могла бы за собой следить,
Вот эти, те в твои, гляди-ка, годы
Бывали очень даже ого-го...
А ты молчишь. Ты их совсем не слышишь,
Ты слышишь только тишину внутри
И чувствуешь,
Что книга получилась.

Александр Эбаноидзе

Дом на горе

Помнится, в ту ночь мне опять не спалось. Я встал и, стараясь не шуметь, вышел на балкон.

Ночь была душная, беззвёздная. Изредка по деревьям пробегал ветерок, точно вздох затаённой печали. Одинокий сверчок, как и я, мучимый бессонницей, грустно выводил свою песенку. Слабенькие минорные тремоло, повторяющиеся с безысходной тоской, сжимали сердце, тревожили воображение, как чей-то безответный сигнал в ночи. Горы сдвинулись к реке. На их угрюмой черноте тут и там сиротливо мерцали огоньки человеческого жилья. Далёкая могучая гряда тоже придвинулась и казалась ступком непроглядной тьмы. Её вершины холодно белели во тьме.

Я стоял на краю балкона, касаясь руками тёплых перил. Подо мной по склону раскинулся виноградник. С пиками покосившихся подпорок, торчавшими из поредевших лоз, он походил на потрёпанное воинство, обступившее старого предводителя. Между домом и виноградником росла смоковница. В прежние годы она вымахивала под крышу, и мы прямо с балкона срывали полопавшиеся от спелости плоды. Теперь смоковница усохла, последние её силы ушли в непомерно разросшиеся листья. Не стало ни слив во дворе, ни черешен: спиленные по старости, они давно смешали свой дым с небом, а пепел — с землёй.

Далеко внизу, в глубине ущелья, из-за горы показался поезд; погода донесла слитный рокот колёс. Поезд прошёл по мосту, отражаясь огоньками в реке, и увёз за собой характерный перестук, долго затихающий в ущелье.

Вот и опять я здесь. Я вернулся.

Когда-то под крышей нашего дома лепились ласточкины гнёзда и слышалась их взволнованная радостная скороговорка. Теперь гнёзд нет. Они отвалились при обновлении черепичной кровли: дому больше ста лет, и источенные матицы и стропила обессилели от ветра, дождя и обильных январских снегов. Я, как мог, способствовал обновлению, через друзей помог раздобыть подходящий материал: старую черепицу сменил алюминиевый шифер. Дом как бы взбодрился; новое перекрытие встало выше прежнего, и теперь дом выглядит чуточку нелепо, как молодой старик в свежей фуражке с высокой тульей.

В дальнем конце двора со стороны кладбища показался маленький изумрудный огонёк; словно бы в растерянности поплутав по просёлочной, помигивая, прошёл сквозь частокол и, облетая на пути деревья, поспешил вниз, к винограднику.

Как печален одинокий светлячок в ночи у родного дома! По преданию в них к нам приходят души усопших...

Я смотрел вслед исчезнувшему во тьме огоньку и думал о тех, кто ушёл из жизни, оставив нам дом и очаг, думал о предках. Что за сила всё чаще приводит меня сюда и сладко гложет сердце? Что схоронено в этих стенах, вобравших в себя умолкнувшие голоса и дым каминов?.. В сущности, я жил здесь не так уж долго: два года в детстве, в войну да наездами всю жизнь. Отчего же так сокровенна наша связь? Есть с десяток домов, где я жил дольше и благополучней, чем здесь. Но все они отслаивались, отделялись от души, стоило в последний раз закрыть за собой дверь — даже счастливейшие из них. Здесь же всё наоборот. С каждым годом мы срастаемся всё нерасторжимее — я и дом на горе с его отзвучавшими голосами и выдохшимися запахами...

* * *

В первый раз меня привезли сюда годовалым младенцем. Разумеется, я ничего не помню о нашей встрече, но рассказы мамы и тётушки Мариам сделали меня её участником.

Тётушка Мариам рассказывала между делом, иначе у неё не получалось — она все время была занята: месила тесто, рубила хворост, ворошила угли в камине и раздувала огонь, пекла кукурузные лепёшки, лушила фасоль, отцеживала сыр, соскребала с лепёшек нежные листочки акации, по каковой причине её рассказ то и дело прерывался, порой даже сворачивал в сторону, но неизменно возвращался в стремя.

— Тебя привезли к нам маленького, после болезни. Сколько помню, тебе как раз год исполнился... Пора хорошая: конец лета, но сбор винограда ещё не скоро... Сузи (так на грузинский лад она произносила имя моей мамы — Сюзанны), Сузи говорила, что какой-то тбилисский доктор чудом спас тебя от скарлатины, буквально с того света вернул. Подписку с родителей твоих взял, дескать, если что, чтоб не привлекали... Но спас, красавчик, дай бог ему спасения от беды и напасти... Распеленали тебя, горемычного, вот здесь вот, на этом столе... Господи! То ли младенец, то ли не знаю что, помесь лягушонка с червячишкой. Ножками сучишь, хнычешь-пузыришься, веки красные... А мой Леван, когда из Тбилиси приезжал, так тебя нахваливал, уж так нахваливал!.. Вот вы все старшим любуетесь (мой брат Игорь был старше на два года), а видели бы вы младшего... Я ему говорю: Лео, сынок, где твои глаза! Разве ж этого лягушонка можно с Игорем равнять? Это же как небо и земля, сынок!.. А он мне на это: подожди, мать, вот выздоровеет, поправится, тогда увидишь... И ведь прав оказался мой Леван! Прав, родимый, почему я не погибла за него... Вон ты какой, глаз радуется!.. — И она смеялась лёгким молодым смехом (такой смех был у неё до старости — лёгкий и молодой) и старалась незаметно утереть слезу, как будто от дыма из камина или от лука.

Не то радовало тётушку Мариам, что из помеси лягушонка и червячишки вырос плечистый румяный отрок, а то, что я был живым напоминанием о её первенце Леване, неизбывном её горе... Я рос, взрослел, мужал, а тётушка Мариам всё препиралась надо мной с любимым сынком и радовалась его прозорливости...

Мамина история была проще и драматичней.

— Собрались мы тебя искупать перед сном, подогрели воду в кумгане у огня, но, видно, перестарались. Ты с рёвом мне на руки, верещишь, зашёлся весь. А разбавить воду нечем. Сам знаешь: дом на отшибе, до ближайшего родника с полкилометра по круче. «Придётся подождать, пока вода остынет», — говорит рассудительная Маргарита. Елена ахает, причитает: «Уй, уй, уй, ошпарили, тётки бестолковые!..» А я сунула тебя ей в руки, подхватила ведро и в дверь. «Куда, Сузи?! — кричат вслед. — Стой!..» Маргарита пытается остановить, а я уже выскочила и в гору, к кладбищу. Там, возле

церкви, кувшин огромный зарыт с дождевой водой. Ног не чую, глаза зажмурила, но бегу. Вроде недалеко, а страшно — жуть!.. Вот и кладбище. Вокруг церкви немножко посветлей, кувшин вижу пузатый. Подбегаю и сходу — бац! Бухнула гулко, эхо загудело: буу-буу-буу... И тут из церкви в ответ — как забубнит кто-то, как заурчит. И стук по каменному полу: тук-тук, тук-тук... Идёт. Ковыляет! У меня волосы дыбом. — Это было самое страшное место в мамином рассказе. Она округляла глаза и затаивала дыхание; мы с братом тоже не дышали, а мама, упившись эффектом, немного меняла тональность. — В те годы в нашей церкви жил одноногий бродяга Максим. Как забрёл, откуда — не знали, да и не допытывались. А мне только этого пугала недоставало, ночью, на кладбище! Воду из кувшина набрала, половину расплескала и бегом домой. Возле нашего двора Елена навстречу. Совесть заела. «Какая же ты отчаянная!» — говорит и руки моей касается ласково и виновато. Но подвига моего тётушки твои не оценили, скорее, как укор приняли...

Отношение к этим историям у меня странное, непрояснённое. Вроде бы я в них главное действующее лицо, но при этом меня как бы и нету, слишком ещё мал. Живая картинка сквозь дымку времени, как сквозь кисею на театре, — розовый младенец в окружении любящих заботливых женщин...

Есть люди, помнящие себя чуть не с пелёнок. Я не из их числа. Истории с младенцем не воспоминания, а пересказ. Моя память включается позже. Самое раннее, что удалось разглядеть в её глубинах, — несколько картинок времён войны.

Тбилиси, дом.

Большая комната, освещённая керосиновой лампой. Свет красноватый и тусклый, чуть подрагивающий. Углы комнаты тонут во мраке, и это производит гнетущее впечатление, как будто по углам таится опасность. У меня болит ухо, остро сверлит в глубине, гораздо глубже, чем я могу представить себе моё ушное отверстие. Я хнычу, держась за ухо, бессознательно пытаюсь его согреть. Маме кажется, что я хнычу не от боли, а от голода. Меня обижает такое примитивное толкование моих страданий (обида запоминается так же остро, как боль). Мама шарит в пустом буфете, наконец находит кусочек кукурузной лепёшки, разогревает на открытом огне керосинки, переворачивая со стороны на сторону. Кое-как обгладываю зачерствевшие края лепёшки, они больно ранят рот, только последние крохи, чуть размякшие в кулачке, разжёвываю без труда. К моему удивлению боль в ухе проходит. И мрак по углам комнаты немного отступает...

Тбилиси, двор.

Двор на три четверти вымощен речным булыжником. Одна четверть оставлена под грунт, едва зарастающий травкой. На грунтовой части растут два больших дерева: бесплодный тополь и шелковица, плодоносящая продолговатыми бледно-желтыми ягодами.

С трёх сторон двор замкнут резными балконами, придающими ему сходство с обвалившимся театром; с четвёртой стороны глухая стена с тремя зарешёченными оконцами. У стены большой мусорный ящик с откинутой крышкой, там шмыгают крысы.

Время от времени во двор через тёмную подворотню забредают какие-то ветхие люди в обносках, гнусавя на разные голоса, предлагают скупку старья, лужение котелков и кастрюль, ремонт окон, землю для цветов и песок для чистки самоваров. Иногда их сменяют бродячие певцы: круглоголовый крепыш, поющий под Бейбутова,

и немолодая армянка с трагической внешностью и душераздирающим репертуаром, похожим на вопли плакальщицы...

А этот человек появился совершенно незаметно, как будто выступил из кирпичной стены или материализовался из воздуха, и стоял у подворотни, под водосточной трубой, в лужице от последнего дождя. Он ничего не предлагал и ничего не просил, стоял в углу как наказанный, утомлённый наказанием, но не смеющий напомнить о себе. В куцем ватнике и залатанных штанах, он что-то держал в руке и порой неуверенно протягивал вперёд, пытаясь привлечь внимание: так робкий ученик порывается ответить на вопрос учителя, но ни класс, ни учитель его не замечают.

Не помню, откуда стало известно, что это пленный немец и что в руке у него низка с самодельными прищепками для белья. Вряд ли при своей бессловесной робости бедняга продал хоть одну прищепку.

Он так и остался в памяти — в темноте подворотни, безмолвное воплощение вины и раскаяния.

Кировобад (Гянджа). Городское кладбище неподалёку от военного госпиталя.

Глинобитная окраина, азиатский зной. Вдали, насколько хватает глаз, полыхает маковое поле. А на переднем плане, отделившись от алого фона, нестройно выступили вперёд непонятные сооружения. Сбитые из брусков и фанеры, увенчанные пятиконечными звёздами, они смахивают на макеты Спасской башни, сколоченные на уроках труда. К некоторым вместо звёзд прикреплены лилово-серые пропеллеры — две лопасти, отполированные до блеска. Это обелиски. Они стоят в изголовьях свежих могил. Холмики могил осели, потрескались, и обелиски кренятся в разные стороны. Солнце в зените венчает видение, похожее на детский рисунок.

Деревня. Пригорок на обочине нашего сада.

Возле цветущего куста стоит мальчик.

Я знаю, что мальчик на пригорке — я, но меня, сидящего сегодня над стопкой бумаги, отделяет от него больше семидесяти лет, и хотя память легко управляется со временем, на такой дистанции лучше проявить осторожность.

..Давным-давно, так давно, что это даже трудно представить, я бежал мимо цветущего куста, и меня остановил запах, ни с чем не сравнимый по нежности и красоте. Стояла весна, май был в цвету, и вся Имеретия благоухала: лютики, ландыши, сирень, акации, жасмин, шиповник, гвоздики, фиалки, мимозы, магнолии, розы, земляника на солнышке и дикая мята на взлобках... Но коснувшийся меня запах был красивей всех. При этом он был деликатен и скромн. Такая особенность: он признавал своё превосходство, но как бы смущался им. Не светская львица и не царица бала, а маленький принц.

Когда, уже будучи студентом, я пристал к своим деревенским родственникам с вопросом, что за куст цвёл у нас на обочине сада, они отмахнулись: «Да кто ж его знает! Не помню...»

К этому времени куст оказался срублен и без следа выкорчеван. Как будто он и появился там только для того, чтобы сказать мне что-то не выразимое словами и исчезнуть...

Вот картинки, смутно различимые в колодце прошлого. Дальше поводырями моей памяти становятся письма.

Дом на горе не сохранил голосов и запахов ушедшей жизни, но сберёг двадцать три письма — предвоенную переписку семьи с моим отцом и дядей Леваном, мобилизованными в начале войны. Письма датированы летом и осенью 41-го года, когда их адресаты проходили военную подготовку перед отправкой на фронт: отец в Кодори, близ Сухуми, Леван в пригороде Баку — Аляты.

Скоропись писем, особенно на грузинском, понуждает к медленному чтению, в неё всматриваешься, местами разгадываешь, несколько слов я так и не смог разобрать. Зато сполна вкусил ясную простоту этих эпистол. Удивительно светлые, они полны взаимной заботы, любви и нежности. Ни страха, ни надрыва, ни опасений. Лишь где-то вдали, над оснеженной грядой, стоит тёмное облако и невидимым коршуном витает тревога, но Кавказский хребет надёжно защищает нас.

Три четверти писем адресованы Левану. Я так и не понял, какими путями они возвратились домой, но благодаря неразгаданному случаю прошлое вдруг вернулось и передо мной ожили первые месяцы войны.

Они очень разные — письма отца и Левана, что вполне понятно: Лео призвали со студенческой скамьи; отец уходил на фронт, оставляя молодую жену с двумя малолетними сыновьями. В письмах Лео слышится беспечность и чуть наигранное мальчишеское легкомыслие. Его главная забота — здоровье многочисленной родни, оставленной дома, а для себя он просит только «папиросы и бумагу для писем».

Отцу же, судя по письмам, казалось, что главное — пережить первую зиму. Удручённый своей беспомощностью, он пытался внушить себе, что война скоро кончится, и на первых порах просил сестёр поддержать маму, чтобы ей не пришлось отдавать нас в детский сад, а самой идти работать. Непонятно, что подпитывало его оптимизм: наивность или бессознательный самообман как способ защиты от надвигающейся катастрофы.

А пока почти идилия, бархатный сезон на черноморском побережье!

Ко мне приезжала Сузи 26-го сентября и осталась до 29-го. Всё сложилось на редкость удачно. В поезде, когда она распрашивала проводника про Кодори, то познакомилась с местной жительницей, ездившей к мужу в Сенаки, и эта женщина устроила нас у себя дома, освободила для нас свою спальню. В доме жили только она с золовкой в трёх комнатах. Обе отнеслись к нам очень хорошо. Сузи увезла отсюда 8 кг картошки, 3 кг лука и 3 кг отличной поросятины по 10 руб за килограмм. Вот только погода к концу испортилась, пошёл дождь, и как она доехала, не знаю.

Мама не раз рассказывала нам об этой поездке и тоже не могла надивиться гостеприимству двух немолодых грузинок. Но её рассказ дополняла подробность, вносящая в идилию смесь юмора и тревоги, своего рода южная специя. Поначалу маму так напугала внешность попутчицы из Сенаки, что ей пришлось собраться с духом, прежде чем принять её приглашение: грубо сбитая, усатая, басовито-сиплая, с красным от помады «Беломором» в зубах и солёным словцом на языке, она производила впечатление рецидивистки или бандерши. Мама с замиранием сердца заставила себя выйти из вагона и как овечка шла за ней в сторону темнеющих на пригорке домов посёлка... На проверку же рецидивистка оказалась добрейшим и деликатнейшим созданием, три дня окружавшим заботой красивую молодую чету. (Мне кажется, что их красота тронула стареющих женщин.) А Господь, мудрый шутник, почему-то в таком обличье послал моим родителям ангела-хранителя, предоставившего им кров для последнего свидания.

Дядя Лео не перегружал писем житейскими подробностями.

Здесь мало тени, — описывает он место своей службы. — Деревьев почти нету, и дуют сильные ветры, буквально песчаные бури, но зато совсем близко море, и это всё искупает.

Виноград здесь хорош, похож на наш, ем в охотку...

Вся переписка, все письма, кроме одного, движутся по отлаженному маршруту: из дома на горе — в армию, из армии — в дом на горе, и только одно письмо отклонилось от найденной тропы, оно отправлено из армии в армию, из Кодори в Аляты. 10 октября отец пишет своему двоюродному брату:

«Лео, братишка, в эту осень мы нашего винограда не попробовали. Ты хоть там, в Шуловери, отведай. Я тут ем местную “изабеллу”, дешёвую, по полтора рубля за килограмм, но вкус ещё дешевле — вода водой. Давай дадим поручение Вахтангу (брат Левана, не призванный по болезни), чтобы он за нас поел дзирульских каштанов и записал маджари» (молодое, ещё сладкое вино на первой стадии брожения).

В этом месте отцовского письма я вклинюсь в переписку, поскольку повод у меня серьёзный. Не странно ли — когда отец оценивает «изабеллу», отдавая предпочтение нашенским сортам винограда, когда он вспоминает дзирульские каштаны и щекочущее небо молодое вино, в это самое время накал войны за хребтом Кавказа достигает кульминации. Наши бьются на пределе сил. Сданы Минск, Киев, Харьков, Смоленск. Сдана Одесса, пал Севастополь, враг под Москвой. Ни шагу назад! Сотни тысяч солдат убиты, сотни тысяч оказались в плену. Письмо отца написано 10 октября, как стало известно из военных мемуаров, 10 октября Сталин своим приказом бросает Жукова на Западный фронт. Стало быть, когда Лео читает про дзирульские каштаны, маджари и «изабеллу», в Москве нарастает паника и вот-вот разразится 16 октября!

Что-то тут не так. Не складывается. Допускаю, что политинформаторам запретили раскрывать истинное положение дел на фронте, дабы не травмировать новобранцев. Но ещё вероятней, что отец усовершенствовал свой метод психологической защиты: успешный молодой инженер, наладивший новейшие ТЭЦ в Кировобаде и Батуми, баловень семьи, с детства заласканный четырьмя сёстрами, муж польской красавицы и отец двух славных ребяташек, он не готов был расстаться со всем этим прежде смерти. Недоброжелатель скажет, что он как страус прятал голову в песок. Я скажу, что он как стоик с улыбкой шёл навстречу гибели, до которой оставалось 76 дней.

Любимцу семьи, юному Лео, писали все: двоюродные сёстры, свояк, зять, младшая сестра, двоюродные племянники, младший брат под диктовку старшего, какие-то милые кокетливые девицы, то ли сокурсницы, то ли соседки: *«Здравствуй, Леван, представляю, как ты удивишься, когда узнаешь, кто тебе пишет, если, конечно, вспомнишь меня... Как переменялось время, если девушка первая пишет юноше. Но теперь вы — солдаты, главные люди в стране, наши защитники, и мне совсем не стыдно, что я пишу тебе первая.*

Однако лучшее в переписке — письма тётюшки Мариам и дяди Габриела. Они как самородки в груде породы. Их следовало бы привести целиком, от слова до слова, на зависть нынешним.

Дядя Габриел сообщает сыну о поездке мамы к отцу в Кодори и сдержанно присовокупляет: *«Можно было бы и до тебя в твоё Аляты добраться, не так уж это далеко. Но совсем нету времени. Из-за засухи виноград созрел рано. Ты пишешь,*

что скучаешь без винограда. Что поделаешь, ты теперь солдат, терпи. Не пришлось бы чего и похуже терпеть».

В одном из писем тётушки Мариам отразилось горестное событие, пережитое семьёй в сентябре сорок первого — невестреча с Леваном, командированным по служебной надобе из Баку в Кутаиси.

Заранее уведомлённая о командировке, тётушка Мариам нетерпеливо готовилась к встрече: запаслась назуки, сварила гозинаки, свернула в трубочки раскатанную в лист пастилу, собрала в мешочек фундук и сушёный инжир; перед самым выходом из дома напекла хачапури и тщательно укутала стопку, чтобы хоть в середке сберечь остатки тепла, и, напутствуемая всей семьёй, пустилась в путь (от нас до Кутаиси меньше 70 километров), но по неведомой причине они разминулись. Это было настоящее горе, горькое и безутешное. Заливаясь слезами, кляня себя за никчёмность и пустоголовость, тётушка Мариам воротилась домой. Впервые она забросила хозяйство, целых два дня ничего не делала, что называется, не пошевелила рукой, только плакала, убитая страшным предчувствием.

Среди писем уцелела коротенькая записка двоюродного брата Буцу (младшего сына рассудительной тёти Маргариты), в ту пору мальчишки пятнадцати лет: *«Лео, пиши матери почаще, — совсем как равный наставляет он дядьку, — а то она после возвращения из Кутаиси всю дорогу скулит и хнычет, прямо слезами изошла, смотреть жалко».*

Судя по дате следующего письма, тётушке Мариам понадобилось больше месяца, чтобы прийти в себя и написать сыну ясное ласковое письмо, написать без сетования на невестречу. Ни словом не упомянув о ней, она просто поведала, чем теперь живёт и утешается.

«В эту осень Сузи с детишками у нас. Мальчишки так хороши, что глаз не нарадуется. Маршируют по балкону и повторяют, что скоро пойдут на фронт и “унистозат немцев”, и тогда папа и дядя Лео вернутся домой.

Ты, сынок, спрашиваешь про урожай и виноградники. Пока р т в е л и не начинали, хотя виноград созрел и урожай хороший. Но я ему не рада, когда не вижу вас всех вместе в винограднике. Мне и лето нынешнее отвратительно, и осень не в радость, чтоб не дожил до радости тот, кто нам это устроил!»

Одна из удивительных особенностей этих писем — неразделимое единство виноградников и двух маленьких мальчиков. Советы, тревоги, пожелания выражены привычными и, как ни крути, немножко затёртыми формулами: «как твоё здоровье?», «береги себя», «о нас не беспокойся», «не простудись», «держишь молодцом», «если нужны деньги, дай знать, не стесняйся», и только когда речь заходит о винограднике и о мальчиках, слова словно вспыхивают, наливаются теплом и светом.

«А сейчас, наверное, в Дзируле р т в е л и в разгаре!.. Три дня назад мы миновали перевал, прошли Казбеги. Теперь укрепляемся на северных склонах. Здесь уже выпал и сошёл первый снег. Я жив, здоров и бодр, как и подобает защитнику Родины, так что обо мне не беспокойтесь. Что у вас нового? Как С а ш е н к а?»

Это последнее письмо дяди Лео. Оно написано на плотной глянцевой открытке желтоватого цвета, написано слишком убористо, строка на строку. Нижний край открытки истрепался, там скорее угадываются, чем читаются, имена нашей родни: Маргарита, Тина, Нуцка, Елена, Шалва, Зураб, Буцу, Марго, Резико, неведомая мне Цуца... Разборчиво только «много-много целую». Но как в такой тесноте нашлось место спросить — *«Как Сашенка?»*. Как вообще среди фронтовых забот и опасностей

тебе, дядя Лео, вспомнился большеголовый шепелявый малыш, лопочущий первые слова?

Это я, дядя Лео, тот самый лягушонок, за которого ты вступил в спор со своей мамой. Теперь я стар, дядя Лео, и я совсем не помню тебя — туман, туман, ни лица, ни голоса. Но я думаю о тебе, и к глазам подступают слёзы. Почему *Сашенка*, дядя Лео? В грузинском есть свои ласкательные суффиксы, они не хуже русских могут выразить тепло и нежность к малышу: Сашико, Сашура, Сандрик!.. Почему Сашенка, дядя Лео, и почему это так трогает меня?.. Прошли годы, прошло очень много лет. Вокруг никого из тех, кто писал тебе письма в Аляты, кого ты видел в доме на горе. Мне страшно помыслить, но, может быть, и самого дома скоро не станет. Я думаю об этом, и старческие слёзы текут по моим щекам.

Я последний, кто помнит тех, что жили в доме на горе. Как мне повезло, что я рос среди них! Может быть, и за перо я взялся только для того, чтобы дом на горе не исчез бесследно...

В последнем письме дяди Лео меня озадачила дата: в правом верхнем углу открытки отчётливо читается: «25/II-1942». Всю жизнь был уверен, что отец и Лео погибли вместе, в одном бою — трагическом Керченском десанте сорок первого года, и разрушение легенды, маленького семейного склепа, слепого мной, стало для меня ударом: как будто близость братьев в последние минуты жизни могла принести им какое-то облегчение. Но они убиты поврозь.

Первый Керченский десант был одной из самых бездарных и трагических операций начала войны. Я достаточно хорошо знаю восточный Крым, чтобы, позаимствовав дополнительные подробности из мемуаров и энциклопедий, описать гибель отца в холодных водах Керченского пролива — их столкнули с десантных барж на рассвете в конце декабря. Но я не стану ничего заимствовать. Картина расстрела наших солдат, бредущих по горло в воде с поднятыми над головой винтовками и захлёбывающихся ледяной волной, непереносима.

Как ни больно сознавать, но Молох войны ещё только раздувал свой горн, а отец и дядя Лео уже погибли: отец тридцати шести лет от роду, Лео — двадцати двух.

Облако над грядой Кавказа обернулось страшной тучей и разразилось смертоносными молниями.

Коршун тревоги, круживший вдали, камнем упал на наш двор и закогтил двух цыплят, двух осиротевших малышей.

Но рядом была родня. Нам не дали погибнуть.

Нина Орлова

«У полумесяца, креста, кольца дорог»

Памяти Магомеда Ахмедова

Я думал, глядя вниз,
что как вершина
выдерживает снег
среди ломких скал,
так жизнь я выдержал,
когда ползла лавина
и века нового грозил обвал.

Магомед Ахмедов

1

Умер. Сообщение получила рано утром, в самолёте. Я летела на родину, а он в это же время летел на свою небесную родину. Я разговаривала с ним, а он молчал. Наш многолетний диалог прервался.

Я помню Магомеда Ахмедова молодым, восемнадцатилетним. Учились на одном курсе в Литературном институте, в одном творческом семинаре. Юные, непримиримые, бескомпромиссные. Какие страстные споры, какие громы гремели во время обсуждения стихов. Его голос был слышнее многих, он всегда садился впереди и весь уходил в происходящее. Мне с галёрки виделся седоком, приподнявшимся в седле, нетерпеливо устремлённым ввысь. Всклакивал, чтобы высказать своё мнение — напористо, сокрушительно. А когда читал стихи на родном аварском, что это было? Орлиный клёкот, клототание потоков, несущихся с гор Дагестана. Казалось, язык аварский — весь из подобных звуков: щёлканье, щебет, клёкот, крики птиц и шум бурных горных рек. Через язык я ощущала ауру этого горного края. Однажды после каникул Магомед привёз мне из Дагестана кувшин. Моё первое представление о Дагестане сложилось по этому тёмному от обжига строгому и изящному кувшину с чеканным орнаментом вокруг высокого горла. Кувшин и сейчас стоит на полке в моей старой квартире. А рядом на стене висит на цепочке кавказский рог для вина с посеребренным зевом, Магомед привёз его мне на четвёртом курсе, ласково подшучивая над моим увлечением христианством: «Не обязательно, для вина. Можешь наполнять его елеем».

2

Все мы, литники, жили в общаге на Добролюбова. Это тоже очень спланивало и роднило нас. Здесь мы получали образование через обмен редкими книгами, беседы за чаем, ну, бывало, и за чем-нибудь покрепче. Врывались друг к другу в комнату прочесть только что рождённые стихи или с какой-нибудь ошарашивающей идеей. У Магомеда в письменном столе общежитской комнаты хранился роскошный блокнот, просто полиграфическое чудо. Лежал он в неприкосновенности, за пять лет не было исписано ни одной страницы. Стихи записывались в другой, простенький, блокнот. Однажды Магомед рассказал про этот образец высокой полиграфии. В четырнадцать лет он решил показать свои стихи какому-то литератору (не помню, кто это был), земляку, для чего спустился из своего высокогорного аула и отправился с тетрадкой в Махачкалу. Литератор, прочтя несколько стихотворений, тут же позвонил Расулу Гамзатову со словами:

— В Дагестане появился новый истинный поэт.

— Немедленно веди ко мне, — приказал Гамзатов.

Расул послушал стихи. Потом достал роскошный блокнот, который, очевидно, привёз из заграничной поездки, и подарил юному дарованию с надписью «Для самых лучших стихов». Листы в нём пока оставались чистыми. Видимо, Магомед считал, что лучшие стихи он ещё не написал.

Через несколько лет Расул Гамзатов рекомендовал семнадцатилетнего юношу в Москву, в Литинститут. Восемнадцать ему исполнилось в ноябре, когда он уже стал первокурсником. Учился Магомед жадно, устремлённо, прицельно. Как-то весной по теплу, перед первой лекцией стояли первокурсники во дворе Дома Герцена, покуривали. И видят спешащего от входа с Тверского бульвара Магомеда Ахмедова, энергично взрывающего сильными ногами пространство вокруг себя. И Маша Зоркая громогласно объявляет: «Вот идёт будущий Председатель Союза писателей Дагестана». Все засмеялись. Нет пророка в своём Отечестве. Мария-то, пророчица, правду сказала. Так потом и вышло.

Собираясь вечерами у кого-нибудь в комнате, вели бесконечные споры о литературе, иногда что-то рассказывали о себе, о своей прежней довузовской жизни. Магомед рассказал, что когда был мальчишкой, то отец, аульский чабан, отправил его пасти овец. Магомед повёл стадо, но засмотрелся на вершины, на орлов в небе и упоённо стал сочинять стихи. Очнулся, а стада нет. «Никогда из моего сына не выйдет хорошего чабана, — рассердился отец. — Беспутный мальчишка». Отец прожил долгую жизнь и успел увидеть, как его сын Магомед стал народным поэтом Дагестана, известным в республике человеком.

Юность, счастье наше! Сколько весёлых проделок, подшучиваний, безмятежного баловства! Шалили порой как дети. Я в неумеренности своей даже забралась однажды к Магомеду на горбушку, отлично покаталась! Всё нам было смешно. Магомед особенно любил похохотать. Один из однокашников, близкий друг Магомеда, на выходные обычно приглашал в гости свою девушку. Зная, что мы будем мешать ему, бандитски стучать в дверь и кричать «эй, открой!», он однажды предупредил: «Я на выходные уезжаю в Таллин». И мы, лопухи, поверили. Но кто-то в час дня увидел его осторожно крадущимся на общежитскую кухню, чтобы поставить чайник... Дело раскрылось. И с тех пор повелась у нас поговорка выходного дня: «К. уехал в Таллин». Эту историю про «уехал в Таллин» Магомед вспоминал при каждой встрече и рассказывал так, что мы смеялись как в первый раз.

У нас была страстная, просто маньячная любовь к книгам, к чтению. В Москве открылись океаны литературы, поэзии, о которой мы, юные провинциалы, знать не знали. Нам русский язык был родным, а Магомед, аварец, знавший его тогда

поверхностно, с присущей ему энергией постигал нюансы языка, что отмечали и преподаватели, в том числе Владимир Павлович Смирнов, читавший курс «Истории русской литературы конца XIX — начала XX века» и знавший досконально творчество поэтов Серебряного века. Однажды Смирнов попросил, чтобы Магомед помог на экзамене своему земляку, плохо владевшему русским языком, и при необходимости переводил на аварский язык вопрос преподавателя. Магомед, конечно, согласился. Смирнов задал вопрос по Бунину:

— Можете ли назвать произведение Бунина, которое вызвало огромный отклик в критике и сразу же поставило Бунина в первый ряд писателей?

Магомед растолковывает земляку вопрос, где по-русски, где по-аварски. Студент напрягается, делает вид, что вспоминает, но явно не знает ответа. Магомед тихонько на аварском подсказывает:

— «Деревня».

Студент радостно кивает головой и отвечает Смирнову:

— Это рассказ «Аул»!

История умалчивает, что ответил Смирнов и сколько раз пересдавал этот экзамен студент. Но я знаю, что к Магомеду Ахмедову Смирнов относился как к особой личности. Дружеские отношения между ними продолжались всю жизнь. И не раз Владимир Павлович был гостем Дагестана. Как-то мы вместе летели на гамзатовские дни. В самолёте много говорили, вспоминали, конечно. Он с досадой рассказывал о том положении дел, какое сложилось в постсоветские годы в Литинституте. А на открытии фестиваля в Махачкале Владимир Павлович выступил с такой блестящей речью, что к нему из толпы стали пробиваться люди, чтобы поговорить и пожать руку.

Я много раз бывала на родине Магомеда, в Дагестане. Ярко помню свой приезд в 1980 году. Это был июль, в Москве — грандиозное открытие Олимпийских игр. Магомед встретил меня в Махачкале, и вскоре мы вошли в небольшой, похожий на русскую избу домик, который они снимали с женой Мариной Колебакиной-Ахмедовой. Их маленький сын Мурад был у родителей Марины в Харькове. Обрадованные встречей, мы выпили чуток вина и пошли к морю. Мы с Мариной, болтая и смеясь, впереди, а Магомед чуть позади. На пляже сидела компания сельских парней — они просто не сводили с нас глаз. Женщины на пляже — для дагестанцев экзотика. Магомед как суровый телохранитель сопровождал нас, наиценнейших и неприкасаемых персон. И только через десятилетие, как мгновенная вспышка, у меня появились строчки:

Я помню Дагестан годов восьмидесятых.
Моложе Каспий был. Он льнул к моим ногам.
А брат мой Магомед, глядел ревнивым братом.
Да, кажется, тогда я обрела в нём брата —
на этих берегах.

До сих пор помню, как вышли мы с Мариной в сад ночью, пахнувшей морем, пряностями и сладковатым тленным духом упавших на землю абрикосов. И звёзд на небе — крупных, южных — наверное, миллиарды, и некоторые такие огромные, что представлялись неопознанными летающими объектами, подмигивающими свысока.

Мы с Магомедом и группой местных писателей отправились в поездку по Дагестану и выступали с чтением стихов в клубах и Домах культуры. Я поразились, как дагестанцы любят слушать стихи, как интересуются и буквально внимают. В этом краю, наверное, каждый в душе — поэт. В те дни произошло судьбоносное знакомство с Шейит-Ханум Алишевой, кумыкской поэтессой. Такая горячая, шумная, хохочущая, а стихи — трепет, завораживающий шёпот. Я потом перевела книгу её стихотворений «Плачь, любви, вспоминай». Год работала. Книга вышла в 1990 году в самом, пожалуй,

престижном тогда издательстве «Советский писатель». Мы, автор и переводчик, подружались, и дружба длилась всю жизнь, так обстоит дело и до сегодняшнего дня. Мне запомнился тогда городок Хасавюрт, весь в садах, виноградниках, полный умиротворённой тишины. Вечером Магомед повёл меня в гости к своему другу. Опять застолье, стихи, песни, смех, тосты. Я помню, как вышла из дома на крылечко. Тишина, мирный сон и покой после трудового дня. Последнее десятилетие советской власти, имя тебе — безмятежность. Могло ли нам тогда прийти в голову, что этот город станет местом жестоких бандитских разборок, резни, кровавых боёв и убийств?

Магомед Ахмедов не был пай-мальчиком, по жизни всякое бывало. После института вернулся в Махачкалу, и внешне всё складывалось удачно, гладко. Но что-то вдруг стало томить и надламывать его душу: однообразная обыденная жизнь, порой несносная её пошлость, разочарования в любви, в личной жизни? Никогда не пивший в Москве, а среди студенчества это водилось, тут он впал в неумеренное винопитие. Тогда же произошёл у Магомеда конфликт со старшим другом, наставником, поэтом, которого он считал великим, — Расулом Гамзатовым. Думаю, Расул был терпелив и строг с ним, но справедлив. И позже Магомед признал это. Тут начинается сюжет блудного сына, растянувшийся на десятилетие. Магомед уехал из Дагестана. Бродяжничал, бражничал с московскими и жившими в Москве дагестанскими поэтами и литераторами, нигде не работал. (Но зная тебя, Магомед, друг мой, я уверена, что никогда душа и ум твои не жили в праздности, внутренняя работа шла всегда.)

Пройдя через все искушения, блудный сын вернулся домой, в Дагестан. Пришло понимание, что здесь его земля, его дом и что писать, работать он может только в Дагестане и для Дагестана.

Но мирного советского времени уже почти не оставалось. Закончилась перестройка, и над страной нависла та беда, которую мы и теперь ещё расхлёбываем: Магомед Ахмедов, свидетель и очевидец крушения империи, которой он гордился, принадлежа ей духом и плотью, написал:

И я там плыл, в тот страшный час судьбы,
когда корабль большого государства
с народами, где был и мой аварский,
встал на валах, весь в пене, на дыбы.
Мгновеньем отделён он был от краха.
И, взятый штормом в новые тиски,
об океан ударился с размаха,
и с треском развалился на куски...

(Перевод Нины Маркграф)

3

Магомед был сыном наиболее благополучной второй половины двадцатого века и прожил больше двадцати лет в двадцать первом веке, но так и не принял его.

Я помню юности моей весёлый бег.
Был чист и счастья ждал,
а вышло вон как!
Меня к груди прижал двадцатый век,
а двадцать первый —
вышлет похоронку!

(Перевод Нины Маркграф)

Распад СССР в 1991 году принёс неисчислимые беды Дагестану и его народу. Низкий уровень жизни, безработица, беззаконие, коррупция — всё это стало для Магомеда личной трагедией. Его не покидало чувство вины, что он ничего не сделал, чтобы не допустить этого краха.

К больному сердцу приложив ладонь,
стою, окаменелый, у развилки,
у полумесяца,
креста, кольца дорог...
Где та страна,
которую любил ты?
Ты ни сберечь её,
ни возратить не смог.
Ни чем помочь.
И прах лежит у ног.

(Перевод Нины Маркграф)

А мрак всё сгущался. Перестали выходить книги. Уникальная школа художественного перевода с языков народов России на русский уничтожалась на корню. Слово поэта, слово писателя обесценилось, потеряло свою роль и было с презрением изгнано из средств массовой информации. Наступили тёмные тревожные времена, когда страшно было на улицу выйти. Магомед с горечью говорил, что в Дагестане переполнены Дома сирот. А дальше хуже: формирование вооружённых банд, намерением которых было оторвать Дагестан от России. Сколько молодых мужчин, юношей и даже подростков погибло на той кровавой бессмысленной войне!?

Воздух пахнет снегом или кровью?
Я не то что жить — дышать устал.
Вырастают новые надгробья,
не снимает траур Дагестан.

Время — сапогами по обломкам,
по спине солдатским вещмешком.
Что ему до предков? До потомков?
Время не заплачет ни о ком.

(Перевод Нины Маркграф)

3 ноября 2003 года умер Расул Гамзатов. В эти худые обескровленные годы Магомед Ахмедов возглавил Союз писателей Дагестана. В бывших советских республиках процветали националистические и антирусские настроения. Особенно усердствовала интеллигенция, и более других — писательская и околολитературная публика. Многие из них получили бесплатное качественное образование в лучших московских вузах, жили практически бесплатно в общежитиях и получали стипендию. Но националистическая зараза, она как вирус, сразу идёт в кровь. Даже одна моя подруга, поэтесса, однажды заявила мне, остолбеневшей: «Я, может, в Сорбонне училась бы, если б не Россия». Помню, что тогда ответила ей в шутку: «Тебе повезло, у тебя много братьев и сестёр. Если б каждый продал по одной почке, может, и хватило бы на три курса Сорбонны. Но не уверена, что на полный курс».

Ни в какие годы Магомед Ахмедов не отрекался от России и своих друзей из России. Он любил Москву, город его судьбы, и, когда приезжал, стремился пройтись по своим любимым местам.

Однажды, будучи в Дагестане, мы отправились в знаменитый высокогорный аул Гуниб, который когда-то прилепился к вершине отвесной скалы. Я попросила Магомеда пойти со мной к беседке Шамиля. Гуниб — священное место для любого

кавказца и русского, помнящих свою историю. Именно здесь в 1859 году была поставлена точка в истории Кавказской войны. Беседка Шамиля стоит над камнем, на котором сидел генерал-фельдмаршал Барятинский во время переговоров о сдаче в плен на почётных условиях имама Шамиля. Постояли. Я шутливо протянула Магомеду мизинец, как в детской игре:

— Мир, мир — навсегда, ссор, ссор — никогда.

— Как это возможно, чтобы мы поссорились!?

— Я о наших народах, Магомед.

— Дагестан без России? Это погибель.

Он лукаво так улыбнулся.

— Расул Гамзатов по этому поводу хорошо сказал: «Дагестан никогда добровольно в Россию не входил и никогда добровольно из России не выйдет».

Потом указал на беседку.

— Пытались называть её «Ротонда Барятинского». Не прижилось. Имам Шамиль в памяти дагестанцев крепко сидит. Говорят, когда Барятинский ему сказал, что понапрасну он воевал, Шамиль ответил:

— Нет, не напрасно. Многих кровников моя борьба сделала братьями, многие враждовавшие между собой аулы она объединила, многие народы Дагестана. Племена враждовали между собой и непримиримый клёкот слышался с каждой горы: «Мой народ», «моя нация». А эта борьба соединила нас в единый дагестанский народ. Вот мое завоевание.

У Магомеда Ахмедова есть стихотворение «Поэт и Имам».

Потемнели горные отроги,
Отступили русские к реке...
«Выхожу один я на дорогу», —
Зазвучало где-то вдалеке.

Бой отгрохотал взрывным обвалом,
И опять настала тишина...
Толмача спросил Шамиль устало,
Что за песня у реки слышна?

И сказал толмач: — Поручик русский
Сочинил для песни той слова,
От которых так на сердце грустно,
Что к земле клонится голова.

— Так скажи, о чём же песня эта?..
— О дороге, Боге и звезде,
О душе печального Поэта,
Что покоя не найдёт нигде.

— Кто же он, Поэт тот неизвестный?
— Воевал с тобой он раньше здесь...
Звали его Лермонтом... За песни
Был убит, отстаивая честь.

— Горцы наши совершили это?..
— Нет, своими он убит, имам.
— Разве много так у них поэтов?
Или мало так у них ума?

Иль народ они такой богатый,
Что не жаль Поэта одного?..
Если б я с ним встретился когда-то,
Не поднял бы саблю на него.

В небо посмотрел Шамиль с тревогой,
Где сверкали звёзды, как штыки...
«Выхожу один я на дорогу», —
Доносилось мирно от реки.

(Перевод Марины Ахмедовой-Колубакиной)

Кстати, замечательный перевод.

Гуниб — родное место для Магомеда, всего в девяти километрах, если по прямой, по горам — находится аварский аул Гонода, где он родился и вырос. Здесь, среди высочайших вершин Гунибского плато, царица их — Седло-гора. У Магомеда она живёт во многих стихах. Издалека гора напоминает полосатую громадину, состоящую из двух скальных поясов. Говорят, что русские солдаты во время Кавказской войны прозвали её Чемодан-гора.

В 1986 году в высокогорном Гунибе был установлен памятник «Белые Журавли». Это после того, как прозвучала на весь Советский Союз и всех очень тронула песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. На церемонии открытия присутствовали создатели песни: автор стихотворения Расул Гамзатов, переводчик на русский язык Наум Гребнев и композитор Ян Френкель. У подножия памятника установили белый рояль, за которым Френкель исполнил эту песню. Праздник был великолепным, звучало много стихов и песен, и тогда же возникла идея проводить в Дагестане ежегодный фестиваль «Белые журавли».

После смерти Расула Гамзатова «Белые журавли» превратились в Гамзатовские дни. Я много раз была участником этого знаменитого фестиваля. Посмотришь со стороны — какое красивое мероприятие, какое радостное дело! Но всё нужно четко организовать — ведь это Гамзатовские дни! — праздник праздников! Союз Писателей стал общественной организацией: ни денег, ни зарплат, ни грантов... Три дня фестиваля, огромная делегация гостей со всей страны. Литераторы отправлялись на выступления в Дербент, в Гуниб и в Хунзах. Поездки в горные районы сопровождалась вооруженной охраной, больше десятилетия там не прекращались бандитские нападения. Транспорт, охрану, людей — всё это надо было найти, выпросить, организовать. Но всякий раз Магомед на прощание говорил мне:

— Сколько буду жив, столько буду проводить Гамзатовские дни. Никто не отговорит.

4

Приезжала ли я в Дагестан или Магомед прилетал в Москву — в молодые годы это были шумные встречи, и главной нашей любовью по-прежнему оставалась Поэзия. Я могла произнести любую строку поэта любого века, периода, школы, а он подхватывал, и мы читали дальше вместе. Его процесс самообразования продолжался всю жизнь, последние годы он углубился в философию, изучал суфизм. Но корни русской поэзии всегда питали его стихи. Читая, например, одно из стихотворений Магомеда Ахмедова, я вспоминаю лекцию о Державине и державинской линии в русской поэзии замечательного Константина Александровича Кедрова.

Во мне начала и концы миров,
Во мне основы их, и их покров.
Во мне движения времён секрет,
Во мне вопросы и во мне — ответ.

Начало — небеса, земля — конец.
 Я — жизни смысл! Я — вечности венец!
 Один Всевышний знает все пути,
 Но я старался лишь себя найти.
 Томился дух телесностью земной,
 И ныло тело, сжатое душой.
 И день в раю, а на другой — в аду,
 Я в этом балансировал ряду.
 Порою кладом сокровенным был,
 Убогим бедняком порою слыл.
 Моим был мир — в нём не было меня.
 А был я эхом тающего дня.
 Во мне сошлись века, стихом звеня, —
 Не раз за песни погибал и я.
 Мальчишкой, был я стариком седым —
 Старея, полон жаром молодым.
 И этот мир, и тот во мне сошлись, —
 Начало и конец, а вместе — жизнь.

Благодаря Аллаху одному,
 Миры во мне... И всё уйдёт к Нему...

(Перевод Мамеда Халилова)

Притча о возвращении блудного сына, как известно, имеет духовный подтекст и подразумевает возвращение души человеческой к отцу Небесному. Постепенно свершилось это второе и главное возвращение: Магомед Ахмедов пришел к Отцу своему Небесному, Аллаху. Об этом говорили не только внешние перемены, например, ни на торжественных банкетах, ни в дружеском узком кругу за многие десятилетия никогда, ни разу не видели его выпивающим хотя бы глоток вина. В его бокале всегда были вода или сок. Присутствие Всевышнего всё наполнило новым содержанием: и жизнь повседневную, и жизнь духовную, и творчество. Такие стихи, как «Посох и чётки», «Есть одиночество...», «Молитва» появились тогда, когда он обрёл веру.

Однажды перед литературным вечером в ЦДЛ (это был вечер Юрия Полякова), я увидела направляющегося к лестнице в Большой зал Магомеда (был проездом в Москве, кажется, из Якутии). Догнала и, привстав на цыпочки, закрыла ему ладонями глаза. «Нина!» — угадал он. И вдруг мысль. «Ну да, сразу угадал, потому как всё меньше остаётся тех, кто вот так подлетит к тебе». Магомед выглядел утомлённым, постаревшим, немного грустным. Так сложилась жизнь. Будучи поэтом, не особо приспособленным для публичности и организаторской работы, он стал общественным деятелем. С годами отточился и талант блестящего оратора, совсем уж редкий нынче дар. Когда-то я была свидетелем того, как Расул Гамзатов, руководивший Союзом писателей Дагестана, увидел в юном Магомед Ахмедове своего восприемника. Думаю, это был пророческий взгляд.

Находясь постоянно в окружении многих людей, каким же одиноким человеком был Магомед! За год до кончины он позвонил мне и как-то особенно настойчиво и горестно просил приехать в Дагестан: «Сегодня мы живы, а завтра уже кто знает. Надо увидеться. Я хочу повидаться».

Повидаться со мной — это повидаться с юностью, с однокурсниками, с нашими ребятами. Но я не смогла поехать — обстоятельства, которые, может, и можно было преодолеть, но я подумала, что увидимся ещё и не раз. Казню себя, что не приехала.

И всё же мы увиделись ещё раз. В конце ноября 2022 года Магомед Ахмедов провёл свой последний творческий вечер в Москве, в ЦДЛ. Много торжественных речей, поздравлений. Взглянув строго и неумолимо, вызвал меня к микрофону,

как школьницу к доске. Я сказала несколько слов о нашей юности и прочла свой перевод стихотворения «Разговор с ветром». А потом подумала, что надо было прочесть другое. Вот это.

Читал я громадную книгу земли,
на глине, папирусных свитках,
на жёлтой бумаге в архивной пыли,
в брошюрах, на скрепках и нитках.

Я жизнь перелистывал.
Долго мой слух
безверья ласкала блудница,
и лживое слово ломало мой дух —
я страшные видел страницы!

Пробитые пулями были одни,
другие — в кровавых отточьях,
А третьи разодраны — соедини
державы мельчайшие ключья!

Там совесть затёрта,
зачищена честь,
подослан к Отчизне убийца...
Но дальше не смог я
сложить и прочесть
обрывки кровавой страницы...

(Перевод Нины Маркграф)

От того, последнего, творческого вечера Магомеда Ахмедова осталась память грустная, но и утешная, много фотографий и фильм. Магомед, чуть отстранённый, уже чувствующий непомерную тяжесть, бессмысленную суету земного, приближение к вечности. Через два месяца, в феврале, я позвоню ему в больницу и спрошу, что из книг он взял с собой в палату. Ответом будет: «“Исповедь” Толстого и любимого Блока. Ну ещё со мной блокнот и ручка».

Виктория Полищук

Пять минут до рассвета

Дневник. Избранное (2001—2019 гг.)

Напрасны думы о былом —
они извечны.
Надежда вспыхнула,
застряла в горле комом —
я просто радуюсь, живу...

Виктория Полищук

Дневник как запечатлённое событие несостоявшегося...

Почти парящий дневник Виктории Полищук в действительности — запечатленное событие того, что ожидалось, но не состоялось. В этом его трагизм, который, однако, незаметен, потому что текст читается легко и просто. Личные, женские высказывания полны борений, но не с жизнью, а с самой собой. Жизнь — данная реальность, и не она надиктовывает ситуацию, нечто более высокое и запредельное: Дух, которому отзывается Душа. И красота благодати находит себя в наблюдениях, замечаниях, языке... Словно она призвана отвлечь внимание от глубоко спрятанной мысли с её философским контекстом, ибо мысль умеет завершиться истиной. Философия личного бытия Виктории Полищук насквозь субъективна, но при этом доверчива и открыта диалогу. Жажда общения и встречи проступает восходом, который постепенно поглощается закатом. Ожидание и следом — разочарование порождают недовольство, но не другими, которых напрасно ждала, а самой собой. Изложено это изящно, слова будто парят, и не сразу ощущаешь, как всё это обрастает уроками мудрости с едва заметной, деликатной религиозностью.

Почувствуйте и прочувствуйте дневник Виктории, чтобы узнать, какой ценой дается погружение в истину... Лучшие всего его суть выражают её собственные слова: «Мир иной открылся мне!» (так называется её первый поэтический сборник). И становится очевидным, что дневник Виктории Полищук естественно и гармонично вписывается в её творчество, соседствуя с картинами, стихами и прозой.

Елена ТВЕРДИСЛОВА

Полищук Виктория Ефимовна (1943—2022) — литератор, художник. Окончила филологический факультет МГУ. Соредатор российско-израильского литературного альманаха «ДИАЛОГ» (с 1996). Автор двух сборников стихов: «Мир иной открылся мне...» (Библиотечка поэзии Союза писателей Москвы, 2014); «Пять минут до рассвета» (Библиотека альманаха «Паровоз» Союза российских писателей, 2018). Стихи печатались в журналах и альманахах в России, Израиле, США. Шестнадцать персональных выставок в Москве. Работы находятся в частных собраниях по всему миру. Член международного художественного фонда, Московской ассоциации художников.

1 июля 2001 г.

Переделкино. Произошло что-то странное и новое — синяя школьная тетрадь в клеточку и накрывшие с головой воспоминания о двенадцатилетней девочке с её несостоявшимся, вернее, уничтоженным моими руками дневником. Может быть, сегодня — начало нового дневника той давно ушедшей девочки, не реализовавшейся и не прожившей...

Сидели на открытой террасе до часу ночи. Эти часы, минуты безмятежности и тишины — прекрасны. Но это внешняя страничка бытия, а внутри всё время отщелкивает беспокойство.

2 июля 2001 г.

Переделкино. Это странное действие продолжается. Как будто незатейливую пьеску разыгрываем в добрых, уютных декорациях не нашего дома, возле камина. Игра всерьез и понарошку одновременно, как в детстве, — еда из кукольной посуды.

Тишина. Величественные сосны за окном большой (гостевой) спальни. Летняя духота. И повседневное, ставшее нормой, внутреннее беспокойство. Дни уходят, а жизнь не приходит. Это не мое, не наше с Радочкой¹. Мы *здесь* в гостях (это не только о Переделкине).

Опять засиделись допоздна на открытой террасе. Где-то уже так было: звёздное небо, тревожная луна, шорох листьев, чей-то шёпот, неспешный разговор о разном, можно не вслушиваться, можно молчать... Всё это без меня... Снова миражи...

И всё-таки спасибо за это путешествие в никуда.

4 июля 2001 г.

Ночью в половине четвертого проснулась. Пели птицы. Говорят, что соловьи. А я явственно слышала: чьи вы? чьи вы? чибис... (почему-то с детства было страшно: чьи вы? чьи вы? и зачем идете вы сюда?). В любом случае: рассвет, пение птиц, сосны и ели на фоне предрассветного неба — это всё-таки немножко другое состояние...

Вечером приехала домой в Марьино.

Здравствуйте, будни. Какое скучное слово!

22 августа 2004 г.

Ни дня без строчки. Меня всегда пугали люди упорные, точно знающие, как и что надо делать каждый день, каждую секунду. Казалось бы, позавидовать надо, брать пример.

Нет, это не я, не обо мне.

Я блуждаю всю жизнь в лабиринте раздумий, неуверенности, нестабильности и прочих «не»...

Два года назад стали рождаться строки. Не дневниковые — поэтические (осмелюсь сказать; или стихотворные — как скромнее?).

Нежданно-негаданно:

Застигло врасплох
Неверный шаг
И рухнет всё мирозданье...

Это сегодня мелькнуло... И, как всё у меня и во мне, неизвестно, будет ли продолжение, появятся ли новые строки, я жду, я замираю и иногда нахожу «почеркушки» на листочках, вырванных из моего маленького «ручного» блокнотика — почему вырванные? почему впопыхах записанные? кто нашептал? услышу ли ещё?..

¹ Радочка — сестра Виктории, писатель Рада Полишук.

Два причала
 конец и начало
 нет связи нет смысла
 только звучит призывно и вечно
 слабый мотив тихая песня
 без слов и без стога
 пригрезилась мне
 в начале пути и в конце

Иногда я вспоминаю их без знаков препинания (могу себе позволить). Иногда — читаю с изумлением, недоверием и сомнением, мое не убиваемое НЕ — стучится в сердце.

Вслух я их никогда не читаю, не «выступаю». Иногда снятся, знакомые, незнакомые, и в дневник приходят без стука, без спроса. Прислушиваюсь...

Боюсь — вдруг зависнут в пространстве, будто потеряли меня. Пришли — ушли в никуда, как бы и не было ничего. До слез знакомая картина.

2 декабря 2005 г.

Дух угнетен, душа пуста, плачет, рыдает. Я здесь, а жизнь идет где-то там, параллельно, и мы с ней уже никогда не пересечемся.

Нет ни времени, ни сил сосредоточиться на главном, заняться чем хочется.

А «сбоку» вопрошают: есть ли оно, главное, хочется ли заняться чем-то?

Дух не терпит пустоты.

Душа не терпит суеты.

Но каждый день жизни — это день жизни. И это счастье, что она продолжается.

Сегодня была ужасная ночь. Долго не могла уснуть. Видела мамочку, жаловалась на боли в сердце (она и умерла от инфаркта, пятого! на шестьдесят шестом году). А потом снились странные, летающие уродцы.

Днем родилось несколько строк:

Ночные кошмары,
 дневные виденья.
 Узоры причудливых сновидений.
 День суетен,
 ночь бесконечно пуста.
 Я сплю,
 я рожаю уродцев
 Из теней, сплетений
 ночных наваждений.

11 декабря 2005 г.

Мои непомерные страхи, отступите... Молю об одном, о главном, даже не облекая это в словесную форму. Страшно — говорить молитву своими словами.

Молча молю, молча прошу...

Господь милостив, а человек привередлив и капризен. И сам не знает, чего он хочет. Или только думает, что знает. А дай ему ЭТО — и оказывается, что и ЭТО не то.

Так ли? Много примеров, далеких, чужих и близких, на ухо нашёптанных по секрету. Приятельница буквально плачет: да, я просила мужчину... ОН дал... но я просила не этого... Да и я сама не раз о том же: НЕ этого! НЕ это!

Ну что тут скажешь: осудить? пожалеть? Вместе поплакать над несбыточностью? Смириться с тем, что есть? Смирение — вершина благочестия и добродетели. Смирение, покорность, послушание, повиновение, кротость и т. д. (все из словаря, не поленилась) — заманчиво: покорно подчиниться Другой Воле. Чьей Воле? Заманчиво, даже соблазнительно. Сулит отдохновение от мук, освобождение от ответственности.

Покой, наконец?

Мир опустел,
только пение скрипок
гонит позёмку
прощальных улыбок...

Банальность истин милых: жизнь конечна, но прекрасна... Я ли это?..

Хочется жить (оптимистка!) и «строить фантазии» (фантазерка!).

«Давай построим фантазии», — говорили наша одесская бабушка Голда и её сестра Дора. «Строили», ссорились в пух и прах, мирились, снова «строили»... жили... (Так написала Радочка в своих «Одесских рассказах», я ей верю.)

21 января 2006 г.

«Две верных подруги — любовь и разлука — не ходят одна без другой...».

Это о глобальном и вечном и совсем о конкретном, о чём страшно и подумать...

Даже написались несколько строк:

Случайные встречи, забытые речи,
мелькнувшие дни,
осталось немного —
отрезок дороги, ведущей к той дали,
незримой и вечной — конечной.
Нет больше печали, нет тайны разлуки,
жалость ушла, хандра и тоска.
В объятия сплетаются руки...
До боли знакомо
иль снилось всегда?

Не первый раз пишу: в строках — о потаенном, сокровенном у меня получается легче, как будто они живут сами по себе (но *приходят ко мне*, меня *нашли*, не я их, они меня, я это чувствую). Спасибо — «неведомо кому».

22 января 2006 г.

Не успокоюсь после вчерашней записи. Часто ловлю себя на том, что в пастернаковском «Сестра моя жизнь...» мысленно ставлю запятую после «сестра» получается «Сестра, моя жизнь...».

Ты моя жизнь, сестра...

Несчётно раз слышала: «У тебя есть сестра, какое счастье!». По разным поводам, ничего особенно не имея в виду: ну раз в году на день рождения пойти (два, если не близнецы), подарки, пожаловаться по телефону на мужа, на жизнь вообще, когда-никогда сходить в кино, в магазин или в театр, ну, может быть, наследство... И всё.

А сиамская неразделенность, когда до психушки один шаг без особого повода, и невыносимая боль, когда ей делают операцию, и наркоз — только ей... ты просто сестра, у многих есть сёстры, никто не сходит с ума и не требует наркоз от чужой боли...

На этом можно остановиться. Точка.

Или всё же — многоточие...

18 февраля 2006 г.

Люди, занимающиеся древними цивилизациями, — счастливые люди. Другое мироощущение. Соприкосновение с вечным наверняка поднимает над обыденностью. И отступает страх перед неизбежным...

12 сентября 2006 г.

«И что бы я ни задумал, меня преследует вопрос: зачем вся эта бессмыслица? — вопрос, который грозит завладеть мною целиком и полностью» (Теодор Фонтане).

Может быть, и мне всегда мешал жить этот неразрешимый вопрос?!

Словно бы снял у меня с языка. Хочется убрать кавычки и написать: всё старо как мир. (Вчера, позавчера, прошлый век и дальше, дальше — человек думал, страдал, надеялся, терял надежду...)

Не я одна. Утешает ли это?

8 октября 2006 г.

Даже в абсолютно личном, интимном: в этом дневнике, точнее, в этих сумбурных записях — можно ли быть вполне искренней, можно ли оставаться самой собой?..

Странная мысль: я не просила делать меня одинокой. Но ведь и никто не просил.

«Не родиться — безусловно, лучшая из существующих идей. К несчастью, она неприменима к человеку» (Э.М. Сьоран «О неуместности рождения на свет»).

Этого Э. Сьорана (Эмиль Чоран, румынский и французский мыслитель-эссеист) я нашла в недавно прочитанной (да, прочитанной! как это ни странно) книге голландского писателя Сейса Нотебоома «Ритуалы». Подзаголовок книги «Повествование о бесконечном одиночестве» для меня не нуждается ни в каких комментариях. Я бы так назвала мою книгу, если бы могла написать её. Даже рассердилась на Нотебоома, будто украл у меня что-то моё, очень личное.

26 октября 2006 г.

Пишу «абстракции», хотя болят «реальности». Но об этом очень трудно.

«Нет в преисподней муки страшнее, чем строчка стиха, оборванная посередине» (Снорри Стурлусон). Из прекрасной книги Ёрана Тунстрёма «Сияние» (перевод с шведского).

Этот Снорри — исландский поэт-скальд (XII — XIII вв.), автор трактата о древнескандинавской поэзии «Младшая Эдда».

Всё давно забытое и ни для чего не пригодившееся в жизни — филология.

Ведь мои строки: «Ночь нежна, цитата без кавычек, / Филология в основе бытия...» — это желаемое, а не действительное. А может, и желаний этих не было. Как знать?! Я так же и о Париже написала, жизнь спустя, в восторге чувств: «Мечта сбылась! Иль не было мечты?..»

ФИЛО-ЛОГ-ИЯ... Я полюбила СЛОВО, когда не знала, что такое филолог, полюбила с маминого голоса, по радио, полюбила слово как музыку, раньше, чем музыку. Я была запойным слушателем и читателем...

А потом я поступила на филфак МГУ! Мечта сбылась!..

А потом всё как-то не сошлось... Всё время пишу: я не боец, не строитель своей судьбы, я сдалась и поплыла по течению...

Только плавать никогда не умела.

10 ноября 2006 г.

И ещё раз из книги Тунстрёма: «В конечном счёте всё, чем мы живем, — не от мира сего. В конечном счёте мы всё-таки сочинили свою жизнь, написали песню, которая, отзвучав, витает на земле лишь краткий миг».

И на самом деле для таких, как я, всё нереально, всё в воображении, всё от детского-недетского предвидения «миражности» моей конкретной судьбы (опять вспоминаю мой детский дневник).

Ничего не изменилось, только песня звучит всё тише и дальше, всё нереальнее её тоненький, но навязчивый мотивчик.

15 ноября 2006 г.

Несколько моих строк:

Сиреневые проблески надежды
в рисунке детском отражались...
Я уходила, я рождалась,
неведомую даль не разглядев —
расслышав...

Эта неведомая даль, наверное, убила во мне каждодневную жизнь.

21 ноября 2006 г.

Что такое смерть? Это закономерность бытия. И это тоже нужно прожить.

Из Олеши: «Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле, было мгновение, когда я, раздирая рот в крике, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь. Разве это не было страшно?».

Я не философ. Рассуждать об этом в любом случае страшно. Думаю, страшно всем, вернее, этот страх объединяет всех. Думаю, что и глубоко верующие, даже в старости, не спешат к Богу. Ждут, когда позовет. Так проще. И, видимо, всегда хочется жить. За скобками — суицид и экстремальные обстоятельства.

И ещё из Олеши (неожиданное совпадение — слово в слово, мое, даже в паузе между словами, и пульс бьется одинаково неровно, аритмически): «Главное свойство моей души — нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить заботу о том, что вот что-то надо сделать, и тогда я буду жить спокойно... На самом же деле это вечное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь...».

Об этом же, немного другими словами, Марк Аврелий и другие, другие...

В их ряду и я...

Но все раздрызги, сумятица мыслей, вечный душевный непокой не улучшают качество жизни, только напрягают.

И жизнь утекает сквозь пальцы, теперь уже в ускоренном темпе — всё быстрее, быстрее, быстрее... Не догнать, не вернуть в своё русло. («Мне подменили жизнь в другое русло...» — Анна Ахматова.)

22 ноября 2006 г.

Продолжение вчерашнего (неожиданно).

Я жизнь люблю. Иногда думаю: она главная моя болезнь, я ею болею неизлечимо и боюсь её больше всего на свете. Такое триединство: жизнь = страх, любовь, болезнь. А счастье? «...Лишь только музыка одна объятия свои раскрыла...» (Моё).

Думать, думать и думать...

Или, наоборот: не думать вообще.

Просто плыть?

Но плавать я не умею (уже писала, будто оправдаться хочу...).

17 июня 2007 г.

«Большая и сложная жизнь сердца» — сказано точно.

Это об Анне Ахматовой в книге Бориса Носика «Анна и Амедео».

О, эта жизнь сердца — как это понятно, как томительно и как это мешает жить обычной, нормальной, каждодневной жизнью.

Я могла бы написать трактат об этой «жизни сердца». Писать его начала очень рано: ещё в моих детских дневниках бурлило, клокотало тягостное предчувствие невозможности осуществления «большой и сложной жизни сердца» в настоящей реальной жизни.

Оттого, ужаснувшись, много лет спустя уничтожила отпечаток томительной жизни сердца — мои дневники.

Прошло 50—40 лет — и что же?

Пишу дневник...

26 июня 2007 г.

Я думаю, криком и вопросами можно замучить себя до смерти. Что и произошло со мной.

27 июня 2007 г.

«Бог совершенен и благ. Но Он еще и Творец. А Творец не может быть благим. Когда Он творит, Он выходит из своего совершенства и делается как мы, и тогда может

произойти всё что угодно. Тогда Он одной рукой уничтожает, а другую — созидает» (Торгни Линдгрэн, «Вирсавия»).

Может ли удовлетворить такая версия, объясняет ли она запутанную картину мироздания, деяния Творца?!

«Всё роковое и окончательное в происходящем определяют деяния и события, а не слова и мимолетные мысли».

Из этой же книги.

На сегодняшний день от каждого почти человека в любом разговоре можно услышать многозначительное: слова и мысли вещественны и влекут за собой события. Не думай о плохом, не говори о грустном и пр., и пр. Тьфу-тьфу-тьфу! — поплрой три раза.

И то и другое для меня — демагогия в той или иной степени (или просто бред сивой кобылы?). Происходит то, что происходит, и «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»...

Кажется, всё уже сказали до нас поэты. Вот и Рада написала: «Никто не воздаст почести за то, что прошло, а надо ли?». А собственно: кто должен воздать? И тут же: а надо ли?

15 июля 2007 г.

Не требовать ничего — это и есть рассудительность и душевный покой.

Достижимо ли это?

Не важно, есть ли люди, живущие, не требуя ничего. Есть ли у них душевный покой?

Важно понять, существует ли вообще душевный покой.

Достижимо ли это?

23 июля 2007 г.

«...И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад».

Я очень любила всегда это стихотворение Блока — «Девушка пела в церковном хоре». Светлая печаль дрожала в душе, ведь «всем казалось, что радость будет». Грело: «ВСЕМ» казалось. И: радость «БУДЕТ» — и в юности, и позже тоже. Но только теперь, десятилетия спустя, листая дрянную, но затягивающую, как омут, чёрный омут, «Книгу мёртвых» Э. Лимонова, наткнулась на определение этого стихотворения как «страшного».

Страшно ли это, или это не совсем верное слово? Разве кто-то думает, что «придут назад»? Может быть, надежда на будущую встречу с «ними» перечеркивается этими строками?

«Никто не придёт назад...».

А другой поэт — Бунин: «Если сердце хочет, если верит, / Значит — да...».

И дальше: «Всё, что есть в тебе, ведь существует...».

Всё равно «никто не придёт назад»?

25 июля 2007 г.

Мечта сбылась: Он — Праздник,
Он всегда с тобой.

Это мои строки, написанные почти через два месяца после возвращения из Парижа.

Да, да, Парижа.

Произошло то, о чем я долго-долго мечтала. Сбылось! И не разочаровало! И даже если я больше никогда не увижу новый город, новую страну, мне достаточно. Я абсолютно счастлива — Париж был в моей жизни.

Два самых сильных парижских впечатления вышли на первое место в ряду моих потрясений от внешнего мира.

«Кувшинки» (Моне) в галерее «Оранжери» (сад Тюильри) — два зала блаженства, покоя и ухода из жизни сегодняшней, твоей, в мир красоты и бесконечности, при всем однообразии изобразительного ряда.

Нырнуть и остаться в густой тишине,
Забиться без мыслей, без слов и пустой суеты. (Моё).

Месса в Нотр-Даме. Под звон колоколов Нотр-Дама, под зонтами, вереницей, друг за другом (нас много, идущих туда...), медленно движемся к Нотр-Дам-де-Пари...

Дождя пелена рассыпалась рвано.
Рыдания органа —
как странно —
под звон колокольный седин Нотр-Дама
затихли. (Моё).

Восемь дней в Париже — много или мало?!

30 июля 2007 г.

«Мы вспоминаем не то, что было, а то, что однажды вспомнили» (А.Ахматова).
Если верить Найману, который «вспомнил» эти её слова.

Воспоминания хрупки, неотчетливы и зыбки. Мои воспоминания. Особенно о вещах конкретных, общепринято жизненно важных.

«...Однажды вспомнилось...» — это не обман, не подтасовка, а, может быть, желание прожить другую жизнь, вернее, уже прожитую ситуацию немножко иначе, ближе к нашему видению и ощущению этой ситуации.

Отсюда, может быть, наши «легенды» о своей жизни. Ведь могло быть так, как мы рассказываем. Могло.

5 августа 2007 г.

Когда-то я написала на клочке бумаги: «Моя дверь открыта, может быть, кто-то войдет, может быть, нет, но моя дверь *открыта*».

Жизнь прошла с томительным ощущением возможного счастья.

В молодости я часто задавала себе вопрос, наблюдая за «женщинами в возрасте»: когда наступает тот период безразличной, спокойной мудрости, когда уходит это «ощущение возможного счастья»?

Теперь я сама — женщина в возрасте. И у меня по-прежнему нет ответа на этот вопрос. И дверь моя открыта...

Одна сижу на солнце — мечтаю.
Время уносит годы,
а я всё мечтаю.
О чём-то недетском,
несбыточном.
Навсегда.

10 августа 2007 г.

«Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата?»

Если этот вопрос задает сама великая Ахматова, если не лукавит она и если я правильно понимаю смысл вопроса, то и она мучилась, грубо говоря, тем — не много ли поэтов и не являемся ли «мы» перепевами уже давно и великолепно «напетого».

Широкая расшифровка этой фразы, её литературоведческий разбор с примерами из классиков у Наймана служит, если я правильно понимаю, оправданием любого литературно-поэтического заимствования, в силу твоих способностей, развернутого далее, без кавычек.

Но Анна Андреевна пишет: «Не повторяй — душа твоя богата...»!

Так всё или не всё написали уже за нас поэты?

И откуда, по чьему велению приходят к нам наши строки? Я не вообще, а о себе: я не пишу стихи, но мои строки — *моё*, сокровенное, без утайки. Без них у меня так не получается.

Спасибо и низкий поклон — неведомо кому. Может, ОН заглянет ненароком в мою тетрадку.

20 августа 2007 г.

Сёстры.

Сюжет 1. Неужели из этих двух старушек-сестёр... одна ушла в мир иной? Что делает одинокая другая? Не заблудилась бы без привычки — всегда: одна из, теперь — *без* своей пары, они всегда ходили «под ручку», она так и держит левую руку согнутой в локте...

Я в этом мире не одна —
сестрёнка младшая со мной,
мы неразлучны.
Две девочки вчера,
старушки завтра —
пусть будет так, прошу.
Я не смогу одна.

Ничем не помочь, это неизбежный конец. Точка.

Сюжет 2. Сёстры-соседки с девочкой, дочкой, их общей дочкой, которая одинаково радостно и доверчиво тянет руки и к одной, и к другой «маме». Ситуация изощренная: так не бывает, но бывает и так.

Обе эти картины — как бы слепки нашей с Радой судьбы.

«Дитя моё нерожденное, плод рокового пророчества, вдали от глаза стороннего врачует моё одиночество...» (из Радиного стихотворения).

Часто снится сон, иногда наяву, когда очень плохо: ничего не видно, глухая тьма, ни звука, ни шороха, тишина, пустота... как будто одна во всем мире... но теплая ладошка в руке — Рада, Радочка, сестрёнка моя младшая, всегда со мной.

Теперь немного иначе. Они с Сашей¹.

Что не отменяет первого сюжета — одна из сестёр...

21 января 2006 года очень туманно и неопределенно я написала несколько слов о нашем с Радой вечном страхе — остаться одной.

И там же мои строки (поэтические) об этом...

23 октября 2007 г.

Герой очередного читаемого мной романа Сейса Нотебоома гоняется за прекрасным миром — маленькой китайской девочкой.

¹ Александр Кирнос — писатель, врач-хирург, муж Рады Полищук.

А я всю жизнь гоняюсь за чем? За моей призрачной, несостоявшейся жизнью... Недаром я читаю такие книги. Ни один нормальный человек *такое* читать не будет.

10 ноября 2007 г.

Несколько строк ни о чем.

О страшном одиночестве, неприкаянности, обреченности нести это бремя. Невыносимо тяжело... И где оно — смирение? Страшно...

В книгах иногда случайно нахожу единомышленников? единоверцев? (не знаю, как их назвать). Так неожиданно встретился Сергей Довлатов: «Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, одиночество — никогда». И дальше: «Я предпочитаю оставаться один, но рядом с кем-то».

Рядом с кем-то... Пожалуй, и я предпочту. Или нет?.. Головоломка.

18 марта 2008 г.

Мне теперь осталось только одно. Из последних сил, которых уже давно нет, исполнять свой долг перед жизнью. Хотелось бы достойно.

Перебирая какие-то бумажки, я нашла записочку с этими словами, написанную лет пять назад, может быть, раньше — не помню.

Ничего ни со мной, ни во мне не изменилось за эти годы.

И исполнять достойно свой долг перед жизнью тоже не получается.

Так я чувствую, хотя долговую грамоту, где всё по пунктам расписано, никогда не видела, чтобы галочки или плюсы-минусы ставить. Только кардиограммы могу предъявить.

И мой дневник?

Кафка: «Мой дневник — утешение в боли».

А мой?

Не знаю. Но для чего-то (или почему-то) я пишу.

15 июня 2008 г.

Прожитая жизнь или слава в вечности.

Интересно, что ответили бы на этот вопрос Ван Гог, Модильяни, Цветаева... Жизнь — это более или менее длительный путь в реальном земном измерении, который каждому «выдается» по его программе, каждый человек его проживает один, наедине с собой. Всё остальное — игра его воображения.

Каждый из этих людей любил, страдал, мучился, чего-то хотел, стремился, болел, в конце концов. Все эти банальности есть существование каждого.

Отказалась бы Цветаева от петли, зная, что её ждет слава? Или не было бы славы, не будь петли? Но есть же слава у Ахматовой, Пастернака...

Что на чаше весов — жизнь или вечность?..

Знакомое с раннего детства, до осознания себя и всех, будто сама Марина нашептала мне в душу:

«Послушайте! Ещё меня любите
За то, что я умру».

Зачем ей в 20 лет любовь после исчезновения «с поверхности земли»? Не я первая задаю Марине этот вопрос, не я первая жду от нее ответа.

Любите меня сейчас! — говорит она.

А слава? Игра воображения?

27 апреля 2009 г.

Через несколько лет. Опять сёстры. Случайная встреча в Институте неврологии.

«Как отвратительна действительность... и что она против мечты» (Гоголь, «Невский проспект»).

Они так похожи, эти две сестры. Неопределенного возраста восточные женщины. Одна из них горячечно рассказывала о своих болезнях, вторая ей поддакивала. Сначала можно было подумать, что она поддакивает болезням сестры. Но выяснилось, что и болезни у них абсолютно одинаковые, и приходят они с этими болезнями одновременно к одному врачу, и никто им не может помочь, и они не знают, что им делать. Я задала им один вопрос: вы живете вместе? И жалею, что постеснялась им посоветовать: разъехаться и начать жить отдельно, каждая своими проблемами, по крайней мере — попробовать.

О Господи, этот хорошо мне известный феномен — сёстры.

Это понятно немногим. Для подавляющего большинства: сёстры — это дети одних родителей.

В тех немногих случаях, о которых я пишу сегодня и как-то еще раньше: сёстры — это рок, предопределение, судьба. Невыносимая мука слиянности, и вечная борьба «нанайских мальчиков», и вечная любовь, самозабвенная до самоотречения сестринская любовь. Выдумка?

Я бы могла об этом написать трактат. Хотя у Рады в её книге «Роман-мираж, или Сёстры», с её же слов, всё-таки не получилось — до конца, без утайки. При всей обаятельности и, казалось бы, полной откровенности, что-то всё-таки на самом доньшке — осталось нетронутым.

Когда это твоя личная ситуация, вернее, твоя единственная жизнь, трудно, наверное, да и невозможно, сказать всё, даже вырвав своё сердце, чтобы не мешало.

А всё-таки: «и поединок роковой» и «роковое их слияние» — это не я придумала. Незабываемое тютчевское, всегда не только на кончике языка, но и в душе, то томительно замирая, то тахикардически гулко и тревожно стуча в висках.

Ах, как безукоризненно точно...

1 июня 2009 г.

Главный враг любви — не ненависть, а равнодушие.

Написала и подумала: а что такое равнодушие, вернее, что такое неравнодушие — сочувствие? соучастие? сопереживание?

Моя мама. Открытая душа, не в простоте, а в чистоте своей, в отзывчивости, каждым нервом, каждым миллиметром сердечной мышцы (пять инфарктов, один другого тяжелее, обширнее...) — помочь, приласкать, накормить. Выслушать!

«Ведь теперь тебе ничего, не страшно? Да?». Владимир Маяковский, одинокий, ничей. Вот ещё: «Хорошо, когда в жёлтую кофту душа от осмотров укутана...». Большой ребёнок. Я бы тоже укуталась в кофту и жёлтый цвет очень люблю, и до сих пор люблю его раннюю лирику... В общем, притулилась бы к нему.

Только я ему для чего?

Ему была нужна моя мама, её беззаветное, бескорыстное сердце.

Неожиданный постскриптум (сейчас, здесь). Несколько слов о фильме «Маяковский. Два дня» (TV). Впечатление неоднозначное. Может быть, над эстетическим чувством взяла верх женская жалость, но в конце фильма как-то поверила актёру Чернышову, и стало по-человечески жаль Володю Маяковского, неприкаянного, раздираемого противоречиями, не совместимыми с жизнью, нелюбимого, но страстно желающего большой женской любви, может быть, безоглядно самоотверженной, но так и не доставшейся ему. Ведь ему было всего 37 лет!

Он был беспритворный человек. Это так понятно...

15 июня 2009 г.

«Жизнь! Что мне надо от тебя — не знаю,
Остыла грусть, младенчества удел.
Но так скучать, как я теперь скучаю,
Бог милосердный людям не велел.

И если где-нибудь живет и дышит
Тот, кто навек назначен мне судьбой,
Что ж не приходит он ко мне, не слышит
Ещё не ослабевший голос мой?»

Или ещё из другого стихотворения:

«Отчего мне так страшно? Иль, может быть, всё это снится,
Ничего нет в прошедшем, и нет ничего впереди?»

Это из Георгия Адамовича. Абсолютно неожиданно открыла для себя его стихи (из сборника «Серебряный век»). Почти ничего о нем не помню.

Но эти строки так много говорят моей душе, моей все ещё тикающей душе, хотя нет ничего в прошлом, и ничего не ждет в будущем. А ведь я знала это уже в 12 лет, что «тот, кто навек назначен мне судьбой», — не придет, никогда.

25 июня 2009 г.

Большинство людей не понимают, что человек приходит в мир этот один, уходит один. Одиночество — нормальное состояние человека.

Живут иллюзией семьи, друзей, сотрудников, соратников и пр. Всё это временно, даже если длиною в целую жизнь, и чаще всего случайно и заменяемо.

Но это большинство гораздо счастливее таких, как я, одиночек. Они не задаются моими вопросами, не мучаются моими сомнениями.

Моё:

Отбросив страхи и сомненья,
ныряешь смело с головой
в простые истины земные.
Зачем-то силишься понять,
как будто открываешь вновь,
то, что извечно и забыто,
и тысячи веков тому
мешало ей, тебе, кому-то.
И унеслось позёмкой зыбкой —
лет, судеб, дней, ночей.

10 июля 2009 г.

Что-то делаю, иногда рисунок, вот стекла расписала. Теперь не знаю зачем. Всё всегда упирается в собственное бессилие. Где их хранить? Что с ними дальше делать?

Без сожаления бросаю любое начатое дело. То есть отношусь к тому, что «пишу» или «рисую», очень легко.

А остальное — уже опять жизнь, в которой всё пугает, ничего не получается.

Вопрос: если бы я к жизни относилась бы так же просто, безболезненно, как к своим рисункам, картинам, строкам, может быть, у меня и в нормальной, человеческой, женской ипостаси тоже что-нибудь получилось?

20 августа 2009 г.

Лишь одиночество — удел
Заблудших, не смиренных душ... (Моё).

«Да живи ты хоть три тысячи лет, — говорит Марк Аврелий, — хоть тридцать тысяч, но помни, что человек никакой другой жизни не теряет, кроме той, которой жив, и не живет он лишь той, которую теряет».

Над этим афоризмом можно думать бесконечно долго, всю жизнь, и в результате потерять её, свою единственную.

Это удел моей не смиренной души.

15 октября 2009 г.

Строки мои рождаются в моменты сильных, очень сильных эмоций.

Как сейчас.

Белые розы. Иль это грёзы?
 Цветы печали опять зазвучали
 забытым фото в альбоме домашнем.
 Смушение, сомнение...
 Уроки, звонки, одноклассников лица,
 мне это снится?..
 Но белые розы возникли как грёзы,
 Таинственно нежны,
 как звуки капли, как капли дождя.
 В душе неприютной, смятенной и чуткой,
 как образ печали, как нежность сама —
 белые розы...
 Боюсь расплескать, спугнуть, потерять...
 Тоненькой ниточкой светлой печали
 Нас связали — белые розы...
 Иль это грёзы?..

Написала сегодня ночью.

О том, что произошло за последние две недели (иль это грёзы?..), — не буду.

26 октября 2009 г.

Прошло только десять дней.

«...Белые розы... иль это грёзы?..»

Меня одиночеством Бог наказал. Это уже не грёзы. Это жуткая реальность, из которой выход невозможен.

Дверь наглухо заколочена.

1 ноября 2009 г.

«Я прохожу по этой земле всегда в мечтах и одиночестве».

Неточная цитата из Сергея Муравьёва-Апостола.

Как будто обо мне. Сколько нас было и есть одиноких мечтателей на этой земле.

11 января 2010 г.

«Отрава бесплодных хотений» (И. Анненский).

Мою первую «дневниковую» тетрадь (и вторую), которую я написала примерно в 11—12 лет, я перечитала по окончании Университета и уничтожила, потому что испугалась: мне попросту стало страшно. Но, разорвав тетради, я не сумела уничтожить в себе этот комплекс «бесплодных хотений» именно потому, что я с ним родилась и это определило мою жизнь.

Об этом, собственно, я уже писала в этой тетради пару лет назад. Конечно, не могла не написать.

Получается, что прошла целая жизнь, а ни внутреннее состояние, ни внешние обстоятельства моей личной судьбы не изменились.

Пришла в эту жизнь одна, но меня уже очень ждали мама и папа — долгожданный, поздний, любимый ребенок.

А дальше стало только хуже — они ушли. И теперь я доживаю отпущенный мне срок, потому что так надо.

Как в стихах моей сестры: «Я жизни хочу, а она не приходит».

Вернее — я хочу, но не умею жить.

5 марта 2010 г.

«Земное устройство не главнее духовного, равно как наука общежития не главнее подвига одиночества» (М. Цветаева, статья «Поэт и время»).

И еще Цветаева: «Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда бледнеет перед воспоминанием о книге. Я мысленно всё пережила, всё взяла. Значит, я не могу быть счастливой?».

С раннего детства (и еще лет десять назад) я бы с уверенностью сказала то же самое. Теперь у меня нет и книг.

Значит, я вдвойне не могла бы никогда быть счастливой?!

Но что такое счастье?! С ним, с этим чувством, с этим переживанием, наверное, тоже рождаются (может быть, не осознавая его изначально). Мне не дано это узнать. Не дано.

Но в моем дневнике несколько раз мелькает слово «СЧАСТЬЕ». Проверила.

Это я написала. Кавычки снимаю.

15 марта 2010 г.

Ничего в «линии жизни» нельзя изменить. И вся наша земная жизнь — страдание. Получается, что смысл земной жизни в том, чтобы не пытаться избегать этих страданий. Это обречено на провал.

Мудрость в том, чтобы стараться соизмерять их со своими возможностями. Но кто знает свою меру страданий и свою меру возможностей. Получается опять тупик. И ничего от тебя не зависит.

Если бы была не одна жизнь, единственная, то одну можно было бы посвятить напрасным сожалениям, депрессиям, бессмысленным вопросам, мучениям и пр.

Может быть, тогда, в другой, многое проявилось, и было бы легче, свободнее, проще.

А так — что делать? Нет выхода, нет выбора.

20 марта 2010 г.

Мужчины этого не могут понять. Если ты в молодости не встретила (или тебе не суждено было встретить) своего единственного, то в результате ты встречаешься с другим или с другими. И как говорит Цветаева: «...Пересоздаешь на время объект своих чувств».

Мне это хорошо знакомо. Это делается, чтобы восполнить пустоту, и постепенно тебе начинает казаться, что ты вживаешься в ситуацию. Но ничего невозможно «пересоздать» и ничто не может заменить истинное чувство.

И ты мечтаешь, ощущая внутреннюю опустошенность.

И всё-таки надеешься. И что самое интересное — даже я всё ещё на что-то надеюсь.

Хотя это безнадежно глупо...

Затаилась в уголках улыбкой
дрожь неведомой судьбы,
и, как дар волшебный,
миллионы скрипок
возродились в омуте любви.

Мои строки, раз словечко, два словечко — будет песенка.

25 апреля 2010 г.

Читала для нашего альманаха «ДИАЛОГ»¹ статью Леонида Финкеля о Владимире Перельмутере.

¹ Российско-израильский литературный альманах (издавался в Москве с 1996 по 2019 годы), издатель и главный редактор Рада Полищук.

Интересная мысль: «...Человеческое неведение огромно. И всё же — не сесть в божественный “экипаж”, везущий к истинной жизни, опоздать на него может только тот, кто не принимает вещи всерьёз».

«Экипаж» — это из Кафки.

«Оставайся непоколебим, — размышлял Кафка, — и ты увидишь неизменную тёмную даль, откуда однажды появляется экипаж, вот он приближается, увеличивается, к тому моменту, когда он подъезжает к тебе, он вобрал в себя весь мир — и ты погружаешься в него, как ребёнок в подушки дорожного экипажа, прокладывающего путь сквозь бурю и ночь».

То, что не погрузилась, не сумела, не заметила, пропустила этот «экипаж», — это один из основных дефектов моего мозга, лености его, пассивности или природной неспособности к восприятию и осмыслению Познания с большой буквы.

21 мая 2010 г.

Две великие любви: Лавиния и Нина.

«...Но зачем пережила тебя любовь моя?», — начертано на могиле Грибоедова на Мтацминде.

И крик ключницы Шахони¹, который был слышен в уезде за одиннадцать вёрст.

Возможно ли это? Возможно. Любовь.

Шестнадцатилетняя вдова, чёрная роза Тифлиса: пять месяцев — жена и двадцать восемь лет — без него.

Обе эти женщины маленькими девочками шести-десяти лет, увидев «дядю», навсегда (сначала подсознательно) полюбили ЕГО, предначертанного, только ЕГО, именно ЕГО, любили ещё в утробе матери.

17 июня 2010 г.

Алексей Апухтин говорил о Майкове: «Всех поэтов, независимо от их направления и таланта, я делю на два разряда: на поэтов искренних и неискренних. Искренний поэт пишет, когда какая-то неведомая сила заставляет его писать. Высшим проявлением такой искренности был Пушкин... К типу поэтов неискренних я причисляю Майкова. Этого никакая сила не толкает, он запирается в своем кабинете и думает: “Не написать ли мне какое-нибудь стихотворение...”».

Прочитала это в книге о Чехове «Вторая жизнь».

Не знаю, говорил ли это Апухтин. Но для меня как раз в этом суть творческого процесса: «неведомая сила» или «ни дня без строчки».

Не отвергая второй, ремесленнический, вариант, я всегда на уровне подсознания, даже тогда, когда сама не написала ни строчки, понимала и чувствовала эту «неведомую силу». А в моих картинах (рисунках) и подавно — не муки творчества, а полёт, улёт, блаженные минуты: «Выдох полный, взгляд знакомый, зов заветного листа — чистота, улетаю, улетаю, навсегда...». Это Рада в своем стихотворении, посвященном мне, — и правда, правда — улетаю!

Кстати, где-то год назад сделала попытку прочесть Олешу — осилила с трудом страниц 15—20. А «Путешествие дилетантов» — как в первый раз, на одном дыхании (как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить...). Вот, вот, именно, «не стараясь угодить», тогда это общее дыхание возникает с обеих сторон.

21 июня 2010 г.

«Отрава бесплодных хотений» (из Иннокентия Анненского) замучила душу мою.

Но кто и почему изначально может знать, что такое «бесплодные» и какие и для кого — бесплодны.

Самые простые, доступные, общепринятые жизненные ситуации (категории) могут оказаться «бесплодными хотениями».

¹ Имеются в виду: Нина — Нина Чавчавадзе, вдова Грибоедова; Лавиния и Шахоня — героини романа Б.Окуджавы «Путешествие дилетантов». — *Прим. ред.*

Моя же душа с момента рождения, еще в маминой утробе, предощущала эти мучения.

Невыносимо...

А вся жизнь — преодоление этих мучений. И неизбежная игра в жизнь. Это не значит, что я не хотела жить. Хотела, но мешал подсознательный страх бесплодности хотений.

И вообще (я об этом, кажется, уже писала): я просто не умела играть ни во что, с самого детства, всё это за нас двоих умела моя Радочка (правда, это были детские игры, повзрослев, она тоже разучилась). Я думаю, каждая из нас была актрисой одной роли — менялись обстоятельства, декорации, партнёры, зрители (они всегда есть), а мы не менялись в чём-то главном: не умели перестраиваться, притворяться, говорить о себе, «воображать» и всякие другие фокусы показывать... В общем, опять набившие оскомину мои НЕ.

Но всё это правда — такими нас «запустили» в эту жизнь.

10 августа 2010 г.

С детства, почти с младенчества, страстное, неизъяснимое предощущение любви.

Слишком страстное, слишком смутное, чтобы сбыться в реальности.

Напряженно-раннее томление души разрушило всё, предлагаемое обстоятельствами вместо любви (можно поверить и принять за любовь — как большинство), но это не для особо тонко восприимчивых девичьих душ, к коим отношу себя и по сей день. Было бы смешно, кабы...

Ни в коем случае себя не сравниваю, но женская смятенность, нереализованность Анны Ахматовой — звено этой же цепи.

Предчувствие и ожидание СВОЕГО мужчины погубило, подменило всё, что происходило в жизни или могло произойти.

Томление, смятение души неосвязаемо, его нельзя ни увидеть, ни услышать, но, кто это переживал, ощущал, тот знает, какое это мучение, иногда очень острое, болезненное, иногда со сладковатым привкусом надежды.

«И было мукою для них, / Что людям музыкой казалось...».

Великолепные строки из стихотворения Иннокентия Анненского «Смычок и струны».

Их встреча произошла, но скажи: «...Ты та ли, та ли?».

Не УЗНАЛИ друг друга. Эта обреченность неузнавания, невозможность слияния, мука этого недостижимого слияния...

Несколько лет назад написались строки:

Полсотни лет отмерено уже,
Любви устала ждать,
Сражаться с неизбежностью,
С ней спорить, чтобы избежать удела,
Общего для всех.
Какая глупость.
Не хочу я жизни вечной,
Всё так же без любви,
В раздорах постоянных с собой
И слабостью своей.
Пытаюсь смириться...

Карабкаюсь... Но тщетно?!

17 августа 2010 г.

Мы читаем, чтобы знать, что мы не одиноки. Да, долгие годы, с детства, примерно до 55—60 лет, я много читала и по-настоящему жила только в мире книги, была плотно окружена множеством мужчин и женщин и, в общем-то, ощущала себя

одной из них. И многое из того, что я читала, заполняло пустоты моей внешней жизненной ситуации, в каком-то смысле подменяло и заменяло мне саму мою каждодневную жизнь.

Часто я спешила, уходила из своей повседневности в чужие судьбы еще и потому, что своя не удовлетворяла абсолютно.

Теперь-то я вижу всё это иначе. Они (писатели) просто рассказывают истории, а мы от отчаяния «их» историями подменяем свою жизнь.

25 сентября 2010 г.

«А где-то там мятутся среди огня / Такие ж я, без счёта и названья...»
(И. Анненский).

Наверняка есть такие же мятущиеся, как я, неприкаянные женские души.

Их талантливо-много в прозе моей сестры. Но она, во многом, это я. И её повести-рассказы о мятущихся душах — это наши с ней раздрызганные жизни не в буквальном смысле, а именно, как у Анненского: которые «мятутся среди огня»...

И пытаются летать на опаленных крыльях.

15 октября 2010 г.

«Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетёт меня...».

Но возможно лишь то, что происходит.

Вероятно, и для меня существовали какие-то возможности. Но в обычной жизни я с ними не встретилась, разошлась во времени и пространстве. Или просто — НЕ узнала?

Однако что-то все-таки было...

Мне всего 12 лет. Я ничего не знаю о любви. Почему именно он, этот второгодник? Русоволосый, с серыми невыразительными глазами, довольно высокий, стройный, очень хорошо пел. Это всё, что я помню о нём.

Я, конечно, не помню, когда и почему обратила на него внимание. Но очень хорошо помню моё состояние — это было настоящее страстное, женское чувство томления, совершенно неосознанное в том смысле, что я тогда абсолютно ничего не знала об отношениях мужчины и женщины. Я просто его любила. Не влюблена была — любила!

Со мной творилось что-то невыносимое, внутри всё замирало, где-то в желудке подсасывало до тошноты, я цепенела, немела, но вместе с тем всё клокотало от страстного желания общения с ним, причём постоянного. Надо сказать, эта моя любовь была одной из самых сильных, даже уже во взрослом состоянии на протяжении всей моей жизни. Совсем не детская игра.

И всю мою будущую женскую жизнь мои чувства к мужчине, в которого, мне казалось, я влюблена, я проверяла по этой шкале: чувствую ли я к нему то, что тогда в детстве, то сильное, мучительное, сладостное, почти до обморока.

Если нет — это не любовь, а что-то другое. Только так.

1 ноября 2010 г.

Прочитала в беседе Иосифа Бродского с Петром Вайлем: «...Я понял на каком-то этапе, что я сумма своих поступков, действий, а не сумма своих намерений».

Абсолютно так: намерениями, как известно...

А живем именно поступками, действиями, которые, по крайней мере у меня, отличаются от моих намерений.

Я абсолютно не властна, всё происходит независимо от моих планов, замыслов, а тем более — желаний.

Это для меня болезненное ощущение, подтачивающее мою жизнь и моё здоровье.

И так день за днем.

30 декабря 2010 г.

Один день...

На исходе старого? В преддверье нового?

Опять из Кафки: «Со стороны глядя, это ужасно — умереть взрослым, но молодым еще страшнее — покончить с собой, уйти из жизни в полном смятении... утратив все надежды, кроме одной-единственной, что, по великому счету, твоё появление на свет будет считаться как бы не состоявшимся».

Может быть, этот земной отрезок, действительно, чистой воды эксперимент? Шутка Творца?!

Ни глубины познания, ни глубины постижения. Одни сомнения, мука, вопросы — и так с детства до уже, можно сказать, старости.

Ни веры, ни смирения за прошлое, ни смирения перед будущим.

Растерзанной жить не хочу...
 Вытяну в тонкую нить
 обрывки разбросанных струн,
 что в силе душевной моей
 собрать и соткать воедино,
 что в воле, подвластной Тебе,
 набело наново сделать.
 Зачем? — лишь осталось вдохнуть
 и — выдохнуть влажный комок
 вконец обессиленной плоти.

Помогают мне мои строки, помогают (я уже, кажется, писала об этом). В них слышится исповедальность — я её слышу. Значит, всё же могу перейти черту запретную, рассказать (зачеркнуто), написать (зачеркнуто), выразить сокровенное. Облегчить, пусть на миг, муку моего усталого сердца. (Что-то я здесь перебираю в откровенности, но всё это ведь только для себя...)

7 июля 2011 г.

День рождения папы. 14 лет без него с неотменяемым вишневым пирогом — талисманом папиного долголетия. Так или иначе, мы соблюдаем этот ритуал, всегда со слезами в душе, все запиваем солёно-кислым вишневым соком наших воспоминаний.

А сегодня у меня юбилей — 50 лет назад я поступила-таки на филологический факультет Московского государственного университета! Вот так — полностью, без аббревиатур и сокращений. Со всем моим почтением, тогдашним, давним, детским. Про «-таки» ничего писать не буду, не сейчас — слишком глобальная, судьбоносная частица, если её толковать расширительно... Нет, не сейчас.

ФИЛО-ЛОГ (phileo + logos).

Какое слово! Не слово — песня, из которой слово не выкинешь, всё в строку ложится, по всем правилам грамматики и транслитерации, не добавить, не выкинуть. Дословно: ЛЮБЛЮ СЛОВО. На всех языках так, потому что перевод с греческого.

Два главных символа жизни: ЛЮБОВЬ и СЛОВО, её краеугольные камни, её сокровенное, тайное, необъяснимое, что понять, испытать, пережить (пусть даже со смертельным исходом) стремится всё живое, мыслящее, страждущее, юное, старое.

Я с ранних лет знала, *что* это, предчувствовала, ждала. «И было мукою для них, что людям музыкой казалась», — я поняла *это* в детстве, ещё не зная прекрасные строки Иннокентия Анненского.

А в 2010 году написала в своём буклете «Переплетенье сюжетов» (сегодня случайно попал под руку):

«ВСЁ ПРОИСХОДИТ НЕ СО МНОЙ...

Я ЗАБРЕЛА СЛУЧАЙНО В ЭТОТ МИР, МИР ИНОЙ ОТКРЫЛСЯ МНЕ,
 СИРЕНЕВЫЕ ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ, УЗОРЫ ПРИЧУДЛИВЫХ СНОВИДЕНИЙ,
 ПОТОКИ НЕРАЗГАДАННЫХ МИРОВ...

Я вдруг поняла — если взять вразброд мои поэтические строки и выстроить одну за другой, получится краткий конспект, который есть контекст моего состояния. Не метафора, а суть. Мое стремление достичь внутренней гармонии, быть в ладу с собой и с миром, в который я забрела случайно.

Но все же забрела. И Его Величество Случай нашел мою скромную персону. И кое-что у меня получилось».

Зачем-то списала слово в слово. Обычно я в дневник ничего не переписываю. Не для того он у меня — он моё приоткрытое окошко в себя, в потаённые уголки, где с плохим зрением можно и не разглядеть ничего, но какой-то лучик вспыхивает и выхватывает из полусвета, полумрака, притаившихся в тишине, то звуки, то картинки, то слова, то музыку...

Для себя прислушиваюсь, для себя всматриваюсь...

? — специально вынесла на отдельную строку.

8 сентября 2011 г.

Сейчас, после операции, я в первый раз перечитала свой дневник.

О главном почти не пишу. Да и как его определить — «главное», по какому ранжиру.

Сама себе хозяйка, пусть будет так: рисунки и строки.

О строках я уже писала. Они всегда со мной (вот уже десять лет) — на кончике языка (или пальцев). Неловко как-то получается, не буду и пытаться передать это состояние сомнамбулического блаженства, накатывающее без предупреждения, без каких-то предварительных признаков недомогания...

Я их не помню все, что называется, «наизусть», но они теперь всегда со мной. Даже когда очень-очень плохо...

Картины, рисунки, тарелки — совсем другое. В первой книжечке моих стихов — «Мир иной открылся мне» — «от автора» я написала о протуберанце — вспышке на солнце, о том, что мне выпало пережить (пере-жи-вать — «презент континиус») это состояние. Не в том смысле, что пришло и ушло, а в смысле неожиданности и остроты ощущений, всякий раз.

И ещё немного (разошлась после долгого перерыва).

«Отдавайтесь впечатлению. Если вы действительно растроганы, искренность ваших чувств передастся другим». Эмиль Коро.

Могу сказать, что Коро писал обо мне. Я в принципе никогда ничего не декларирую, поэтому во всём, что я делаю, — полностью отдаюсь своему впечатлению, ощущению, своим эмоциям.

Кажется, после операции, после долгого наркоза что-то случилось с моими мозгами — так подробно я ещё не писала. Это уже почти научный трактат (похоже, и шутить не разучилась, что уж совсем странно).

26 февраля 2012 г.

Сегодня абсолютно выбила себя из колеи.

Несколько дней назад начала писать что-то вроде «записок», о детстве, о 2-ом Крестовском переулке, о любимом и ненавистном Доме в бараке (без элементарных удобств) на территории завода, напротив знаменитого Храма иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Имя это я позже-позже узнала, а тогда для нас, детей, — просто «церковка». Большой жизненный опыт у нас с Радочкой (у меня с 2 лет до 16, у нее — с 0 до 14). Без всякой иронии и преувеличения: Большой Жизненный Опыт. Я попыталась написать кое-что об этом в моих «записках».

По ночам теперь не сплю — будоражат воспоминания, локальные, личные, недетско-детские — в ландшафте густо заселенных переулков 50—60-х годов прошлого века: деревянные одно- двухэтажные дома с земляными дворами, с палисадниками и мощеными булыжными мостовыми, с водопроводными колонками. А рядом — «дом на 1-й Мещанской в конце», кирпичный, многоэтажный, многоподъездный — там жил Высоцкий. Два мира.

А сегодня разбирала, абсолютно безотчетно, ничего не надеясь найти, вернее, искала (но не нашла) синопсис моего романа в письмах (видимо, он так и пропал — у Рады его тоже нет), написанного как-то лет шесть назад за несколько летних вечеров (Рада и Саша были в Переделкине). Не знаю, зачем мне это, но жалко, что он потерян.

Зато нашла письма от К.П., В.П., И.И., и ещё кое от кого, и свои неотправленные письма в том числе. Не перечитывала, но жутко разволновалась. Я не хочу, я боюсь заходить в эти закоулки. Я плохо ориентируюсь в пространстве.

Пора бы, наверное, всё это на пороге ...летия уничтожить. Но не буду ли потом жалеть, как о своих уничтоженных детских и юношеских дневниках. Сейчас, когда я начала писать «записки», все письма и записочки мне очень быгодились, какими-то мелочами, деталями — память моя, к сожалению, не сохранила почти ничего.

Правда, и возраст уже совсем другой, и жизненного времени маловато. «Пять минут до разлуки...» — из моих строк.

27 февраля 2012 г.

Продолжая вчерашнее...

Ночью проснулась, как будто кто-то позвал или толкнул, и подумала: почему не пишу ничего о личной жизни, о романтических отношениях, о романах? Их есть у меня. О!

Почему? Зачем? А всё остальное — зачем? почему?

Не пишу ни о ком, кроме В. Это странно — самые яркие, самые сильные мои переживания в этой области чувств, связаны не с ним. До обморока, до потери сознания, себя самой, до невозвратного, казалось, улета, до конца... Не описать, только пережить... Зачем?.. Почему?..

Почему пишу о В.? Потому, наверное, что подарил мне внучку, маленькую девочку Н. Тяжело, неправдоподобно, слишком ранит моё сердце. Новый мираж на склоне лет или сбывшее вымечтанное годами?.. Не знаю.

Время идет, девочка растёт, называет меня «бабушка», «бабуля», много новых, разнообразных переживаний, и мне кажется — я её люблю... Вряд ли буду об этом.

Сама с собой поделюсь: главное слово по-прежнему «одиночество». И это не ложь, не кокетство. Так есть на самом деле.

20 мая 2012 г.

В этом году мечтаю о Переделкине, как не мечтала уже много лет. Меня там ждут. Прошлым летом все были расстроены моими обстоятельствами. Теперь радуются, что я могу до них добраться (тьфу-тьфу!), оставили мне одну из трех имеющихся на первом этаже комнат (причем, единственную с душевой кабиной).

Надеюсь, что с первого этажа, притом летом, мне будет немного легче выходить погулять, и вернется ко мне моё Переделкино. *Моё* — с потаёнными воспоминаниями, уединенными дорожками, моим общением с любимыми (и не очень) обитателями этого Дома. У меня никогда не было дачи, впервые — эта укромная лоджия нового корпуса на первом этаже (как дачная веранда), с моим кленом, уютной сенью под ним и строгими голубыми елями. Островок уединения и тишины, в которой слышу и вижу много прекрасного.

25 мая 2012 г.

Яблоко упало,
Зеркало разбилось,
В строке наважденье...
Миг озаренья, час пробужденья...
Начало...
День угас, и я заснула.
Ночь спасенье...

Написала я когда-то эти строки. Теперь я под ними не подписалась бы. Мои ночи уже давно мучительны, не менее мучительны, чем дни.

Не только эмоционально, психически, но и физически.

Страшно. Преследуют тени из прошлого, ненужные, отвратительные, жестокие, мучительные тени.

Какой-то бесконечно тягучий Акт Теней, как третий акт «Баядерки» для героя-воина.

20 января 2013 г.

Недавно Рада перебирала свои интервью с так называемыми литераторами первого ряда. Может быть, думаем сделать книгу её бесед и литературных портретов, которых у нее накопилось немало, так как со многими из них Рада была дружна. Я имею в виду Разгона, Липкина, Рощина, Бовина, со многими довольно тесно общалась, в том числе и с Либединской, со многими делала беседы: Вознесенский, Искандер, Приставкин, Городницкий, Арканов...

Но сейчас речь не об этом. Рада несколько раз бывала у Либединской, в знаменитом писательском доме в Лаврушинском переулке. Пили чай, по-московски, на кухне (стол покрыт знаменитой скатертью, на которой Лидия Борисовна вышивала нитками автографы друзей, чтоб не пропали).

Нас с Радой потряс автограф Ахматовой: «В то время я гостила на земле...».

Ни в коей мере не могу себя сравнивать (все время как бы извиняюсь), но у меня есть строка — «Я забрела случайно в этот мир...».

Что можно об этом сказать: мироощущение не зависит ни от степени таланта, ни от обстоятельств жизни, ни от других обстоятельств.

С этим мироощущением ты рождаешься и живешь. Вряд ли это понятно тем, кто «не гостит» на земле. А просто живет — куда выдали ордер, там и живет. Наверное, это счастливые люди.

21 апреля 2014 г.

Сегодня 21, понедельник. На днях состоялся разговор с В. «о любви». Он сказал такую фразу: если бы кто-нибудь сформулировал, что такое любовь. Я всплыла и сказала: это не формулируешь, а чувствуешь. И, чтобы как-то задеть его, мостостроителя, добавила: это не сопромат. Он ничего не ответил. А я, когда он ушел, поостыла и задумалась.

Вспомнила Ахматовское:

«Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле».

И далее:

«Лишь иным открывается тайна,
И почует на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор всё как будто больна...»

Это А. Ахматова написала в 1917 году. Но не год имеет значение, а её изначальное, с молодых лет предощущение невозможности любви. Кому, как не мне, тоже с самого детства, знакомы эти чувства. Она не могла повлиять на меня, она пришла ко мне гораздо позже.

А вот совсем не поэтическое, зря я так резко про сопромат. Чарльз Дарвин тоже писал о любви. «Забота о потомстве — это инстинкт. Любовь (*не секс*) — это эмоция. Любовь есть нравственное качество. В эволюции человека играет очень важную роль». Не дословно, но взяла в кавычки. Бегло записала на слух (по радио), не помню точно,

какая передача. Но ясно же, что не я это придумала. Нашла на клочке бумажки, как часто нахожу что-то наспех записанное (написанное). Вот тебе и сопромат. Надо сказать В. — пусть почитает «Происхождение человека».

Но: «Лишь иным открывается тайна и почиет на них тишина».

Иным...

22 апреля 2014 г.

Продолжение вчерашнего.

Еще раз про любовь... Как определить это чувство? Могу ли я сама себе, как на духу, ответить: знаю ли я, что это такое? В отличие от В. я эмоциональна, движущим началом моего существования являются эмоции, чувства. Я легко возбудима, разом включается после, а если до — то отменяет всё, ничего не происходит, можно спокойно страдать, что опять НЕ случилось. Так ли уж спокойно? Но я сейчас не об этом.

Что это за «чувство» и чем отличается от «эмоции»?

Любила ли я когда-нибудь? Сама себе могу ответить на этот вопрос: не знаю. Я сейчас не о любви к маме, папе, сестре и даже подруге (ведь я любила подругу, когда-то давно, в другой жизни, ещё как любила!). Пытаюсь понять: любила ли я когда-нибудь мужчину?! И тогда возникает вопрос, обращенный ко мне В., — а как определить, ЧТО такое Любовь?

Что такое сильные эмоции, почти до потери сознания, влюбленность, возбуждение, страсть — знаю, понимаю, не раз переживала. А любовь?

И о чем это Анна Андреевна: «...Я на это наткнулась случайно»? Чем она больна с тех пор, какая тайна открылась ей? Может быть, как раз вот этим — невозможностью определить для себя, что такое любовь?

Может быть, она просто никого из своих многочисленных мужчин не любила?..

Как-то пусто в душе: почему не дано было испытать и это чувство — любовь к мужчине. Умирать от любви! (а не от её заменителя).

Еще одна догадка: НЕвстреча!

«Но в память той не встречи
Шиповник посажу».

Анна Ахматова

Вся жизнь — та не встреча,
и каждый миг отдельный —
предвестник той не встречи.
Твержу в бреду, твержу во сне —
отдай ту Встречу мне.
Ведь с детства тот мотив
преследовал меня —
страшнее нет судьбы,
овеянной не встречей.
Узорчатый цветок,
шиповника росток
слезами обволок
судьбу-не встречу.

Точка соприкосновения: А.А. и я.

Помню — строки сложились легче, чем две эти записи в дневнике.

25 сентября 2015 г.

Я опять в заточении у своей тоски, не могу избавиться от нее. Она парализует меня.

Мне больно оттого, что я никогда уже не смогу исполнить то, о чем мечтала долгие годы. И не могу делать то немногое, что ещё осталось в моих желаниях, что хотела и не смогла сделать.

Все наши дела — это заполнение времени, попытка придать какой-то смысл своей жизни. Иначе она бессмысленна, и всё в ней случайно.

Недавно посмотрела по телевизору спектакль Театра Вахтангова «Дядя Ваня». Не понравилось, очень много нарочитого, ничем не оправданного шума, суеты, вычурных поз.

Но текст Чехова по-прежнему трогает (правда, произносится или нарочито принижено, как бы между прочим, или выпренне, будто на котурнах). К счастью, Чехова нельзя испортить. Каждый раз, когда дядя Ваня говорит: «Когда нет настоящей жизни, живут миражами, это лучше, чем ничего», — я киваю головой и повторяю про себя: «Лучше, чем ничего... миражи, конечно, лучше».

Несколько лет назад я написала:

Миражи моей печали —
 витражи моей души.
 Тихий окрик, чья-то песня,
 шорох, музыка чужая,
 синь и даль, огни в ночи,
 окна в зеркалах проплыли,
 отражая день и тень,
 лица, звёзды, впечатленья —
 мимолётные виденья,
 отсветы моей судьбы.
 Я очнусь от летаргии,
 отражение увижу:
 вздрогну, будто бы во сне —
 мир иной открылся мне.

«Я очнусь от летаргии...», «Мир иной открылся мне...».

Слышится ли в этих словах мой невнятный оптимизм, как говорит моя сестра? По-моему, нет. Но я жизнь люблю... Сама бы себе не поверила, листая мой дневник.

Но... Даже Семён Израилевич Липкин, которого безмерно люблю и уважаю, писал: «Судьбу не изменишь, её рождает жизнь, а жизнь есть Бог».

31 октября 2015 г.

Уже долгие годы читаю очень мало. Раньше я жила этим, это была главная составляющая моей жизни. Книги мне заменили всё. Они были моей жизнью при отсутствии реальной жизни, хоть сколько-нибудь удовлетворяющей меня.

Ночь нежна — цитата без кавычек,
 Филология — в основе бытия.
 Уносясь обманной каруселью,
 Всё смешалось — сны и наважденья,
 И ночные и дневные бденья,
 И уход в безумство ярких красок,
 В мир страстей, в провалы пустоты.
 Только ночь, подмена дня,
 Мчится, нарушая все законы.

Написала я эти строки лет десять назад — точно не помню. Но это и неважно. Важно, что филология — в основе бытия.

Что произошло и в какой момент чтение стало мне неинтересно — трудно сказать. Конечно, жизнь моя во многом изменилась в последние годы. В ней по-прежнему нет основного — нет своей семьи в традиционном понимании. Но событийно всё стало насыщеннее.

Много занимаюсь живописью. И это для меня, пожалуй, важнее филологии. Профессионалом-филологом я всё-таки не стала. Может быть, это и не моё, ведь чтение и любовь к книгам — это не профессия. Но ведь без этого, как выяснилось,

я вполне могу жить. Значит, долгие годы это был самообман, уход от неудовлетворяющей меня реальной жизни в *мир иной*, более разнообразный и достойный в самом широком смысле этого слова.

Вся эта «исповедь» (или точнее — «объяснительная записка») предшествует простому «признанию»: за последний месяц я прочитала две (всего 2!) книги.

Роман датской писательницы Иселин Херманн (Изелин Герман) «*Par avion*», роман в письмах. Это мой любимый жанр.

Как это ни смешно, девять лет назад, в первое переделкинское лето Рады и Саши, долгими летними вечерами, в один присест, практически не отрываясь, я написала что-то вроде синопсиса (даже больше) — роман (повесть) в письмах от двенадцатилетней девочки до взрослой женщины. Она всю жизнь писала письма мужчине, которого любила с детства, и, по-моему, там были якобы им написанные письма ей.

Точно уже не помню, дело в том, что этот мой эпистолярный «труд» потерялся. Такое может произойти только со мной: выстрадать за всю жизнь, на одном дыхании за несколько вечеров написать и в результате — ПОТЕРЯТЬ... Без комментариев.

Сердце ноет, когда думаю об этом. Стараюсь не думать. Конечно, я не писательница и не страдаю амбициями, и непонятно было бы, что с этим делать. Но всё-таки я это написала — и очень обидно, что этого больше не существует.

Далеко ушла от «*Par avion*». Это очень сильная история о невозможности и недостижимости счастья в любви. Очень трагическое и чувственное повествование. Не буду пересказывать содержание романа, не имеет смысла. Скажу только, что это абсолютно моё мироощущение и способ передачи эмоциональных состояний.

Очень близко моему «потерянному» роману.

15 ноября 2015 г.

Еще несколько слов о «*Par avion*».

Этот роман не отпускает меня. Будоражит и сама изысканная игра в письмах двух страстных людей, созданных друг для друга (если это вообще возможно в природе), и изначальная невозможность их встречи, обреченность на НЕвстречу, и собственная моя нереализованность в любви, и мой роман в письмах, так долго вынашиваемый, но так и ненаписанный (и что того хуже — потерянный).

Каждый день делаю много записей в еженедельнике и ставлю галочки или вычеркиваю несделанное. Жалкая попытка придать значимость своей жизни, а на самом деле — день за днем суета. И что-то значительное так и не состоялось, или я не поняла, ЧТО ЭТО БЫЛО, и, может быть, пропустила его. В любом случае ощущаю неудовлетворенность, и тоску, и томление.

А жизнь проходит и уходит...

Галочки, палочки — какая-то детская считалочка, не помню. Я ведь и в детстве играть не умела.

18 ноября 2015 г.

Жалкое признание от филолога — за месяц прочитала две книги. А до этого и после...

Странно, как угасла эта страсть к чтению, эта страсть ведь была главным содержанием и смыслом моей жизни.

Что мы такое, что наши привязанности, желания, страсти?! Наверное, у всех это по-разному. У меня, в конечном итоге, победила праздность. Праздность = ничегонеделание. Немного странное заявление, если смотреть на мои картины. Я имею в виду их количество. Но это что-то другое, что получается на чистых эмоциях, по нарастающей: «зов заветного листа» (из Радиного стихотворения), возбуждение, наслаждение, пик и — готово! Высоко! Но довольно легко и не требует тех усилий, что уходят у меня на все другие жизненные процессы.

Так вот несколько слов о второй, прочитанной в этом месяце, книге. Это книга об австрийском художнике Эгоне Шиле («Жизнь художника в текстах и иллюстрациях»).

Я уже писала, что мы летом были в Вене. Посетили довольно подробно три музея (хотя в городе их очень много), на остальные не хватило ни сил, ни времени: Верхний Бельведер, Музей Альбертина и Музей Леопольда (эротический музей) в замечательном, современно организованном пространстве Музейного квартала Вены.

Шиле ушел в 28 лет, экстравагантный для своего времени, непонятый, несчастливый, нелюбимый, рисовал обнаженные тела и души, стыдно, больно смотреть — и не оторваться...

Вот что пишет Шиле о своем творческом методе: «...Я не думаю, а знаю, что срисовывание с природы для меня не важно, поскольку я лучше рисую картины по памяти, по моему внутреннему видению пейзажа».

Здесь не всё мое, но если убрать многое, оставив «по моему внутреннему видению» — то это как раз обо мне.

Наверное, надо стыдиться собственной необразованности (не только в живописи), но это тема отдельного разговора и очень болезненного. Не знаю, сумею ли я писать об этом.

Собственно, о чём я на сей раз? О том, что только в Вене открыла для себя огромный мир австрийского экспрессионизма.

Надо сказать, что и Бекман, и Кокошка, и Шиле произвели впечатление, в том числе своей завораживающей, отгалкивающей красотой, откровенностью, надломом, изломом (в основном Шиле).

Но вычурные красоты Климта меня не трогают (большой зал его картин находится в Верхнем Бельведере, и вся Вена — безумный Климт-кич: чашки, тарелки, открытки, конверты, плакаты, фантики, бантики, ручки).

Коротко отчиталась о Шиле (перед кем отчиталась, не знаю). В любом случае, я не путеводитель, не экскурсовод. Пишу для себя.

1 февраля 2016 г.

Пару месяцев назад взяла у Саши книгу Мартина Бубера «Избранные произведения». Сразу прочла только предисловие. Чтение не из простых для меня сегодняшней.

Один из вопросов, затрагиваемых Бубером, — еврейская общность. В основе этой общности по Буберу лежит кровная связь, приобщающая индивидуум к духу его народа, который живет в мертвых, живых и даже еще не рожденных.

Кстати, Саша недавно задал нам с Радой вопрос, в чем наше самоощущение как евреев, — и мы обе ответили: в голосе крови.

Примерно в это же время моя Радочка написала рассказ «Всеобщий праздник» (напечатан в «Дружбе народов» — в чем-то автобиографичный рассказ, что у нее бывает редко), там девочка задает наивный детский вопрос «мама, что это?», а мама отвечает: «голос крови».

Впоследствии, после фашистского периода, где тоже проповедовалась романтика «крови и почвы», успех нацистской пропаганды в немецком народе продемонстрировал Буберу ложный характер его идей в молодости и заставил отказаться от прославления кровной связи, как субстанции национального духа.

Я, конечно, далека от идей мыслителя Бубера. Моя точка зрения не так глубока и не зиждется на фундаментальных знаниях — это просто подсознательное ощущение, и его прекрасно, тонко и трогательно Рада выразила в своем рассказе.

Кстати, именно, кстати, выплыла вдруг из каких-то глухих закоулков Маргарита Алигер со своим знаменитым отрывком из поэмы «Твоя победа»:

«Мать моя сказала: "Мы евреи./ как ты смела это позабыть?"».

«Вот теперь я слышу голос крови,/ смертный стон народа моего...».

Пишу по памяти отдельные строки из большого поэтического отрывка (главы?), попавшего тогда в болевую точку, в нерв, дрожащий в сердцах русских (советских)

евреев после войны 1941—1945 гг. Знали уже о лагерях смерти, о трагедии еврейского народа, о миллионах безвинных жертв, уже слышали: «евреи не воевали», «жаль, что Гитлер вас всех не убил» и пр. Задело всех, даже тех, кто не отреклись, но затаились и, по возможности, не часто вспоминали о своем еврействе...

Не углубляясь в подробности, спрошу: что это, как не голос крови?

10 февраля 2016 г.

Еще из Бубера: «Того, за чем гонятся, не достигают, но что оставляешь в покое, само к тебе бежит».

Прочитала и задумалась. Пожалуй, я с этим согласна.

Из собственной жизни: я всегда очень хотела замуж, много детей, большая семья вокруг круглого стола под абажуром, с прекрасной музыкой по вечерам (да, так по-мещански, немудрёно) — не сложилось.

Хотела реализоваться в филологии — лингвистика, русский язык, (о, суффиксы! о, мой диплом у Редькина! интересно! даже Радочка захотела стать лингвистом, она любила играть в слова); стала рисовать (не называю себя художником, как, впрочем, и поэтом, ни в коем случае — да и какое это имеет значение). (Еще одно примечание в скобках: почему не стала лингвистом, писать не буду — слишком больно, слишком давно было; для тех, кто понимает, ответ есть — 5-й пункт; знаю — всегда найдутся желающие поспорить; без меня... конечно, — без меня: дневник ведь только мой).

Отвлеклась от Бубера.

Рада никогда не мечтала, а стала очень хорошим писателем, редкого таланта, самобытным, ни на кого не похожим. И замуж она тоже особо никогда не хотела, а все-таки стала женой, и хорошей женой (поздно, да, но кому какое дело?).

Этот ряд можно продолжить, но зачем...

Бубера я поддержала.

13 февраля 2016 г.

Читаю (понемногу) «Хасидские рассказы» Бубера.

Удивительно: многие истории очень наивны (как любые сказки), многие непонятны (из-за отсутствия образования и погруженности в иудаизм, как у нашего Саши), а некоторые очень мудры и понятны.

«Цадик ответил: “В час испытания у человека отнимаются все степени и вся святость. Наг от всего, чего достиг, предстает он перед Испытующим”».

Каково?!

Прочитала и решила, что надо записать начало этой притчи:

«Сказал рабби Шмелке: “Отчего так расхваливают жертвоприношение Ицхака? Ведь праотец Авраам уже до того достиг такой высокой степени святости — что же удивительного, что он немедля сделал требуемое Господом”».

Теперь понятнее. А то я сама, если буду перечитывать эту запись, начало притчи не вспомню...

25 февраля 2016 г.

Опять из Бубера:

«Сказал рабби Шломо: — Перед тем, кто исполнял все заповеди Торы, но не почувствовал при этом истинного наслаждения, в Грядущем Мире открываются Врата Рая, но так как он в этом мире не ведал наслаждений, то и в Раю не может познать их. Если он глуп, он сердится и ворчит: “И чего так хвалят этот Рай?” И его тотчас выводят вон. А если он умен, то обращается к цадик, и цадик учит его понимать наслаждение».

А если в применении к человеческой жизни, например, к моей, то я никогда не умела наслаждаться (то есть радоваться жизни). Кое-какие проблески наслаждения появились лишь к старости.

Но этого мало, чтоб попасть в Рай!

16 июля 2016 г.

Как это ни странно — моя третья дневниковая тетрадь. Первую начала 1 июля 2001 г. в Переделкине. Интересно, моими темпами, успею ли я закончить третью тетрадь.

1-я: 2001—2013 гг. (с перерывом почти в три года: 2001—2004 гг.)

2-я: 2013—2016 гг.

И вот я опять в Переделкине, начинаю новую тетрадь.

Писать есть о чем, но моя лень побеждает. Правда, я стала где-то, в чем-то спокойнее.

Понимаю, что надо делать своё дело на пределе своих возможностей, то есть — жить. Я живу не на пределе, большую часть времени — провожу в праздности и безделье, то есть по большому счету — ничего не делаю (не буду мелочиться и напоминать себе про картины, строки, «ДИАЛОГ»... и многое разнообразное всякое). С другой стороны, кем или чем определяется этот «предел возможностей»? Может быть, только самоощущением. Но я не могу сказать о себе, что я именно так ощущаю свои возможности. Скорее я по природе Обломов. Бывают, конечно, периоды интенсивности, как перед выставкой осенью 2015 года. Тогда я много работала — и многое у меня получилось. Но с тех пор не сделала почти ни одной работы, только в подарок — миниатюры, любимый всеми формат. И сейчас в Переделкино не взяла ни холсты, ни кисти, ни прочее... Почему? Кому-то назло? Самой себе? Не знаю.

Взяла, правда, свои многострадальные ЗАПИСКИ «2-й Крестовский переулок», в которые даже не заглядывала с Переделкина прошлого лета. Почему? Они так зацепили меня — ночами спать перестала, блуждала по кривым проулкам памяти, узнавала забытое, забывала ненужное, неродное, инородное. Во всём — инородное.

Трудное испытание — воспоминание, без утайки, подтасовки, подгонки. Не каждому дано его выдержать и получить «аттестат зрелости».

24 июля 2016 г.

Переделкино. Не читается на сей раз (впрочем, как уже долгие последние годы), не пишется (ещё не раскрыла свои Записки), не рисуется (да я в этом году и не брала с собой ничего для рисования).

Две книги, правда, взяла: Телешова «Литературные воспоминания» («Телешовские среды») и почему-то «Свидание с Бонапартом».

Окуджава: «Вот вам и книги! Что дают они нам, кроме неясного томления, кроме страдания, кроме ожесточенного несогласия с окружающим миром... они вливают в душу чужую боль и чужие обиды...».

Да, эти книги, которые я читала запойно в молодые и юные годы, частично уже в зрелые и позже (по убывающей), опутали душу беспокойством, предчувствием «НЕжизни», неумением и невозможностью жить нормально в реальном мире. Книги занимали огромное место внутри и вокруг меня, я была переполнена ими, они во многом заменили и подменили действительность, не осознавая до конца, я чувствовала это с самого детства. Не зря, наверное, эпиграфом ко всем прошедшим годам пришла ко мне моя строка:

Мир иной открылся мне...

О, книги, книги! А этот трепет от предвкушения, буквально замирание сердца и спазм в горле и с трудом сдерживаемые слезы — куда всё унеслось, почему исчезло? Осталось только недоумение и досада, разочарование и сожаление... (В сущности, одно и то же, одно усиливает другое, но ничего не объясняет).

Ещё тахикардия осталась навсегда, но это уже медицинский диагноз.

26 июля 2016 г.

Я не живу, а томлюсь и мучаюсь практически всю жизнь. Был у меня короткий период ощущения радости каждого дня — это в районе моих 70 лет. Я была так

счастлива, что легко перескочила этот грозный рубеж, и радость переполняла меня. С чего вдруг радость, откуда? Вспоминается Верлен: «Хандра ниоткуда,/ Но та и хандра,/ Когда не от худа/ и не от добра...».

Ни с того, ни с сего, то есть... Вот и радость моя — ни с того ни с сего — налетела и исчезла. Правда, это мало знакомое мне чувство полноты и радости жизни закончилось довольно быстро, и я опять окунулась в своё постоянное, напряженно-безразличное бытие.

Но была такая метаморфоза, была.

Что больше всего мучает меня последние годы — предстоящее, неминуемое расставание с Радой и Сашей. Предчувствие разлуки хуже смерти. И сопутствующий этому страх — страх остаться одной...

Черта предельная мечта заветная
узор таинственный иных миров
задача сложная задача грешная
уйти в забвение без лишних слов.

Без знаков препинания всё понятно. Я не пишу строки — записываю?.. подслушиваю?.. подсматриваю?.. Энигма, одним словом.

Повторяюсь, наверное. Но это *моя энигма*, я с ней общаюсь наедине и не пытаюсь разгадать, я боюсь, что она покинет меня.

Вспомнила к случаю — у Рады в стихах:

«Я не пишу стихи — читаю.
Я не творю грехи — смываю
слезами, обманом,
зельем, дурманом,
волшебным туманом...»

Да, очень похоже — сёстры, как ни крути, никуда не деться.

15 октября 2016 г.

Сколько случаев бесплодия в нашей истории — Сара, Рахель.

Это я пишу по горячим следам: 12 октября, в Йом-Кипур (Судный день), произошло Чудо — я начала читать Тору. Видимо, Душа запросила.

Не знаю, что из этого получится. Я — человек несистемный. Ничего не могу делать обязательно и постоянно.

Но хотелось бы дочитать Тору до конца. Правда, моими темпами, при моих обстоятельствах — это будет длительное чтение.

Ну, поживем — увидим. Главное — поживем...

Очень нервничаю, будто иду в школу в первый класс. В кармане фартучка лежат таблетки от головной боли, коленки в зелёнке, боюсь снова упасть.

Примечание. Начинаю с нарушения веками установленного порядка — Тору принято читать публично, на собраниях общины. Собрание, публично — не моё, читать вслух — тоже. Вроде пытаюсь оправдаться или объяснить. Или отступить?

Но на столике для книг в моей комнате теперь лежит Тора.

27 октября 2016 г.

Большая неожиданность. Наш «спонтанный» Сашуля сделал нам подарок. С 21-го по 25-ое мы были в Риге!

Саша не был в этом городе 40 лет, а мы с Радой — 25. В 1991 году мы были в Дубултах, в Доме творчества, в последний сезон его существования как общесоюзного писательского Дома творчества. Это достойно отдельного рассказа.

Пишу очень скучно, но на душе радостно. Около пяти дней мы наслаждались прекрасным любимым городом, чудесным уютным отелем «Моника». Съездили в Саулкрасты, гуляли по Рижскому взморью.

Были на концерте в Домском соборе — очень красивый орган внешне, и прекрасное звучание (после реставрации), и великолепное меццо-сопрано. Надо сказать, что концерт не разочаровал: взволновал — я вспомнила, как лет 30—35 назад слушала здесь «Реквием» Моцарта и плакала (больше никогда не плакала над Моцартом).

Сейчас ощущения тоже были сильные, но без слез (а жаль, я бы с удовольствием поплакала в Домском соборе).

Много бродили по старой Риге, первому европейскому городу в жизни, по прекрасному кварталу Югендстайл, в котором мы жили, — кварталчик небольшой, но гулять и любоваться можно бесконечно, разглядывая разнообразную архитектуру и мелкие детали декора роскошных особняков в стиле Ар-нуво. Огромное удовольствие.

Саша к десятилетней годовщине (конечно, не моей) подарил нам очень красивые янтарные украшения авторской работы, художник сделал их специально для нас в те дни, пока мы там были.

Замечательная поездка.

Но я, конечно, умудрилась опять очень сильно упасть при нелепейших обстоятельствах, буквально на ровном месте. В результате — синяк на лбу и отек глаза (а могла бы разбиться и остаться без глаза).

Ангел-хранитель!!! Я тебя обожаю!!!

12 ноября 2016 г.

Странная история произошла со мной. С 12 октября, с Йом-Кипура, читаю Тору.

Не могу сказать, что я при этом чувствую, но, видимо, пришел Мой Час. Не могу сказать, чего я от этого жду, но, видимо, пришел Мой Час.

Мой Час, в смысле постижения великой мудрости Торы.

Огромная ответственность. Перед кем? За что? Вопросов всё больше и больше. Рядом с Торой лежат блокнотик и ручка, пока ничего не записала. А надо ли? Как в стихотворении моей Рады:

«Мелким убористым почерком
Пишу свою жизнь набело.
Но ни одной строчки не написала,
А надо ли?»

Пишу свою жизнь набело?

25 декабря 2016 г.

Я вообще никогда в жизни не ставила перед собой никаких задач. (Не комментирую — хорошо это или плохо).

Но в определенные периоды (к сожалению, нечасто) делала то, что мне нравилось. Вот сейчас, например, читаю одну книгу — Тору.

Событие. Для меня нереальное. Сама себе могу признаться.

Перед сном повторяю шепотом:

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!

Да обратит к тебе лицо своё Господь и даст тебе мир!».

Не только о себе думаю, не только. И кажется мне, что верю. Хочу верить.

10 января 2017 г.

Прочитала в Торе молитву. Хочу её записать и запомнить. Стр. 585, раздел «Насо»:

«Господь сказал Моше:

Передай Аарону и его сыновьям:

Благословляйте сынов Израиля так:

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!

Да озарит тебя Господь [сиянием] Своего лица и помилуют тебя!

Да обратит к тебе Господь Своё лицо и даст тебе мир!

Пусть они возложат Моё имя на сынов Израиля, и Я благословлю их».

И ещё. Стр. 625, раздел «Шлах»:

«Господь долготерпелив и многомилостив, прощает вину и преступление. Он очищает, но Он не очистит того, кто не раскаялся. Он вспоминает детям вину отцов, до третьего и четвертого поколения».

Хотелось бы это прокомментировать, но не решусь перед лицом Господа. Тем более что я сейчас читаю Тору.

1 февраля 2017 г.

На днях Саша принес толстенную книгу (кирпич) — «Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Яакова».

Кстати, это период в английской истории, о котором я кое-что знаю в отличие от вообще английской и прочей истории.

«Что жизнь? Мистерия людских страстей.
Любой из нас — природный лицедей.
У матери в утробе мы украдкой
Рядимся в плоть для этой пьесы краткой.
А небеса придирчиво следят:
Где ложный жест, где слово не попад,
Пока могила ждёт развязки в драме,
Чтоб опустить свой занавес над нами.
Всё в нас — актёрство, до последних поз:
И только умираем мы всерьёз».

Уолтер Рэли

Интересная сентенция, но довольно верная.

Что такое реальная жизнь: грезы, мечты, игра воображения, зыбкие построения и многое другое, что сродни актёрству, актёрству поневоле (так, видимо, мы действительно устроены).

Большую часть времени находимся на людях, а значит, принимаем какие-то навязываемые нам правила игры.

А наедине с собой — это у всех по-разному: кто продолжает игру, самообман, а кто впадает в депрессию, в тоску...

...Пригрелилась тоска
дорогой в никуда.

Из моих строк.

15 февраля 2017 г.

«Значит, не судьба», — часто говорим, думаем мы, снимая с себя вину и ответственность за несбывшееся.

«Я очень хотела, я очень старалась, вся выложились в надрыве добиться задуманного, разнесла всё в пух и прах, ни себя не жалела, ни весь окружающий мир, ничего не видела, шла по трупам, и сама готова была умереть...».

Нет, нет! Не я это, не я, не мои слова, никогда, ни в коем случае! Может, не очень хотела, не очень старалась?

Да нет же. Просто для меня «не судьба» — это констатация НЕВОЗМОЖНОСТИ осуществления «мечт» и фантазий.

Вот и Стефан Цвейг о том же: «То было волею судьбы, которая всегда права, даже если нам кажется, что она поступает несправедливо».

И всё же... всё же...

«Каждый за все и перед всеми виноват» — слова Алеши Карамазова.

Не знаю, как каждый, но я всю жизнь живу с чувством вины — и перед родителями, и перед Радой, и перед самой собой, и много-много больше: перед всеми

неполюбленными, недолюбленными, непонятыми, неслучившимися... Моя вина неискупимая... Моя беда непоправимая...

20 февраля 2017 г.

Не дословно... Тем не менее ставлю в кавычки.

«Птицы летают столетиями, не зная зачем. Пока Бог не откроет им тайну»

(Маша).

«Если бы только знать... Если бы только знать...»

(Ольга).

Но я-то точно знаю, что Бог здесь, в земной жизни, не откроет тайну.

А может быть — никакой тайны нет. Каждый сам, в меру своего разумения и своей веры, приходит к каким-то смыслам.

Борьба / упорство: бороться и искать, найти и не сдаваться.

ИЛИ

Терпение / смирение: ждать... болеть... бояться... верить...

Так или иначе — зная, что тайна не будет открыта, мы живем, продолжаем жить.

В этом-то и смысл земного бытия.

21 марта 2017 г.

Тора. Страница 885:

«Пойми же сегодня, что Я — это Я.

Нет Богов помимо Меня!

Я умерщвляю — и Я оживляю,

Я поразил и Я исцелю!

От Меня не спасет никто!»

Строго, сурово, страшно. А милосердие? Чтобы припасть к Нему, ища защиту, в забвении всех чувств, сомнений, надежд... На Него во всем полагаясь...

«Сбрось в пучину моря все мои прегрешения, вспомни все заслуги и праведные дела... Да покорит милосердие Твое гнев Твой на меня...».

Последняя строчка (молитва) рефреном звучит в прозе моей Радочки, я впервые прочитала в её незабываемой «Сарушке» и с тех пор часто повторяю про себя.

А теперь сама читаю Тору, неделю за неделей, страницу за страницей, строчку за строчкой, слово за словом... Непростое чтение.

Несколько дней не могла читать дальше. Закладка оставалась на 885 странице.

22 апреля 2017 г.

Сегодня закончила читать Тору (без Гафтарот¹). Читала чуть больше полугода. Строго говоря, полгода — с Судного дня. Эмоционально — практически никак, волнение вызывало само сознание — читаю Тору.

Держу в руках, листаю справа налево, как листал дедушка Арон Борух-Мотлович Полищук, как листал папа (успел поучиться в хедере и буквы еврейского алфавита помнил всю жизнь), шевелю губами, как будто читаю по складам (я так никогда не делаю, только быстро-быстро глазами) — видимо, эта Книга диктует свои правила и не подчиниться им нельзя. Но, скорее всего, этот текст должен вызывать не просто эмоции, а душевный трепет своей грандиозностью и простотой.

Познавательльно — интересно, но с моей памятью — боюсь, ничего не запомню. В отличие от Саши, который рассказывает эпизоды Торы, как участник и очевидец событий.

Но всё равно я испытываю удовлетворение от свершившегося факта. Воспринимаю его как Событие: не книжку, а Книгу читала. Не умом, а сердцем говорю. Не просто всё, очень не просто.

¹ Отрывки из Книг Пророков, завершающие публичное чтение недельной главы Торы.

Теперь буду «осиливать» Гафтарот.

А потом начну с начала. Шутка! Да и хватит ли жизни просто на прочтение. Я не говорю о Постижении...

5 мая 2017 г.

Жизнь — это колоссальное испытание.

ИЛИ

Жизнь — это дар.

С годами, утратив юношескую категоричность, когда из двух вариантов можно выбрать только один, другого не дано, могу лишь сказать, что не вижу противоречия в этих двух максимах.

Я бы сформулировала так: ЖИЗНЬ — это дар, но колоссальное испытание.

Оглядываясь назад: и так день за днем, в погоне (ползком), за чем-то ДРУГИМ, необычным, романтическим (долго не уходило), которое возникнет, как поздняя любовь, как «цветы запоздалые»... Я столько читала об этом...

Цветы запоздалые: Викины цветы, Викины строки.

Их так называют, и все знают, про что это. ЧУДО (вслух так не скажу никогда), я и про себя не знаю, как сказать, чтоб не спугнуть. Нет слов (так, кстати, и про чудо можно).

20 мая 2017 г.

Что-то меня последние дни тянет не на описание событий. Например, как мы провели 1 и 9 мая, хотя это конкретное «проживание» мгновения жизни, что ценно само по себе.

Даже Фауста спасает не Вечность, а Мгновение.

Опять размышляю (наедине с собой) и обобщаю я.

Как хочется жить! Чем старше, тем жажда жизни увеличивается. В молодости я как раз, в основном, не жила, а мучительно размышляла о бессмысленности жизни. Совсем не любила её, пряталась от неё в книгах.

Книга — жизнь, Книга — спасение от жизни. Двойная функция. Возможно ли такое совмещение?

А сейчас: так хочется жить! Но дальше всё-таки: как страшно, как одиноко.

Очень страшно и очень одиноко.

25 декабря 2017 г.

Всю жизнь училась танцу —
не получилось, не смогла.
И всё же — танцюю
танго Пящоллы,
сегодня, здесь, сейчас...

Слушая музыку, я, правда, танцую, плачу, пою, люблю, летаю, мне всё подвластно, я всё могу...

8 января 2018 г.

Этот год у меня — юбилейный. Возраст — внушительный. Как говорила с изумлением моя мама: «Неужели это мне уже?..». Нет, нет, она не дожила до моих лет, много не дожила, несправедливо рано ушла, любимая, драгоценная, самое главное зернышко в нашей семье...

Но и я ещё не могла бы сказать о себе (как в Библии): он умер стар и насыщен днями (не дословно).

Ещё не готова ни к старости, ни к уходу.

В подтверждение — мои недавние строки. Не успеваю ни о чем подумать, а рука уже что-то записывает. Непостижимо!

Усталость — не мой удел,
 Старость — не мой предел,
 Годы уходят в туманную мглу,
 Искра не гаснет.
 Я верю, я жду, я живу, я хочу...

Не строка в строку, не знак в знак, но подсматривать не буду. Восклицательные знаки поставлю — я это так слышу:

Я верю! Я жду! Я живу! Я хочу!
 Сегодня — так.

15 января 2018 г.

Странное явление — мой новый сборник стихов и рисунков (впервые под одной обложкой, в первом были только стихи). Привезли вчера из Питера.

Эмоции расплывчаты. Во всяком случае, радости я не испытываю. Удивление, недоумение (это всё я?) — несомненно.

Рада счастлива: она в эту книжку вложила много труда, своего редакторского таланта и любви (книжка вышла при поддержке Союза российских писателей, спасибо Светлане Василенко).

Название книги мне нравится: «Пять минут до рассвета».

Строчки из стихотворения:

Пять минут до разлуки —
 эти адские муки...
 Впереди тишина,
 я осталась одна.
 Пять минут до рассвета.
 Мне причудилось это.
 Дальше — день без просвета,
 я осталась одна.
 Но проснулась в ночи —
 боль ещё впереди.
 Не кричи.

Очень оптимистично.

Я, действительно, боюсь остаться одна...

Но пока — не кричи, боль ещё впереди...

25 июня 2019 г.

К сожалению, не каждую субботу читаю Тору. Но, к счастью, не давала обет Господу.

«Если ты дашь обет Господу, твоему Богу, не медли с его исполнением, потому что Господь, твой Бог, непременно взыщет с тебя за него и на тебе будет грех. А если ты воздержись от обетов, то не будет на тебе греха. Будь осмотрителен, произнося что-либо, и исполняй то, что ты пообещал Господу, твоему Богу, — исполняй всякое добровольное обещание, вышедшее из твоих уст».

Актуально на сегодняшний день. Всегда и вечно. Но трудно. А что не трудно?! Вера — труд, а безверие — ещё больший.

18 ноября 2019 г., ночь

Жизнь прекрасна ещё и потому, что ночью, бессонной, можно лежать и слушать музыку — «краткий миг счастья в ней растворился безмолвно...». И неизвестно, что лучше: просто спать или наслаждаться музыкой?..

И только музыка одна объятия свои раскрыла
 сквозь слёзы сквозь стоны
 призывом прекрасным приснилась

напевно протяжно
как ветер пустыни как моря прибой
краткий миг счастья в ней растворился безмолвно

Все же в моих строках есть слово СЧАСТЬЕ.
О Музыке. Она моя и никогда меня не покинет. Я её не отдам...

Публикация Рады ПОЛИЩУК

**P. S.
МЫ С ТОБОЙ ДВА БЕРЕГА...**

Читаю Викин дневник. Три общие тетради, исписанные мелким, аккуратным, почти каллиграфическим почерком, без правок, зачеркиваний, сносок, звёздочек — как чистовик школьницы-отличницы, привыкшей получать пятерки.

Почти двадцать лет: июль 2001 — ноябрь 2019.

Печальный всхлип трепетной, мятушейся, несмирненной женской души. Каждое слово, каждый слог, каждая буква — тоска о несбывшемся, о непрожитом. Горькое осознание наедине с собой, не в полный голос — шёпотом, как бы извиняясь за несдержанную откровенность. Почему шёпотом? перед кем извиняюсь? за что?

Дневник — сокровенное, в тайнике за семью печатями хранимое от себя самой, от глаза другого, ментально чужого, недоброго. Перед кем исповедаться, повиниться, покаяться? «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..». Нет, это не сон, это признание: «Я жизнь свою пропустила, не узнала, не прожила, разминулась с ней». Горькое признание, трудно читать, невозможно принять и невыносимо сознавать, что уже ничего не поправить.

Я все время была рядом, мы были вместе всегда, а она отчаянно пишет о своем одиночестве. Больно, непоправимо. Как жить?

«Я верю!
Я жду!
Я живу!
Я хочу!» — из Викиных строк последних лет.
Это тоже лейтмотив.

Такая припевка с отчаянной надеждой сквозь неизбежную мелодию печали и невозможности что-либо изменить.

И всё же: «Ангел-хранитель!!! Я тебя обожаю!» — говорит она наперекор всему.

Мы как две ниточки в одном узоре — не расплести, каждая петля держит полотно нашей жизни, пусть не очень красиво, не идеальный рисунок, но плотный, прочный — не разорвать.

Так казалось...

Теперь тоже пытаюсь связать оборванные концы — Вичочка ушла...

Не знаю... не вижу... не чувствую... не нахожу...

Пустота окутала, непроницаемая, тяжелая, дышать трудно... Дневник из рук не выпускаю — она там живет, дышит, зовет, любит, изнемогает, прощает, прощается...

Нежная моя, старшая моя, строгая моя, трепетная, неподкупная, ни уговорить, ни подмаслить — идти за тобой, упираясь, споря, плача, не след в след и даже не обязательно рядом, но — за тобой, но — с тобой. Я тоже нужна тебе, знаю, ты всегда была со мной, за меня, для меня...

Что же теперь? Как?

Читаю Викин дневник с начала, на каждой странице — вдох-выдох, остановка дыхания, конец... Но снова слышу: «Я верю! Я жду!..».

И я верю, и я жду...

Будь со мной всегда, сестра моя, жизнь моя... Викуся...

Рада ПОЛИЩУК

ВИКТОРИЯ ПОЛИЩУК: ПОТОКИ НЕРАЗГАДАННЫХ МИРОВ



«Увидеть мир чистыми, непредвзятыми глазами — очень важно и очень трудно для художника. Это высокий дар. Работы Виктории Полищук — тихое, камерное искусство, которое позволяет зрителю оставаться самим собой и одновременно погружаться в новые, загадочные, завораживающие своей красотой миры, где нет ни одной фальшивой ноты».

Григорий КЛИМОВЕЦКИЙ, искусствовед

«Свобода самовыражения, сопряжённая с глубиной, напряжённостью, искренностью чувства, создаёт пространство мечты — удивительно поэтичные образы, выраженные художественным «верлибром». Разнообразие стилей, сочетание экспрессии, фантазии и этической деликатности дарит возможность творческого сопереживания, сочувствия и постижения нового мира — новой Вселенной, имя которой Виктория Полищук».

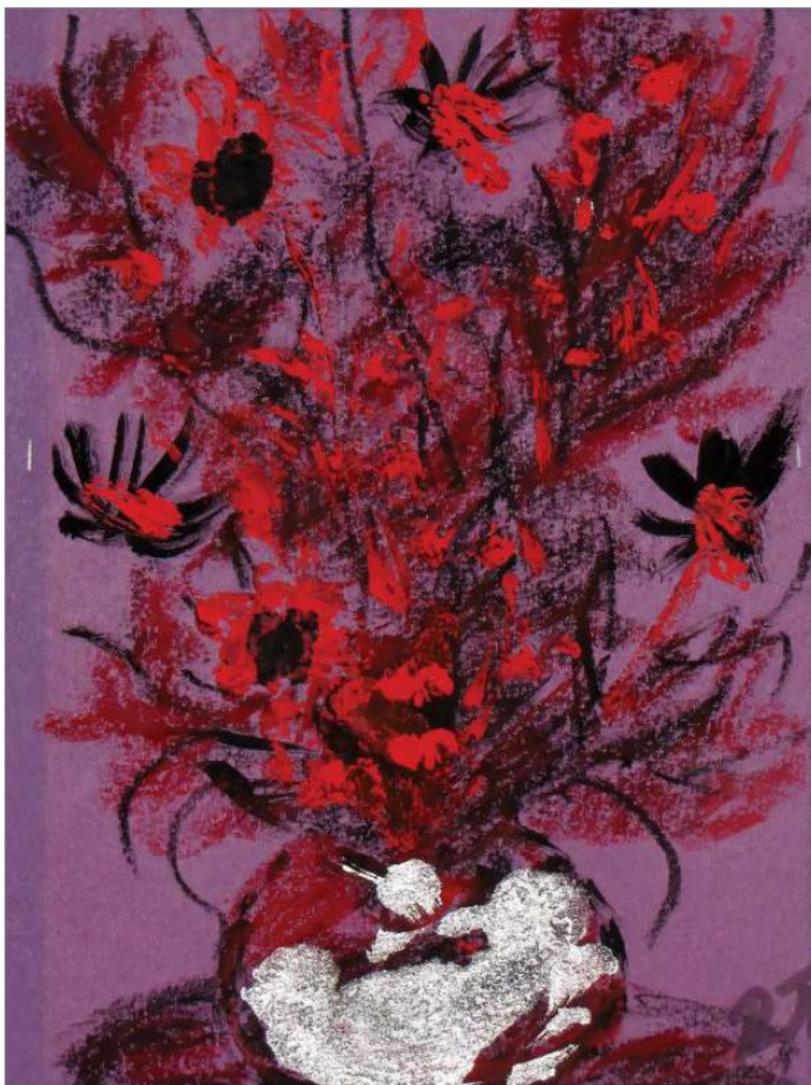
Александр КИРНОС, писатель

«Живопись и графика Виктории Полищук, наверное, были бы похожи на её стихи — неординарностью, непредсказуемостью. Но мне кажется, они — другого цвета. Цветов других, неистовых, ослепляющих до рези в глазах, до головной боли, а иногда вообще — не-цветов: такие линогравюры, с графикой дождя, штриховкой тумана».

Ольга АКАКИЕВА, филолог, поэт, артистка театра-студии «Слово»

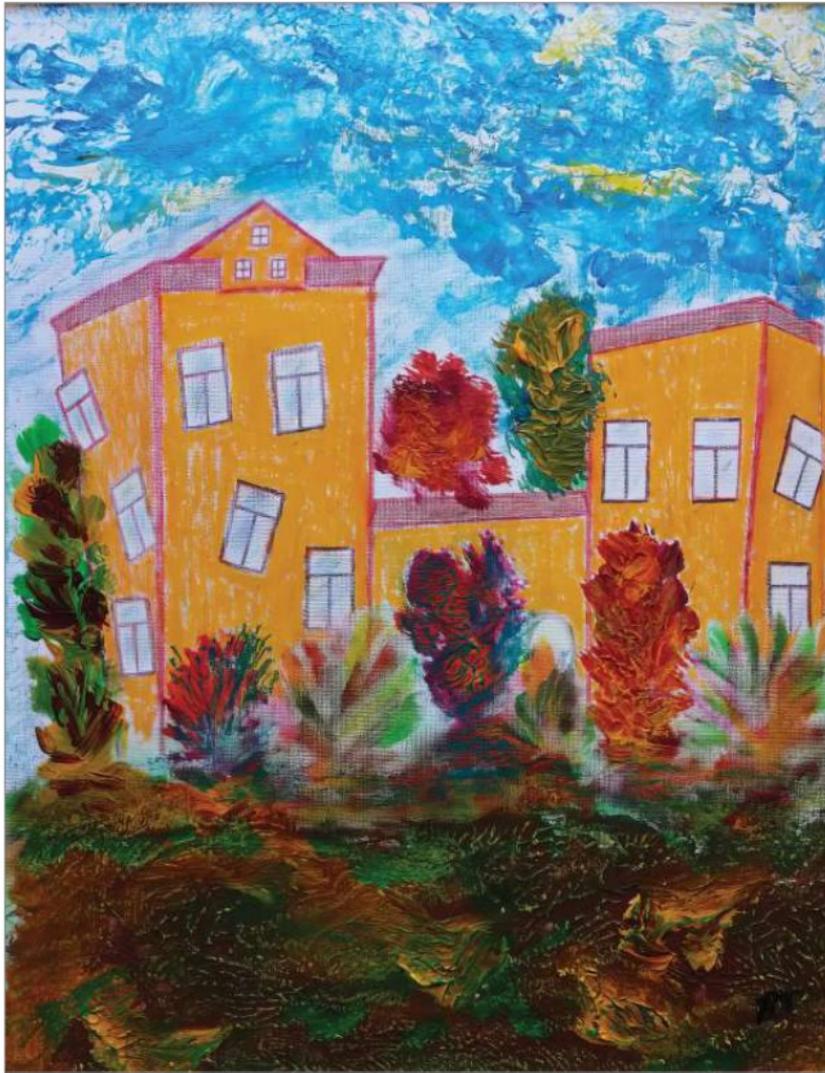














Работы 2009–2020 годов из серий:
«Сотворение мира» (Триптих «День Второй»),
«Зеркала», «Блуждающие окна», «Сонет букетов».
Бумага, картон, холст, акрил, гуашь, акварель,
масляная пастель, смешанная техника, монотипии.

Александр Махнёв

Собор Святейшего Сердца Иисуса

Исторический очерк



Собор Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте — архитектурное сооружение, удивительное во многих отношениях.

Месяцев пять тому, а, пожалуй, и больше, задумал я написать о ташкентском «польском» костеле. Уже не припомню, что послужило триггером, кажется, разговор с кем-то на эту тему, но я увлекся. Кто бы мог подумать, что работа займет столько времени.

Начал я, как водится, с интернета. Перелопатив немало материалов, с некоторым удивлением обнаружил, что, кроме рекламно-туристических сведений, в инете очень мало по-настоящему интересной информации. Тогда, подключив связи и знакомства, я вышел сперва на органного мастера Юрия Владимировича Зотова, потом на архитектора Сергея Сергеевича Адамова и инженера-конструктора, большого энтузиаста восстановления костела Александра Викторовича Пономарёва. Они подсказали мне, где искать.

Много чего я перечитал и пересмотрел — и по истории строительства, и по позднему восстановлению храма, и, попутно, по некоторым событиям, связанным с ним. И захотелось написать нечто не сугубо историческое, а по возможности увлекательное, хоть и основанное на фактах. И, кроме того, мне показалось интересным поведать о некоторых персоналиях, к костелу причастных.

«Польский» костел, несомненно, одно из самых замечательных зданий Ташкента. Тем более странно, что о нем до сих пор не написано чего-то, хоть отчасти соответствующего значимости этого много претерпевшего творения. Увы, при входе в сам костел, на информационной табличке, совсем не упомянут этап его восстановления. Не говоря уже о людях, его осуществивших.

Надо сказать, что сбор материала по костелу шел нелегко (местами так и «не дошел»). Я так и не понял, почему — разве что в силу ореола готики, окутывающего здание, — но любые сведения у людей, имеющих что-то сказать по теме, приходилось поначалу выуживать. А людей таких было немало — под дюжину собралось. Образовалась у меня в процессе работы эдакая секта «свидетелей костеловых», каковые, по законам всякой секты, тайны свои выдавали весьма неохотно. При том что люди это все

Махнёв Александр Николаевич родился в городе Комсомольск-на-Амуре в 1964 году, но практически всю жизнь живёт в Ташкенте. Печатался в журнале «Звезда Востока» и (в переводе на узбекский) в журнале «Ёшлик» («Молодость»).

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

профессиональные, увлеченные своим делом, каждый вольно или невольно пытался обратить меня «в свою веру». Архитектор в архитектурную, органист в органную, кузнец в кузнечную. Не говоря уже о католической. Сохранить нейтралитет, не переувлекшись чем-то одним, было непросто. Но в целом я убедился, что пробел в истории Ташкента восполнить нужно, тем более что от начала строительства костела до его завершения прошло восемьдесят с лишком лет. А на настоящий момент костел уже второй свой век распечатал.

Собор Святейшего Сердца Иисуса — католический храм, расположенный почти в центре Ташкента, — это кафедральный собор Апостольской администрации Узбекистана, более известный среди горожан под названием Польский костёл.

Активное распространение католичества в странах Среднеазиатского региона началось во второй половине девятнадцатого века и было связано с российским продвижением на восток. Застрельщиками стали сосланные сюда участники польского восстания 1863 года, а в дальнейшем — преимущественно офицеры, для которых в Российской империи служба в Туркестане являлась одним из условий получения высших воинских званий, ну и члены их семей, конечно, а также солдаты из числа военнослужащих царской армии — поляки, литовцы, немцы, французы, венгры, латыши, которых правительство посылало (на всякий случай) служить подальше от родины: на Дальний Восток, в Туркестан, на Кавказ.

Так или иначе, но к 1875 году католиков набралось здесь достаточно, и они впервые обратились к властям Туркестана за разрешением на строительство католического храма.

С 1883 по 1885 год первым официальным католическим священником в Туркестанском крае был отец Фердинанд Сенчиковский. Его радениями в Ташкенте была построена католическая часовня (каплица), где стали проводиться мессы для военнопленных, преимущественно поляков. Отсюда и народное название будущего костела — Польский.

Подготовка же к строительству католического храма в Ташкенте была начата по инициативе священника Юстина Бонавентуры Пранайтиса в 1912 году, возле той самой часовни, хотя к активному возведению приступили, по-видимому, только в 1914 году. Во всяком случае, на декоративно оформленном гербе, остатки которого были обнаружены при обследовании памятника в 80-е годы на восточном фасаде здания, указан именно этот год.

Юстин (Иустин) Пранайтис — довольно противоречивая фигура. Сын литовского крестьянина, окончив гимназию, поступил в духовную семинарию, а в 1883 году — в Римско-католическую духовную академию в Санкт-Петербурге. В 1886-м был рукоположен в священники, а годом позже получил степень магистра теологии. По окончании академии был назначен в ней префектом и преподавателем древнееврейского языка.

Несколько скандальную известность Пранайтис приобрел своей антисемитской книгой «Христианин в Талмуде еврейском, или Тайны раввинского учения о христианах». Но, хотя Пранайтис и был учеником авторитетного семитолога той эпохи — Хвольсона, его сочинения рассматривались специалистами как дилетантские и псевдонаучные.

В 1894 году его судили по обвинению в шантаже (якобы он потребовал в багетной мастерской 1000 рублей компенсации за испорченную дешевую картину, которую выдавал за картину кисти Мурильо) и сослали в Тверь. А в 1902-м для верности — еще дальше, в Туркестан. Тут он развернул бурную деятельность. По его инициативе были построены католические церкви в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Ашхабаде. Его активная миссионерская работа, выразившаяся, в частности, в «сворачивании в католичество» нескольких чинов Туркестанского гарнизона, весьма интересовала

полицию и отражена в оживленной полицейской переписке. Словом, человек был действительно предприимчивый.

Реконструировать в какой-то мере отдельные эпизоды из истории начала строительства нетипичного для Ташкента здания помогла рукопись одного из участников стройки — Игоря Крестовского, талантливого (в будущем советского) ваятеля, видного специалиста в области реставрации памятников искусства. В административном центре Туркестана Ташкенте прошли его детство и юность.

Отец Игоря Всеволод Владимирович Крестовский — кроме прочего и писатель, хотя почти забытый — тоже довольно неожиданным образом отметился в истории Ташкента. Автор нашумевшего в свое время романа «Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных» (в конце прошлого века российское телевидение показало весьма успешный телесериал по этому роману под названием «Петербургские тайны») некоторое время служил в Туркестанском крае «чиновником особых поручений». По прибытии в Ташкент вместе с назначенным туда генерал-губернатором Черняевым Крестовский получил от него поручение осуществить ревизию основанной в 1870 году Туркестанской публичной библиотеки (ныне Библиотека имени Алишера Навои). Результатом был рапорт Крестовского Черняеву, где указывался факт преимущественного интереса читателей к неблагонадежным произведениям и журналам России, что, учитывая прибывавший сюда из России контингент, было неудивительно.

Указав на ряд недочетов в деятельности библиотеки, Крестовский главнейшее зло усмотрел в том, что «большая доля внимания подписчиков посвящается повременным изданиям, между коими первое по количеству спроса место занимает журнал “Дело”, затем “Отечественные записки”, “Вестник Европы” и проч. Из русских авторов наибольший спрос на сочинения Щедрина (Салтыкова), Добролюбова, Писарева, Некрасова».

13 декабря 1882 года последовал приказ генерал-губернатора за номером 302 о закрытии библиотеки. Были даже планы распродажи с «публичного торга» значительной части библиотечного фонда. К счастью, они не осуществились. Через год библиотеку открыли снова, но уже под названием «Книгохранилище при ташкентском музее» и под присмотром специально созданного «наблюдательного совета».

Однако вернемся к костелу. В 1916 году Игорь Всеволодович готовился к поступлению в Петербургскую Академию художеств. После зачисления в подготовительный класс юноша на лето уехал домой в Ташкент. Когда в поисках временного заработка он пришел к городским властям (тоже, кстати, интересная подробность — вот вы, например, прибыв в другой город, станете обращаться к властям на предмет трудоустройства?), ему посоветовали связаться с главой римско-католической общины.

Поскольку кадетский корпус (теперь там расположен ТашМи — Ташкентский медицинский институт), в котором получал начальное образование юный Крестовский, находился прямо напротив строящегося костела, он, конечно, наблюдал, как начиналось его возведение, и теперь был приятно удивлен заметным продвижением стройки за время его отсутствия. «К моему приезду из Петербурга в середине мая 1916 года, — пишет он в своих мемуарах “Пути жизни”, — уже был заложен общий фундамент, построена парадная лестница с балюстрадой и пьедесталами для четырех апостолов, сделана нижняя церковь, где уже служили мессы, а над церковью, на площадке, воздвигались стены самого костела».

Главой римско-католической общины был как раз Юстин Пранайтис. Игорь Всеволодович описывает ксендза как властного, энергичного и целеустремленного человека. Пранайтис, судя по всему, произвел сильное впечатление на юношу. Будущий ваятель словесно лепит образ незаурядного священника: «За большим дубовым столом, в широком плетеном кресле сидел высокий худощавый человек, одетый в черную сутану. Он был с короткой стрижкой седеющих волос, с большим

орлиным носом и острым подбородком, с глубоко запавшими глазами, светившимися, как два раскаленных угля, из-под нависавших черных густых бровей».

Предположительно существовало два проекта постройки здания: первый был предложен местным зодчим Александром Павловским, но впоследствии храм возводился по проекту Людвика Панчакевича. Курировал строительство Пранайтис лично.

Купив у некоей вдовы Норбаевой небольшой участок земли, ксендз к 1905 году построил небольшое здание так называемого старого костела, который часто именовали Домом польского общества. Здесь располагались не только каплица, но и детский приют, школа и квартира самого настоятеля. Внешне это был обычный двухэтажный дом, который отличался от других лишь католическим крестом над слуховым окном чердака.

К 1909 году рядом с временной часовней появились приюты для мальчиков и девочек, где их обучали основам грамоты и несложным ремеслам. Обучение было бесплатным, сами же приюты содержались за счет пожертвований некоторых зажиточных горожан.

На другой год Пранайтис сумел договориться с семейством виноделов Первушинных, на чьей земле к тому времени частично стояли его постройки, о выкупе земельного участка между «старым костелом» и арыком Салар. Виноделы Первушины думали недолго и рассудили довольно здраво: раз тут уже была часовня, то для строительства храма здесь — наилучшее место. Во-первых, в отдалении от всех православных храмов и церквей, во-вторых — Первушины откровенно не знали, чем застроить участок.

После оформления сделки приступили к возведению нового здания католической церкви.

По первоначальному проекту храм состоял из колокольни и разделенного колоннами натрое зала площадью 42 на 32 метра и высотой в 25 метров. Передний фасад (с колокольней) планировалось украсить витражным окном, а внутри и на входе предполагалось наличие двадцати трех статуй католических святых.

Строительство продвигалось медленно — приход содержался на пожертвования, избытка средств на стройку не наблюдалось. В итоге строительством на безвозмездной основе занялись солдаты-католики. В свободное время они отправлялись на стройку, что создавало проблемы для всего прихода. Дело в том, что солдаты, устав на службе, шли на «благое дело», где выматывались окончательно и на другой день не могли полноценно нести службу. Это, естественно, вызывало недовольство командования.

Однако отец Юстин отрицал обвинения в эксплуатации солдат. Да и в самом деле, те приходили на строительство добровольно, отпрашиваясь под любыми предлогами. Но военное командование не унималось. Администрация Туркестанского края неоднократно грозила Пранайтису высылкой за принуждение солдат-католиков к строительству костела.

Закончились это с началом Первой мировой войны, когда в Среднюю Азию начали привозить беженцев и военнопленных из Польши, прибалтийских стран, австро-венгерских подданных. Среди них попадались высококвалифицированные инженеры, скульпторы, каменщики.

Надо сказать, что отношение к военнопленным в Туркестанском крае было беспрецедентным в мировой истории войн. Они вели здесь относительно вольный образ жизни, имели некоторую свободу передвижения, подчас сами могли подыскать себе работу. Их силами и продолжилось возведение храма.

Проект был переработан (или полностью переделан?) под влиянием пленных специалистов, воспитанных на западноевропейских образцах готики. Скорее всего, они предложили применить при строительстве базилики бетонные блоки для укрепления

постройки по периметру железобетонными поясами — такие в практике строительства Ташкента использовались впервые.

В создании художественного образа католического храма значительную роль играли рельефные и круглые скульптуры (впоследствии, увы, утраченные, лишь остатки одной из них и сейчас хранятся на заднем костельном дворе) из того же бетона.

По европейской традиции старались как можно скорее возвести первую часть базилики, полуподземную крипту, чтобы начать богослужения.

Тут небольшое отступление с забеганием вперед. Позже, уже при реконструкции начала девяностых, юные ребята, привлеченные к работам по расчистке развалин костела, с увлечением бродили по этим мини-катакомбам.

Сергей Насыров вспоминает: «В году 93—94-м там шли восстановительные работы, вот мы с пацанами и пошли немного чернорабочими подработать. И из-за денег, и из интереса. Мальчишки же, все интересно! А тут прям “в катакомбы пускают”! Ну, поработали там пару месяцев, мешки потаскали, раствор месили, а потом нас “попросили” оттуда, так как мы не бригадные были, а самостийные работники.

Да нас тогда сами подземные ходы больше интересовали, все эти мрачные коридоры, как в кино! Может, потому нас на самом деле и выгнали, от греха подальше, чтоб не потерялись там нафиг!

А так, много мусора там было в подвалах, все это выносилось наверх, долго валялось под открытым небом, потом грузилось и куда-то отвозилось на свалку».

Заодно разросся при возводимом костеле и приют для беженцев. Приют давал беженцам возможность зарабатывать: женщины учились кулинарии и вышивке, а мужчины работали каменщиками, плотниками, подсобными рабочими.

Так или иначе, строительство продвигалось, теперь уже под руководством преемника Пранайтиса — отца Болеслава Рутениса. Отец Юстин скончался 28 января 1917 года в Петербурге. Несколько дней спустя его тело было перевезено в Ташкент (в соответствии с последней волей покойного) и захоронено на местном кладбище, а в дальнейшем перезахоронено в крипте недостроенного костела.

Но ни достроить здание, ни продолжить работу с паствой Рутенису было не суждено: грянула Октябрьская революция, новая власть взяла курс на искоренение религии. Под ее давлением священнику пришлось сложить с себя обязанности настоятеля. Строительство, естественно, было приостановлено. А в январе 1919 года, во время подавления антибольшевистского «осиповского мятежа»¹, в костел попало несколько артиллерийских снарядов (прилетело, видимо, из ташкентской крепости), что послужило началом медленного разрушения здания. Постепенно обрушились декоративные украшения, исчезли статуи. После ухода с поста Рутениса мессы для оставшихся католиков некоторое время тайно проводил отец Иосиф Совинский. Позже он был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде и расстрелян. Впрочем, это неточно.

Храм же в 1925 году был национализирован. В советский период многочисленные временные владельцы перестраивали здание под свои нужды. В нем размещались самые разношерстные организации: от общежития Электрокабельного завода и Республиканской акушерской школы до какого-то управления, склада медтехники и госпиталя. Наконец, строение было практически заброшено.

¹ Осиповский мятеж в январе 1919 года в Ташкенте, руководимый военным комиссаром Туркестанской республики Константином Осиповым, был попыткой свержения советской власти в Туркестане.

У нашего замечательного ташкентского поэта Александра Аркадьевича Файнберга есть стихотворение, посвященное воспоминанию о ранней молодости, там есть такие строчки (речь идет о конце 1950-х годов):

За разбитою башней костёла
тянет шею к закату шлагбаум.
Пахнут шпалы мазутом и ветром.
Вдалеке семафор однорукый.

И в конце:

О тебе мне осталась на память
только эта громада костёла,
где сквозь чёрные камни развалин,
как сквозь пепел всего, что сгорело,
пробиваются к жизни и свету
всходы горькие поздних прозрений —
голубые цветы полевые.

В 1976 году здание церкви, в части которого тогда размещалось очередное общежитие, перешло под опеку республиканского министерства культуры. Что, видимо, и спасло остатки костела от окончательного уничтожения.

В самом начале восьмидесятых здание было объявлено архитектурно-историческим памятником Узбекистана, и был все же утвержден проект архитектора Сергея Адамова, предусматривавший приспособление помещения бывшего костела под зал органной музыки. При том что сами специалисты-архитекторы, конечно, мечтали о восстановлении именно костела. Настоящего неоготического культового здания. В это время, кстати, были смонтированы колонны нынешнего Зала святого Антония Падуанского, сохраненные и при дальнейшем воссоздании.

Однако объемно-пространственная композиция костела разным специалистам представлялась по-разному.

Например, кафедра истории и теории архитектуры Ташкентского политехнического института предложила свой вариант восстановления костела (дипломная работа студентки института Людмилы Романовой под руководством профессора Нильсена) как памятника культовой архитектуры начала XX века. Был собран некоторый фотоиллюстративный материал, проведены тщательные натурные обследования объекта. Главное отличие внешнего облика костела здесь состояло в том, что крутая крыша здания с фасадной стороны завершалась *двумя* симметричными высокими башнями со шпильями. Такая архитектурная трактовка очень напоминала не дошедшую до нашего времени готическую церковь в Баку, постройки 1912 года. Эти сооружения должны были быть близки по пропорциям, но если верхний карниз костела в Баку венчала фигура Святой Марии, то костел в Ташкенте предполагалось украсить четырехметровой статуей Христа.

В процессе реконструкции в 1995 году Германом Адамовым (братом Сергея Сергеевича Адамова) даже была изготовлена модель статуи, но в итоге остановились все же на кресте, том самом, что и возвышается теперь над костелом. Подозреваю (хотя прямых подтверждений у меня нет), что власти предрержащие остереглись так высоко вздымать фигуру Христа в столице все-таки мусульманского государства.

Очень возможно, что ташкентский костел после консекрации (освящения) должен был именоваться костелом Святого Креста, поскольку на сохранившихся дореволюционных фотографиях на угловых башенках четко видны бетонные кресты с фигурами двух разбойников, между которыми был распят Иисус.

Несмотря на все дискуссии, в 80-е годы костел несколько лет стоял вовсе без крыши, но даже в руинах выглядел величественным. На излете восьмидесятых студенческий театр-студия «Маятник» при ТашГУ пробовал поставить там небольшую пьесу Нины Садур «Влюблённый дьявол». Репетировали в развалинах костела, куда не так просто было доставить необходимую оснастку и аппаратуру, а после вывезти ее обратно, поскольку оставлять просто было негде.

Участники и немногие посвященные зрители попадали к месту представления по водоводной трубе через Салар в сумерках. Было романтично и мистично.

Два действия, девять явлений. Испания, инквизиция, шпаги, монахи, кровь, любовь и чертовщина. Развалины католического костела в качестве декораций подходили как нельзя лучше.

В пьесе о дьяволе в Испании, конечно, никак нельзя было обойтись без костров. В целях пожаробезопасности нашли хитрое решение: толстый канат пропитывали бензином и поджигали — чтобы как-то локализовать огненную стихию. Однако на втором прогоне спектакля случилась крупная неприятность: помощница, подливавшая бензинчику на канат, вспыхнула сама!

Закончилось все относительно благополучно — незначительными ожогами. Благо, ташкентский мединститут — через дорогу от костела. Но самое-то любопытное: спустя некоторое время сгорела и студия «Маятника» в ДК ТашГУ! Короткое замыкание, наверное. Хотя черт его знает...

В 1987 году возобновилась официальная деятельность католических организаций в Узбекистане. Сначала в Фергане вновь открылся католический приход, а через 3 года — католический храм в Ташкенте, настоятелем которого стал францисканец из Польши отец Кшиштоф Кукулка.

С 1991 по 2005 год (с небольшим перерывом) он по назначению Папы Римского возглавлял римско-католический приход. К моменту его появления храм в частности и католичество в целом пребывали в Узбекистане в состоянии упадка. Отец Кшиштоф внес большой вклад в возрождение католичества в наших краях. Но, может быть, самое главное — он добился реального и полного восстановления здания костела под названием Святейшего Сердца Иисуса.

Об отце Кшиштофе ташкентцы вспоминают довольно тепло. И сам он по завершении восстановления хотел остаться на служении в Ташкенте. Но римская курия, к его огорчению, решила иначе, а дисциплина там строгая.

Известный, в том числе и ташкентский, поэт, переводчик, эссеист Вадим Муратханов так рассказывал мне о своей работе в костеле:

«В ташкентском католическом костеле я работал в 2003–2004 годах. После нескольких лет работы в журналах и газетах Ташкента это был новый и интересный для меня опыт.

Пресс-служба посольства Ватикана среди прочего поддерживала сайт Agnuz, на котором размещалась информация о событиях в католическом приходе, а также новости иностранных информагентств о жизни католиков на разных континентах. Я занимался выпуском еженедельной приходской газеты «Агнец», которую под руководством о. Кшиштофа Кукулки заполнял материалами, верстал и печатал прямо в костеле с помощью принтера и ксерокса формата А3, сначала на четырех, а потом и на восьми страницах.

Коллектив Agnuz размещался в нескольких помещениях цокольного этажа: программисты, системные администраторы, переводчики. Монахи-францисканцы иногда появлялись в нашей редакции, но по большей части мы, работавшие в костеле ташкентцы, общались друг с другом.

После нескольких лет журналистской работы, мобильной и разноплановой, мне первое время было трудно высидывать весь день у компьютера, но со временем

привык. Отлучались мы из храма только раз в день — на обед. Выбирали кафе и выезжали туда всей командой.

Костел тогда продолжали активно реставрировать, и не все помещения были готовы к эксплуатации и богослужению. Но в главном зале службы уже проводились. Там же проходили время от времени концерты органной музыки. Зал и орган были задействованы, в частности, в рамках фестиваля современной музыки, который проводил в нулевых годах театр “Ильхом”.

О. Кшиштоф был руководителем дисциплинированным и скрупулезным и того же требовал от подчиненных. Вместе с тем в нужные моменты он проявлял чуткость и деликатность. Когда однажды во время игры в футбол я порвал связки голеностопа, он позаботился о том, чтобы у меня были все условия для домашней работы и однажды посетил меня дома вместе со всем коллективом.

Он был любителем корейской и китайской кухни и в канун католических праздников иногда вывозил нас в кафе дальневосточной кухни.

Был у нас и корпоративный выезд в горы, где мы катались на снежокатах и готовили шашлык.

Кшиштоф Кукулка был личностью многогранной. Многие знают его как духовное лицо и крепкого хозяйственника, внесшего большой вклад в восстановление костела и укрепление ташкентской католической общины, но не всем известно, что он писал стихи. Духовная поэзия о. Кшиштофа представлена в 5-м выпуске альманаха “Малый шёлковый путь” (Ташкент, 2004). Был он и участником 3-го Ташкентского открытого фестиваля поэзии, где выступил с чтением своих стихов на одном из вечеров, состоявшемся в 2003 году в костеле.

Время, проведенное в ташкентском католическом храме, было плодотворным и интересным. Я вспоминаю его с благодарностью, как и людей, с которыми довелось там работать».

Неординарным, судя по всему, священником был отец Кшиштоф.

В 1992 году его хлопотами власти Республики Узбекистан передали здание собора католическому приходу Ташкента. И в 1993-м началось, наконец, полноценное восстановление и частичная реставрация здания костела под руководством архитектора Сергея Сергеевича Адамова и инженера Александра Викторовича Пономарёва, давно уже занимавшегося изучением костела и в подробностях планировавшего процесс его восстановления.

Архитектурное решение вырисовывалось непросто и не сразу.

В связи с отсутствием чертежной документации изначального проекта ориентировались преимущественно на старые фотографии, весьма немногочисленные и неважного качества. Ну и на текущие административно-финансовые сложности, конечно.

В ходе работ остатки старой католической часовни, которая располагалась в Доме польского общества на месте строительства, были включены в план нового храма. Сам храм предполагалось приблизить, насколько это было возможно, к первоначально задуманному облику.

Несмотря на многие сложности, работы выполнялись тщательно и ответственно, что далеко не всегда случается при проведении реконструкционно-реставрационных работ.

Настоятель отец Кшиштоф Кукулка, подвижный и сухопарый, молодой (даром что «отец», в то время ему было лишь немного за тридцать), невысокий, лысоватый, появлялся на строительстве регулярно, наблюдая за продвижением работ, входя во все тонкости, равно как и на леса и прочие высоты.

После открытия фронта предстоящих работ, проще говоря, расчистки остатков костела от грандиозных завалов мусора, приступили к восполнению многочисленных лакун — утерянных частей здания. Как рассказывает один из участников работ

монтажник Сергей Александрович Комиссаров, первые три ряда новых блоков укладывались на тонко просеянный песок без цемента. Отсутствие цемента предполагало подвижность базовых блоков, необходимую в наших сейсмически опасных условиях.

Раствор заливали в специальные формы, а затем схватившиеся блоки раскладывались для просушки в расчищенном обширном подвале под костелом. Теперь там размещены инженерные коммуникации. В холодное время года туда нагнетали теплый воздух из термопушек. Ежедневно использовали до трех кубометров готового раствора (плотно груженный самосвал).

Сам костел изначально был построен на «песчаной линзе», так что песок добывался прямо на месте. Вместе с Комиссаровым тысячи блоков формовали Сергей Фоменко и Владимир Самонин. Общее руководство строительно-монтажными работами осуществлял Николай Николаевич Бледных.

В это же время случайно возвращавшийся с работы на трамвайчике (маршрут проходил мимо ТашМи) кузнец Владимир Фёдорович Пилипюк обратил внимание на оживший костел и немедленно предложил свои услуги. Его инициатива имела плодотворное развитие и дополняется, надо сказать, по сей день.

26 марта 1995 года посол Франции в Республике Узбекистан Жан-Поль Везиан и его супруга Элен преподнесли в дар римско-католическому приходу Ташкента колокол для костела, весом 130 кг, отлитый по их заказу в российском Каменск-Уральском.

С колоколом тоже занятая история. Оказывается, католический колокол отличается от православного. В православном язык колокола раскачивает звонарь и бьет им о тело колокола. В католическом, напротив, раскачивают колокол и более легкий язык о него бьется. Об этом рассказал как раз Владимир Фёдорович, которому пришлось язык каменск-уральского колокола заменить. Было исполнено шесть вариантов, пока не подобрали подходящий — седьмой. Варьировались как размер языка, так и состав металла, из которого он отливался. Ну и для самого колокола пришлось изготовить специальную подвеску-качалку.

Храм вышел двухэтажным, с одной мощной башней-колокольной и тремя нефами. Он торжественно, как на пьедестале, покоится на первом, или цокольном, этаже. Конфигурация участка, на котором он стоит, близка к треугольнику, с резким падением рельефа в восточном направлении (к руслу канала Салар), что предопределило необходимость строительства подпорных стен большой протяженности и монументальной лестницы точно по оси главного входа.

Архитектурный комплекс храма и окружающей территории гармонично смотрится с любого ракурса. Особенно монументально и вдохновенно — в пасмурную погоду.

22 октября 2000 года здание возрожденного собора Святейшего Сердца Иисуса было освящено архиепископом Марианом Олесем — апостольским нунцием в Казахстане и Средней Азии (в 2005 году Папа Римский Иоанн Павел II повысил статус католической миссии в Республике Узбекистан до звания Апостольской администрации и назначил отца Ежи Мацулевича, прибывшего из Рима, первым епископом в Узбекистане).

А что же интересного внутри собора?

Двухэтажное здание состоит из нескольких помещений.

Самое старое — крипта-часовня, строительство которой датируется ранее 1916 года. Небольшое помещение используется для проведения месс в будние дни. Для церковных встреч и лекций предназначен скромный зал святого Иоанна Павла II. Есть в храме и небольшая библиотека.

Более обширную площадь занимает зал святого Антония Падуанского, расположенный справа от крипты. Здесь можно увидеть яркое мозаичное панно и скульптуру святого Антония, выполненные Германом Адамовым.

Основное помещение храма расположено на втором этаже. Оконные проемы здесь украшены витражами, изготовленными в Польше по эскизам польских и узбекистанских художников. Причем три из них, в алтарной части, символизирующие три стихии (огня, воды и воздуха) — точные копии витражей из базилики францисканцев в Кракове.

Здесь же, над дарохранительницей, статуя возносящегося Христа, сделанная по эскизу Сергея Сергеевича Адамова Германом Сергеевичем Адамовым при содействии скульптора Леонида Рябцева.

Между огромных колонн, разделяющих зал на три нефа, расставлены ряды массивных деревянных скамей для прихожан. Не только они, но и многие другие произведения столярного и плотницкого мастерства изготовлены братьями Валентином и Андреем Шиховыми, а также Николаем Паплевичевым, тоже по интерьерным эскизам Сергея Сергеевича Адамова.

Инженер-конструктор Александр Викторович Пономарёв рассказал мне, что своды храма — тонкостенные, подвесные, с зазором у стен — антисейсмические. Внутренние колонны с арками и продольными и поперечными рамами распор на старые наружные стены не передают и останутся стоять вместе со сводами, даже если стены рухнут. Во всяком случае, Александр Викторович так утверждает.

Против алтаря (который в католических храмах, в отличие от православных, ориентирован на запад) размещен двадцатипятирегистровый орган. Его установка была поручена фирме «Зигфрид Мертен» из-под Кёльна — небольшой компании, состоявшей в то время из семи сотрудников. Глава — по имени которого и названа фирма — был выучеником крупной боннской органной мастерской «Йоганнес Клайс», она и теперь остается лидером немецкого органостроения. Однако и Мертен в грязь лицом не ударил.

В связи с ограниченностью средств орган требовался максимально бюджетный.

Тогда придумали вот что: Зигфрид подыскал в Германии, в боннской церкви Святого Павла, подходящий секонд-хенд на 23 регистра. Скромная палитра, однако вполне достаточная по своим ресурсам. В католических и протестантских странах именно такие органы устанавливают во многих храмах среднего размера.

Надо заметить, что орган был конструктивно устаревшим, с пневматической трактурой, то есть совокупностью механизмов, обеспечивающих связь клавиатур органа с клапанами и другими устройствами, открывающими или закрывающими доступ нагнетаемого воздуха к органным трубам. Зигфрид взял от этого органа трубы и шпильтиш — игровую кафедру, так сказать, пульт, со всеми необходимыми для органиста средствами, — добавил еще два регистра, устаревшую и изношенную пневматическую трактуру заменил на электрическую и изготовил новые фасадные трубы. Также было применено хитрое техническое решение, позволяющее электрическим подключением соединять клавиши при игре в октавном удвоении. В результате орган приобрел такие звуковые возможности, будто у него не 25 регистров, а добрых сорок!

Юрий Владимирович Зотов, тогда органный мастер Ташкентской консерватории, помогавший монтировать костельный орган, считает этот инструмент очень звучным и удачным.

С левой от центрального входа стороны имеется винтовая лестница — путь к пульту органа (далее она ведет на колокольню), рабочее место нынешней храмовой органистки Юлианы Круковской.

Колонны главного зала украшены изображениями библейских сцен работы Германа Адамова, выполненные, если не ошибаюсь, в технике гальванопластики. На каждом есть монах-францисканец (в знак того, что храм построен орденом францисканцев) и девушка-узбечка (как дань уважения земле, на которой он возведен). Такова общепринятая практика для католических храмов в некатолических странах.

Узбекские мотивы прослеживаются не только в картинах. Если приглядеться, на одном из витражей можно увидеть цветы и коробочки хлопка, а подсвечники у алтаря выглядят как кусты хлопчатника.

Входные ворота в крипту, прекрасные люстры в главном зале, оригинальные светильники, подсвечники, канделябры, оконные решетки в готическом стиле, лестничные ограждения и перила — все это авторские работы прихожанина костела, самобытного кузнеца Владимира Фёдоровича Пилипока. Даже дверные навесы и замки по настоянию отца Кшиштофа Кукулки выполнены Пилипоком специально для костела.

Художественное решение светильников, со слов автора, пришло не сразу. Было выполнено два десятка предварительных эскизов, которые не устраивали отца Кшиштофа, пока наконец Владимир Фёдорович не обратил внимание на изображения пшеничных колосьев в облачениях священников. Колосья в сочетании с виноградными гроздьями он и сделал рефреном своих работ — хлеб и вино, тело и кровь Христовы.

Поиски цветного стекла для изготовления светильников проходили по всему Ташкенту и Ташкентской области. Например, на темно-коричневое были пущены пивные бутылки и аптечные пузырьки. Вот уж воистину «когда б вы знали, из какого сора...».

Облицовка мрамором и гранитом придает внутренним помещениям залов монументальность и торжественность.

Настоятелем ташкентского храма является сейчас отец Пётр Кава, уже 25 лет служащий в Узбекистане — сначала в Фергане, а последние несколько лет в Ташкенте.

Епископ Римско-католической церкви в Узбекистане Ежи Мацулевич, покои которого расположены при храме, тоже в Узбекистане очень давно, около двадцати лет. Назначение свое отец Ежи получил от папы Иоанна Павла второго буквально накануне его кончины — 1 апреля 2005 года.

Воскресные мессы в храме ведутся на четырех языках: английском, русском, корейском и польском. Поскольку польский язык актуален прежде всего для польских дипломатов и других официальных лиц, пребывающих в Ташкенте, в период летних отпусков на польском служба не проводится. Местным католикам русского достаточно.

Довольно приличная диаспора южнокорейских католиков привезла к храму гранитную глыбу, что стоит на подходе к нему слева. На ней планировалась некая табличка, но куда она не установлена. Как, впрочем, и фонари на лестнице, ведущей к парадному входу в костел.

В 2002 году вблизи храма появилась памятная стела польским жолнежам времен Второй мировой войны — солдатам армии генерала Андерса, которая первоначально формировалась в Узбекистане, а затем по приказу польского правительства в эмиграции (в Лондоне) была выведена на Ближний Восток, где и принимала участие в боевых действиях.

Кстати, вышеупомянутая глыба тоже поставлена не как-нибудь. Под определённым ракурсом она визуально образует со стелой вертикаль, которая, пересекаясь с горизонтом, должна отсылать к кресту.

Ну а сам костел, одно из самых заметных архитектурных сооружений Ташкента, как уже было сказано, особенно величествен и красив в пасмурную погоду. Это уж поверьте мне на слово. А лучше, при возможности, убедитесь сами.

Автор выражает искреннюю признательность Сергею и Герману Адамовым, Александру Пономарёву, Юрию Зотову, Владимиру Пилипоку, Сергею Комиссарову, Юлиане Круковской, Вадиму Граковскому, Сергею Насырову, Елене Ковшовой, Елене Султановой за помощь в работе над материалом.

Михаил Павловец

Дайте сказать своими словами

О сочинениях в школе — и в жизни

В 2024 году можно отметить два небольших юбилея: десятилетие так называемого итогового сочинения, которое пишется 11-классниками с 2014 года, и пятилетие большого межвузовского проекта «Всероссийский чемпионат сочинений “Своими словами”», пятый сезон которого открывается осенью этого года. Оба начинания выросли из одних корней, из одного общего запроса и инициативы, но представляют собой принципиально разные явления, в каком-то смысле даже взаимоисключающие. Одно — проводится со всей безапелляционностью дела государственного значения, второе — движение, можно сказать, снизу, от образовательного, точнее, — вузовского сообщества, привыкшего не только осмыслять возникающие проблемы, но и находить им решение.

Но обо всем по порядку.

Хорошо известно, как же хочется взрослым — родителям, учителям, деятелям культуры, — чтобы наши дети писали сочинения. Многие убеждены, что умение их писать нужно «возродить», причем среди таковых непременно найдутся и те, кто свой личный счастливый опыт перенесёт на советское образование в целом («была отличная учительница, позволяла писать, что думаешь, — и зачитывала лучшие сочинения перед классом»), противопоставляя его нынешнему, когда дети якобы ничего не пишут (якобы — из-за «оболванивающего» ЕГЭ с его якобы «тестами»). Другие (кому, возможно, не так повезло в школьном детстве или кто просто лишен ностальгии по всему советскому) с восторгом перепощивают мигрирующие по соцсетям темы сочинений из дореволюционных гимназий:

- Слово как источник счастья.
- Почему жизнь сравнивают с путешествием?
- Родина и чужая сторона.
- О скоротечности жизни.
- Какие предметы составляют богатство России и почему?
- О высоком достоинстве человеческого слова и письма.
- О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.
- О проявлении нравственного начала в истории.
- На чем основывается духовная связь между предками и потомками?

Михаил Павловец — филолог, преподаватель словесности. Родился в 1972 году в Твери. Окончил МПГУ. Доктор филологических наук, профессор школы филологических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, учитель словесности Лицея НИУ ВШЭ. Автор более 200 публикаций по истории русской литературы XX — начала XXI века — поэтического авангарда, неподцензурной литературе, современного литературного процесса, а также глав школьных и вузовских учебников и работ по истории литературного образования в России.

При этом выражающие восторги убеждены в высоком качестве гимназических сочинений, забывая, что самих гимназистов было не более 6% от общего числа их получающих хоть какое-то образование сверстников¹: у одних не было денег на оплату гимназического образования, у других — достаточных способностей к его получению, у третьих — правильного вероисповедания (скажем, на иудеев существовала своя процентная норма). Впрочем, взгляд педагога обратит внимание на то, что в некоторых из приведенных выше формулировок заранее задается желанный для учителя ответ: так, размышляя на тему «О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве», разве что из подросткового нигилизма начнешь возражать, что всякое бывает понимание счастья и кто-то, может быть, удовольствуется зажиточностью, не претендуя на большее, и будет чувствовать себя вполне счастливым человеком. Однако педагогическая мысль с тех пор пришла к пониманию, что нельзя в формулировках тем сочинений давать готовые ответы: юный автор будет не размышлять над предложенной проблемой, а постарается подобрать нужные аргументы к тому ответу, который заранее известен и должен понравиться проверяющему. Для формирования умения встать на не свойственную тебе точку зрения и связно ее излагать, это, может быть, и неплохо: сегодня продвинутые учителя нередко дают темы, где ты должен представить заведомо чужую и вовсе не обязательно близкую тебе позицию, например, посмотреть на Раскольникова глазами Порфирия Петровича. Да только педагогическое значение такого рода упражнений, если заведомо не оговаривается, что это не твоя точка зрения — а своего рода ролевая игра, сочинение, написанное под маской, весьма сомнительно: что это как не школа лицемерия, воспитание привычки к «чего изволите-с?».

Тем не менее даже такие аксиомы современной педагогики далеко не всем доступны — если посмотреть на некоторые формулировки тем, предлагаемые выпускникам средней школы в рамках так называемого итогового сочинения. Вот, например, из пакета 2023—2024 учебного года: «Почему упорство принято считать достоинством, а упрямство — недостатком?» Формулировка смешная, если учесть, что «упорство» и «упрямство» — синонимы, просто одно слово наделено положительными коннотациями, а другое — отрицательными (как «шпион» и «разведчик», «интернационалист» и «космополит», «отважный» и «отчаянный»). По большому счету, надо отвечать в сочинении на другой вопрос: когда одно и то же качество в человеке является его достоинством (и тогда его называют «упорством»), а когда — недостатком («упрямством»).

Но это ещё не самый плохой случай, тут можно вывернуться и проявить хоть какую-то самостоятельность мысли вместо имитативной назидательности, которую ждут от школьника. Вот другая тема из того же ряда: «О силе или слабости человека, по Вашему мнению, говорит отсутствие у него чувства стыда?»

И тут следует напомнить, что же это такое — «итоговое сочинение».

В начале 2010-х годов к Президенту РФ пробилась группа авторитетных общественных деятелей, от среднего образования, кажется, далеких, но свято уверовавших, что введение ЕГЭ лишило школьников возможности писать развернутые высказывания на русском языке, всё сведя к «тестам». Просьба к Президенту была — «вернуть» в школу написание сочинений². Президент велел Министерству образования

¹ В 1913 году в средних общеобразовательных учебных заведениях — гимназиях и реальных училищах обучалось 498,5 тыс. чел. Это 5,9% от всех обучавшихся. При этом 83,1% составляли ученики начальных и низших школ, 0,9% — студенты. Остальные — учились в низших специальных учебных заведениях, в духовных — нехристианских конфессий и т.п. Источник: *Калабеков Г.Е.* Российская империя и страны мира в цифрах (<http://ricw.ru>). За консультацию благодарю коллегу Л.А.Кацву.

² Почему «итоговое сочинение» ещё долгое время называли *возвращенным*: обычная риторическая фигура в нашей общественной мысли, когда многое из того, что вводится — от ГТО до «Движения первых», — подается как «возвращение некогда утраченного», при игнорировании изменившихся исторических и культурных контекстов подобных начинаний.

разобраться и принять меры, министерские чиновники собрали рабочую группу, озадачив ее вопросом: как «вернуть» то, что никуда из школы не уходило — но так, чтобы и звучало весомо, и какая-никакая польза от этого была, и действующие законы (прежде всего недавно принятый Закон об образовании) очевидным образом не нарушать.

Ведь вся проблема состояла в том, что инициаторы «возвращения сочинения» имели в виду исключительно сочинение по литературе — учебной дисциплине, которой к тому времени не исполнилось и 100 лет, поскольку введена она в России после революции как предмет прежде всего пропагандистски-воспитательный и индоктринирующий. Ибо, как было сформулировано в позднесоветской (1977) Программе по литературе (формулировка оттачивалась десятилетиями): «Важнейшая цель изучения литературы в школе — формирование коммунистического мировоззрения, идейно-политическое, нравственное и эстетическое воспитание учащихся». Главным воспитательным механизмом при этом считалось «воспитание примером»: положительные герои литературы должны были служить примером для подражания, отрицательные — предметом для осуждения. Вот как та же самая цель была артикулирована несколько ранее, в «Программе средней школы по литературе за VIII — X классы 1938 года», на языке своей эпохи, куда более прямолинейном: «Показать величие русской классической литературы, воспитавшей многие поколения революционных борцов, огромное принципиальное отличие и морально-политическую высоту советской литературы, научить учащихся разбираться в основных этапах литературного развития без упрощенства, без схематизма — такова историко-литературная задача курса VIII — X классов средней школы».

Как придать весу «возвращенному» сочинению, эксперты МинОбра придумали — его надо сделать «допускным»: без написания такого сочинения стало невозможно получить допуск к сдаче ЕГЭ, в том числе обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике. Да, непонятно, почему неумение или нежелание раскрывать одну из тем «итогового сочинения» лишает потенциального абитуриента права сдавать математику — при чем тут вообще математика, пусть и вместе с русским языком и другими предметами? В Законе об образовании таких ограничений предусмотрено не было, пришлось вводить их дополнительными подзаконными актами. Однако ещё более строгим ограничением был запрет на два итоговых экзамена по одному предмету. По сути же «итоговое сочинение» его инициаторами мыслилось именно как сочинение по литературе (и отчасти — по русскому языку, так как предполагало владение речью и грамотностью)! И тогда придумался довольно оригинальный, хотя и сомнительный с точки зрения Закона об образовании ход: «итоговое сочинение» объявлялось «метапредметным», но при этом «литературоцентричным».

Что это значит?

Первое — «метапредметное» — значит, что умение создавать развернутые письменные высказывания на разные темы действительно нужно далеко не только на литературе — и формируется далеко не только литературой. К тому времени сочинения были включены в состав и других ЕГЭ: по русскому языку, истории, обществознанию¹. И тут как раз понадобился опыт гимназических сочинений: такие сочинения писались в рамках предмета «Словесность», а не «Литература» (напомним, этот предмет —

¹ Впрочем, введенное в 2012 году, сочинение по истории в 2022 году было исключено из состава ЕГЭ под предлогом того, что, как объяснили в Рособрнадзоре, «задание утратило творческую составляющую и превратилось в воспроизведение по памяти заученных шаблонных сочинений с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов». (<https://ria.ru/20240111/ege-1920802974.html>) Действительной же причиной, как мне кажется, было то, что учителя-историки не были готовы учить своих подопечных создавать развернутые письменные высказывания по своему предмету на проблемную тему, а методисты — разрабатывать объективные критерии оценки подобных ответов.

советское изобретение): на «Словесности» гимназисты изучали язык в различных его модусах — и повседневно-разговорном, и официально-деловом, и научном, и художественном, учась выражать свои мысли на самые разные темы и в самых разных стилях. Да, среди этих тем попадались и те, которые мы сейчас называем «литературными», вот несколько примеров таковых: «Моё любимое чтение», «Как развивалась страсть в Плюшкине», «Богатая крестьянская усадьба в изображении Тургенева» и др.¹ Но чаще это были действительно сочинения на различные морально-этические или проблемно-социальные темы, дающие возможность гимназистам продемонстрировать и гибкость своего ума, и владение аргументацией, и богатство словаря, и грамотность.

Но самое время вернуться к упомянутой выше теме из пакета «итоговых сочинений» 2023—2024 гг. — «О силе или слабости человека, по Вашему мнению, говорит отсутствие у него чувства стыда?». Напомним, от этого сочинения зависит, будешь ли ты допущен к сдаче ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам (а значит, — к получению высшего образования). В таком случае — можно ли себе представить, что умный старшеклассник, скорее всего, повторюсь, из чувства противоречия начнет доказывать, что отсутствие стыда свидетельствует о силе человека? Он уже получил прививку школьного благоразумия: пиши не то, что ты думаешь или хочешь написать, даже если так не думаешь, пиши то, что от тебя ждут! Глупо заниматься самовыражением на экзамене, тем более — таком бессмысленном, как «итоговое сочинение». Ещё в первые годы утверждения этого сочинения авторы министерских методических рекомендаций по его написанию с некоторым возмущением рассказывали, как, раскрывая тему «Есть мечты, которые ведут по жизни, а есть — которые от нее уводят», некий юноша доказывал, что Борис Друбецкой из романа Л.Н.Толстого «Война и мир» является образцом человека, которого мечты о блистательной карьере и высоком положении ведут по жизни, тогда как безрассудно погибший Петя Ростов является образцом того, кого мечты о славе и подвиге от жизни увели! Рассуждения автора сочинения эксперты Федерального института педагогических измерений (который и придумывает нам и ОГЭ с ЕГЭ, и темы «итоговых сочинений») оценили как «этическую ошибку» и искажение авторской позиции... Л.Н.Толстого! Но, позвольте, разве «итоговое сочинение» спрашивает точку зрения Толстого, а не собственного автора?

И вот тут мы должны вернуться ко второму из определений «итогового сочинения» — оно, конечно, «метапредметное», но оно — «литературоцентричное». Что это означает, до сих пор внятно его идеологи объяснить не смогли. На стадии обсуждения его в рабочей группе ещё звучали предложения позволить школьникам писать сочинение по тем проблемам, которые их волнуют: пусть будущие экономисты пишут об этике обладания большими состояниями или перспективах криптовалют, программисты — о потенциале и опасностях искусственного интеллекта, спортсмены — о проблемах спорта высоких достижений... Однако, напомню, инициаторы «итогового сочинения» хотели «спасти» именно сочинение по литературе, а раз двух экзаменов по одному предмету быть не может, следует обязать выпускников размышлять на общеэтические темы, но — на материале литературных произведений. Идеологи сочинения были даже готовы смириться с тем, что в сочинении позволялось обращаться к произведениям за пределами обязательной школьной программы: пусть школьники продемонстрируют свой читательский кругозор. Зато в таком виде многие даже вполне профессиональные словесники итоговое сочинение приняли², хотя

¹ Темы взяты со страницы сайта Чемпионата сочинений «Своими словами», посвященной дореволюционным сочинениям <https://своимисловами.рф/ekaterina-korolyova?ysclid=ly02jvzjp1945514982>

² Приняли многие словесники, даже вполне профессиональные.

именно на их плечи легла задача и проведения, и проверки написанного: да, кто-то спишет, кто-то понапишет всякой ерунды, но ведь в навозной куче и жемчужное зерно можно обнаружить! Ведь есть те лучшие дети, которые любят читать, любят размышлять над прочитанным, задаваться непростыми вопросами! Ради них можно и пострадать, взяв на себя дополнительное бремя и подставив под удар (создав для них лишние проблемы) тех, кто читать и рассуждать в письменной форме не любит...

Надо было только понять, что значит «раскрывать тему на материале литературных произведений». Сперва из методических рекомендаций, размещаемых на сайте ФИПИ, следовало, что литературные произведения должны служить «аргументом» в рассуждениях на ту или иную тему — вот как в вышеприведенном случае с темой про мечты, которые могут «вести по жизни», а могут и «уводить от нее». Правда, вскоре выяснилось, что авторы концепции такого сочинения для самих себя не разобрались, должны ли старшеклассники «раскрывать авторскую позицию» (то есть отвечать в сочинении на вопрос «что нам хотел сказать автор?») или они вправе предлагать собственную интерпретацию прочитанного, даже если их интерпретация расходится со взглядом самого автора на то, какую мысль тот хотел донести своим творением. Если нужно первое, — то никакой разницы между «литературоцентричным» сочинением и школьным «сочинением по литературе» нет, и мы имеем дело с обычным подлогом. Если же второе, — то читательская интерпретация прочитанного никак не может служить аргументом к тезису, который имеет отношение не к самой книге, а какой-то лежащей вне ее проблеме.

Поясним на простом примере — всё из того же комплекта тем 2023—2024 года берем первое попавшееся: «Согласны ли Вы с тем, что служение любимому делу приносит счастье?» Какие варианты ответа здесь можно предложить: да, приносит; нет, не приносит; и да, и нет — приносит и счастье, и страдание. Все три тезиса я могу обосновать примером из повести Гоголя «Шинель»: Акакий Акакиевич счастлив, занимаясь любимым делом — переписыванием букв; Акакий Акакиевич несчастлив, так как одержимость любимым делом превращает его в объект насмешек и травли, а также доводит до нищеты; Акакий Акакиевич как будто бы и счастлив — но врагу не пожелаешь такого счастья... Можно ли считать аргументом такое обращение к художественному тексту, если художественный текст по определению стремится к многозначности, потенциально — допускает взаимоисключающие трактовки, иначе бы он не читался разными поколениями читателей? Для одних Акакий Акакиевич будет примером счастливого человека, для других — обделенного счастьем, из его образа никак не выводится тезис, что служение любимому делу непременно приносит человеку счастье. Выдавать же иллюстрацию своего тезиса примером из художественного произведения за аргумент — значит манипулировать аргументацией, а в случае школьника — толкать его на подлог, что ставит вопрос о воспитательном значении такого провоцирования подлога.

Пытаясь выбраться из этой ловушки, разработчики «итогового сочинения» пошли сразу двумя путями.

Один путь — более откровенный: они просто стали давать в пакетах тем сочинения чисто литературные, наплевав на «метапредметность». Вот всё из того же последнего комплекта 2023—2024 года: «Согласны ли Вы с лирическим героем М.Ю.Лермонтова, сравнившего влюблённого с нищим, просящим подавание?» Тут без анализа стихотворения Лермонтова «Нищий» непонятно, о чем и говорить.

Другой путь — более изощренный: если внимательно читать «Критерии оценивания итоговых сочинений», то в них прописано требование, обосновывая высказанный тезис, «формулировать аргументы и подкреплять их примерами из опубликованных литературных произведений». Что при этом считается «аргументом» и что означает «подкреплять», в «Критериях...» не сказано, но можно догадаться, что эксперты были бы удовлетворены, если бы автор сочинения высказал свою мысль в виде тезиса,

а затем «подкрепил» ее примером произведения, где подобная мысль звучит или хотя бы из которого эту мысль можно вывести. Понятно, что «аргументацией» это считать нельзя (как нельзя считать аргументом запрещать детям курить, потому что, мол, Евгений Онегин не курит), но хотя бы понятно, как можно, извините, отбрехаться от «итогового сочинения»: в интернете давно уже на каждую из тем вывешены списки тех произведений, которые могут быть в таком случае в буквальном смысле использованы. Впрочем, как показали наши эксперименты, впоследствии повторенные журналистами газеты «Аргументы и факты»¹, ещё лучше с задачей написания итогового сочинения справляется Chat GPT. По крайней мере, за секунды он способен сгенерировать текст на любую из типичных для «итогового сочинения» тем. А поскольку пишутся эти сочинения в куда более «либеральных» условиях, чем задания ЕГЭ с их раздвиганиями при просмотре и наблюдателями в туалетах, да и учителя, которые их проводят, вовсе не заинтересованы в неуспехе своих подопечных, какой бы то ни было смысл эти самые «итоговые сочинения» потеряли. Ежегодно в первую среду декабря (и повторно — для несдавших — в феврале и мае) десятки тысяч школьников скачивают из интернета, перебирают со шпаргалок или, в последнее время, генерируют при помощи Chat GPT десятки тысяч обезличенных текстов, которые ничего не говорят ни об их начитанности, ни о владении письменной речью — разве что о владении современными технологиями и благоприобретенном цинизме.

Эти тексты читают почти всегда только изнуренные учителя-словесники, как правило, бесплатно, в рамках своих должностных обязанностей привлекаемые к проверке сочинений, но авторы текстов — даже те, кто честно поддался искушению вдохновения и написал что-то своё, узнают только одно — «зачёт» или «незачёт» они получили: никакой обратной связи, рецензии, хотя бы конструктивного замечания или одобрения к написанному... Что может быть бессмысленнее написания текста, который прямиком отправится в отвал, в глухой архив, никому не адресованный, отнявший некоторое количество нервов и 4 часа времени драгоценной молодой жизни! Каково воспитательное значение такой работы? Что она позволяет хорошего узнать о её авторе? Есть ли ей хоть какая-то альтернатива?

Одним из предложений той самой рабочей группы при МинОбе, которая разрабатывала модель «итогового сочинения», было разрешить вузам перепроверять сочинения, с тем чтобы давать за них дополнительные (к результатам ЕГЭ) баллы абитуриентам при поступлении... Логика такая: принимающие абитуриентов по результатам ЕГЭ или профильных олимпиад вузы не видят, с кем они имеют дело, видят лишь бездушные цифры, в лучшем случае — какие-то достижения из портфолио поступающего (победы в конкурсах, ГТО и т.п.). Перепроверка сочинений хотя бы даст возможность увидеть, как будущий студент пишет, размышляет... Первоначально в эксперименте приняло участие около 200 вузов, но вскоре практически все они от перепроверки отказались либо, чтобы не портить отношения с МинОбром, перепроверку симулировали: какой смысл давать дополнительные баллы за умение списывать или генерировать пустые тексты, в лучшем случае — создавать их по мертвящему шаблону? И какова польза от умения имитировать создание таких текстов будущим инженерам, врачам, учителям? К тому же организация перепроверки — довольно накладное дело, а государство не собиралось давать вузам на неё деньги.

Если бы абитуриенты хотя бы рассуждали в своих сочинениях не на морально-этические темы, а на темы, близкие к выбранной ими специальности! Неудивительно, что в итоге потерявшие всякий интерес к подобному формату письменных работ вузы задумались о форматах альтернативных. Началось всё с партнерства двух столичных

¹ Герасимова Юлия. Сервис решает, Вася сдаёт: Учителя оценили написанное нейросетью сочинение // Аргументы и факты. 2022. 18 декабря.

вузов: университета НИУ ВШЭ, который в течение пяти лет перепроверял «итоговые сочинения», начисляя за них сперва до 10 баллов, потом снизив балл до 5, и Московского городского университета, МГПУ, чья Лаборатория социокультурных образовательных практик разработала исходную модель «Олимпиады сочинений». Высшая Школа Экономики, ищущая новых форматов, эту модель взяла за рабочую, была создана специальная Проектная лаборатория развития интеллектуальных состязаний в гуманитарных науках, основным составом которой стали студенты Вышки, которые по разработанной их старшими наставниками модели должны были создавать пакеты заданий. И вскоре появился новый бренд: «Всероссийский чемпионат сочинений “Своими словами”», которому его разработчики дали шутовское неофициальное название «Сочинение по физкультуре». В первый же год желающих принять в нём участие оказалось более 7 тысяч (в иные годы оно доходило и до 30 тысяч): такое количество сочинений проверить организаторам было не под силу, требовалось отобрать оптимальное количество, для чего был разработан специальный медиатест — текст на функциональную грамотность, проверяющий не орфографию и пунктуацию потенциальных участников, но их умение читать тексты, картинки и медиатексты (да-да, с точки зрения семиотики любая знаковая система, в том числе графический мем или мульт, является текстом!), критически воспринимать содержащуюся в нём информацию, видеть свои и чужие когнитивные искажения, позицию автора этого текста и то, чего он хочет добиться от адресата.

Тест размещался на специальной платформе и был доступен онлайн для всех зарегистрировавшихся, даже для тех, кому просто было любопытно! Но успешно проходили его не все: автоматическая компьютерная проверка, определяя лучших, сокращала количество участников до 3—4 тысяч, — и вот им-то и предстояло написать сочинение. Точнее, «сочинение», потому что со школьным жанром оно имеет не так уж и много общего.

Во-первых, это сочинение не по литературе, а по одному из 15 направлений: от медиа и педагогики — до IT, инженерии и спорта. Во-вторых, у него нет темы — есть некая ситуация, в которой автор оказывается, когда ему надо создать развернутый текст, а содержание этого текста, его тема и даже жанр определяются им самим, исходя из потребностей ситуации, цели — и особенностей адресата. Например, представь: в твоём родном городе проводится большой фестиваль, посвященный выбранному тобою направлению (скажем, физике), и к тебе обратились с просьбой написать концепцию молодежной программы этого фестиваля и адресовать её оргкомитету. Или подготовить как будто бы просветительскую лекцию для депутатского корпуса городской думы — но так, чтобы каждый из твоих слушателей не только узнал что-то новое по профилю лекции (можно всё той же физики, а можно — и литературы или спорта), но и мог придумать, как эти знания использовать в его профессиональной деятельности — человека, заботящегося на своём месте о благе города. Писать сочинение надо было уже оффлайн — приехав на площадку одного из трех десятков вузов-партнеров Чемпионата: от Калининграда до Дальнего Востока и от Мурманска до Краснодара; лишь ребята из отдаленных районов имели возможность дистантного написания под контролем прокторов. В результате участники есть практически из всех субъектов федерации и из ближнего зарубежья.

Победители и призеры — авторы лучших сочинений — получают дополнительные к ЕГЭ баллы, множество призов от партнеров и спонсоров Чемпионата, а также бесценный опыт написания сочинения на действительно интересующую тему, действительно своими словами — и обратную связь, не всегда лестную, подчас даже горькую, но все равно полезную для того, кто готов двигаться дальше. Для лучших из лучших НИУ ВШЭ организует еще и Суперфинал: три с половиной сотни абсолютных победителей выезжают в пансионат и там под руководством тьюторов и гостей «из отрасли» получают опыт работы над командным проектом, а затем пишут ещё

одно сочинение — на этот раз в жанре рефлексии, чтобы осмыслить полученный опыт, собственные достижения и промахи. Здесь тоже важна необычность формата: например, в один из сезонов ребята писали текст своего выступления на педсовете собственной школы, объясняя строгому педколлективу, почему имело смысл отпустить их для участия в Чемпионате сочинений (а может быть, и не имело — анализ негативного опыта тоже приветствовался, лишь бы он был аргументированным). На Суперфинале тоже есть свои победители: одни получают еще больше дополнительных баллов и бонусов, а первые тридцать из них, если недобирают балла для поступления в Вышку (напомню, суперфинал проводит НИУ ВШЭ, но подключиться к нему и предложить свои поощрения победителям вправе любой вуз-партнер), то учатся на выбранной программе за счет бюджета Университета!

Понятно, что самая большая проблема для таких сочинений — их объективная оценка: слишком велика цена, которая к тому же способна отравить радость участия и вдохновения. Тем более это в сочинениях ЕГЭ требования максимально формализованы — и за каждое нарушение снимаются баллы. В результате работы получаются в значительной степени унифицированными, шаблонными: такова цена объективности. Но в мире научной или художественной экспертизы, в мире бизнеса и даже некоторых спортивных дисциплин любая объективность ограничена тем, что на оценку представляется порой принципиально новый материал (будь то научное открытие, бизнес-план или произведение искусства). Нередки случаи, когда одни члены экспертного сообщества с восторгом принимают то, что другими категорически отвергается — и никакой «средний балл» здесь невозможен, в противном случае множество бизнес-идей, научных прорывов или произведений искусства были бы похоронены. Сочинения проверяют два независимых эксперта, в идеале один из них — филолог, другой — специалист в конкретном направлении, однако если их оценка радикально расходится, возможна и третья, и четвертая проверка — итоговый балл выставляется не по средней арифметической, а по медиане. Как оно, собственно, и бывает в жизни — когда ты подаешь заявку на работу или на грант: иногда готовность рискнуть одного из экспертов и поддержать тебя оказывается ошибкой, но бывают и настоящие удачи, которые, впрочем, вряд ли возникают на пустом месте. Непростая задача и поиск экспертов, готовых гибко подходить к сочинениям: не придирайтесь к орфографии (если она не мешает пониманию), оценивая прежде всего то, насколько автором решена коммуникативная задача, продемонстрирована компетенция в заявленной области, а сама работа отличается яркостью и убедительностью. Для проверки привлекаются главным образом сотрудники вузов-партнёров и сильных школ: как филологи, так и предметники, готовые оценивать сочинения по своему профилю. Конечно, для таких экспертов предварительно организуется учеба: они не только проверяют работы прошлых лет, но и сами пробуют писать их, а потом разбирают получившееся: это дает им возможность посмотреть на ситуацию изнутри, глазами участников Чемпионата, а не только их судей.

Третье принципиальное отличие от всех других сочинений: каждый из экспертов оставляет свою рецензию, хотя бы несколько слов. Эта обратная связь в некотором смысле даже важнее, чем сам балл, ведь написанное тобою — кем-то прочитано, критически осмыслено, ты знаешь не одну бездушную цифру балла, но — мнение эксперта. Неслучайно в министерском реестре Чемпионат сочинений «Своими словами» проходит под рубрикой «Научная коммуникация»: сегодня мало затевать стартапы или заниматься наукой, важно уметь рассказывать о том, чем ты занимаешься. Потенциальным спонсорам. Потенциальным партнёрам. Наконец, потенциальным клиентам. И всякий раз это должен быть другой рассказ, учитывающий и глубину компетенции адресата, и его собственные интересы.

Ученые-астрофизики РАН — ключевого партнёра Чемпионата «Своими словами» — рассказали его организаторам историю: они прилетели в США, чтобы

принять участие в записи просветительского фильма НАСА. Волнуясь за чистоту своего английского и умение быть внятным для неподготовленной аудитории, они ждали начала съёмочного дня, как вдруг к ним вошли двое довольно молодых людей в хороших костюмах и представились: «Здравствуйте, мы — science writers, Вы нам сейчас расскажете, что Вы хотели рассказать для фильма, а мы поможем Вам написать текст для него». Собственно, в значительной степени успех НАСА — в этом умении говорить с разными аудиториями: и теми, кто смотрит великолепные фильмы о космосе и потом донатит проекты компании, и теми, кто сам потом приходит в лаборатории НАСА, и теми, кто становится уже серьезными спонсорами или партнерами компании. Может быть, этот подход покажется слишком прагматичным, но в действительности он всего лишь гуманистичен: в эту сторону меняется образование всего мира. Самые формальные и скучные виды работ (вроде того же «итогового сочинения») берёт на себя искусственный интеллект, человек же оставляет за собой те сферы, где мало рутин, но в полной мере востребована его индивидуальность, креативность, способность к нестандартным ходам и решениям.

Приложение

Вот пример одного из сочинений Чемпионата «Своими словами»¹. Конечно, приведенный ниже текст мало похож на привычные школьные сочинения: а где здесь опора на произведения классики и их анализ? Где почти обязательное морализаторство? Но хочется обратить внимание на другое: этот текст написал автор, который, по-видимому, выбрал именно спорт как сферу своих будущих занятий во взрослой жизни. И он готов не только посвящать себя многочасовым тренировкам или изучать основы спортивной медицины, но и рассказывать о том, что входит в число его главных жизненных приоритетов. Наверное, для такого рассказа нужен иной язык, чем тот, на котором рассуждают о «лишнем человеке» или «жанровых признаках поэмы», как нужен и другой опыт. Но вот желание поделиться важным для тебя — с другим объединяет по-настоящему увлеченного любимым делом физика и лирика, спортсмена и ботаника. Думается, это умение — делиться важным, своими словами с самыми разными аудиториями говорить о том, что тебе близко, а не воспроизводить готовые шаблоны или пересказывать учебник — одно из главных в XXI веке.

Текст задания

Готовится контакт с внеземной цивилизацией. Для него снимается документальный 5D сериал, рассказывающий о различных сторонах жизни земной цивилизации. Вам досталась серия, повествующая о современном спорте. Напишите *логлайн* и *синопсис* этой серии, отобрав для него самое важное, что бы Вы хотели сообщить инопланетянам. Отдельно оговорите изобразительный ряд ролика, с учетом того, что инопланетяне вряд ли владеют земными языками.

Логлайн — это основная идея серии, сформулированная в одном-двух предложениях. Это то послание, которое создатели фильма стремятся донести до зрителя.

Синопсис — краткое линейное изложение концепции сценария фильма, его содержания, сути драматического конфликта или основного противоречия, определяющего развитие действия.

¹ Больше примеров сочинений можно найти по ссылке: <https://своимисловами.рф/sobranie-sochinenij>

Алёна Орлова, 11 класс

Направление: спорт

Земляне о внеземном: спорт за пределами наших возможностей

Логлайн

«Спорт за пределами наших возможностей» — это одна серия документального 5D сериала «Земляне о внеземном», в которой повествуется о спортивной составляющей жизни на планете Земля. Главный герой серии — мальчик, который проходит путь становления от ребёнка до профессионального спортсмена, на его примере мы показываем разнообразие современного спорта, его техническую составляющую. Мы знаем, что нашим зрителям трудно воспринимать земной язык, поэтому мы наполнили серию эмоциональной составляющей, которая наиболее полно отражает спортивную жизнь (вы не увидите синхронных записанных заранее, основная часть серии — лайфы, передающие эмоции в реальном времени).

Синopsis

Россия, XXI век.

Главному герою исполняется пять лет, по телевизору показывают Олимпийские игры, задувая свечи, он загадывает желание — выступить на олимпиаде (в голове мальчика всплывает картинка, на которой он стоит на пьедестале с золотой олимпийской медалью — видеовставка в основной сюжет). Мальчика отдают на секцию по спортивной гимнастике, потом по волейболу, футболу, лыжам. Он пробует заниматься, но ему не нравится (в голове постоянно возникают картинки с олимпийских игр, мальчик понимает, что они не совпадают с реальностью. Это изображается как всплывающие воспоминания на протяжении всего времени).

Герою исполняется 7 лет. Следующий вид спорта — хоккей. Он приходит на первую тренировку, где встречает профессионального хоккеиста, которого видел на экране телевизора два года назад (вставки с фрагментом телевизионного эфира, где награждают этого хоккеиста). Спортсмен рассказывает ребятам о своем долгом пути к олимпийской награде. У мальчика загораются глаза, он понимает, что готов заниматься хоккеем. Проходит два года усердных тренировок, он приезжает на первые соревнования (вставка — визуальный ряд с воспоминаниями о проделанной работе, затем — переживания «а вдруг все было зря, вдруг не мое»). Первая забитая шайба (сопровождается смехом, счастьем, улыбками), первое поражение (слезы, грусть, страх перед будущим). На тренировках и соревнованиях проходит ещё два года, все это время мальчик сталкивается с незначительными травмами.

Герою одиннадцать лет. Происходит то, чего все так боялись. Он неудачно падает, травма (вставка — показываем больницы и реабилитационные центры для спортсменов). В больнице ему ставят неутешительный диагноз — отрыв мышцы, нужна операция, полгода без спорта (вставка — герой видит себя на больничной койке, все его друзья едут на крупные соревнования, а по возвращении его перестают брать на игры, спорт для него закончен). В больнице герой проводит месяц, он постоянно думает о том, чему не суждено сбыться, — Олимпийские игры (вставка — мысли о прошлом и будущем). Он смотрит телевизор, там показывают документальный фильм о том хоккеисте, которого мальчик встретил на первой тренировке (вставка — воспоминания). В нем рассказывают его историю, восстановление после травмы и олимпийский успех. Герой понимает, что и он может вернуться в спорт (вставка — мысли о его участии в Олимпиаде). Мальчику не хватает спорта, эмоций, и он учится играть в шахматы (вставка — игра в хоккей и игра в шахматы, похожие эмоции).

Проходит шесть месяцев, герой возвращается к тренировкам, постепенно набирает форму, начинает участвовать в соревнованиях, но и не забывает о шахматах (вставка — мальчик после тренировки берет шахматную доску и тренируется). Мальчик начинает участвовать в соревнованиях по шахматам (вставка — мальчик отдыхает от хоккея, играя в шахматы, показываем эмоции, мысли).

Герою исполняется 14. Он задувает свечи и опять загадывает принять участие в Олимпиаде. Команда мальчика едет на всероссийские соревнования (вставка — карта страны, стрелкой показывается перемещение команды в столицу), победа в которых обеспечивает участие на международных стартах. Победа. Команду ждут упорные тренировки. Герой тренируется в два раза больше (вставка — клубок беспорядочных мыслей в голове), забывает о шахматах. Из-за этого эмоционально выгорает (вставка — голова пустая, без мыслей).

В рамках подготовки к соревнованиям команд отправляется во всероссийский образовательный центр «Сириус» (вставка — виртуальная экскурсия по центру, показываем возможности, количество людей, современные ледовые арены и тренажерные залы). Там герой знакомится с шахматистами, которые также тренируются перед международными соревнованиями. Он играет с ними в шахматы, это помогает ему отвлечься от хоккея (вставка — воспоминания о том, как он начинал играть), возвращает веру в главную цель (вставка — в голове переплетаются мысли о хоккее и шахматах, появляются эмоции). Герой понимает, что спорт — это не только про награды, но и духовную близость людей (вставка — люди, занимающиеся различным видами спорта, обнимаются). Месяц пролетает быстро, мальчик каждый день тренируется, посещает хоккейную арену, на которой проводились олимпийские матчи. В день отъезда команде дарят картину (ее нарисовали художники, которые так же проходили программу в «Сириусе»). На ней изображен хоккеист с орлиными крыльями (вставка — герой представляет, что у него выросли крылья). Позже он читает рассказ, который написали стажеры программы Литературного творчества в «Сириусе» (вставка — он понимает, что спорт вдохновляет не только его, но и окружающих, это правда окрыляет его).

Герой приезжает на международные старты (вставка — карта мира, стрелкой показывается перемещение команды в другую страну). Там они занимают призовое место (вставка — радость, счастье, благодарность за игру в шахматы).

Проходит три года, судьба героя складывается удачно. Команда собирает много наград. В 17 лет он заканчивает школу и переезжает в столицу (вставка — карта с перемещением; вставка — показываем возможности, которые предоставляет столица для занятий спортом). Там он выступает за один из лучших клубов, в 19 лет попадает в сборную команду страны, участвует в Чемпионате мира (вставка — карта с перемещениями в разные страны). Все это время он не забрасывает шахматы, участвует в любительских соревнованиях.

Герою 20 лет, следующий год для него особенно важный — Олимпийские игры (вставка — мысли в голове только об Олимпиаде, они буквально светятся золотом). Происходит то, что никто не ждал, — после очередных соревнований приходит положительный допинг-тест (вставка — мысли о прошлом, анализ случившегося, осознание, что вины нет). Команде не удается доказать невиновность спортсмена, он отстранён на 2 года (вставка — клубок мыслей в голове постепенно исчезает, остается пустота). Герой теряет цель в жизни, он пропускает Олимпиаду. В этой ситуации его спасает спорт — он продолжает играть в шахматы (вставка — воспоминания о том, что шахматы не раз возвращали веру в цель), ходить в спортивный зал, самостоятельно занимается хоккеем.

Проходит два года, герой возвращается в большой спорт. Только наступил новый олимпийский цикл (вставка — календарь с выделенными годами Олимпийских игр). Усердные тренировки. Герою исполняется 25 лет. Он загадывает все то же желание —

принять участие в Олимпийских играх (вставка — воспоминания о дне, когда ему исполнилось 5 лет). Февраль, сборная команда едет на Олимпиаду (карта с перемещениями). Герой переживает, думает о том, что будет после Олимпийских игр (вставка — беспорядочные мысли о прошлом, настоящем и будущем). Олимпийские игры (вставка — открытие игр, стадионы, ледовая арена, количество участников, зрителей, телезрителей). Команда героя занимает второе место, проигрывая в финале. Он одновременно и расстроен, и рад тому, что медаль все-таки есть (вставка — мысли в голове окрашиваются в серебряный цвет).

Проходит два месяца, цель у героя — олимпийское золото (вставка — мысли о золотой медали). В тренировках проходит ещё два года, герой выиграл почти все возможные соревнования с клубом и сборной, но ему этого недостаточно (вставка — мысли в голове в иерархичном порядке — внизу все выигранные награды, сверху золотая олимпийская медаль).

Происходит то, чего никто не ждал — герой попадает в аварию. Его привозят в больницу, где ставят диагноз — он никогда не сможет вернуться в большой спорт и навсегда останется инвалидом (вставка — мысли в голове превращаются в кусок льда и разбиваются). Опять месяцы в больнице, опять реабилитация и опять герой смотрит спорт по телевизору, играет в шахматы. К нему приходит тренер и говорит о том, что герой может стать паралимпийцем (вставка — видеоряд про параолимпийские виды спорта). Герой понимает, что только так он сможет осуществить мечту об олимпийском золоте (вставка — разбитые мысли склеиваются, золотая олимпийская медаль превращается в паралимпийскую). Герой проходит полный курс реабилитации, учится играть в следжхоккей, принимает участие в Паралимпиаде, где забирает золотую медаль (вставка — паралимпийская медаль в мыслях героя начинает светиться золотым, пазл собран).

После Паралимпиады герой заканчивает спортивную карьеру, но остается в спорте, продолжает играть в шахматы, становится тренером (вставка — воспоминания о картине хоккеиста-орла и рассказ; герой часто показывает их своим подопечным), и пишет автобиографию, в которой рассказывает о том, как спорт возвращал его к полноценной жизни в самые непростые моменты (вставка — черно-белые картинки воспоминаний, которые приобретают цвет в переломные моменты).

* В этой серии мы хотели показать то, что спорт — это часть жизни, что он помогает обрести цель, мечту и не потерять в нее веру, а также то, что спорт объединяет людей на нашей планете. А основной посыл в том, что спортивную жизнь нельзя рассказать на словах, ее надо показывать, чувствовать, переживать вместе с героями (а это возможно, не зная земного языка).

** Часть сюжета основана на реальных событиях, поэтому мы постарались передать настоящие эмоции.

Об истории идей и устройстве человеческих типов

*Ольга Балла и Юлия Рахаева размышляют о книге
Александра Чанцева «Бунт красоты: эстетика Юкио Мисимы
и Эдуарда Лимонова»¹*

Юлия Рахаева

Два пылающих сосуда

«24 февраля руководство ЛДП явилось ко мне на Герцена. Первым приехал Андрей Архипов, привез шубу, колбасу, водку, даже вилки и даже домашние тапочки, которые тотчас надел. Пока он раздевался в коридоре, я рассмотрел его. Под меховой шапкой — костистое лицо, глубоко под бровями — вполне восточные глаза. Длинное пальто из ткани букле, с поясом. Худ, спортивен, гимнаст, велосипедист (позднее я жил у него десяток дней). Велосипед занимает Центральное место: висит на окне), холостяк, инженер. Всегда такое впечатление, что он бежит в ровном галопе, даже если идет. До ЛДП последним местом работы Архипова была газета “Аргументы и Факты”.

Инициатором встречи были они: Архипов, а может быть, и Владимир Вольфович. Архипов предложил “поговорить”. Я согласился. Я не соврал журналистке Юле Рахаевой из “Московского комсомольца”: да, я искал банду. Но совсем без спешки и без нервозности. Пока я уже предложил свои услуги Алкснису и Бабурину и на завтра вылетал по их просьбе в Красноярск. Так что одна банда у меня уже была.

(Лимонов против Жириновского. — М.: Независимый альманах «Конец века», книжное приложение, 1994.)

Когда я пришла на интервью (судя по надписи на книге «Это я — Эдичка» — «Юлии от скандального автора. Спасибо за интервью», дальше автограф латиницей и число, — это произошло 7 февраля 1992 года), в этой самой квартире на Герцена, которую снимал для Лимонова его первый российский издатель Александр Шаталов, тоже находились двое молодых людей. Я их не видела ни до, ни после. Запомнились мне они тем, что были очень хорошо одеты, чисто выбриты и промыты. То есть выглядели такими западными персонажами в довольно пестрой и бедно одетой тогда Москве. Я мысленно пошутила: ксендзы охмуряют Козлевича.

К тому времени я, конечно же, прочитала самую известную книгу Лимонова (а, возможно, даже и всю трилогию). Я дружила с Александром Шаталовым.

Александр Чанцев. Бунт красоты: эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.; СПб.: Т8 Издательские Технологии / Пальмира, 2024. — 326 с. — (Литература и искусство).

Именно он дал мне все эти книги и предложил сделать интервью с писателем, который тогда уже был в большой моде. Он сам договорился о времени, и вот я ждала, когда мой будущий собеседник проведит предыдущих гостей и мы сможем, наконец, поговорить под диктофон.

По контрасту с образами Эдички и Эди-бэби Лимонов в жизни оказался настоящим джентльменом. Он извинился за то, что мне пришлось ждать, и вообще был безукоризненно вежлив, предупредителен, интеллигентен. Интервью прошло как по маслу. И под заголовком «Я ищу банду, к которой мог бы примкнуть» вышло в «Московском комсомольце» 20 февраля 1992 года.

А я продолжила читать выходявшие одна за другой книги Лимонова. Переживала, когда его посадили. Зауважала незнакомого мне тогда Сергея Шаргунова, отдавшего узнику свою премию. Когда Лимонов вышел на свободу, я работала редактором на телевизионной передаче «Синий троллейбус». И мы пригласили Эдуарда Вениаминовича в качестве гостя. Но буквально накануне прямого эфира откуда-то сверху пришел запрет на Лимонова, пришлось срочно кого-то искать на замену, но это уже другая история.

В общем, я всё это к тому, что личность и творчество этого писателя и человека были мне по-прежнему интересны. Но почему-то книга Александра Чанцева, вышедшая в 2009 году, прошла мимо. Однако мне был дан ещё один шанс с ней познакомиться, и я его не упустила.

Между первым изданием книги Александра Чанцева «Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова» и нынешним вторым, исправленным и дополненным, прошло пятнадцать лет. Тут можно было бы порассуждать, как сильно за это время изменилась жизнь вообще и наша в частности, — да мало ли о чем ещё! Однако за время, прошедшее с момента выхода первого издания, произошло и нечто такое, что принципиально изменило в книге Чанцева решительно всё.

В 2009 году один из двух главных героев книги был жив. Больше того, и об этом пишет автор в предисловии ко второму изданию, Лимонов буквально в первый день продаж купил эту книгу в «Фаланстере», а затем и отрецензировал её в «Живом журнале», ревниво попеняв автору, посмевавшему его с кем-то (пусть и с самим Мисимой!) сравнить. И то верно, ведь сказал же поэт: «Не сравнивай: живущий несравним». Тем более несравним с давно не живущим...

Но потом Лимонов умер. И книга сразу стала совсем другой, оставшись по сути той же самой. Помните, у ещё одного поэта: «Ляжем — сравниваемся»? Теперь уже оба героя книги Александра Чанцева легли и, таким образом, сравнялись. Стали равноудаленными от нас — не по времени, так по месту (по ту сторону Стикса) — объектами для препарирования.

Все знают знаменитую цитату из Заболоцкого про красоту. Ну в смысле, сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? То есть поэт рассматривал красоту как нечто несамостоятельное, а если самостоятельное, то неполноценное. Ему, как и многим, было куда важнее содержимое этого сосуда. Для обоих героев книги Александра Чанцева вопрос так не стоит. И для Мисимы, и для Лимонова красота — абсолютная, самодостаточная ценность. Для обоих эстетика однозначно превышает этики. Правда, в разной степени. И вот об этом — о степени, а также о пределе допустимого для красоты, о попытках преодолеть мешающее человеческое у своих героев — книга «Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова».

Сразу скажу: мне показалось, что у япониста Чанцева, возможно, и против его воли, более симпатичным получился образ нашего соотечественника Лимонова. Который не сумел, а может, и не захотел пойти до конца, убить в себе во имя красоты все слишком человеческое. Мисима — смог. И на этом не остановился. Во имя красоты он в конце концов сделал то, что неоднократно делали герои его литературных произведений. Совершил сэппуку (хотя до книги Александра Чанцева я была уверена, что это действие называется харакири).

Главным различием Мисимы и Лимонова Чанцев называет уровень мизантропизма. Тотальный у Мисимы — он «пытается построить свою метафизику на одной эстетике, лишь минимально, да и то безуспешно привлекая этическое основание. Эстетически красивый бунт Мисиме был нужен лишь для оправдания, мотивации

прекрасной смерти». И менее радикальный у Лимонова, который «пишет об эстетике, красоте бунта, но она не является для него самоцелью. По сути, перед нами вульгарное переложение идей уже анархо-коммунизма (отменить деньги, всем дать равное), в коммунизме же очевидна христианская составляющая».

Далее автор «Бунта красоты» пишет об отношении своих героев к войне. Оба, говоря современным языком, завоинисты. Но Мисима просто любит красоту войны, тогда как Лимонов находит ей тактическое оправдание: «Вовремя начатая война сберегает жизни». И к личностным противоречиям героев автор книги в этом случае добавляет противоречия ментальные. Персоналистский, антропоцентричный подход, утверждает он, свойственен именно европейскому менталитету. В отличие от менталитета восточного... В конечном итоге эстетические поиски привели Мисиму к «желанию слиться с некой абстрактной, надмирной, трансцендентной красотой». А Лимонова — «к любви к конкретному народу, слиянию с ним».

Можно, считает Александр Чанцев, «со всей справедливостью говорить о формальном заимствовании Лимоновым темы смерти у Мисимы и перенесении её в структуру собственной эстетики». Но Лимонов, по его словам, «в значительной мере отстает от канона Мисимы, в котором только смерть была по большей части самоценна». Для него смерть «не является красотой самоценной, как у Мисимы, а служит красивым завершением красивой жизни, красивой точкой в финале самосочиненного существования».

Более человеколюбив Лимонов, в отличие от Мисимы, и по отношению к старости. Для Мисимы всё просто: надо «убить красивого человека, пока он молод». Лимонов же, замечающий, что «старость явление неприятное, некрасивое», всё же местами не чужд жалости к старикам, особенно тем, которым выпало жить в перестроечные времена. Возможно, поэтому он дожил до достаточно преклонных лет, родив уже на закате двух своих единственных детей. В отличие от Мисимы, который, в точности следуя известной формуле, жил быстро, умер молодым и оставил красивый труп.

Ещё одно важное отличие, обнаруженное Александром Чанцевым. У Мисимы жителям идеальной страны будущего запрещено читать и учиться. Лимонов же выступает за образование, но иное, не такое, как репрессивная (по его мнению) школа советского образца. «Детей, — уверен он, — будет содержать и воспитывать община. <...> Образование станет коротким и будет иным. Мальчиков и девочек будут учить стрелять из гранатометов, прыгать с вертолетов, осаждать деревни и города, освежывать овец и свиней, готовить вкусную жирную пищу и (внимание! — Ю.Р.) писать стихи».

В своем «Заключении» Александр Чанцев пишет о том, что, при многих различиях, делает его героев тем не менее во многом похожими. Мисима — западник по воспитанию, который мечтает не просто вернуться к корням, стать плотью от плоти японской традиции, но и возглавить антиглобалистское (как бы мы теперь сказали) течение в стране. Лимонов — многолетний эмигрант, вернувшийся в страну, которую фактически забыл, сразу стал искать тех, с кем можно было бы побужить. То есть их сближает ещё и то, что оба они по сути маргиналы, точнее, «люди со стороны».

Александр Чанцев называет в своей книге имена писателей, которые наследуют Лимонову, а через него (или непосредственно) Мисиме. Но перечислять их нет смысла, ибо время подбрасывает всё новые и новые примеры, а старые вдруг трансформирует, порой до неузнаваемости.

Несмотря ни на что, книга «Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова» своей актуальности за минувшие пятнадцать лет не потеряла. А чтобы её ещё больше актуализировать, автор добавил в качестве бонус-треков несколько своих статей на близкие к ней темы. Одним из таких бонусов стал некролог на смерть Лимонова. Закончу цитатой оттуда: «Желчный старик — что может быть отвратительнее? Но кто может быть талантливее Лимонова?»

Ольга Балла

Да, ЖИЗНЬ?

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что Чанцева-теоретика мы, его внимательные читатели, почти не знаем. Вернее, мы не видели его очень давно — с момента первого издания ныне представляемой книги, вышедшего пятнадцать труднообразимых лет назад, в 2009-м. Есть повод перечитать, заново продумать и то, что в ней сказано, и явленный нам здесь облик многоликого автора, — тем более, что с выхода в свет первого издания прошло уже исторически значимое количество времени. Изменилось всё, от исторических обстоятельств и создаваемой ими атмосферы до биографической ситуации персонажей «русской» части книги, включая её главного русского героя, который первое издание читал, а ко времени появления второго уже умер и по завершении его жизненного проекта оказался стремительно причисленным к лику классиков. Кстати, среди дополнений, вошедших во второе издание книги, расширяющих её внутреннее пространство и добавляющих представленному в ней взгляду объёмности, есть и написанный в 2020-м некролог Лимонову — столь же личный и пристрастный, сколь и взвешенный. Чанцев умудряется думать как исследователь даже и в этом жанре.

Словом — выросла дистанция, счастливо избавляющая книгу от статуса актуального высказывания. С самого начала позиционированная как исследование, книга и не намеревалась быть публицистическим суждением ни в одной из своих частей, но полтора десятилетия назад соблазн прочитать её в качестве такового оказывался (почти) непреодолимым, о чём читатель имеет возможность кое-что узнать из авторского предисловия ко второму изданию. «Когда я предлагал, — рассказывает Чанцев, — её рукопись различным издательствам, список отказавшихся печатать был весьма внушителен, в два десятка примерно: Эдуард Лимонов относительно недавно вышел из тюрьмы, был политически активен и, как бы сейчас сказали, весьма “токсичен”».

Тогда, в сердцевине нулевых, был ещё всюю активен не только Лимонов, но и его молодые последователи, которым посвящена последняя глава книги, «Без знамени», и среди которых сегодняшний читатель с изумлением увидит, например, и Дмитрия Быкова¹ в его не менее изумляющем тесном соседстве с, допустим, Сергеем Шаргуновым. Теперь все они в их тогдашнем виде, включая ныне живущих, — достояние истории. Прежняя цельность распалась. Обо всём этом уже можно и нужно говорить беспристрастно.

Пора, значит, книгу перечитать — а заодно и продумать, как осуществлённая в ней профессиональная позиция автора соотносится со всеми остальными — прозаика, эссеиста, литературного критика... — можно ли проследить в основе всех его интеллектуальных практик общие принципы и проблемы. (Спойлер: а как же!)

Тут сразу надо сказать, что в качестве аналитика и теоретика Чанцев ясен до прозрачности. Видя свой предмет со всей возможной отчётливостью, он несколько не склонен нагружать (тем более перегружать) свой текст теоретическим инструментарием, специальной терминологией; всё необходимое он умеет сказать помимо сложных конструкций; он не возводит барьер между собой, носителем

¹ Минюст РФ считает Д.Быкова иноагентом. Чанцев же упоминает его в этом контексте следующим образом: «В самом масштабном и итоговом на сегодняшний день романе Д.Быкова* “ЖД” (2006) идеология России недалёкого будущего весьма напоминает футуристические построения Мисимы и Лимонова вместе взятые», оговаривая при том, что «безусловно, Быков* совсем не симпатизирует описываемому и, скорее, пытается утвердить некие другие ценности апофатически».

профессионального знания, и кругом своих коллег — и читателями-неспециалистами, к которым он обращается в равной степени.

Тем более что, формально будучи исследованием в области истории идей, ценностей, моделей поведения, книга его на самом деле — акт философствования на темы, касающиеся решительно каждого: об отношениях человека с красотой, смертью и жизнью, с самим собой. Просто, для пущей убедительности и основательности, для пущей *видимости*, эти темы рассматриваются автором на конкретных, единичных примерах — для среднестатистического читателя вполне экзотичных, способных выглядеть скорее уж исключениями из общего порядка человеческих обыкновений. Чанцев же выявляет обоснованность казусов Мисимы и Лимонова, их, в конечном счёте, со всеми оговорками, укоренённость в их национальных культурных историях. Да, показывает он, это случаи действительно исключительные, находящиеся куда скорее на периферии культурного пространства и вряд ли, вопреки всем стремлениям, имеющие надежду занять когда-либо место в его центре, — что нисколько не отменяет их вписанности в общую логику своих культур. Герои Чанцева заостряют, помещают в фокус внимания — литературного, биографического — то, что в культуре уже так или иначе содержится, что каждый из них застал готовым (как, например, Мисима — кодекс самурайской этики) и использовал в своих целях.

Книга издана в серии «Литература и искусство», что формально совершенно правильно. Тем не менее важно и вот что: да, оба героя книги, несомненно, были активно практикующими литераторами, значимыми и влиятельными, особенно Мисима, который даже выдвигался на Нобелевскую премию (и не прошёл, поскольку Нобелевский комитет совершенно справедливо не усмотрел в его текстах внятных и приятных западному глазу гуманистических тенденций), — но — и это вот Чанцев ясно показывает — литература была лишь частью жизненного проекта каждого из них. Частью действенной, неотъемлемой, однако, рискну сказать, всё-таки не главной.

Что же было главным? Всё в целом. В обоих случаях.

Вообще-то тема книги заявлена как «восприятие эстетики Юкио Мисимы в России», и даже конкретнее того: «реализация идей Мисимы в творчестве Эдуарда Лимонова». Другие случаи рецепции эстетических и иных ценностей японского автора в книге не рассматриваются; там же, где речь заходит о молодых нацболах¹ и сочувствующих, она касается следования именно Лимонову, а если уж говорить о Мисиме, то Лимонов оказывается фильтром, сильно видоизменяющим мисимовское наследие. «Если эстетическая система Лимонова, — говорит автор, — строится во многом на основе эстетики Мисимы, то многие из тех радикальных писателей, кто пришёл в русскую литературу после него, обращается уже непосредственно к опыту Лимонова», причём «вычленил у него главным образом радикальный дискурс», чему соответствует и сопутствует упрощение, огрубление, в конечном счёте — опустошение заимствуемых установок. «Если у Лимонова большинство интересующих нас тем <...>, — пишет Чанцев, уже подводя итоги своему исследованию, — насыщались философским смыслом, привлекались для создания многомерной метафизической картины мира, вступали друг с другом в подчас даже противоречивые отношения, то у большинства упомянутых авторов эти темы присутствуют скорее как знак, симулякр». Самого же Лимонова Чанцев прямо называет «продолжателем дела Мисимы», хотя и оговаривается: продолжателем «своеобразным», — «потому что он не только использует элементы художественной системы Мисимы, но и развивает их, идёт дальше по тому пути, по которому шёл Мисима».

Говоря как будто об эстетике своих героев и, действительно, обращая внимание на центральное значение для каждого, особенно для Мисимы, красоты и на коренную её связь с некоторыми другими важнейшими для них концептами, прежде всего со смертью, прослеживая корни соответствующих представлений в истории культуры, Чанцев по существу не занимается историей эстетической мысли как таковой, в её самоценности и самодостаточности, не прослеживает собственно эстетических

¹ Нацболы — члены запрещенной в 2007 году Национал-большевистской партии, лидером которой был Эдуард Лимонов. — *Прим. ред.*

смысловых линий, выходит за их пределы. Предмет его исследований — нечто более сложное: устройство человеческого поведения, человеческих типов.

Аналогии между своими далеко разнесёнными во времени и пространстве героями, между их позициями и пристрастиями сам автор называет «творческим сходством», «важными и общими элементами в их прозе», «перекличками». Думается — именно на основе того, что собрано и показано им самим в книге, — дело тут существеннее и глубже, и стоило бы говорить о типологическом их родстве, об отгисках одной и той же матрицы.

Отношения человека с жизнью, смертью и красотой (причём красота оказывается узлом, в который нерасторжимо связаны друг с другом спутницы её по этому, так сказать, тематическому комплексу, сёстры-соперницы — жизнь и смерть) Чанцев рассматривает в каком-то смысле как предшествующие воплощению в определённых национальных культурах с их особенностями (и в определённых исторических обстоятельствах — у Мисимы и Лимонова они были, казалось бы, едва ли не предельно разными. Впрочем, вероятно, при соответствующей настройке внимания сходство между ними найти возможно, но социальной ситуацией своих героев Чанцев занимается минимально, в той мере, в какой этого совсем уж невозможно избежать). Во всяком случае, несомненно, что, несмотря на принадлежность героев Чанцева к очень далёким друг от друга и лишь отчасти друг для друга прозрачным символическим системам, ведущими темами (не текстов, это уж во вторую очередь, но) жизнью обоих — показывает автор — становится если не совсем уж одно и то же, то, во всяком случае, вещи сильно сопоставимые: «эстетика молодости, прекрасного тела, тема героя, войны, революционного восстания, смерти» — и это не полный список; на неполноту его автор указывает сдержанным «и т.д.». (Кстати, среди черт, сближающих обоих писателей, оказывается ещё и чрезвычайная «эклектичность, разнородность, использование фактов и теорий из совершенно разных философских систем», часто приходящих «в противоречие друг с другом»; причём у Лимонова таких противоречий гораздо больше.)

Вот Чанцев и сопоставляет их, — скрупулёзно, последовательно отмечая совпадения и расхождения. Из сказанного им видно, хотя сам он и не формулирует таких выводов: оба героя с их идеями, действиями, страстями могут быть поняты как разные реализации одного и того же человеческого типа, — что, собственно, и позволило нашему собрату по культуре, Лимонову, воспринять и усвоить влияние японца Мисимы. За, казалось бы, штучностью, единичностью каждого из героев книги, сквозь общность их мотивов, лишь отчасти объясняющуюся заимствованиями Лимонова у Мисимы и общностью испытанных ими влияний, отчётливо просматриваются черты если не универсальности (это уж точно нет), то, несомненно, некоторой общей формы.

Важно: социальные и политические позиции своих героев Чанцев, разумеется, рассматривает, но ведёт разговор из-за пределов этих позиций — не то чтобы считая их достойными пренебрежения, но видя их как, в конечном счёте, вторичные, как следствие — обладающее собственной логикой — гораздо более коренных установок, задач, тревог. О красоте, ведущей (одной из ведущих, но тогда уж едва ли не главной среди них) категорий своего исследования, он говорит как о явлении не эстетическом (эстетика — только следствие; посредничающее звено между экзистенциальными импульсами и социально выраженным поведением), но, в самом первом приближении, психологическом, при рассмотрении же более глубоком — онтологическом. Речь в обоих случаях идёт о, так сказать, эстетически отрефлексированных жизненных моделях. В случае Мисимы так называемое эстетическое (смерть относится к кругу таких явлений в первую очередь), показывает Чанцев, — прямой указатель на метафизическое, путь к нему. Лимонов метафизическими вопросами озабочен куда менее. «Можно со всей справедливостью говорить о формальном заимствовании Лимоновым темы смерти у Мисимы, — замечает автор, — и перенесении её в структуру собственной эстетики», но при этом «у Лимонова эта тема не только не находит никакого развития по сравнению с оригиналом, но даже и утрачивает те философские и метафизические коннотации, что характерны для эстетики Мисимы (особенно на её позднем этапе развития)».

Вполне чужд метафизическому, показывает автор, Лимонов тоже не остался, но отношения русского самурая с этим аспектом бытия своеобразны — хотя известное родство с японским предшественником обнаруживают и они: «В произведениях Лимонова позднего периода, написанных им во время его тюремного заключения, — говорит Чанцев, — можно обнаружить, хоть и латентно-примитивный, метафизический аспект отношения к смерти, свойственный Мисиме времён “Моря изобилия”. <...> Пробудившийся у Лимонова, как и у Мисимы, в позднем творчестве интерес к метафизике связан у него с темой тюрьмы».

Да, позицию и пристрастия обоих своих героев Чанцев подробно соотносит с фашизмом, точнее, с «прото-фашизмом» — по Умберто Эко, ориентируясь на статью «Вечный фашизм» и перечисленные там его признаки. Действительно, у обоих обнаруживается с этими признаками немало совпадений, иной раз и весьма точных — как, например, основанность утопических построений каждого «на архаических принципах языка и спорах с христианством»; неприятие модернизма; антиинтеллектуализм; «действие ради действия» (скорее даже ради него, чем ради достижения целей); происхождение позиции обоих писателей из «индивидуальной фрустрации» и опора «на фрустрированные элементы общества — молодёжь и маргиналов»; «неудержимое стремление стать героем и одержимость идеей смерти»; к этим признакам Чанцев добавляет ещё неомифологизм. (Кстати, Мисима от фашизма точно дистанцировался и собственную, «навязанную ему», как говорит Чанцев, репутацию сторонника такового категорически отвергал, считая фашизм «искусственной формой политического мировоззрения».) Всё это, однако, ни в малейшей степени не означает ни апологии фашизма (тут шлю запоздалое, как всегда, возражение некоторым оппонентам, остающимся за рамками нашего рассуждения, — в некоторой социальной сети автору этих строк, лишь обозначившему, что собирается на презентацию книги о Лимонове, немедленно прилетели упрёки: Лимонову — в фашизме, а всем прикосновенным к книге и её презентации — как минимум в попустительстве таковому, а то и в сочувствии ему. Чтобы такое утверждать, достаточно не читать Чанцева. Мы, слава Богу, читали), ни причисления к его сторонникам обоих героев.

Признавая «справедливость прочтения творчества обоих писателей в рамках исследования фашистского дискурса», Чанцев, однако, утверждает, что отмеченное им «соответствие систем Лимонова и Мисимы признакам прото-фашизма не позволяет говорить об их “чёрно-коричневой” ориентации», тем более что «определённой доле признаков, приводимых Эко, творчество обоих писателей не соответствует никоим образом». «Фашизм» и Мисимы, и Лимонова он считает не политическим движением, но, скорее, культурной формой, «сродни, например, дадаизму или сюрреализму наиболее радикального толка», того, что «привлекало в своё время того же Маринетти и других футуристов». В случае обоих авторов он находит возможным говорить куда скорее об «эстетическом фашизме», подобно тому, как Сьюзен Зонтаг говорила о фашизме «магическом».

Своих героев Чанцев не оправдывает и не осуждает, вообще (ну, почти) не оценивает их, особенно Лимонова, который на что-нибудь такое буквально напрашивается. Как мы уже заметили, в его отношении почти оценочные суждения, очень осторожные, всё-таки появляются, — вроде «латентно-примитивный». В «Заклучении», подводящем итоги книге, оценочные интонации звучат отчётливее: здесь автор говорит о «пагубных» следствиях «тотальной пассионарности и мобильности» обоих героев, о том, что «все знаковые слова культуры даются ими с редуцированными семантическими полями — изначальные значения этих слов подменены маргинальными»; разьединённость у обоих «таких имманентных человеческой природе качеств, как духовное и телесное», он называет «трагической».

Да, оценочность представляется здесь неминуемой, как и публицистичность высказывания, на которую историческая близость предмета исследования прямо-таки провоцирует. От соблазнов публицистичности Чанцев удерживается. Он своих героев анализирует, проясняет устройство и происхождение их позиций, вписывает их в широкие контексты, находит их образам, ценностям, моделям поведения соответствия

у предшественников и современников. Такого, кстати сказать, ни при жизни Лимонова, ни после неё, по крайней мере, у нас — с той же основательностью и бесстрастностью — не делал никто. Как замечает сам автор, несомненный знаток своего предмета, настоящих теоретических работ о Лимонове на русском языке до сих пор так и не появилось (исключая те, авторы которых списывали у самого Чанцева). Как, кстати, и о Мисиме. (Не потому ли, что культурное целое — из защитных соображений — отторгает такие типы, не без оснований чувствуя их разрушительный потенциал?)

Чанцев умеет говорить о вопросах, глубоко волнующих его самого, на материале сделанного другими, высказывать собственные философские суждения («апостасийность <...> является, на мой взгляд, одной из генеральных характеристик отношения индивида с миром прекрасного») — не выпуская из вида этих других, их собственных личных смыслов. (Прежде всего, думается, это — вопрос мучительной власти красоты над человеком и нерасторжимой её связанности со смертью; я бы добавила сюда ещё и — глубокую у Мисимы, грубоватую у его русского наследника — тему благородства поражения, соотносённости его с основами жизни никак не менее победы, а то и более неё.) И сверх того — несомненно не разделяя позиций и ценностей своих героев во всём объёме таковых, — Чанцев чрезвычайно внимателен к тому, что занимающие его — или сопоставимые с ними — вопросы делают с другими, как другие обходятся с этими вопросами. Это он умеет и в качестве критика, и, как мы теперь в очередной раз видим, — в качестве теоретика.

В конечном счёте (и разнокультурная принадлежность его героев позволяет увидеть это столь же отчётливо, сколь и чрезвычайность их позиций, расположенность каждого на заострённом, режущем, ранищем краю своего культурного мира, доведение каждым тенденций своих культур до некоторого катастрофического предела — собственно, потому плодотворных, долгосрочных и конструктивных продолжений ни у одного из них так и не оказалось), Чанцев в этой книге — работающий теоретическими, литературоведческими, историко-культурными средствами — мыслитель, исследующий устройство человека и его — неустранимо, коренным образом проблематичные, в конечном счёте трагические — взаимоотношения с миром. Я бы сказала, что то же самое он делает и всеми остальными своими средствами.

Что же до смерти, занимавшей воображение, мысль и чувства обоих героев этой книги, легко видеть, что для каждого из них — вполне возможно, и в глазах самого автора — приближение к ней и слияние с нею означает не противоположность жизни, но высшее её напряжение, доведение её до предела, в каком-то смысле максимум её, — экстремальную, парадоксальную, далеко не общеприемлемую и не общепонятную, но тем не менее — форму жизнеутверждения. Да, жизнь?¹

¹ Аллюзия на «Да, Смерть!» — так называлось эссе Лимонова о Мисиме: «Юкио Мишима: да, смерть!» — и этими же словами, ставшими одним из девизов лимоновской партии, заканчивалась почти каждая статья в газете «Лимонка».

Татьяна Веретёнова

«Уж точно не Гришка Отрепьев»

Алексей МАКУШИНСКИЙ. Дмитрий: Роман. — Баден-Баден: Freedom Letters, 2023.

Новый роман Алексея Макушинского «Дмитрий» — итог многолетней работы, реализация замысла двадцатилетней давности, роман театральный и литературный, исторический и философский, любовный и авантюрный. Основательно продуманная на многих уровнях, текстовая ткань романа стилистически напряжена, пародийна и очень смешна, но одновременно печальна, даже трагична. «Дмитрия» можно назвать и романом из подполья: жанровым образцом для него, по признанию автора, стали «Записки из подполья» Достоевского.

Читатель становится свидетелем создания эмоциональных и ярких воспоминаний некого Дмитрия. Постоянная авторская ремарка, сопровождающая его текст, всегда дана в скобках, — «пишет Дмитрий» («со вздохом пишет Дмитрий», «скорбя, пишет Дмитрий» и т.п.). Эти ремарки и есть единственные включения авторского голоса в романе (автор как будто лишь констатирует эмоцию, сопровождающую письмо героя), а все остальное — непрерывный интенсивный монолог самого Дмитрия, сочетающий в себе черты как письменной, так и устной речи. Хотя он и пишет, сидя где-то за столом и поглядывая в окно, но при этом его голос явно звучит вслух, обращенный к слушателям, преимущественно женского пола, на что указывает обилие обращений: «мусью», «мадам», «сударыня», «фрау», «синьора», «ясновельможная пани» (отметим и указание на многонациональность этого слушательско-зрительского состава). Порой он даже реагирует на допускаемые воображением (в тексте их нет) возражения слушателей: «Я не сказал, что она влюбилась, сударыня; не перебивайте меня и не путайте; она еще не влюбилась, но уже увлеклась».

В своем исповедальном рассказе Дмитрий повествует о создании и репетициях пьесы о царевиче Дмитриии (роль которого он исполнял), о повседневности небольшого московского театра на маленькой площади (рубеж 1980—1990-х), о взаимоотношениях внутри труппы, о самой сильной своей влюбленности, упоминает и о своих последующих ролях в телесериалах. Он ведет повествование из неопределенного «сегодня»; на первой же странице — «мы были еще очень молоды в ту далекую зиму» — указывает, что Дмитрий-повествователь далеко не молод. И все вроде бы логично в его воспоминаниях, пока не заходит речь о его «отрочестве в Курляндии»...

Главный, пожалуй, художественный трюк в романе — изображение сознания, существующего одновременно в двух эпохах: рубеж XVI — XVII веков и конец 80-х — начало 90-х XX века (и это помимо самого момента повествования). Дмитрий рассказывает две свои истории даже не параллельно, а как-то уникально едино: детство-юность-царствование и постановка пьесы Макушинского в московском театре. Два временных плана в сознании героя не только не противопоставлены, но перетекают один в другой, сливаются почти бесшовно; и слитность их выполнена виртуозно — обычно эта незаметная машина времени функционирует в рамках одного предложения: например, в словах Шуйского: «...А говори ему (народу), что царек иноземцев любит, наших не любит, что обычаев дедовских не блюдет, по старинке не живет, после обеда не спит, в портках заморских ходит, джинсами прозываемых, джаз слушает, на пьесы Беккета бегает с Маржеретом, на поганой польке намерен жениться».

Повествование от лица Дмитрия — шаг в сторону от себя-автора — новый ход в прозе Алексея Макушинского, лишь отчасти им намеченный в предыдущем романе «Один человек». Тем любопытнее, что в «Димитрии» присутствует персонаж А.Макушинский, автор пьесы; «разглагольствующий» «зануда», «недотепа» — в изображении Дмитрия, относящегося к нему неприязненно. Образ Макушинского — сатирический автопортрет, несущий важную сюжетную и идейную нагрузку: именно Макушинский-персонаж излагает в романе концепцию исторического образа Дмитрия, альтернативную карамзинской и пушкинской.

Да, «Димитрий» откровенно полемичен. Макушинским (и автором, и персонажем) прочитаны и осмыслены, возможно, все художественные произведения, так или иначе изображающие царевича Дмитрия и его историю. Упомянуты Лопе де Вега, Шиллер, Геббель, Мериме; Сумароков, Суворин, Погодин, Островский... И много раз — Пушкин, который при создании образа Самозванца в трагедии «Борис Годунов» (посвященной, кстати, памяти Карамзина) опирался на версию, изложенную в «Истории государства Российского». Димитрий изображен Макушинским как получивший отличное европейское образование юноша, стремящийся привнести на Русь идеи разумного государственного устройства, основать университет, донести идею свободы — такой человек не может быть беглым монахом Гришкой Отрепьевым: «А я не был Гришкой! кем угодно, но Гришкой не был я никогда!» — возмущенно пишет Димитрий. Пушкин — наше всё, спорить с ним почти нереально, и тем не менее роман «Димитрий» не что иное, как пародийная попытка развенчания пушкинского мифа о Лжедмитрии — в тексте регулярно встречаются фразы вроде «...я не любил холодную, аки гелий, Марину, что бы ни рассказывал обо мне А.С.Пушкин» или «о, Александр, как же оклеветал ты меня, как же надругался ты надо мною!».

У исторического персонажа Дмитрия Ивановича, что царствовал на Руси один год — с июня 1605 по май 1606, при том, что о нем написано много, незавидная литературная судьба. Так, Макушинский-персонаж сетует, что Шиллер умер, успев написать лишь начало пьесы о Димитрии, иначе мировая литература могла получить совершенно иной миф о царевиче.

Роман Макушинского предлагает лишь версию судьбы Дмитрия, но, разумеется, не настаивает на ней. Самое удивительное, что главный герой сам не знает, настоящий он царевич или же мальчик из Углича, выданный за него: «...Что если и вправду было два мальчика... Если их было двое, то который из них я сам? Что если не тот, а другой?» Вот это самосомнение, это вечное «кто я?» поднимает роман на высоту философской проблематики, делает Дмитрия фигурой трагической, глубоко рефлексивной: «Никто ведь не знает, кто он на самом деле, и тот, кто делает вид, что знает, тот, сударыня, обманывает себя и других».

Мотив «никто не знает, кто он на самом деле» становится авторской присказкой и повторяется в тексте с некоторыми вариациями регулярно (заметила восемь раз). С каждым разом вопрос «кто я на самом деле?» звучит все острее и задает все более высокую ноту абстракции. Недаром возникает и параллель с шекспировским Гамлетом и его вечным вопросом: «Если принц, то — Гамлет, сударыня. Если царевич, то — Димитрий... На сцену мира мы с Гамлетом вышли одновременно...» Трагедия Дмитрия не только в его predetermined, как и у Гамлета, гибели, но в страшном незнании правды о себе.

Димитрий — сложно устроенный образ и сложно устроенная личность. Образ его исключительно речевой — нет портрета, только напористая, эмоциональная, почти непрерывная речь. В романе отсутствует деление на главы и даже на абзацы, выделены лишь нenumerованные фрагменты объемом от полстраницы до трех. Димитрий — это и подпольный рассказчик (не пытайтесь угадать, где он сидит и пишет), и артист, исполняющий роль царя, и еще некто в роли царя, и, возможно, сам царь, «сияющий и страшный», и веселящий всех скоморох, и молодой удачливый любовник, и глубоко несчастный пожилой человек. Димитрий как будто отказывается выходить из роли царевича, наоборот, врастает в нее, сживается с ней. И тогда становится важна не личность Дмитрия, а его образ. Образ как идея, как архетип. «Однажды был Димитрий, но есть (всегда есть, навсегда есть) идея Дмитрия, эйдос Дмитрия (о Аристокл!), есть (как его?) архетип (о Карл! о Густав!) Дмитрия. И это я, сударыня,

это я». Таким образом, существуя “на чистом небе прообразов, эйдосов, архетипов”, Димитрий «обречен умирать и воскресать, вновь и вновь». А роман между тем смело ступает в сферу фантастического.

Димитрий-повествователь еще и определенная стилистическая роль. Он взял тон скомороха, злого циника, шута, забавляющего публику. Однако при рассказе о любви зазвучат ноты нежные, лирические, а всем известный финал царского правления Димитрия потребует аккордов трагических. Димитрий ломает свою комедию по максимуму, заговариваясь, как Хлестаков, до абсурда, городит горы нелепостей: «Кого и узнают-то у нас на Москве? Серёжу Маковецкого, да Серёжу Безрукова, да меня, безгрешного, хоть я, конечно, и не Серёжа... Приходится прятаться, а то ведь пристают с автографами, как, бывает, идешь по Тверской. Как выйдешь на Тверскую, так девки на тебя и кидаются».

Ирония во всей красе — тонкая и горькая, ядовитая и масштабная — становится основным стилистическим приемом романа. Наблюдать иронию мы могли и в прежних книгах Макушинского: и в «Пароходе в Аргентину», и в «Остановленном мире», и в «Одном человеке», и в «Предместьях мысли», но там она не доминировала, а как будто постепенно вызревала. И это ирония иного толка, чем, допустим, у Виктора Пелевина, с прозой которого неожиданно захотелось сопоставить «Димитрия». (Впрочем, это могло бы стать темой для отдельного обширного исследования.) Отмечу лишь, что Виктор Пелевин и Алексей Макушинский почти ровесники; и, возможно, ирония присуща им как прием поколенческий, как оптика поколения — корень у неё один, из позднесоветской молодости 80-х. Объектом иронии Пелевина ежегодно становятся все новые социальные явления, ирония же Макушинского пронзает русскую жизнь сквозь века. И если «Димитрий» — пародия, то высокая, лирическая.

Единственный роман Макушинского, в котором, пожалуй, почти нет иронии, — дебютный «Макс» (1998); сюжетно и тематически он плотно связан с «Димитрием». Именно из «Макса» в новый роман переместился и театр на маленькой площади где-то в центре Москвы, его режиссёр Сергей Сергеевич, и прима Мария Львовна, и просто Перов (Простоперов), некоторые другие персонажи. Тень самого Макса неоднократно мелькает на страницах романа: «Пару раз поминали они при мне какого-то Макса, но кто это, я так и не выяснил», — пишет Димитрий. Несколько упрощая, можно сказать, что в «Максе» речь идет о постановке одной пьесы в театре, а в «Димитрии» та же труппа и в том же театре спустя несколько лет ставит другую пьесу. Но вопрос «как соотносятся герой-повествователь из “Макса” и “зануда Макушинский” из “Димитрия”, одно ли это лицо» — остается открытым. Итак, театральные роман, том второй.

Романы «Макс» и «Димитрий» наглядно роднит имя героя в заглавии романа. Можно вспомнить и недавнего «Одного человека», потому как и Макс, и Димитрий — один человек, одинокое имя в названии подчеркивает индивидуализм героя. При этом Димитрий — имя особое, царское, несущее шлейф исторических ассоциаций. Заявлением «я не хотел носить маску» Димитрий близок Макс, с образом которого связан мотив отказа от роли, но все-таки он являет собой принципиально иной характер. Макс совсем не циник, в отличие от Димитрия; в своей чистоте и открытости миру он больше сходен с Ксенией, возлюбленной Димитрия. Макс отказывается играть роль; Димитрия же хочется назвать его антиподом, потому что он-то как раз отказывается выходить из роли, живет в роли, живет ролью, возвышаясь над реальностью, превращаясь в архетип, в дух. Обратим, кстати, внимание на эпиграф к «Димитрию» — на английском из шекспировской «Бури» (которую, кстати, тоже ставят в театре на маленькой площади):

В этом представлень
Актёрами, сказал я, были духи.
И в воздухе, и в воздухе прозрачном,
Свершив свой труд, растаяли они.

(Шекспир, «Буря», перевод Михаила Донского)

У Макса дело дошло до премьеры, он сыграл свою роль на сцене и таким образом от нее освободился, смог уйти. В «Димитрии» же дело до премьеры не доходит (только «предварительная, для друзей и родственников, для мам и пап»), и герой будто бы «застревает» в роли навсегда. Если для Макса игра на сцене приобретает характер психотерапевтический, то для Димитрия — гибельный: «Так понемногу добрались мы до премьеры и гибели». Высокий трагический пафос очень смешного романа «Димитрий» отчетливо виден на фоне дебютного, несколько идиллического «Макса», где все было всерьез. Изданные с интервалом в четверть века, «Макс» и «Димитрий» при прочтении один за другим дают любопытную картину динамики творческого метода автора.

«Димитрия» можно увидеть и как сплошную репетицию: весь роман — о репетициях постановки, да и годовое правление Димитрия, по сути, репетиция правления Петра. Театральность романа и в авторских ремарках, и в условном времени действия (абстрактное «сейчас», но Москва-сити уже стоит), и в еще более условном месте действия. Между тем, создается впечатление, что, будучи романом театральным, «Димитрий» сам обладает изрядным постановочным потенциалом. Меняются исторические декорации, а Димитрий вечен со своим надысторическим видением и вечным вопросом «кто я?». При чтении невольно начинаешь представлять героя на сцене: вот он сидит в своем «подполье» где-то под сценой, смотрит в окно; вот он взмывает над сценой как дух; а порой спускается в зрительный зал и, подсаживаясь то к одной зрительнице, то к другой, обращается к ним — «сударыня», «фрау», «мадмуазель»...

С именами героев в романе не все просто. Есть группа персонажей, связанных с театром и перекочевавших из «Макса»: Сергей Сергеевич, Мария Львовна, Перов... Они, хотя и принимают участие в постановке пьесы, но настоящих своих имен не утрачивают. К ним примыкает Макушинский (персонаж). Такой важный герой, как Симон, наставник юного Димитрия в Курляндии, относится лишь к плану XVI века, с его именем проблем нет. Другие же герои — сам Димитрий, и Ксения, и Басманов, и Марина, и Эрик, и Шуйский, и француз Маржерет — существуют в двух временных пластах. Однако о них читатель в какой-то момент понимает, что имеет дело с их сценическими именами, а реальные, по мнению повествователя Димитрия, для его истории не принципиальны. На роль Ксении «годились лишь Ксения, или Сергей Сергеевич ее в этом уверил. <...> А как ее на самом деле звали, сударыня, не имеет к самому делу ни малейшего отношения». В связи с этими именами-обманками читатель, вместо привычного отождествления с героем-повествователем, регулярно хватается за голову и получает весьма некомфортное ощущение — да Димитрий ли это на самом деле и во всех смыслах?! (Чего, очевидно, и хотелось автору.)

Предлагая свою версию загадочного и криминального исторического сюжета про царевича, Макушинский превращает роман (где-то в средней трети) поначалу в авантюрный, а далее и в роман воспитания. После чудесного спасения, выздоровления и приключений мальчик оказывается в удаленном замке «в Курляндии, под опекой и присмотром Симона, великого человека, фабрикатора моей доли, врача и влаха». Масштабно мыслящий, но тайный европейский политик, прекрасно образованный, Симон воспитывал Димитрия как будущего монарха, читая с ним Сенеку, Эпиктета, Монтеня и рассказывая «в пленительных подробностях обо всех династиях и правящих домах Европы». Вторым воспитанником Симона и другом детства Димитрия становится шведский принц Эрик.

Историческим романом «Димитрия» можно назвать лишь очень условно, скорее это роман на историческом материале; в повествовании всплывают целые пласты прошлого, причем не только Руси, но и Швеции, и Польши, упоминаются десятки исторических деятелей. История стран и народов то предстает театрализованном действом, то сама становится персонажем романа: «История сентиментальна, народу нужны мелодрамы». В историческом контексте явлена и тема царской власти: почти год продержался Димитрий со своим европейским воспитанием и индивидуализмом против русской соборности, московского «Боярбюро», наивно обещая поначалу: «Кровь не прольется, казней не будет». Царевич полон благих идей, но чувствования страны и понимания народа у него, как и следовало ожидать, нет: большую часть жизни он провел на чужбине. Есть у него уважение к свободе и жизни конкретной

личности (он простил, например, Шуйского), но нет уважения к традициям, понимания народного мировоззрения. Тема свободы и свободного человека — еще один сквозной мотив романа. Но сентенция Дмитрия о свободе подчас противоречивы: «Я мечтаю о революции, несущей свободу». Однако «свободных людей все всегда ненавидят». И наконец: «Ничего, я выбью из вас холопство; победим татарина с туркой, сделаю из вас свободных людей; сами себя не узнаете».

Почти все основные события романа происходят в Москве. Дмитрий на московском престоле, строит себе новый дворец в Кремле. Театр на маленькой площади затерян где-то в переулках, недалеко от Тверской. Московскими бульварами гуляют влюбленные Дмитрий и Ксения, целуются в знакомых двориках. Московское метро неожиданно становится местом для одной из эротических сцен. С Воробьёвых («тогда еще Ленинских») гор смотрят на панораму Москвы Дмитрий и Пётр Басманов (ну да, как Герцен и Огарёв). Не раз направится Дмитрий в Беляево — провезать Марию Львовну; окажутся они и на другом конце города, в Медведкове. Узнаваемы трамвайные и троллейбусные маршруты, механические кассы в троллейбусах, детально описанные автором, набережные и мосты, проспекты и переулки, Остоженка и Пречистенка, памятники и кафе. Например, «кафе “Хрустальное” на пересечении Кутузовского проспекта с Дорогомиловской улицей, кафе огромное, горизонтальное» становится местом знакомства героя с Лжедмитрием и разговора, меняющего ход событий. А заключительные эпизоды романа описывают августовский путч в Москве 1991 года.

Система образов и оппозиций просматривается вполне четко: все герои так или иначе соотносятся с главным. У героев-двойников двойничество особой природы: большинство из них раздваивается на два исторических плана. Некоторые образы отражаются друг в друге, делятся: Дмитрий и А.Макушинский, Дмитрий и его преданный друг Петя Басманов; Дмитрий и Лжедмитрий (ближе к развязке), и самая любопытная пара — Дмитрий и Эрик. Русский царевич и шведский принц выбирают разные жизненные пути: Дмитрий в XVII веке следует дорогой, определенной для него Симоном, — идёт в политику и добивается восхождения на престол, а Эрик выбирает жизнь обывателя: «Эрик, не будь дурак, выбрал обыкновенную жизнь, тяготы, но и отрады простого существования, просто существования...» Но в Москве рубежа 90-х XX века Дмитрий поступит именно так, как когда-то поступил Эрик, последует его выбору, а не повторит свой.

В романе присутствует, разумеется, и история любви (можно даже сказать, что «Дмитрий» прежде всего о любви), есть несколько смелых эротических сцен. Любовный треугольник: Мария Львовна — Дмитрий — Ксения. С появлением на страницах воспоминаний «политико-поэтической девушки» Ксении начинают звучать явно лирические ноты, а в самой середине романа Ксения временно становится ночным адресатом рассказа Дмитрия, однако рассказ его столь длинен, что она засыпает, а он продолжает говорить, говорить, обращаясь к ней «спящая Ксения». Образ «чистой девочки, ничего не знающей о жизни, властелинки лохматых собак, читательницы стихов» в воспоминаниях героя близок к идеальному. Но Ксения станет ревновать к Марине: «Я честно пытался ей объяснить, что не к Марине меня бы следовало ей ревновать. Я не говорил, к кому...» Марина — это, конечно, Марина Мнишек (и в театральном, и в историческом плане). Но в видении Дмитрия (в изображении Макушинского) она «холодная, аки гелий» и не становится для героя объектом страсти. В финале Дмитрий отказывается участвовать в очередном историческом «представлении», отказывается ехать с Ксенией на баррикады к Белому дому, делает шаг за пределы истории, выбирает женщину, для которой жизнь — кукольный театр (громко говорящая метафора). Если прошлое для Дмитрия было всерьёз, и он участвовал в нем как исторический деятель, то в настоящем он согласен лишь на участие в спектакле (лицедействе), но не желает быть вовлеченным в значимые исторические события. Расставаясь с Ксенией, Дмитрий расстается с реальностью, а выбирая Марию Львовну и оказавшись (наконец-то!) в ее квартире, он попадает в компанию театральных кукол.

Дмитрий — фигура нереализованного замысла: в историческом плане — правление меньше года, лишь перспективы, начинания; на сцене — лишь репетиции

и предпремьера. Пьеса А. Макушинского и роль царевича, похоже, самое настоящее, что случилось в его актёрской карьере («главная, лучшая роль»), далее лишь пародийные стрептофуражкины в сериалах. Так и Ксения — его, по большому счету, нереализованная жизненная возможность. Отравленный цинизмом и «разувереньем» («Сухая скорбь разуверенья, говорит Боратынский»), Дмитрий не способен создать с Ксенией глубокие отношения, не способен поверить ни в её политические идеалы, ни в православную традицию — ни разу не отправится вместе с ней в монастырь, а лишь иронизирует над «тропарями и кондаками». По сюжету Ксения как будто чего-то ждет от Дмитрия, несколько раз зовет его за собой, а в момент воспоминаний именно её ставит он в центр своей истории, по ней мучительно тоскует спустя годы, по её чистоте и наивности.

По всему роману гуляет мотив сумасшествия; Дмитрий не раз намекает, что он, возможно, в психиатрической больнице, «в Кашенке». Да и воображать себя монархом — не что иное, как мания величия! Такая версия видится вполне очевидной, когда Дмитрий выдает фразы вроде «я лучшее, что могло случиться с этой страной». С одной стороны, он постоянно призывает слушателей верить ему, а с другой — живет в пространстве иронии, возведенной в высокую степень. Ирония и не требует однозначной локализации — какая разница, откуда смеяться? Развязка, как все помнят, трагична. Гибель Дмитрия на сцене на глазах у зрителей парадоксальным образом обладает эффектом катарсическим, очищающим: «Я согласен был умереть. Я даже счастлив был, умирая. Когда я умер, все личины упали, осталось только лицо».

Алексей Макушинский, используя образ Дмитрия-повествователя, создает текст высокой плотности, слитности; его ритмически организованная напряженная тональность (помним про стихотворный опыт автора) образуется лексической избыточностью, и эта осознанная избыточность становится особым авторским приемом. Повторы и уточнения, частые скобки и пояснения накапливают плотность, создающую эффект настойчивости Дмитрия: взяв определенный доверительный тон, он выговаривает свой монолог-исповедь с явным напором. Длинные, порой длиннейшие предложения полны сложными синтаксическими узорами, долгими перечислительными рядами с созвучными членами, и это тоже работает на ритмичность текста. «Шел снег (мокрый), шли прохожие (редкие); шли, по большим и соседним улицам, нам невидимые троллейбусы, нам невидимые трамваи; шло время (счастливое время, как я теперь понимаю)». Уточняющие эпитеты в скобках в постпозиции и уточнение в скобках «счастливое время»; повтор существительного «время», эпитета «невидимые», местоимения «нам», повтор глагола — все вместе лексически уплотняет смыслы и одновременно организует уникальный ритм предложения. И, наконец, нельзя не упомянуть об уже привычном для текстов Макушинского явлении — обильных, но коротких иноязычных вкраплениях: латынь, английский, французский, немецкий, польский.

Имеющий многолетнюю историю создания, «Дмитрий» по мере написания естественным образом претерпевал неизбежную трансформацию начального замысла, основная тенденция которой — от вопроса самоидентификации «кто я?» к вопросам власти и исторических закономерностей. В романе прослеживается и (нередко свойственная воспоминаниям) смена настроений от надежд и мечтаний молодости к разочарованиям и сожалениям преклонного возраста; за смехом скрыт трагизм и пессимизм героя, его ощущение жизненной неудачи. По признанию Дмитрия, он и пишет, «чтобы справиться с банальностью бытия», чтобы преодолеть эту неудачу средствами художественными. Таким образом пространство высокого вымысла (и романное, и театральное) обнаруживается в оппозиции к «пошлости реальности». Дмитрий уходит со сцены, но где он парит, в каких сферах? В этой неуловимости, нелокализованности, неопределимости — уникальность заглавного героя, потеснившего в этом романе автора.

Евгений Абдуллаев

С китайского и обратно

В детстве у меня был свитер. Старый, ношенный, но ещё вполне крепкий и теплый. Я любил его. На бирке сзади были какие-то иероглифы и крупнее, кириллицей, вышито «Дружба».

Свитер, как мне объяснили старшие, был времён советско-китайской дружбы. Ко времени моего детства-отрочества от неё не осталось ничего.

Кроме старых свитеров, плащей, зонтов и десятка глупых анекдотов не только о ней, но и о самом Китае тогда почти ничего не напоминало. Разве что переводы китайской классики, мгновенно сметавшиеся с полок книжных магазинов. Но то — древность, средневековье; красные терема и нефритовые гуаньини. Из современной китайской прозы издавали только Лао Шэ, погибшего в 66-м. Дальше простиралась зона безмолвия.

В начале 90-х Китай вернулся. Ещё не литературой; вначале, как все помнят, накатила волна китайского ширпотреба. Дешевого, не всегда качественного, с уморительными инструкциями по-русски... Литературная волна дошла только к концу нулевых.

С одной стороны — да, новый этап сближения России и Китая. С другой — сама современная литература Китая к этому времени получила международное признание. 2012 год — вручение Нобелевской премии Мо Яню. Начинают, с некоторым опозданием (по сравнению с английскими переводами), переводиться на русский его книги. Переводятся и издаются и другие прозаики: Лю Чжэньюнь, Лю Цысинь, Юй Хуа...

Но о переводах ещё скажу. А сейчас — о том информационном поводе, который и обусловил китайский вектор этого разговора. Точнее, российско-китайский.

Поводом была Пекинская международная книжная ярмарка, проходившая с 19 по 23 июня.

В ней, благодаря российскому Институту перевода, смогли принять участие русские писатели. Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Нина Дашевская, Максим Замшев, Инга Кузнецова, Ярослава Пулинович, Анастасия Строкина и автор этих строк (простите за невольную ассонансную рифму).

Участие не ограничивалось выступлениями на российском стенде. Были ещё встречи — в университетах, в книжном магазине, Российском культурном центре, школе... Побывать на всех было физически невозможно, но о некоторых упомяну.

Первая встреча прошла за день до открытия ярмарки, 18 июня, со студентами-русистами Института иностранных языков Народного университета Китая.

Студенты как студенты, половина сидела, уткнувшись в гаджеты; другая половина активно слушала, задавала вопросы. Были и китайские литераторы: прозаик Ли Эр, детский писатель Чжоу Минь, редактор журнала «Ши юэ» («Октябрь») Цзян Цзай.

Евгения Водолазкина спросили о «Лавре» и о концепции времени в его романах; Ли Эр говорил о влиянии писателей на современный язык; Цзян Цзай показала том Достоевского («Идиот»), который когда-то читала в университете, весь в разноцветных закладках...

«Когда пишешь, нужно чего-то не знать, — сказал Водолазкин, — чтобы удивляться вместе с читателем».

В конце встречи прошло что-то вроде концерта: Ли Эр прочел (наизусть!) целый отрывок из китайского перевода «Доктора Живаго»¹; студенты показали инсценировку по повести Нины Дашевской «Вилли», сама Нина играла на скрипке...

19 июня, открытие ярмарки. Огромный зал Китайского национального конференц-центра, более 20 стран-участников.

Почетный гость этого года — Саудовская Аравия. Много арабской вязи, костюмов, арабской речи. Российский стенд в углу павильона, здесь тише и уютнее. Во время встречи с Павлом Басинским (посвященной его «Подлинной истории Анны Карениной») какая-то женщина в абайе неподалеку у стены тихо совершает намаз.

Сама встреча была, кстати, интересной: недавно вышел китайский перевод книги (а в России по ней снимается фильм). Над чем работает Басинский сейчас? «Над биографией Леонида Андреева, для “ЖЗЛ”». Хорошо, ждем.

Вечером — встреча в Российском культурном центре. Зал довольно большой, свободных мест нет. В первой части — разговор о современной русской детской литературе, во второй — о «взрослой». Нина Дашевская, Максим Замшев, Анастасия Строкина... Пришедших на встречу интересует, что за последние десять лет произошло в русской литературе. Что общего между современной китайской и русской литературами. Чем отличается современная «женская» проза от «мужской». Многие вопросы искусно «провоцирует» Евгений Резниченко, директор Института перевода, ведущий встречу. От вопросов литературных быстро переходим к «жизненным». Можно (и нужно ли) наказывать детей? Публика в зале разделяется на два лагеря, сторонников и противников.

Из зала встречу снимает на смартфон Ирина Чуднова — единственный известный русский литератор, живущий и пишущий в Китае. Несколько лет назад я откликнулся на ее стихи на «Полёте разборов» (проект Бориса Кутенкова); теперь состоялось очное знакомство. Ирина публикуется и в русской литературной периодике («Просодия», «Интерпоэзия»), и в китайской — переводит китайских поэтов, ее переводят на китайский.

Но вернусь к делам ярмарочным.

20 июня. «Пушкинский день в Пекине». Встреча под бронзовым бюстом Пушкина в кампусе Института иностранных языков Столичного педагогического университета. Александр Сергеевич отлит в момент вдохновения, с пером и стопкой листков. Памятник поставили пять лет назад; говорят, студенты уже успели натереть до блеска какую-то часть классика: помогает при сдаче экзаменов.

Приветствие (центном из пушкинских текстов) ректора университета профессора Вана Цзунху. Чтение стихов. «Нелепый день. Мне смысл его не виден. Он ни единым знаком мне не выдан...» — читает свое известное стихотворение Инга Кузнецова... И — снова концерт, устроенный на этот раз силами студентов русского отделения Института. Скрябин и Шостакович, Пушкин, и Пастернак; удивительно трогательная композиция из писем Чехова и Книппер-Чеховой. Закончилось всё пением «Миллиона алых роз», почти коллективным.

Затем — долгая, с обилием приветственных, благодарственных и прочих речей, церемония вручения переводческой премии «Россия — Китай. Литературная дипломатия», за лучшие переводы с русского на китайский. Премия учреждена

¹ Кстати, проза самого Ли Эра, переведенная на все основные европейские языки, до сих пор, к сожалению, неизвестна русскому читателю.

российским Институтом перевода и Пекинским центром славистики, созданным в 2015 году на базе Столичного педуниверситета.

Первое место получила переводчица Лю Хунбо за перевод романа Евгения Водолазкина «Лавр», второе — Ло Цзя за перевод сборника стихов Геннадия Айги «Поля-двойники», третье — Ван Лидань за перевод сборника пьес Надежды Птушкиной «Пизанская башня». Логично: проза, стихи, драматургия.

Вообще, многих участников русского «литературного десанта» на Пекинскую ярмарку уже успели перевести на китайский. Евгения Водолазкина, Павла Басинского, Ингу Кузнецову... А тираж переводов подростковой прозы Нины Дашевской уже достиг тридцати тысяч. Не знаю, как по китайским масштабам, но по меркам российского книжного рынка впечатляет.

День завершился в книжном магазине «Rendez-vous» встречей с читателями под веселым названием «С литературой не соскучишься!». Скучно, и правда, не было. Вместе с китайскими коллегами порассуждали о влиянии классики на современную литературу, о детской литературе, о поэзии.

«Поднимите, пожалуйста, руки, кто читает поэзию!» — обращается к пришедшим Анастасия Строкина. Поднимается десяток рук. Ещё несколько. Остальные скромно улыбаются, потупив глаза. Знакомая ситуация.

Особенно оживился зал, когда заговорили о школьной программе: включать ли в неё современную зарубежную литературу, и какую. Оказывается, в китайской школьной программе зарубежные авторы присутствуют в гораздо большем объеме, чем в российской. Впрочем, тут нужно более детальное сравнение.

Рамки этой «барометровской» колонки не позволяют рассказать (даже кратко) обо всех встречах; это и не нужно. Пекинская ярмарка, как и было сказано, лишь повод для разговора. О чем?

О делах переводческих. О том, что литературные контакты с Китаем растут, что называется, не по дням, а по часам. В рамках мнжгосударственной Программы перевода предполагается издание 50-томной Библиотеки русской литературы в Китае и, соответственно, 50-томной Библиотеки китайской литературы — в России.

Правда, бума в отношении современной китайской литературы в России пока не заметно. Да, вопрос продвижения. Литература обычно приходит в «пакете» с другими вещами, в разное время — разными. В свое время русская литература вошла в Китай в «пакете» с коммунистической идеологией и военной и экономической помощью. Интерес к современной японской литературе в России в начале нулевых совпал с появлением, как грибов после дождя, японских кафешек и ресторанов, с популярностью манги и фильмами Такеши Китано. Интерес к литературе Турции — с массовым российским туризмом...

В отношении Китая о таком «пакете» говорить пока сложно. Несмотря на политическое и экономическое сближение, Китай ещё остается во многом экзотической и культурно далекой страной. По крайней мере, для европейской части России, где находятся основные издательские и «читательские» центры. На российском Дальнем Востоке, где локальные связи с Китаем традиционно прочнее, он, судя по всему, воспринимается иначе.

Второй проблемой остается перевод. Хотя интерес к изучению китайского растет¹, переводчиков художественной литературы пока явно не хватает. Некоторые книги китайских авторов, как поговаривают, переводят с английского перевода. Может быть. Особенно учитывая нынешнюю ситуацию с гонорами за перевод — выглядит это, увы, вполне правдоподобно.

Как в начале 2000-х констатировал известный переводчик китайской классики Дмитрий Воскресенский: «Сейчас в Китае много интересных писателей. Китайскую

¹ Если в 2019 году китайский изучало около 17 тысяч российских школьников, то уже в 2021 их количество увеличилось до 91 тысячи (<https://www.kommersant.ru/doc/5941668>).

литературу сейчас много переводят в Англии, Франции, США, Японии. Думаю, что в последнее время приоритет в области перевода с китайского языка постепенно переходит к Западу, что для нас прискорбно. На Западе выросла школа синологии, в которую вошли китайцы с хорошим европейским образованием и в то же время понимающие менталитет китайцев...»¹

Ситуация с тех пор несколько изменилась, но не сильно.

И ещё. Для продвижения переводной литературы важно, чтобы были известны не только имена переводимых авторов, но и имена их переводчиков. Имена, скажем, Апта, Гольшева, Лунгиной, Микушевича, Трауберг были также и гарантией качества. Или, если говорить о сегодняшнем дне, Немцова, Коваленина, Сонькина (можно назвать ещё несколько имен). Уверен, что есть и известные в своем кругу переводчики современной прозы с китайского. А за пределами круга? Был Игорь Егоров, переводчик Мо Яня, но он два года назад скончался. Может, в будущем — Юлия Дрейзис; пока она больше переводит поэзию.

Китай в более выигрышном положении: русская литература на китайский переводилась, и довольно активно, весь двадцатый век. Даже после некоторого охлаждения интереса к современной русской литературе с начала 60-х и особенно — в 90-е (когда Россия окончательно отказалась от социалистической повестки), русская классика продолжает активно переводиться и издаваться. Для сравнения: объем переводов русской литературы на китайский язык в начале 2000-х был почти в двадцать раз больше, чем переводов китайской литературы — на русский².

В Китае и гораздо больше переводчиков русской литературы, чем в России — китайской. Многие переводчики — одновременно профессора русской литературы на соответствующих факультетах. Один из самых известных и авторитетных — Лю Вэньфэй, он же — один из активных организаторов «русской» программы на Пекинской ярмарке. В библиографии трудов, изданной к его 60-летию, более ста переводов. Поражает не только количество, но и диапазон. Жанровый, стилистический, идейный. От Белого до Пелевина, от Чаадаева до Троицкого, от Кушнера до Драгомощенко, от Арцыбашева до Елизарова... Не говоря уже о русской классике и нескольких собственных монографиях. Возможно, и среди русских переводчиков китайской литературы со временем появятся аналогичные фигуры. Хотелось бы верить.

Ярмарка завершилась.

Сравнивать с предыдущими годами не могу, но, судя по отзывам, российское участие в этом году было более заметным. И литераторов приехало больше, и издателей («Эксмо», «Детская литература», «Русский язык. Курсы»...). Издатели вроде бы тоже довольны переговорами с китайскими партнерами. Проблема в переводе платежей — влияние санкций ощущается и в нашем литературно-книжном хозяйстве.

Из других постсоветских государств на ярмарке заметен только Азербайджан; участвует в этом году в первый раз. Стенд по соседству с российским; преобладают роскошно изданные книги и альбомы. Большого оживления у стенда не заметил; но уже хорошо, что азербайджанское книгоиздание было представлено на этом крупнейшем (втором после Франкфуртской ярмарки) издательском форуме. Потом, глядишь, и литераторов своих тоже будут в Пекин привозить.

И последнее. Хотелось, из ностальгических соображений, привезти из Китая свитер. Но программа была такой густой и плотной (надеялся ещё и немного посмотреть Пекин), что до свитера дело не дошло. Привез упаковку чая, кружку с логотипом Народного университета, книги... И воспоминания и мысли, которыми и попытался здесь поделиться. Свитер, в конце концов, дело десятое.

¹ Калашикова Е. По-русски с любовью: Беседы с переводчиками. — М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 144.

² Родионов А.А. О переводе и издании на русском языке новейшей китайской прозы в 2009—2018 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2019. Т. 11. Вып. 4. С. 401.

Борис Минаев

Сгущающийся мрак

Мне всегда нравилось в спектаклях то, что условно можно назвать «загадочной темнотой». Некий сгущающийся мрак в глубине сцены, некий назревающий грозовой разряд, — и ты с замиранием следишь за этим театральным *нечто*, которое вскоре должно превратиться во *что-то*.

Из самых сильных сторон новой постановки «Отцов и детей» в Театре Наций я бы прежде всего назвал именно это — театральный *сгущающийся мрак*. Но что в нём таится, что просвечивает, — ещё надо понять.

Аркадий Кирсанов, тот самый, что «говорит красиво», в огромных наушниках, чёрных очках, то и дело берущий в руки бас-гитару и исполняющий песни рок-бардов 80-х. Базаров в длинном кожаном пальто, с загадочным лицом конспиратора, уходящего от слежки. Привычная со школьной скамьи, до боли знакомая по советским экранизациям и постановкам парочка, но на этот раз вовсе не абстрактные «бунтари», а вполне себе узнаваемые персонажи перестроечных лет. Непризнанные гении, подпольные рок-музыканты, герои андеграунда, художники и поэты. Мои друзья. Базаров и Кирсанов? Похожи ли ребята той эпохи, скажем, художник Дима Врубель, или издатель журнала «Урлайт» Илья Смирнов — на избалованного барчука и угрюмого сына земского врача?

...С их нервного мельтешения по сцене и начинается долгий путь внутрь тургеневского текста, попытка его понять и подчинить себе.

О том, что это не просто «Отцы и дети», а какие-то совсем другие «Отцы и дети» (по крайней мере, по замыслу создателей), должно нам говорить многое: вот хотя бы огромная лестница на сцене, вокруг которой всё вертится. В самой последней сцене, освещенная кровавым светом, лестница становится для умирающего Базарова Голгофой, «лестницей в небо», но звучащие весь спектакль отдаленные голоса станционной дежурной (перечисляющей вагоны, составы, пути) отсылают нас совсем к другой эпохе. Русская провинция и безысходное желание уехать отсюда навсегда. Этот знакомый с детства запах вокзала, бесприютности, он просочился в поры тургеневского текста благодаря этой лестнице.

«Это то время, из которого произошло мое поколение, и оно, как мне кажется, мощно резонирует с литературным первоисточником. Речь идет не о том, что отцы с сыновьями столкнулись лбами, решая вопросы мироустройства. Важно, что и те и другие оказались перед лицом неотвратимых глобальных перемен, вот только каждый в меру своего жизненного опыта, или его отсутствия, видит будущее по-разному. В центре истории, так или иначе, стоит семья».

...Режиссёр (а также автор инсценировки, художник по свету, композитор и исполнитель главной роли) Семён Серзин попытался предложить удобную оптику для разглядывания сгущающегося мрака на сцене. Подкрути колёсико — и всё понятно.

Ну да, *perestroika*, великая и бурная эпоха. Спектакль «Отцы и дети» — благородная, нежная, я бы даже сказал, смелая по нынешним временам попытка её защитить, оправдать, по крайней мере, придать ей солидную классическую аранжировку. Придать сейчас, когда во всех телевизорах о ней говорят едва ли не с отвращением.

Я старательно отмечал по ходу спектакля все перестроечные аллюзии, старательно «вживленные» в хрестоматийный текст. Это в первую очередь, песни. Например, Егора Летова («У меня засохла кишка, / У меня опустела башка, / Я захрючил свои мозги, / Я тащусь от дурной тоски», песня называется «Умереть молодым» и повторяется в спектакле аж три раза, поэтому ее смело можно считать лейтмотивом), песня группы «Центр» («Ту-ту-ту... Тургеневские женщины читают газеты, звонят по телефону, ходят на работу, имеют образование, опускаются в метро»), наконец, финальная песня Юрия Шевчука. Плюс небольшие куски из интервью Егора Летова, Александра Башлачёва, диалоги из «Ассы».

Театр Наций, как всегда, был переполнен молодежью, в основном девушками в вечерних платьях и на высоких каблуках, средний возраст плюс минус тридцать лет, для них, «целевой аудитории» театра, события и герои 80-х, эстетика перестройки — это вообще древняя история, как в учебнике для средней школы, настолько древняя, что ее вполне можно ставить в один ряд с тургеневскими нигилистами и народовольцами. Сравнить одну древность с другой древностью и находить в них параллели и повторы — а, собственно, зачем?

На самом деле, вечная загадка тургеневского текста состоит в том, что он применим к любой «перестройке», к любой исторической эпохе, где в «сгущающемся мраке» рождается новая реальность, страшная, драматичная, но неизбежная. Где появляется формация молодых людей, отвяжавшихся от старых цепей, нитей, связей, готовых к радикальным поступкам. Будь то шестидесятники (Высоцкий и Вознесенский), хиппи и панки, рокеры 80-х (Науменко, Свин), будь то левые радикалы начала века (Троцкий и Блюмкин), поэты 20-х (Маяковский и Есенин), да вообще кто угодно.

Это всегда они, только они, угаданные на века, списанные с природы и оставшиеся в вечности, сильный и слабый, величественно-беспощадный и добропорядочно-нежный, оба смешные и нелепые с точки зрения «реальной жизни», и оба — твердо стоящие внутри шторма, в самом центре движения времени.

Им можно рисовать любые прически, наряжать их в любые одежды, впихивать их в любую субкультуру, но сама проза Тургенева, сама история, которую он придумал, по-прежнему будет работать, работать безотказно, как волшебная машина.

Базаров будет влюбляться и страдать, Аркадий будет мучиться и восхищаться Базаровым, Павел Петрович будет с ним стреляться, Николай Петрович будет изо всех сил защищать свою семью, и все они стремительно и бесповоротно будут расходиться в разные стороны.

С этим ничего не поделаешь, никакой коллаж и никакая «стилистика» здесь ничего не изменят, все идеально пригнано в ней, в этой тургеневской машине, и никакая внешняя «мазь» ей не нужна. Собственно, и текст из интервью то ли Летова, то ли Башлачёва, он как раз о том, что обо всех субкультурах нужно временно забыть, ибо сейчас время революции, «не до стиля».

Вообще книга Тургенева, конечно, значительно полнее и интереснее любых попыток его «представить», «разобрать на характеры», и уж, конечно, он как небо и земля отличается от школьных истолкований про «новых» и «старых» людей. Великий русский писатель честно пытался разобраться в интеллектуальной пище поколения демократов, честно понять, чем анатомия человека может быть интереснее великой поэзии, почему «ощущение» важнее «принципов». За каждой тирадой Базарова стоит не голый эпатаж или дерзкая интонация революционера, каким он, в сущности, вообще не является, а десятки томов тогдашнего «маст-рид»: философских и исторических монографий, часы напряженной полемики внутри московских и питерских кружков. Битва идей. Напряжённая рефлексия.

Но все-таки... ничего важнее и глубже, чем любовь, одних поднимающая, других убивающая, автор в этой самой окружающей реальности не нашел, хотя и пытался.

И это тоже — отдельный сюжет. Теперь мы примерно представляем, как много сказал Тургенев именно о себе, уже немолодом и уставшем, в этом «манифесте молодого поколения».

И вот я смотрю на фотографию Семёна Серзина, вспоминаю его в спектакле. Наверное, я не видел ещё такого Базарова. Очень ранимый, очень мягкий, с каким-то

глубоким пониманием людей и... осязаемым чувством вины. Родился режиссёр и актёр в 1987 году, то есть *время, из которого произошло моё поколение* — он тоже видит ретроспективным взглядом. Ровесник моих детей — человек, выросший в 90-е, взрослевший в нулевые, знающий перестройку по рассказам родителей. И во многом его взгляд — это именно взгляд через родителей, то есть через нас.

Отец Базарова (Борис Каморзин) — на сцене в засаленном оранжевом жилете железнодорожного рабочего, хотя и врач. Говорящий штрих. Трудное время, голодное время социальной травмы для одних (а не только сладкое время свободы для других). Эта горечь за родителей, бессилие изменить их жизнь, эта метафизика вынужденной нищеты — многих молодых интеллектуалов тогда, в 90-е, привела на путь радикального отрицания реальности. В том числе тех, чьи тексты цитирует Семён Серзин. Сцены с отцом и матерью (Ольга Лапшина), короткие и пронзительные, — наверное, вообще лучшие в спектакле.

Русские мальчики, которые приехали в столицу утверждать себя, свободно плыть в море новой свободы и новых возможностей, — многие из них оставили за спиной вот таких беспредельно трогательных и невыносимо выпавших из жизни родителей.

Гораздо труднее расшифровываются братья Кирсановы, Павел и Николай (Геннадий Блинов и Владимир Майзингер). Похожи ли они на, как теперь принято говорить, бенефициаров 90-х? На тех, кто жил в относительном достатке, приобретал, работал, старался?

Внешне похожи, а внутренне...

Наверное, они тоже угаданы, хотя мне труднее об этом судить, это люди последнего советского поколения, тоже страдающие — но не от потрясения социальной реальности, не от внешнего давления, а от какой-то внезапно образовавшейся внутренней пустоты. Да, были и такие персонажи в 90-е.

Наконец, добрался до девушек.

Как и те, что были в зале, — все они прекрасны. Органичная Александра Бортич в почти бессловесной роли Фенечки, прекрасно сыгравшие всегда загадочную сестринскую любовь Ирина Старшенбаум и Алёна Долголенко (Анна и Катерина Одинцовы). В «сгущающемся мраке» угадывается сегодняшнее состояние современной женщины — на пороге ужасных событий, в томительном ожидании, чем всё это кончится, сохраняющей надежду, несмотря ни на что.

Выходя из театра после спектакля, пробираясь сквозь тихий московский вечер с его кажущейся безмятежностью, я продолжал спорить с Семёном Серзиным, с его Базаровым. Базаров умирает по воле страшного случая, но случай закономерен — в том российском обществе ему нечем стать, незачем жить. Он не нужен: по крайней мере, так всё устроено в тургеневском тексте, в этой прозаической машине, пережившей века.

Демократы позапрошлого века, разночинцы, народники, социалисты и просветители — судьба их действительно была трагична. Хотя далеко не всегда: например, Николай Семёнович Лесков успел побывать и в «Знаменской коммуне», среди социалистов, и в Париж съездить, и поработать репортёром, и пойти на государственную службу, чтобы «нести людям добро», и стать писателем.

Но ведь спектакль о перестройке — а в 90-е годы, несмотря на все драмы и разочарования, споря с властью, страстно ее критикуя, моё поколение продолжало испытывать чувство жадного творческого восторга, азарта, поиска. Время открытий, время созидания продолжалось ещё долго. Лесковых было достаточно много в нашей волне, мы продолжали верить в будущее ещё годы и годы, верим и сейчас.

Но сегодня, оглядываясь вокруг, вспоминая сцену смерти Базарова на этой огненно-алой лестнице, я вдруг понимаю, что *такой* взгляд на перестройку, на её людей, конечно, вполне оправдан.

Но соглашаться с ним всё равно не хочется...

Alexej Ivanov. Krestoslovitza (Crossword)

The kaleidoscope of Leningrad's literary, scientific, musical intelligentsia of the 1970s is rotating in this novel. Not a very big writer Konstantin Elagin is going to write the biography of the Tyrant. He doesn't use the archives, but he has some suitcases of letters – the fragmentary memoirs of still alive witnesses-ex-prisoners. They are steadily leaving this world. There is no time to waste. But the doubts are haunting the author: "What for do I meddle not in my business? Why do I kill myself with the poison of others' memories, the memories of the eyewitnesses of the life of the tyrant if it's quite clear that nobody else can comprehend either the life of the modern Dracula which is fed only by the blood of his victims or the lives of the victims themselves who were voluntarily going to the slaughter?"

Poetry

A variety of poets present their works in this issue. Darya Veryasova confesses her love to the Caucasus with the genuine sincerity. Anna Dolgareva is narrating about the tragical twists of fate which "still cause much pain to the heart alive". The original lyrics of Vladimir Kozlov is full of love to the native land. Psychological sketches of Maria Zatonskaya are about the inseparability of human beings and the Nature.

Viktoriya Polishchuk. Five Minutes Before the Dawn

The diary of V. Polishchuk presents the captured event of what had been waited but hasn't happened. The very private woman's observations are full of fighting – not with the life but with oneself, they are about the bringing up of the Spirit to which the Soul is answering. As if its vocation is to distract from the deeply hidden tragedy of loneliness. The philosophy of the author's private being is thoroughly subjective but at the same time ingenious and opened for the dialogue. Her expectations and disappointments are going hand in hand.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — 70250

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — 91826

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездииковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





По страницам «ДН»

Я попал на войну летом 41-го года, когда мы ещё кончили только 9-й класс и поехали копать противотанковые рвы на Смоленщину. Школу я кончил уже во время войны, и выпускного бала у меня не было. /.../ 64-й год. Звонят с телевидения: не прочитаете ли вы со своими комментариями стихотворение Твардовского «В тот день, когда окончилась война»? Меня хлебом не корми, дай почитать Твардовского. Спрашиваю: а когда будете давать? Между третьим и четвёртым актами трансляции оперетты «Сильва». Я изумляюсь. Отвечают — всё уже запланировано. Начал обзванивать телевизионное начальство, поднимаясь всё выше. Разводят руками. И только на самом верху согласились — да, нехорошо, давайте сделаем хотя бы после. И вот — это самое «после». Довольно неприспособленная ещё Шаболовка. Прямой эфир. Я уже говорю, а вокруг убирают какие-то декорации. Начинаю читать стихи, и в какой-то момент чувствую — что-то произошло. Краем глаза кошусь и вижу, что люди стоят, замерев, и слушают...

**Андрей Турков.
«В списке славы золотой»
«ДН», 2016, №6**

